This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА

Исторія блѣднаго молодаго человѣка.

Прологъ . . . . . 3— 85
Книга первая . . . . . 87—186
Книга вторая . . . . . 186—381
Книга третья . . . . . 382—521
Эпилогъ . . . . . 522—526

Аверкіев, Д.

ПОВѢСТИ
ИЗЪ СОВРЕМЕННАГО БЫТА

Д. В. АВЕРКІЕВА.

Изданіе тщательно пересмотрѣнное и исправленное

въ трехъ томахъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ИСТОРІЯ БЛѢДНАГО МОЛОДАГО ЧЕЛОВѢКА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія брат. Пантелеевыхъ. Верейская, № 16.
1898.

PG 3453
A9 P65
1898
v.1

Исторія Блѣднаго молодаго человѣка.

(Б. Н. Алмазову).

Un malheur inconnu glisse parmi les hommes,
Qui les rend ennemis du repos oú nous sommes:
La plupart de leurs voeux tendent au changement;
Et comme s'ils vivaient des misères publiques,
Pour les renouveler ils font tant de pretiques
Que qui n'a point de peur n'a point de jugement.
Malherbe.

ПРОЛОГЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Я хочу разказать вамъ исторію человѣка кому подобныхъ вы, вѣроятно, встрѣчали не разъ. Не знаю, случалось ли вамъ знать ихъ близко, пристально вглядываться въ ихъ нравственную физіономію. Если нѣтъ, то весьма не мудрено что вы строго и пристрастно судили ихъ, отзывались о нихъ пренебрежительно. Быть-можетъ, прочтя мой правдивый рѣчь вы нѣсколько измѣните свой строгій приговоръ.

Того, о комъ пойдетъ рѣчь, звали Петромъ Андреевичемъ Кононовымъ. Въ минуту начала повѣсти, ему двадцать пятый годъ, и онъ два года какъ кончилъ университетскій курсъ. Но прежде чѣмъ начать повѣсть, не мѣшаетъ нѣсколько ознакомиться съ прошлымъ Петра Андреевича. За свѣдѣніями объ этомъ

прошломъ мы обратимся не къ его сосѣдямъ и знакомымъ, а къ собственнымъ его воспоминаніямъ.

Наша память вещь причудливая. Старику она чаще всего нашептываетъ о раннемъ дѣтствѣ, и явственно видится ему тропинка по ней же онъ бѣгалъ удить рыбу и старая корявая ветла, гдѣ сиживалъ ожидая клева; кусты недалеко отъ большой липы, гдѣ весело было играть, и рябаго, съ бѣльмомъ на лѣвомъ глазу Филипку, котораго запрягалъ въ ручную телѣжку и погонялъ кнутикомъ. А, казалось, все это давнымъ-давно забыто, похоронено и быльемъ поросло. Человѣку зрѣлыхъ лѣтъ чаще вспоминается его юность и все что̀ въ ней было непригляднаго и дрянного, и покачивая головой, говоритъ зрѣлый человѣкъ: „Совсѣмъ, совсѣмъ не такъ повелъ бы я себя, воротись ко мнѣ юность; не на то истратилъ бы и истрепалъ я лучшія силы свои!“ А послушайся его, воротись къ нему юность и исчезни нажитой опытъ, опять началъ бы онъ какъ попало и на что̀ пришлось тратить тѣ силы что̀ въ зрѣломъ возрастѣ почему-то кажутся ему лучшими. Въ юности еще свѣжа та сила воображенія что̀ въ раннемъ дѣтствѣ заставляла палочку считать ретивымъ конемъ, а самого себя бравымъ всадникомъ; чудная сила превращавшая лужу въ море, поднятый по дорогѣ стоптанный лапоть или щепку въ корабль, а самого ребенка, хоть и стоитъ онъ на сухомъ мѣстѣ, въ отважнаго мореходца, плывущаго на этомъ громадномъ кораблѣ-лаптѣ; воображеніе въ юности начинаетъ только глядѣть не вокругъ, а вдаль; оно манитъ, и все чего хочешь сулитъ въ будущемъ, пока не придетъ и не разгонитъ клюкою мечтаній бродячая сухопарая Забота и не заставитъ думать о настоящемъ и насущномъ.

Юность, если она не одинока, скупа на воспоминанія. Рисуется вчерашнее и намеднишнее, да при встрѣчѣ со школьнымъ товарищемъ припоминаются бойкія и юркія шалости и смѣшные учителя. Дѣльные учителя вспоминаются позже.

Но не въ этомъ одномъ причуды памяти. Бываетъ таково: помнится разная дрянь, о ней и вспоминать не слѣдъ бы, и лѣзетъ она въ голову повторительно, настойчиво, порой навязчиво и назойливо. Встрѣчается пріятель съ кѣмъ давно не видался, и начинаешь перетряхивать съ нимъ всякій памятный соръ. То помнишь, другое помнишь, а этотъ вотъ случай, по разказу пріятеля, такой занимательный, вовсе забылъ. И думаетъ пріятель: „Вотъ человѣкъ что̀ забылъ, а вѣдь этотъ случай имѣлъ рѣшающее вліяніе на всю его судьбу“. Но рѣшающій, по мнѣнію пріятеля, судьбу случай никакъ не вспоминается. Роешься въ памяти, докапываешься и думаешь: „Точно, было нѣчто подобное, да остались такіе клочки и обрывки: по нимъ и самъ Кювье врядъ ли возстановилъ бы цѣльный образъ былаго.“ Идетъ разговоръ дальше, и самъ, въ свою очередь, вспоминаешь удивительно-замѣчательный случай: ба, пріятель, оказывается, его-то и забылъ. И повторяешь мысленно тѣ слова что̀ полчаса назадъ пріятель про тебя думалъ: „Странный, молъ, человѣкъ, мелочи всякія помнитъ, а этого-то случая, имѣвшаго на всю его судьбу самое рѣшающее вліяніе, не помнитъ.“ И начинаетъ пріятель также прилежно, какъ ты за полчаса, копаться въ своей памяти, и у него оказываются только затертые слѣды, ошметки да лохмотья. И ни тебѣ, ни пріятелю не приходитъ въ голову что оба вы обоюдно приписываете важное другъ для друга значеніе случаямъ вовсе его не имѣвшимъ.

скаго имени; кого звали Иванъ Иванычъ, кого Павелъ Онуфричъ, или Разумникъ Платонычъ, а этого всѣ въ голосъ величали „откупщикъ“.

Велитъ дѣдъ внуку надѣть коричневый суконный сюртучокъ хранившійся въ сундучкѣ для вящихъ оказій; со всѣхъ сторонъ осматриваетъ и охорашиваетъ внука, говоритъ: „гляди же къ откупщику идемъ, умникомъ будь, меня старика не осрами“; беретъ внука за руку (что̀ важивалось только въ важныхъ случаяхъ, какъ подводилъ дѣдъ его къ причастію, или кресту) и идетъ съ нимъ. Куда-то приходятъ. Дѣдъ другимъ человѣкомъ становится: у него не обычная сановитая повадка, не важно задумчивое лицо; онъ нехорошо улыбается, сгибается, низко-пренизко кланяется, шепчетъ что-то какимъ-то трехаршиннымъ наглецамъ, суетъ имъ что-то въ руку.

— Ступайте къ Василію Васильичу, неохотно бормочетъ одинъ изъ трехаршинныхъ, тычетъ пальцемъ на боковую дверь, а самъ отворачивается отъ дѣда.

Добродушное лицо улыбается имъ на встрѣчу. Дѣдъ и ему низко кланяется, шепчетъ что-то указывая на внука. Василій Васильичъ одобрительно смѣется, говоритъ: „ну, ну!“ гладитъ Петю по головкѣ и уходитъ. Дѣдъ, съ тѣхъ поръ какъ Василій Васильичъ засмѣялся, сталъ прежнимъ дѣдомъ.

Дѣдъ со внукомъ долго сперва стоятъ, потомъ сидятъ въ комнатѣ Василій Васильича. Онъ самъ порой забѣгаетъ, роется въ бумагахъ, приговаривая: „Подождите, нельзя еще; не бойтесь, улажу“, и торопливо убѣгаетъ. Наконецъ онъ снова является въ дверяхъ, кричитъ „пожалуйте“ и пропускаетъ ихъ въ другую комнату. Дѣдъ, предъ входомъ въ двери, творитъ кр

ное знаменье и [illegible]
беретъ внука за [illegible]

Петя въ первый [illegible]
часто приходилось [illegible]
у котораго стоятъ [illegible]
дрожанье дѣдовой [illegible]
фигура. У этого [illegible]
точно нѣтъ ни мяса, [illegible]
жидкаго въ тѣлѣ; [illegible]
костей обвили волокна [illegible]
жесткое и лоснучее [illegible]
терли-перетирали и [illegible]
по бѣлу свѣту. Одна [illegible]
усердной работѣ; чтобы [illegible]
его мыломъ съ толченым [illegible]
сядь въ мелкихъ скважинах [illegible]
слѣды его остались и [illegible]
походилъ на звукъ изъ [illegible]
когда тотъ не настроенъ [illegible]
умѣло проведетъ смычк[illegible]

— А, старина, бр[illegible]

Дѣдъ отвѣчалъ, но [illegible]
подлѣ стоялъ, не раз[illegible]
шелъ разговоръ и дал[illegible]
откупщикъ, дѣдъ же [illegible]
губами.

— Покойнаго Андр[illegible]

Дѣдъ беретъ мальчик[illegible]
откупщику. Тотъ берет[illegible]
чикъ вспоминаетъ как[illegible]
лицу скребницу и слез[illegible]
Пети рѣшается.

— Учится? черезъ извѣстные промежутки, въ которые дѣдъ шевелитъ губами, хрипитъ контробасная струна — въ уѣздномъ? Похвальный листъ? А, хорошо. Со способностями, говоришь? Конечно, изъ уѣзднаго училища не много вынесешь. И послѣ? Въ лавку? Пустое дѣло. Ну, да я возьмусь за него. Я беру его съ собой. Въ Питеръ. Тамъ въ училище опредѣлю. Выучится, человѣкомъ будетъ. Что̀ — какъ, бишь его? — а, Петя! Что̀, Петя, хочешь въ Питеръ? А? учись, учись, а я все сдѣлаю, человѣкомъ тебя поставлю. Изъ дружбы къ твоему къ покойному отцу.

Дѣдъ отвѣчаетъ за внука.

— Благодѣтель, говоритъ онъ, и голосъ его теперь громокъ и явственъ, — благодѣтель, я просить не смѣлъ... вы сами... Господь вамъ заплатитъ... за дружбу за вашу... къ покойнику...

Голосъ дѣда прерывается, и онъ плачетъ слезами умиленія. Откупщикъ утѣшаетъ его, увѣряетъ будто всегда любилъ покойника и что если покойникъ разорился, то единственно потому, что не хотѣлъ его, откупщиковыхъ, совѣтовъ слушать. Затѣмъ онъ дѣлаетъ послѣднія распоряженія: чтобы нужныя бумаги были доставлены Василій Васильичу и мальчикъ былъ готовъ къ отъѣзду черезъ три дня. При прощаніи Петя чувствовалъ снова, будто по его лицу провели скребницей. Дѣдъ со внукомъ доходятъ до дверей.

— Постой, кричитъ откупщикъ вслѣдъ, — про одно забылъ: вѣдь вы теперь мѣщане, а? То-то. Рожденныхъ-то мѣщанъ не принимаютъ; ну, да онъ сынъ разорившагося купца — примутъ. Увольнительное еще надо, — ну да я прикажу: сдѣлаютъ. Ступайте.

У благодѣтеля, какъ выговаривалъ онъ слово „мѣ-

щанинъ“, ротъ покривился: точно оно могло обжечь даже его жесткія губы. Въ его голосѣ при этомъ слышались и страхъ, и презрѣніе. Петя вдругъ разрыдался. Слезы были отнесены на счетъ предстоящей разлуки съ дѣдомъ. Откупщикъ слегка потрунилъ и похвалилъ Петю.

— Плачетъ, значитъ добрый: чувство имѣетъ, сказалъ онъ.

По дорогѣ домой дѣдъ утѣшалъ Петю.

III.

Ни дѣдъ, ни откупщикъ не догадались о причинѣ Петиныхъ слезъ. При словѣ „мѣщанинъ“ съ такимъ презрѣніемъ и боязнію произнесенномъ откупщикомъ, Петя вспомнилъ случай изъ ранняго дѣтства.

У нихъ въ домѣ, но словно не въ томъ гдѣ онъ жилъ съ дѣдомъ (*тотъ* домъ былъ свѣтлѣй и просторнѣй), набралось много народу. За столомъ сидитъ баринъ съ краснымъ носомъ и свѣтлыми пуговицами. У стола, слегка опершись о него рукою, стоитъ Петинъ покойный отецъ. Петя выглядываетъ изъ дверей: отцовскаго лица ему не видно.

— Какъ же писать-то васъ? Званіе тоись ваше? спрашиваетъ красноносый баринъ.

Отецъ отвѣчаетъ не вдругъ, съ запинкой; онъ отнимаетъ руку отъ стола и подноситъ къ горлу, словно въ горлѣ у него случилось что неладное.

— Пишите, говоритъ онъ,—пишите... бывшій купецъ.

— Тоись мѣщанинъ? спокойно спрашиваетъ баринъ.

У барина на концѣ краснаго носа бородавка и онъ теперь скашиваетъ глаза, чтобы хорошенько разсмотрѣть это любопытное произведеніе природы; на Петинаго же отца не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія.

Отецъ ничего не отвѣчаетъ, и Петя съ безпокойствомъ замѣчаетъ что отцовскія плеча вздрагиваютъ.

— Чудной ты человѣкъ, Андрей Петровичъ, говоритъ баринъ, перенося глаза съ бородавки на лицо отца и замѣняя пустое *вы* сердечнымъ *ты*,—какъ же я тебя запишу? Коли ты мѣщанинъ, то ты мѣщанинъ и есть.

— Нѣтъ, нѣтъ, и отецъ судорожно замахалъ руками,—не пишите, не пишите *такъ* (отецъ очевидно боится произнести роковое слово), а пишите... пишите... бывшій купецъ.

Отецъ отходитъ отъ стола и теперь Петя видитъ его лицо. Оно искривлено и блѣдно, изъ глазъ хлынули слезы. Отецъ подноситъ руку къ глазамъ и остается видна только судорожно-дрожащая нижняя челюсть. Мальчикъ не въ силахъ этого вынести; онъ убѣгаетъ въ садъ, забивается подъ кустъ и горько рыдаетъ: слово „мѣщанинъ“ стоитъ въ ушахъ, въ глазахъ мелькаетъ судорожно-дрожащая челюсть.

Петя ни тогда, ни при первомъ воспоминаніи не понималъ точнаго значенія слова „мѣщанинъ“. Онъ понялъ его гораздо позже.

Съ легкой руки откупщика, слово „мѣщанинъ“, порой случайно произнесенное, напоминало Петѣ горькій случай его ранняго дѣтства. Въ училищѣ, куда по переѣздѣ въ Петербургъ попалъ Петя и гдѣ воспитывались по преимуществу купеческіе сыновья, слово

„мѣщанинъ“ произносилось еще съ большимъ презрѣніемъ чѣмъ слово чиновникъ.

Что жь страшнаго въ этомъ словѣ? Отчего трудно было произнести его Петину отцу? Отчего откупщикъ боялся обжечь имъ свои жесткія губы? Отчего купеческіе сыновья, свысока смотрѣвшіе на благородное званіе чиновника, еще сильнѣе презирали мѣщанъ, людей, повидимому, не далеко отставшихъ отъ ихъ отцовъ?

Не всѣмъ извѣстно какое ужасное значеніе имѣло, а отчасти и теперь имѣетъ, это слово для купца. Разорился купецъ, онъ становится мѣщаниномъ. Не одну потерю богатства приходится ему при этомъ вынести. Куда бы ни шло что отъ мѣщанина отвернутся бывшіе застольники; и то не важно есть что бывшіе друзья станутъ говорить съ тобой покровительственно, а ты ломай предъ ними почтительно шапку и низко кланяйся. Таковы повсюдныя слѣдствія всякаго раззоренія. Но ты мѣщанинъ, и знай: ты подлежишь тѣлесному наказанію, дѣти твои подлежатъ рекрутчинѣ. Что это недавно еще значило, напоминать не приходится. Лучше бы забиться въ деревню, ходить въ сѣромъ армякѣ, взяться за пахоту, жить въ курной избѣ. Но такой исходъ заказанъ; оставайся на мѣстѣ, гдѣ вчера еше были застрахованы и твоя спина, и лбы, и спины твоихъ сыновей; живи тутъ, и казнись вдосталь. У родовитыхъ купцовъ, чьи семьи давнымъ-давно не знали этихъ невзгодъ, невольно въ теченіе долгихъ лѣтъ вырабатывался презрительный взглядъ на людей, кому за невзносъ въ думу или ратушу нѣсколькихъ рублей приходилось извѣдать всѣ эти невзгоды. А слыша, что вчерашній свой-братъ купецъ раззорился, какъ было

удержаться отъ страшной мысли: „И съ тобой молъ то же можетъ случиться.“ И какъ было при этомъ не почувствовать ровно тебя горячимъ утюгомъ по спинѣ провели?

Послѣ сказаннаго читатель пойметъ какими благословленіями окружали купцы имя Николая I за учрежденіе потомственнаго почетнаго гражданства.

IV.

У Пети были славныя способности: быстрое соображенье, вѣрная смѣтка, память просто чудовищная. И въ петербургскомъ училищѣ онъ скоро обогналъ товарищей и сталъ на первомъ мѣстѣ, какъ раньше въ уѣздномъ. Ученье давалось ему легко, и правду сказать было оно не изъ трудныхъ. Большинство учителей, ссылаясь на тупость и непонятливость большинства учениковъ, до крайней возможности сокращали и облегчали курсы преподаваемыхъ наукъ, и ни одинъ изъ ученыхъ и способныхъ преподавателей не заподозрилъ при этомъ не то что своей неспособности ясно и толково преподавать предметъ, но даже своего неумѣнья заохотить своихъ питомцевъ къ занятіямъ. И то сказать, къ чему утруждать нѣжные умы? При такой похвальной системѣ ученія, не мудрено что у способнаго мальчика оставалось много времени. Петя просто не зналъ куда дѣвать его. Онъ читалъ, жадно читалъ, читалъ все что̀ подъ руку попадалось, отъ Пушкина до пошлой книжонки затащенной изъ прикащицкой въ классную однимъ изъ товарищей; въ пошлой книжонкѣ безграмотно и грязно описывались любовныя похожденія чердашной кошки.

Нѣжные родители и опытные наставники не рѣдко чуть не до слезъ умиляются способности (они увѣрены, необыкновенной) сынка, или воспитанника безъ перестани спрашивать обо всемъ, о чемъ въ голову придетъ. „Такой де умный; всѣмъ, рѣшительно всѣмъ интересуется.“ Имъ не въ домекъ, что оттого-то мальчикъ всѣмъ, рѣшительно всѣмъ и интересуется что умъ его ничѣмъ опредѣленнымъ не занятъ, и что его ежеминутные вопросы не многимъ отличаются отъ празднаго любопытства. И спѣшатъ они удовлетворить всѣмъ, рѣшительно всѣмъ интересующагося ребенка, и пичкаютъ, и начиняютъ его всякими, безъ разбору, свѣдѣніями, не подозрѣвая что въ сущности только осуществляютъ завѣтную пословицу: „чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, только бы не плакало“. И эти самые нѣжные родители и опытные наставники смѣются надъ дурашными маменьками-баловницами что̀ кормятъ дѣтей чѣмъ попало: „кушай-молъ, милое“. А безъ толку окармливать ребенка свѣдѣніями, хотя бы каждое изъ нихъ въ свое время и на своемъ мѣстѣ было отмѣнно полезно, не то же ли значитъ что тыкать въ ротъ ребенку соску или грудь, чуть онъ всплакнулъ или крикнулъ? Есть умники-утѣшители и твердятъ они лукавые рѣчи: „могуча де природа, она де свое дѣло сдѣлаетъ, все-то выгладитъ, выровняетъ, выправитъ“. Слова нѣтъ, могуча она, природа-то: крѣпкіе дубы выращиваетъ, за то сколько ихъ въ дубнякѣ глохнетъ и сохнетъ. И береза дерево стройное: какъ ростетъ въ уютѣ, гдѣ и простора довольно и отъ метелей есть защита, выростаетъ такая-то бѣленькая, пряменькая, ни вправо, ни влѣво ни вотъ чуть не клонится, да много ль ихъ, березъ-то, не кривыхъ и не корявыхъ? И еще нѣтъ спора могуча природа, толь-

ко отчего нигдѣ столькихъ, какъ у насъ, неурожаевъ и голодныхъ годовъ не бываетъ?

Въ то критическое время, какъ врожденная пытливость стремится перейти въ дѣльную любознательность и можетъ либо окрѣпнуть въ твердую любовь къ знаніямъ, либо выродиться въ жадное, на все броское и ни на чемъ какъ слѣдъ не останавливающееся любопытство, а не то закиснуть на той переходной степени, чему общая кличка „ни рыба, ни мясо",—у Пети не было надежнаго руководителя. Кромѣ чтенія всего что̀ попадалось, у него нашлись еще занятія. Мы знаемъ какое воспоминаніе трогало его и чѣмъ оно вызывалось. Сказано слово „мѣщанинъ„, и предъ мальчикомъ отецъ, у него трясется нижняя челюсть, а у самого слезы закипаютъ. Слезы скрыть надо: осмѣютъ, плаксой назовутъ—то еще не бѣда, а что̀ какъ допытаются причины слезъ? Сначала Петя боялся роковаго слова ради горькаго воспоминанія; но воспоминаніе повторяется, онъ въ него въѣдается, оно уже не такъ терпко и горько, и мальчикъ боится уже словца ради самого себя, не стали бы дразнить мѣщаниномъ, не кричали бы въ задорствѣ: „мѣщанинишка ты этакой!" Скрывалось сперва чувство, потомъ произхожденіе; изъ скрытности выростала подозрительность. Кажущіеся намеки, мимолетныя слова, случайный смѣхъ товарищей, когда онъ проходилъ мимо, все принималось къ свѣдѣнію, надъ всѣмъ этимъ копошился начавшій развиваться, чуть оперившійся, не твердый умъ. Онъ выводилъ свои слѣдствія, изощрялся въ пріисканіи смысла мелочамъ, сталъ Богъ знаетъ что̀ подозрѣвать тамъ гдѣ ничего не было. Умъ и чувство мальчика плутали и путались какъ въ темномъ лѣсу, продираясь сквозь терновникъ и лозу, увязая въ боло-

тинахъ; за то что̀ радости, какъ случайно выберутся на свѣтлую, всю въ душистыхъ и милыхъ фіалкахъ, полянку! Да, въ этомъ плутаніи набирались они и свѣжести порой, за то сколько уносили на себѣ занозъ, острыхъ шиповъ и болотной плѣсени! И опять: кто плутаетъ на удачу, трудно тому научиться ходить самостоятельно. Самостоятельно тотъ идетъ, кто знаетъ куда, можетъ и умѣетъ опредѣлить путь, по звѣздамъ ли, по компасу, по инымъ ли примѣтамъ. Самостоятеленъ только тотъ умъ, что̀ ясно понимая свою мысль, умѣетъ вѣрно ее развить, направить куда слѣдуетъ, замѣтить и измѣрить ея уклонъ въ сторону.

Стоять наравнѣ, если не выше, съ другими, ни въ чемъ не отставать,—такова была самолюбивая мечта Пети. Самолюбіе, толкуютъ, двигатель всѣхъ дѣлъ человѣческихъ; иные мудрецы ему да честолюбію приписывали происхожденіе всего великаго на землѣ. И точно: не было воспитанника легче Пети соглашавшагося участвовать въ шалостяхъ, нерѣдко самыхъ дрянныхъ. По годамъ онъ былъ младшимъ въ классѣ; чѣмъ ближе къ окончанію курса, тѣмъ непереноснѣе для него становилось такое обстоятельство. Къ тому же онъ ростомъ былъ малъ и щедушенъ не по лѣтамъ ;шестнадцатилѣтній юноша казался тринадцатилѣтнимъ мальчикомъ. Возрастные товарищи, надѣленные крѣпкимъ тѣломъ, чувствовали возможность пуститься во вся тяжкая, и ничѣмъ не сдерживаемые, а меньше всего умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ, со всеусердіемъ принялись за пріятное времяпровожденіе. Ихъ разговоры, въ рекреаціонные и репетиціонные часы (или по-русски, какъ оно и называлось въ училищѣ, въ досужіе и занимательные часы), не отличались ни возвышенностью мы-

слей, ни чистотой чувствъ. Они сами это подозрѣвали и долго удерживали Кононова отъ своего общества.

— Тебѣ, Кононовъ, не годилось бы слушать про это: малъ ты еще.

Но Кононовъ не чувствовалъ, не хотѣлъ чувствовать своей малости. Онъ хотѣлъ быть наравнѣ съ ними, и хотя отъ годныхъ, по ихъ мнѣнію, для большихъ разказовъ нехорошее что-то съ нимъ дѣлалось, Кононовъ не отставалъ отъ товарищей. Гнать отъ себя его товарищи, еслибъ и хотѣли, не смѣли: былъ онъ всѣмъ нужный человѣкъ. Кто, коли не онъ, напишетъ сочиненіе, разъяснитъ непонятныя геометрическія мудрости, подброситъ къ доскѣ рѣшеніе задачи? Грубить такому человѣку не приходилось.

И Кононовъ сталъ, какъ другіе, порочить свое тѣло и душу участіемъ въ мерзостныхъ мальчишескихъ кутежахъ. И совсѣмъ это не нужно было ему, и претило во глубинѣ души! По счастію, длилось это не долго.

У благодѣтеля мальчику было не по-себѣ. Ходилъ онъ собственно изъ училища во флигель къ Василію Васильевичу, но являлся съ нимъ вмѣстѣ по праздникамъ къ обѣду въ домъ. Тамъ онъ былъ пятымъ колесомъ. Благодѣтель рѣдко съ нимъ говорилъ, и все больше въ наставительномъ тонѣ.

— Видѣлъ вашего директора. Говоритъ: хорошо учишься, первымъ идешь — похвально. Помни: тебѣ иной дороги нѣтъ; курса не выдержишь, пропащій человѣкъ. Самъ, думаю, понимаешь о чемъ говорю.

Мальчикъ понималъ.

Разъ или два благодѣтель выразился яснѣе.

— Видѣлъ вашего директора. Говоритъ: учится

отлично только шалить, и еще говоритъ: „дерзость на него порой находитъ, воспитателямъ грубитъ“. Ты съ чего же эту моду выдумалъ? Откуда гордости набрался? Кажись, не велика птица: мѣщанинъ всего. Гляди: начальство терпитъ, да и то ради меня. А выгонятъ, куда пойдешь? Подъ красную шапку вѣдь угодишь!

Кононовъ зналъ что врядъ ли ради благодѣтеля многое прощается ему въ училищѣ, но молчалъ. Его память живо хранила какъ однажды послѣ подобной назидательной рѣчи—и тонъ откупщика почему-то на этотъ разъ были, иди казались грубѣе и жостче обыкновеннаго и самъ Кононовъ волновался, краснѣлъ и блѣднѣлъ пущѣ чѣмъ всегда—онъ задалъ себѣ вопросъ: отъ чего онъ *то* „спускаетъ“ благодѣтелю на что̀ другому отвѣтилъ бы дерзкою остротой? Раздумывая и передумывая, онъ вывелъ такое заключеніе: „отвѣть я ему дерзостью, онъ чего-добраго перестанетъ платить за меня, и тогда—пропадешь... И учиться-то мнѣ“, продолжала роботать мысль, „нужно не ради знаній, а чтобы добиться правъ, избавиться отъ клички мѣщанина, и сопряженныхъ съ нею униженій... И чѣмъ я заслужилъ все это?“ безотвѣтно допытывался онъ отъ себя. Въ этомъ раздумьи было горькое, острое и щекотливое чувство: оно сжимало и кололо сердце. То не была одна изъ тѣхъ отвлеченныхъ мыслей, въ родѣ хоть бы идеи о вредѣ неравенства сословій, до которыхъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ доходятъ герои писателей любящихъ выказать свой либерализмъ, или иной какой *измъ*. То была изъ тѣхъ нераздѣльныхъ отъ извѣстнаго чувства мыслей что̀ человѣкъ такъ-сказать *выживаетъ* всѣмъ существомъ своимъ. Онѣ, эти мысли, носятъ печать человѣка ихъ выживавшаго; такъ-ска-

зать пахнутъ его плотью и кровью. Ихъ совокупность, не меньше чѣмъ страсти, увлеченія, склонности, очерчиваетъ, или по, старинному, болѣе удачному-выраженію, ознаменовываетъ внутреннюю физіономію человѣка. До отвлеченныхъ идей человѣкъ доходитъ инымъ, болѣе покойнымъ и холоднымъ логическимъ путемъ, при помощи мыслительной способности, ею же одаренъ всякій въ извѣстной (порою безконечно малой) степени; способности крѣпнущей и развивающейся только при помощи науки. Одолѣваемыя желаніемъ наставить читателя, или вѣрнѣе насильно втиснуть ему въ голову свою любимую идейку, нѣкоторые писатели спутываютъ два указанные рода мыслей, но не мѣшаетъ писателю поглубже всматриваться въ то что̀ творится въ душѣ человѣческой, и быть поправдивѣе. Въ этомъ его дѣло и призванье, а не въ томъ чтобы быть на побѣгушкахъ, или даже хоть генераломъ, въ извѣстной кликѣ. Но возвратимся къ Кононову.

Въ его воспоминаніи эта *выжитая* мысль, что ему и учиться-то и „спускать" благодѣтелю приходится ради пріобрѣтенія правъ, неразрывно связывалась съ тѣмъ горькимъ чувствомъ съ какимъ она родилась и впервые вошла въ его сознаніе изъ тайниковъ души. Болѣе: она была нераздѣльна съ представленіемъ сухожильнаго откупщикова лица, съ тономъ его контробаснаго голоса. Эта мысль, чувство и представленіе составляли какъ-бы одно недѣлимое; воспоминаніе одного вызывало воспоминаніе другихъ. Впечатлѣніе выжитой мысли было сильно; оно отражалось на сужденіяхъ Кононова объ откупщикѣ, примѣшивалось къ мысли о немъ порой ясно, порой безсознательно, въ скрытомъ видѣ (какъ бываетъ скрытая теплота). И сужденія Кононова о

благодѣтелѣ, каковы они ни были, никогда не были вполнѣ покойны и свободны, а потому всегда неточны. Кстати замѣтить: не въ подобныхъ ли впечатлѣніяхъ корень нашихъ невольныхъ симпатій и антипатій?

Благодѣтелевы дѣти были не подъ пару Кононову. Они учились въ модномъ пансіонѣ, у нихъ товарищами были генеральскіе и графскіе сынки, они мечтали о кавалергардскихъ эполетахъ и болтали бойко по-французски. Благодѣтель своихъ дочерей и сыновей, какъ и все въ домѣ, поставилъ на благородную ногу. Кононовъ не сходился съ благодѣтелевыми сыновьями, обращавшимися съ нимъ съ вѣжливою снисходительностью (пансіонъ не даромъ же считался образцовымъ); онъ старался даже глядѣть на нихъ свысока и втайнѣ во многомъ имъ завидовалъ. По свѣтскости онъ далеко отставалъ отъ нихъ и чувствовалъ что, пожалуй, никогда не догонитъ.

Самъ барскій домъ благодѣтеля смущалъ его; онъ боялся по неловкости разбить что-нибудь, испортить дорогой коверъ неуклюжими казенными сапогами. Хуже всего былъ для него домъ благодѣтеля въ дни елокъ и другихъ празднествъ. При подаркахъ его возможно обдѣляли; онъ слышалъ какъ благодѣтель, приказывая Василью Васильевичу купить подарки, говорилъ: „и для этого (то-есть для него) купите, только попроще: нечего баловать-то; еще, можетъ, и черному хлѣбу придется радымъ быть“. Когда Кононова выкликали по списку за подаркомъ попроще, ему казалось, что всѣ смотрятъ съ недоумѣніемъ на этого неловкаго и незнакомаго мальчика; благодѣтель разговаривалъ ли въ это время съ богато одѣтою дамой, ему думалось: „объясняетъ онъ ей кто я такой; да, да, вотъ она презрительно улы-

бается". Получивъ подарокъ, онъ забивался въ уголъ. Барчуки и барышни начинали танцовать, а онъ не выходилъ изъ угла. Онъ боялся своей неуклюжести; боялся и того что вдругъ благодѣтель отзоветъ его въ сторону и скажетъ: „ты куда залѣзъ? твое ли тутъ мѣсто?" или „не видишь развѣ что для моихъ дочерей получше тебя кавалеры есть"... „А какъ онъ это все да вслухъ брякнетъ?" содрогался юноша. Откуда у него такія опасенія,—онъ самъ не объяснилъ бы, да и въ голову ему не приходило объяснять даже самому себѣ ихъ причину. Въ дѣйствительности ничего подобнаго не случалось, но такимъ воображеніе рисовало ему благодѣтеля, и читатель помнитъ почему. Больше всего конфузился онъ когда кокетливыя барышни проходили мимо, въ промежуткѣ между двумя танцами. Онъ думалъ, что кажется имъ „ужасно, ужасно какимъ смѣшнымъ". Какъ появленія благодѣтельной волшебницы, ждалъ онъ скоро ли Василій Васильичъ мигнетъ ему: „Пойдемъ молъ, братъ, въ свой флигель, тамъ лучше."

Высокое хамство благодѣтелева дома свысока обходилось съ Кононовымъ.

— Ахъ, Господи! Куда еще *вы* тутъ суетесь: видите, и безъ васъ дѣла полны руки.

Такія или въ родѣ этихъ замѣчанія выслушивалъ онъ не разъ.

Высокое хамство, въ какомъ бы видѣ оно ни проявлялось, уважаетъ только тѣхъ, кто имъ помыкаетъ и тычетъ его носомъ. Своего брата, если онъ не пошелъ въ хамы, оно презираетъ самымъ страшнымъ образомъ; еще больше презираетъ оно тѣхъ изъ своей братіи кто въ гору пошелъ, но не доросъ еще чтобъ остальными помыкать и тыкать ихъ носомъ.

Много такихъ воспоминаній о проглоченныхъ втихомолку обидахъ и мнимыхъ оскорбленіяхъ хранила память Петра Андреича. Сквозь нихъ проходила одна и та же нить, одну и ту же больную струну заставляли они дрожать: на него нападало чувство досады на самого себя, чувство болѣзненнаго конфуза за свою случайную былую неловкость, неумѣлость, или ненаходчивость, за слово или движеніе, чего, конечно, не только не помнили, но и въ то-то время не замѣтили участники въ данномъ, ему памятномъ, случаѣ. Вспоминалось ли какъ благодѣтелева дочка подошла къ нему на балу и любезно спросила о чемъ-то (онъ былъ тогда уже въ послѣднемъ классѣ), а онъ смутился и не нашелся отвѣтомъ,—Кононова бросало въ потъ, онъ бранилъ себя, точно это случилось полчаса, а не много лѣтъ назадъ. Даже при тѣхъ воспоминаніяхъ, которыхъ онъ чурался, отъ которыхъ мысленно отворачивался и бѣжалъ закрывъ глаза и заткнувъ уши,—даже при этихъ воспоминаніяхъ тревожилась и суетливо билась та же струна. Вспоминались мальчишескіе кутежи, и мучала не ихъ мерзопакостность, не ихъ бьющая въ носъ обстановка, а какой-нибудь дубовый укоръ неотесаннаго болваниссимуса, оныхъ дѣлъ мастера: „эхъ, молъ, такой-сякой ты, Кононовъ, и пакости-то сдѣлать порядочно не умѣешь, а туда же норовишь!“ Какъ ни ненавидѣлъ Кононовъ эти воспоминанія, какъ летучи они ни были (онъ быстро и настойчиво поворачивалъ мысль на другое), все же чувство конфуза мимолетомъ задѣвало его и онъ точно стыдился заслуженнаго укора.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Къ счастію Пети, жилъ-былъ на свѣтѣ Василій Васильевичъ.

Василій Васильевичъ учился на мѣдныя деньги, но ни умомъ, ни сердцемъ Богъ его не обдѣлилъ. Онъ былъ правою рукой благодѣтеля; ему поручались и большія и малыя дѣла. Все онъ исполнялъ умѣло, смышленно и толково, и при всемъ томъ благодѣтель не рѣдко съ крайнею грубостью обращался съ нимъ, рвалъ бумаги, швырялъ на полъ конторскія книги, кричалъ и топалъ ногами. Благодѣтелю видно нравилось, его пріятно раздражало что выискался такой незлобливый и кроткій человѣкъ какъ Василій Васильичъ.

Василій Васильичъ только рукой махалъ послѣ перепалки и вздыхая принимался за дѣло. „Претерпѣвый до конца, тотъ спасется", утѣшалъ онъ себя. Съ Петей онъ сошелся съ первыхъ же дней; онъ уважалъ его, весьма даже, за хорошее ученье и скоро началъ называть его: „эхъ, братъ, Петръ Андреичъ", но никогда не говорилъ ему *вы*.

У Василій Васильича была одна отрада въ жизни — Александринскій театръ. Онъ его посѣщалъ охотно и возможно часто. Тамъ всѣ его знали, и сѣденькій старичокъ капельдинеръ не раньше успокоивался въ бенефисные вечера какъ увидѣвъ что Василій Васильичъ прошелъ на свое мѣсто. Съ Василій Васильичемъ можно было поссориться, выбранивъ его любимаго актера. Онъ давалъ въ займы одному пріятелю и держалъ для него водку (самъ онъ не пилъ) единственно по той причинѣ

что забубенный былъ знакомъ съ актерами и зналъ наизусть чуть не всего *Скопина Шуйскаго* и додольно ловко изъ него декламировалъ монологи. Онъ поспѣшилъ посвятить Петю въ тайны театральнаго искусства. Труппа въ тѣ дни въ Петербургѣ была прекрасная и видѣть ее для мальчика было дѣломъ не безполезнымъ. Всякій разъ, входя въ театръ, Петръ Андреичъ вспоминаетъ про своего пестуна и поминаетъ его добрымъ словомъ. Онъ припоминаетъ его привычки, его восторги, ихъ долгія бесѣды послѣ каждаго представленія. Нѣкоторыя піесы, разыгранныя съ мастерскимъ ансамблемъ, оставили на душѣ Кононова впечатлѣніе стройности, хотя онъ давно забылъ ихъ названіе и содержаніе. Можетъ, это помогло ему и въ другихъ художественныхъ произведеніяхъ отыскивать ту же стройность. Таково, по крайности, мнѣніе самого Петра Андреича.

Нашему молодому человѣку памятны особенно два случая, два разговора съ Василій Васильичемъ. Однажды благодѣтель, какъ важивалось, изъ-за пустяковъ разорался на свою правую руку. Кононовъ сидѣлъ въ сосѣдней комнатѣ и безсильно злобился на крикуна. Произошло это уже послѣ того какъ самъ онъ рѣшилъ ради чего „спускаетъ“ благодѣтелю; теперь его мучилъ вопросъ: „что̀ же заставляетъ Василія Васильевича сносить незаслуженныя оскорбленія?“

— Что̀, братъ Петръ Андреичъ, сказалъ старшій изъ пріятелей входя въ комноту,—слышалъ какова перепалка была? Настоящая, братъ, Очаковская! Охъ, много нашему брату, бѣдному человѣку, терпѣть приходится!

Младшій рѣшился высказать мучившій его вопросъ.

— Я удивляюсь, Василій Васильичъ, охота вамъ терпѣть; развѣ вы не можете найти другаго мѣста?

— Те, те, те! запѣлъ Василій Васильичъ:—куда хватилъ! Скоръ ты, братъ Петръ Андреичъ, больно скоръ. Бросай-молъ мѣсто, иди скитаться по чужимъ угламъ; начинай съ начала. А какъ на другомъ-то мѣстѣ еще хуже будетъ? То-то вы, ученые, больно прытко разсуждаете.

— Ну, хуже-то этого врятъ ли найдется....

— А тебѣ грѣхъ бы осуждать, строго перебилъ Василій Васильичъ,—онъ для тебя много сдѣлалъ. Безъ него гдѣ бы ты былъ?

Юноша опустилъ голову.

— А второе сказать: не вра чего не знаешь, продолжалъ старшій. — Грубъ да крикунъ: не бѣда еще! Не одно въ немъ это: онъ своихъ-то служащихъ въ люди выводитъ. Развѣ онъ мало добра сдѣлалъ? Возьми хоть (тутъ было названо нѣсколько фамилій) всѣ они теперь большія дѣла дѣлаютъ. А чрезъ кого въ ходъ пошли? Черезъ него же все. То-то.

Василій Васильичъ помолчалъ.

— Конечно, продолжалъ онъ, болѣе занятый ходомъ своихъ мыслей чѣмъ возраженіемъ на слова пріятеля,—конечно, мнѣ неудача. Сколько лѣтъ я у него служу, а много ли получаю? Сущія пустяки: всѣ, кому скажешь, удивляются даже. А я пятнадцатый годъ у него лямку тяну; другіе-то меньше моего служили, и къ нему-то позже поступили, хоть бы Павелъ Ѳедорычъ, а давно ужь въ люди вышли. Что-жь? потерпимъ. На Господа грѣшно роптать. Ты вотъ, Петръ Андреичъ,—продолжалъ Василій Васильичъ болѣе спокойно — ты вотъ разнымъ наукамъ обучаешься, а вѣдь

мы у дьячка: Псалтырь ди Часословъ, тутъ и вся наука. Послѣ ужь будто обшлифовался маленько. И всѣмъ намъ отъ хозяевъ терпѣть приходилось. Ты думаешь онъ самъ черезъ эту школу не прошелъ? Не надѣйся, братъ. Не знаю какъ по-вашему по-ученому, а въ нашемъ быту первое дѣло чтобы терпѣливымъ и выносливымъ быть. Безъ терпѣнья и покорства ни хозяину ты не нуженъ, ни самому себѣ не годенъ. Пошелъ съ мѣста на мѣсто шляться и вѣкъ вертопрашникомъ останешься. Безъ терпѣнья нѣсть человѣкъ: либо тебя похерятъ, либо самъ ты похеришься. То-то. Самъ узнаешь. Какъ кончишь курсъ-то, поступишь въ контору, думаешь: хозяинъ въ тебѣ терпѣливости отыскивать не станетъ? Будетъ; безпремѣнно будетъ. Погоди: я, можетъ, самъ черезъ годъ разбогатѣю, пора вѣдь хозяину меня пристроить. Ну, вотъ тогда поступай ко мнѣ на контору. Конечно, тиранить я тебя не стану, а ужь терпѣливости, сердись, братъ, не сердись, обучу.

И Василій Васильевичъ потрепалъ юношу по плечу, ласково приговаривая: „обучу, братъ Петръ Андреичъ, ей Богу обучу“.

— Что̀ жь, пойдешь ко мнѣ служить, а? весело прибавилъ онъ.

— Благодарю васъ, Василій Васильичъ, только знаете,—къ слову, благо, пришлось—у меня другая мечта есть...

— Что̀ такое?

— Въ университетъ хочу пойти.

— Въ университетъ? съ изумленіемъ спросилъ Василій Васильевичъ и недовѣрчиво поглядѣлъ на пріятеля.

— Вотъ видишь, продолжалъ онъ, немного помол-

чавъ,—совѣту я тебѣ на этотъ счетъ дать не могу, какъ самъ я въ наукахъ человѣкъ темный. Правда, ты у насъ молодецъ, учишься знатно, первымъ по наукаиъ идешь, знай нашихъ Имрецкихъ!—Василій Васильичъ не могъ удержаться чтобы не вспомнить имени роднаго города, по чувству землячества, сильному въ русскомъ человѣкѣ.—Ну, а все-таки, скажи ты мнѣ, зачѣмъ тебѣ въ университетъ? Неужто благороднымъ званіемъ прельстился? Плохое дѣло, братъ Петръ Андреичъ; охъ, плохое!

Василій Васильичъ помолчалъ. Кононовъ не сразу смогъ ему отвѣтить. Университетъ былъ его свѣтлою мечтой, но опредѣленнаго ничего въ этой мечтѣ не было.

„Что̀ ему сказать?“ думалъ Кононовъ,—и ему припомнилось слова одного изъ учителей: „только образованность можетъ ровнять людей; только въ образованномъ обществѣ не заботятся о чинѣ и званіи: тамъ господствуютъ высшіе человѣческіе, въ истинномъ значеніи этого слова, интересы“.

„Сказать что я ради этого иду въ университетъ?“ подумалъ Кононовъ, „нѣтъ, онъ не пойметъ“. Отчего не пойметъ? развѣ это такъ трудно разъяснить? такихъ вопросовъ не задавалъ себѣ юноша. Въ головѣ его мелькомъ припомнился весь разговоръ, даже вообще всѣ мнѣнія Василья Васильича, и Кононову показалось что во многомъ, весьма во многомъ и притомъ важномъ, хоть бы насчетъ откупщика, расходились они. Въ первый разъ пришла ему эта мысль и въ то же время впервые почувствовалъ онъ что Василій Васильичъ становится для него не своимъ, чуждымъ ему человѣкомъ. Вопросъ: „пойметъ, или не пойметъ“ былъ рѣшенъ не логическимъ путемъ.

То же чувство отчужденности мелькнуло и въ головѣ Василья Васильича, какъ услыхалъ онъ про университетъ и недовѣрчиво взглянулъ на юнаго пріятеля. „А я думалъ: онъ мнѣ свой братъ, думалъ пристроить его, помочь выйти въ люди“, не безъ горечи проговорилъ про себя старшій пріятель.

— Я не для чиновъ иду въ университетъ: я учиться хочу, придумалъ наконецъ какъ выразить свою мысль попонятнѣе Кононовъ.

— Да, учиться, повторилъ Василій Васильичъ, выходя изъ задумчивости.—Развѣ что учиться. Это дѣло иное. Вотъ какъ въ Александровскомъ театрѣ Ломоносова представляютъ, или хоть бы Кулибина. Тутъ Божья воля; кому Богъ предназначитъ, и человѣкъ тутъ въ себѣ не властенъ. Вотъ коли изъ тебя второй Ломоносовъ выйдетъ,—ну и намъ, землякамъ, будетъ лестно и мы порадуемся, каковы-молъ наши, на всю Россію гремятъ.

Онъ помолчалъ и началъ снова. И никогда до того Кононовъ не видалъ чтобъ его незлобливый пріятель былъ таково раздраженъ, какъ говоря слѣдующую рѣчь:

— А если для благородства, чтобы въ чиновники выйти, пустое дѣло, и нѣтъ тебѣ моего совѣта. Видывалъ я ихъ въ сенатѣ по торгамъ и другимъ дѣламъ, и въ министерствахъ разныхъ. Господа съ виду ласковые, образованные, а... Нѣтъ, ужь ты лучше торговлей деньги наживай; какъ ни кинь, все почестнѣе будетъ. Для фанаберства опять идти тебѣ въ чиновники не къ чему. Не отцовскія деньги проживать, самъ себя кормить будешь. Я и *нашему*-то удивляюсь; дуракомъ кажись, назвать нельзя, а дѣтей какъ повелъ....

И какъ будто въ доказательство его словъ, въ комнату влетѣлъ юнкеръ, гремя палашомъ и опрокидывая стулья. Онъ заговорилъ быстро и вѣроятно для краткости (время, что ли, было ему дорого) выпускалъ половину буквъ, особенно согласныхъ.

— Вась Васичъ, а Вась Васичъ! Вы ме-я еще юнке-омъ не вида-и? Посмо-ите да по-емте въ ту конату; мнѣ ва.на-о.

И онъ увлекъ его въ другую комнату. Кононовъ слышалъ только: „п-а-о отдамъ, ско-о о-дамъ, п-а-о нужно: т-о-а-ищи. Не трудно было догадаться чего требовалось юнкеру. Онъ былъ удовлетворенъ и пролепетавъ нѣсколько разъ: „бла-о-а-ю. бла-о-а-ю“ улетѣлъ съ такимъ же громомъ съ какимъ влетѣлъ.

Василій Васильичъ вернулся къ Петѣ.

— Тоже въ благородные вылѣзъ, сказалъ онъ угрюмо,—а надъ такими-то и въ театрѣ смѣются. Ну, да и я хорошъ сегодня: всѣхъ пошелъ осуждать. Ты учись, учись; я не тебѣ къ примѣру только. А вотъ про театръ вспомнилъ: билеты взялъ, и у директора тебя до утра отпросилъ. Собирайся-ка.

Разговоръ на томъ и кончился.

Скоро пришлось имъ растаться на долго, навсегда. За полгода до выхода Кононова изъ училища, разъ, придя въ воскресенье къ Василій Васильичу, онъ засталъ его за сборами въ дорогу.

— Ѣду, братъ Петръ Андреичъ, завтра ѣду.

— Куда вы ѣдете?

— Ѣду, братъ, жениться: хозяинъ посылаетъ. Племянница у него есть, отъ сестры; богатое приданое за ней даетъ.

— Да вѣдь вы ее не знаете?

— Затѣмъ и ѣду чтобъ узнать. Онъ и самъ-то не знаетъ; въ глуши живетъ; маленькой видѣлъ. „Помню, говоритъ, добрая дѣвочка была.“ Видишь, все-то ты его осуждаешь, а онъ, гляди, къ роднѣ каковъ добръ! Въ глуши вѣдь живетъ, не на глазахъ: другой-то и не вспомнилъ бы, а и вспомнилъ, пренебрегъ бы. Такъ-то. Такъ, „добрая, говоритъ, поѣзжай, говоритъ, понравится, женись; нѣтъ, какъ знаешь; я не неволю. И безъ того, говоритъ, мнѣ давно пора наградить тебя; все равно, говоритъ, паи тебѣ дамъ.“ А только прибавилъ: „Сладится у васъ дѣло и я радъ буду: лучшаго, говоритъ, мужа я ей не желаю.“ И тутъ меня расхвалилъ—страсть! Видишь братъ, Петръ Андреичъ, не одна брань у него на умѣ, а и брань честнаго человѣка не порочитъ.

— Желаю вамъ, Василій Васильичъ, счастья.

— Да, братъ, пожелай; руку дай на счастье. Былъ сегодня у обѣдни, молился, со слезами молился. „Во всемъ была мнѣ неудача, говорилъ, пошли Господи въ этомъ счастье.“ Господь милостивъ.

Василій Васильичъ не мимо надѣялся на Господню милость: онъ нашелъ свое счастье.

Вечеромъ когда друзья простились какъ слѣдуетъ, Василій Васильичъ взялъ Кононова за руку, пожалъ ее и примолвилъ:

— Извини меня, братъ Петръ Андреичъ, а тяжело мнѣ будетъ коли я тебѣ завѣтнаго слова не скажу. Толковалъ ты мнѣ: въ университетъ идти хочешь. Говоришь: для науки; подумай объ этомъ хорошенько. А если фанаберія тебя манитъ, плюнь на нее; пустое, братъ, дѣло.

Онъ поцѣловалъ юношу и прибавилъ:

— Прости братъ за откровенность. А у меня на душѣ было. Друзьями вѣдь были; сколько лѣтъ вмѣстѣ жили.

Кононовъ сталъ было увѣрять что никогда не забудетъ его.

— Ладно, ладно. быстро проговорилъ Василій Васильичъ.—Уйдешь въ университетъ, отрѣзанымъ ломтемъ станешь. Мало такихъ примѣровъ чтобъ къ землякамъ ворочались, да ихъ помнили; мало. Другой каши, братъ, попробуешь, нашей ѣсть не станешь: сѣра покажется.

Они еще разъ поцѣловались, и юноша ушелъ въ училище со слезами на глазахъ. Всю ночь напролетъ продумалъ онъ о словахъ пріятеля.

II.

Съ отъѣздомъ Василія Васильевича, Кононовъ какъ бы осиротѣлъ. Двѣ комнаты, оставленныя ему благодѣтелемъ, казались пусты. Праздничное одиночество томило его: не съ кѣмъ было живымъ словомъ переброситься. Тутъ послѣ долгаго промежутка припомнился ему дѣдъ; склонилось важное старое лицо надъ толстою книгой и сквозь большія очки смотрятъ покойные стариковскіе глаза. Кононову начинало казаться: есть что-то общее въ его разлукѣ съ Васильемъ Васильевичемъ и дѣдомъ. Но что—было не ясно, смутно. Какое-то чувство зарождалось; какая-то мысль наклевывалась.

Дѣдъ умеръ на третій годъ петербургскаго житья Кононова. До тѣхъ поръ письма оживляли воспоминанія, но затѣмъ они заглохли подъ постоянно вновь отлагавшимися слоями живыхъ впечатлѣній.

— Помни дѣла, сказалъ Василій Васильичъ послѣ

паннихиды за упокой старика,—онъ первый тебя на ноги поставилъ. Не подойди онъ тогда къ нашему,— ты можетъ со временемъ узнаешь легко ли было ему идти-то,—иная судьба тебѣ выпала бы.

Въ день, когда Кононовъ выдержалъ послѣдній экзаменъ, дѣдъ напомнилъ о себѣ внуку. Петра Андреича позвали „въ домъ“ и благодѣтель передалъ ему пакетъ со словами: „Отъ покойнаго твоего дѣда“. Въ пакетѣ былъ банковый въ шестьсотъ рублей билетъ и письмо. Въ письмѣ стояло:

Милый и любезный мой внукъ Петя!

„Письмо это получишь ты когда меня не будетъ въ живыхъ, ибо чувствую приближеніе кончины моей. Видишь, слабъ сталъ и не своею рукой ужь пишу. Письмо сіе послѣднее мое къ тебѣ слово и духовное завѣщаніе.

„Посылаю тебѣ билетъ въ шестьсотъ рублей, съ процентами больше выйдетъ, и прошу общаго благодѣтеля нашего отдать деньги съ письмомъ какъ выдержишь свой курсъ. Вотъ все что̀ я скопилъ для тебя, больше у тебя ничего нѣтъ. Трудись; другіе и съ меньшимъ начинали да не пропадали, а паче всего памятуй слова Спасителевы: „Ищите царствія Божьяго и правды Его, и вся сія приложатся вамъ“.

„Молись за мою грѣшную душу и молись за отца. Грѣшно будетъ коли насъ позабудешь. Помни благодѣтеля и не окажись къ нему неблагодарнымъ. Будь добръ, милостивъ и братолюбивъ; съ терпѣніемъ переноси несчастія. Памятуй всегда: Господь даруетъ, Господь и отнимаетъ.

„Прощай и да будетъ надъ тобой милость Господня. Благослови тебя Христосъ и Его Пресвятая Матерь,

предстательствомъ святаго митрополита Петра, чудотворца всероссійскаго, во имя коего нареченъ.

„Остаюсь отходящій отъ сего тлѣннаго міра, дѣдъ твой и тезоимянникъ

„Петръ Кононовъ.“

Слабая и дрожащая рука подписала письмо. Читая его, Петръ Андреичъ залился слезами. Вотъ онъ, забытый дѣдъ! Тамъ, въ уѣздной глуши, онъ думалъ о своемъ внукѣ; страдалъ за него, пекся о немъ, скопилъ деньженокъ изъ оставшихся отъ былаго богатства крохъ. А онъ помнилъ ли о дѣдѣ? Одинъ смутный образъ остался въ памяти, и только вотъ теперь пробивается къ нему въ грудь нѣчто похожее на чувство. И слѣдомъ вспомнился Василій Васильичъ, тоже словно на вѣкъ отъ него ушедшій. „Отрѣзанъ, насильно оторванъ! Отъ обоихъ оторвали и бросили на произволъ!“ Въ такомъ видѣ вошла въ сознаніе наклевывшаяся мысль и вмѣстѣ съ ней вступило чувство какой-то ото всѣхъ отчужденности. „Ихъ нѣтъ, и ни съ кѣмъ я ни духовно, ни кровно не связанъ!“ Эта рожденная, живая мысль казалось билась въ его крови, трепетала въ нервныхъ содраганіяхъ. Въ сросшемся съ мыслью чувствѣ не было ничего сентиментальнаго, ноющаго, жалобливаго, но не было въ немъ также ничего бодраго и браваго. Оно, это чувство, похоже было на ощущеніе человѣка въ задумчивости зашедшаго въ незнакомое мѣсто: все кажется чуждо, незнакомо, почти враждебно. Такъ и внутренній человѣкъ въ Кононовѣ съ опустѣлою горечью глядѣлъ на все, какъ на чуждое, почти враждебное.

Новая выжитая мысль по сродству напомнила о первой таковой же. Обѣ столкнулись въ сознаніи и оно заработало, стараясь воедино ихъ слить, выразить яс-

нымъ и точнымъ образомъ. Еще впервые Кононовъ опредѣлялъ себя, пристально въ себя заглядывалъ и пыталъ самого себя: „Каковъ-молъ я самъ по себѣ.“ Опредѣленіе не давалось и пребывало въ какомъ-то отуманенномъ, закутанномъ обличьи.

III.

Дѣдовыхъ денегъ всего съ процентами оказалось до восьмисотъ. Петръ Андреичъ смогъ екипироваться по-франтистѣе; раньше онъ побаивался что на публичномъ актѣ будетъ бѣднѣе всѣхъ одѣтъ. Надежда на особую щедрость благодѣтеля была плохая. Во всемъ чуждомъ ему мірѣ, благодѣтель казался молодому человѣку всѣхъ чуждѣе и враждебнѣе.

По выпускѣ откупщикъ не безпокоилъ Кононова около полутора мѣсяца. Квартира Василій Васильича, какъ сказано, точно по привычкѣ, осталась за юношей. Благодѣтель приказалъ звать Петра Андреича ежедневно въ домъ обѣдать.

„Пусть, пока не устроится, подумалъ онъ.—Къ тому жъ онъ теперь не мѣщанинъ уже, а личный почетный гражданинъ“, нашелъ онъ нужнымъ успокоить свою коммерціи-совѣтничью совѣсть.

Чрезъ полтора мѣсяца былъ Петръ Андреичъ позванъ къ „барину въ кабинетъ“ и тамъ произошелъ слѣдующій разговоръ:

— Я тебѣ послѣ ученья отдохнуть далъ, сказалъ благодѣтель.—Но вѣдь книжки читать и прочими финтифлюшками заниматься вѣкъ нельзя. Тебѣ о будущемъ подумать надо. У тебя, я думаю, объ этомъ и заботушки нѣтъ, а пора, пора. Ну что ты съ собой дѣлать намѣренъ, а? Скажи-ка.

Благодѣтель побѣдительно поглядѣлъ на юношу, онъ былъ увѣренъ тотъ скажетъ: „и самъ не знаю“, а онъ расхохочется и наставитъ его на путь истинный. И въ головѣ его стали слагаться одна другой краснорѣчивѣе фразы.

— Я поступаю въ университетъ, прозвучалъ твердый отвѣтъ.

— Да, да, въ университетъ, безсмысленно пролепеталъ благодѣтель, въ то же время дѣлая видъ будто давно объ этомъ зналъ.—Только, спохватился онъ,— по-латыни вѣдь надо...

— Я занимался послѣдній годъ съ товарищемъ, который поступаетъ въ Медико-Хирургическую Академію, а теперь, послѣ выпуска, хожу къ одному студенту и съ нимъ готовлюсь.

— Да, да, со студентомъ, еще безсмысленнѣе пролепеталъ благодѣтель и опять спохватился;—только студентъ вѣдь не даромъ же...

— Я на дѣдушкины деньги...

— Да, да, на дѣдушкины...

Благодѣтель глядѣлъ окончательно безсмысленно и не могъ уже спохватиться. Кирпичъ на его лицѣ все больше и больше проступалъ сквозь лакъ и теперь казалось будто лакъ вовсе слетѣлъ и лицо посыпано багровымъ шершавымъ порошкомъ.

„Сейчасъ разразится“, подумалъ Кононовъ замѣтивъ шершавую красноту на благодѣтелевомъ лицѣ; онъ внутренно съежился, собрался, и мысль его заработала съ ужасающею быстротой. Онъ точно на конѣ скакалъ по ристалищу и замѣчалъ одни препятствія, черезъ что̀ приходилось прыгать. Промежутковъ между препятствіями словно не было. Мысль замѣчала только вы-

воды (препятствія), связующія же сужденья пробрасывала.

„Пятьсотъ рублей, думалъ онъ. Четыре года. Сто двадцать пять. Уроки. Переѣду, сейчасъ же, завтра.“

Въ спокойной рѣчи это сказалось бы такъ:

„Онъ сейчасъ начнетъ упрекать меня и наговоритъ мнѣ дерзостей. Я не стерплю, не намѣренъ терпѣть, и сейчасъ же, или завтра выѣду изъ дома. У меня изъ дѣдовыхъ денегъ осталось пятьсотъ рублей, раздѣливъ ихъ на четыре года университетскаго курса, получится по сто двадцати пяти на годъ. При томъ у меня въ перспективѣ уроки, и я проживу припѣваючи.“

Ошеломленное откупщиково соображеніе точно также спѣшило дѣлать заключенія, мысль точно также замѣчала одни рвы и канавы и борзо ихъ перемахивала. Выводы были таковы:

„Въ университетъ? Всякая шушера! Десятый классъ. Черезъ два года чинъ. Ваше превосходительство!? Моихъ шалопаевъ обгонитъ. Всѣ они пролазы, бестіи! Мѣщанинишка, а я сколько лѣтъ бился!“

Послѣ выводовъ Кононовъ какъ бы ставилъ однѣ точки, благодѣтель же былъ разнообразнѣе въ знакахъ препинанія: у него были и восклицанія и вопросы съ восклицаніями. Изъ чего слѣдуетъ, что у откупщика оказался въ настоящемъ случаѣ большій чѣмъ у Кононова запасъ ироніи. А иронія не сдается скоро, она огрызается, какъ Терситъ подъ ударами Одиссеева жезла.

Мысленная рѣчь откупщика въ болѣе покойномъ тонѣ означала бы слѣдующее: „Я много лѣтъ бился чтобы поставить дѣтей на благородную ногу, а этотъ мѣщанинишка (всѣ они бестіи и съ большими способностями къ пролазничеству), поступивъ въ университетъ

(куда лѣзетъ нынче всякая шушера), выйдетъ съ правомъ на чинъ десятаго класса, станетъ получать новый чинъ черезъ каждые два года и сдѣлается превосходительствомъ раньше моихъ сыновей шалопаевъ."

Какъ ни быстро мчалась мысль обоихъ собесѣдниковъ, тѣмъ не менѣе разговоръ прервался, произошла заминка непріятная для обоихъ. Кононовъ поставилъ себя въ выжидательное положеніе, а потому молчаніе для него было весьма тяжело. Благодѣтель же хотя и чувствовалъ что „сконфузился предъ мальчишкой", благодаря ироническому настроенію, вывертывался, или по крайности выкарабкивался изъ-подъ конфуза. „Да что онъ мнѣ?" размышлялъ откупщикъ. „Сватъ или братъ? Куда хочетъ, туда и поступаетъ. Хоть повѣсится, не заплачу." Почувствовавъ къ юношѣ нѣкоторое презрѣніе онъ взглянулъ на него свысока, а свысока либо громы метать, либо насмѣшливо улыбаться: „ишь молъ копошится тамъ себѣ внизу". Откупщикъ рѣшилъ плюнуть на того, кто ему не былъ ни сватомъ, ни братомъ, и первый плевокъ заключался въ мѣстоимѣніи *вы*, съ которымъ съ этой минуты благодѣтеть сталъ обращаться къ благодѣтельствуемому.

— Да, да, заговорилъ откупщикъ, еще самъ хорошенько не зная что̀ выйдетъ изъ его рѣчи,—*вы* желаете въ университетъ. Извините, я не зналъ о *вашихъ* планахъ, а потому заговорилъ; потому собственно что какъ *вы* воспитывались на мое иждивеніе и притомъ сирота такъ-сказать на моемъ попеченіи остались, что̀ я и чувствую.

Такое, нѣсколько витіеватое, начало понравилось откупщику и онъ продолжалъ въ томъ же тонѣ, уже менѣе обращая вниманія на слушателя, начиная понемногу услаждаться своимъ краснорѣчіемъ.

— Да, да, разглагольствовалъ онъ,—*вы* уже рѣшили касательно судьбы своей, и дѣло это кончено. *Вы*, можетъ-быть, не чувствуете того что̀ *я*, и *вамъ* въ голову не пришло со мной посовѣтоваться. Я охотно помогъ бы *вамъ*, чѣмъ могу, но жаловаться что *вы меня* обошли не стану. У меня чувства, а у *васъ-съ* другія. Вотъ и все-съ; все-съ что̀ я имѣлъ сказать *вамъ-съ*.

Благодѣтель кивнулъ въ знакъ окончанія аудіенціи, и счелъ себя въ правѣ заняться бумагами лежавшими на столѣ. Кононовъ, все ждавшій „сейчасъ де онъ разразится", никакъ не предвидѣлъ такого конца. Онъ былъ смущенъ и переминался съ ноги на ногу. Замѣшательство юноши нравилось откупщику: онъ слѣдилъ за нимъ однимъ глазкомъ. Выпалъ удобный случай усилить это замѣшательство.

— Извините-съ, съ пріятною улыбкой сказалъ благодѣтель,—но мнѣ необходимо заняться кое-чѣмъ и если *вамъ* не въ трудъ, то прикажите мимоходомъ позвать ко мнѣ управляющаго.

Поглядывая однимъ глазкомъ, откупщикъ съ удовольствіемъ замѣчалъ что юноша конфузится все больше, какъ онъ помялся на мѣстѣ и наконецъ поклонился и вышелъ.

— Скотъ безчувственный! почти вслухъ сказалъ откупщикъ по уходѣ юноши.—Хоть бы извинился! Жди отъ нихъ благодарности. Какже!

И благодѣтель раздумался о людской неблагодарности. Какъ многіе благодѣтели, и онъ, тратя ежегодно въ теченіи семи лѣтъ извѣстную сумму на Кононова, полагалъ что такая расходная статья, ничтожная для его богатства, но важная для мальчика, должна въ благодѣтельствуемомъ возбудить нѣжныя чувства бла-

годарности. Говоря о своихъ чувствахъ, онъ думалъ объ истраченныхъ деньгахъ, и не замѣчалъ этого. Но если деньги норовятъ къ деньгамъ, то чувства возбуждаются чувствами же.

Кононовъ, придя въ свою комнату, долго не могъ сообразиться. Упрекъ благодѣтеля что съ нимъ не посовѣтовались казался не лишеннымъ основанія. „Какъ бы то ни было, а все-жь я ему многимъ обязанъ!“ Несмотря на такое сознаніе, Кононовъ не почувствовалъ сердечной благодарности къ благодѣтелю. Мысль вошла въ сознаніе холодно, отвлеченно, какъ выводъ изъ факта; иная мысль, старинная дума о томъ почему онъ „спускаетъ“ благодѣтелю, невидимо подсказывала иныя соображенія. „А скажи я ему раньше, такъ бы онъ и помогъ! Или не оставь мнѣ дѣдъ этихъ денегъ, сталъ бы онъ заботиться чтобъ я въ университетъ пошелъ!“ И много, въ томъ же отчуждающемъ тонѣ, приходило въ голову Кононову.

IV.

Кононовъ, того не замѣчая, начиналъ раздумывать о благодѣтелѣ не какъ о человѣкѣ ему еще близкомъ, съ кѣмъ придется, можетъ, еще долго прожить подъ одною кровлей, а какъ о когда-то близкомъ человѣкѣ. Внутренно связь между ними уже порвалась, хотя внѣшнія отношенія (за исключеніемъ замѣны личнаго мѣстоименія единственнаго числа таковымъ же множественнаго) продолжались тѣ же. Выводъ сдѣланный Коновымъ во время разговора съ откупщикомъ, относительно необходимости переѣзда на вольную квартиру, на дѣлѣ ему не пригодился. Онъ остался у благодѣ-

теля въ домѣ и по-прежнему неизмѣнно каждый день приглашался къ обѣду. Благодѣтель повидимому столь же мало какъ и прежде обращалъ на него вниманія, но только повидимому. Ироническое отношеніе къ будущему „его превосходительству“ не пропало для него даромъ. Оно поджигалось и просилось наружу каждый разъ какъ онъ видѣлъ юношу. Онъ радъ былъ бы случаю привязаться къ Кононову и выпѣть ему: молъ хотя ты—нѣтъ, не ты, а вы, и даже непремѣнно вы—хотя вы и будущій генералъ, покуда все-таки ничтожество. Но такъ, ни съ того ни съ сего, накинуться, казалось откупщику не ладно: это значило бы по пустякамъ истратить дорогіе заряды. Былъ онъ теперь со своимъ вскормленникомъ на деликатной ногѣ, и внушеніе должно быть отмѣнно-деликатно.

Кононовъ уже три мѣсяца ходилъ въ треугольной шляпѣ и при шпагѣ, какъ представился случай. Обѣдали; за столомъ были только свои. Кононовъ о чемъ-то задумался и глаза его случайно были устремлены въ ту сторону гдѣ сидѣла меньшая хозяйская дочка, четырнадцатилѣтній подростокъ съ некрасивымъ и веснушчатымъ лицомъ. Между двухъ блюдъ благодѣтель уловилъ такое обстоятельство и долго крѣпился, боясь попасть въ просакъ. Но Кононова глаза глядѣли въ ту же сторону, и откупщикъ убѣдился въ справедливости своего открытія.

— Вы, господинъ студентъ, громогласно началъ онъ.

Воззваніе было сдѣлано таково громко что всѣ частные разговоры умолкли.

— Вы, господинъ студентъ, продолжалъ благодѣтель довольный эффектомъ воззванія,—вы, какъ я уже съ полчаса замѣчаю, что-то сильно заглядываетесь на

мою меньшую дочку. Конечно, вы можетъ-быть и важнымъ человѣкомъ станете, но покуда еще рано, еще слишкомъ молоды; вы извините, но вы еще поросеночекъ, у котораго молоко на губахъ не обсохло.

Благодѣтель былъ доволенъ деликатностію своего внушенія и случай почему оно сдѣлано свойства деликатнаго, и вылилось оно въ формѣ наиделикатнѣйшей; не было грубо сказано: „поросенокъ“ („а вѣдь и свиньей могъ бы назвать“, мелькнуло въ головѣ), а нѣжно и вѣжливо: „поросеночекъ“. Благодѣтель, не безъ предвкушенія удовольствія, ждалъ слѣдующаго эффекта: послышатся де легкія хихиканья, господинъ студентъ уткнетъ рыло въ тарелку и сгоритъ отъ стыда; благодѣтель чувствовалъ уже облегченіе въ сердцѣ и благосклонно прощалъ господину студенту его генеральство. Эффектъ произошелъ, но съ другой стороны. Послышалось не хихиканье, а какъ съ шумомъ отодвинулся стулъ. Благодѣтель взглянувъ на шумъ, увидѣлъ какъ господинъ студентъ торопливо и вздрагивая плечьми шелъ къ двери. Лицо благодѣтеля побагровѣло и ашаршавилось; онъ хотѣлъ крикнуть, но слова сперлись въ горлѣ. Всѣ затаили дыханіе и сидѣли опустивъ глаза; меньшая дочка горѣла какъ маковъ цвѣтъ и глотала крупныя слезы. Лакей, котораго Кононовъ, отодвигая стулъ, чуть было не сшибъ съ ногъ, стоялъ опустивъ вертикально тарелку; съ тарелки падали цыплячьи косточки и капалъ соусъ. Лакей разинувъ ротъ глядѣлъ на дверь куда вышелъ господинъ студентъ. Глупое лакейское лицо первое попалось подъ глаза благодѣтелю и на него-то была излита чаша гнѣва.

— Какъ ты смѣешь! собравшись съ духомъ гар-

кнулъ откупщикъ.—Вонъ, и чтобъ духу твоего здѣсь не было! Болванъ.

Слова эти несомнѣнно относились къ ушедшему Кононову, но лакей тѣмъ не менѣе пострадалъ.

Что̀ чувствовалъ Кононовъ прибѣжавъ въ свою комнату? Какъ бурлило въ головѣ, какъ клокотало въ груди! Никогда еще, казалось ему, не испытывалъ онъ такого ужаснаго, такого незаслуженнаго оскорбленія.

„И ты вполнѣ заслужилъ его, бранилъ онъ самого себя.—Да, вполнѣ. Ты давно, еще тогда, рѣшилъ переѣхать, и остался. И наказанъ теперь за эту подлость, за эту сдѣлку съ совѣстью. И зачѣмъ было оставаться? Зачѣмъ было даромъ ѣсть чужой хлѣбъ? О, какъ гадко, скверно, безобразно! И во всемъ *я* виноватъ, одинъ *я*!“

Теперь онъ чувствовалъ: не только де нельзя оставаться въ благодѣтелевомъ домѣ, но ни минуты нельзя пробыть въ этой комнатѣ. Теперь онъ ощущалъ рѣшимость величайшую. Казалось ему, что никакія препятствія не могли бы поколебать его; не будь у него денегъ, онъ все равно уѣхалъ бы тотчасъ же. Людямъ слабовольнымъ всегда необычайнымъ кажется малѣйшее напряженіе ихъ воли.

Мѣшкать некогда. Кононовъ схватилъ одѣяло, бросилъ на полъ и пошелъ швырять на него книги, вещи, платье, бѣлье. Потомъ съ необычайнымъ усердіемъ сталъ мять и комкать набросанную кучу. Долго ему не удавалось связать узелъ: то книга вывалится, то проклятая калоша помѣшаетъ. И онъ снова начиналъ мять, комкать, надавливать. Наконецъ-то все готово. Кононовъ тащитъ узелъ; на лѣстницѣ онъ развязывается и опять идетъ возня. Но вотъ онъ выбѣжалъ

за ворота, вскочилъ на перваго попавшагося извощика.

— Куда прикажете?

„Въ самомъ дѣлѣ куда?“ подумалъ Кононовъ и безъ дальнѣйшей думы громко сказалъ адресъ.

Онъ отправился къ Полѣнову, студенту третьяго курса, у котораго бралъ уроки предъ поступленіемъ въ университетъ. Больше дѣваться было некуда. Полѣнова на бѣду не оказалось дома. Сложивъ узелъ въ углу, Кононовъ пошелъ бродить по Васильевскому острову. Ему требовалось угомониться, ему нужна была физическая усталость.

Возня съ узломъ, переѣздъ, понуканье извощика, втаскиванье узла въ пятый этажъ и прочая,—все это развлекало молодаго человѣка. Теперь, оставшись одинъ съ своими мыслями, онъ принялся перетряхивать недавній соръ. Онъ началъ, какъ по приходѣ въ свою комнату, со злости и брани на самого себя. Но исходъ былъ уже исчерпанъ, рѣшеніе приведено въ дѣйствіе, и мысль обратилась вспять, къ тому что̀ предшествовало злобѣ на самого себя. Въ глазахъ металось веснушчатое лицо, въ ушахъ звучало обидное слово. Обида теперь казалось сильнѣе, язвительнѣе, чѣмъ въ минуту какъ была нанесена. Таково, впрочемъ, свойство всякой раны. Чувство обиды вызывало образъ обидчика; злость на самого перекинулась на благодѣтеля. Мысль давняя мысль, работала въ учащенномъ темпѣ. Къ концу прогулки чуть ли не оказалось: и взялъ-то его благодѣтель отъ дѣда, и воспитывалъ-то его единственно того ради чтобъ за однимъ прекраснымъ обѣдомъ обозвать „поросеночкомъ“.

„И какую подлую причину выдумалъ, горячился молодой человѣкъ,—будто его дочку влюбить въ себя хо-

чу, чтобы жениться на ея деньгахъ. Вѣдь она уродъ, и онъ самъ знаетъ что уродъ. А теперь, поди, благовѣстить пойдетъ о моей низости и всѣ негодяемъ меня звать станутъ. Скажутъ: какъ было изъ дому не выгнать! Да, да, нечего себя обманывать: меня выгнали, въ зашей вытолкали! И во всемъ я виноватъ, я самъ! Но онъ—какая подлость! Я знаю его, я хорошо его знаю; тутъ все было предумышленно.“

Новаго въ разсужденіяхъ молодаго человѣка была собственно увѣренность что онъ знаетъ, хорошо знаетъ благодѣтеля. Люди, когда накопившаяся за долгое время антипатія найдетъ себѣ выходъ въ ссорѣ или размолвкѣ, не рѣдко въ сердцахъ доходятъ до такого же точнаго и положительнаго знанія одинъ другаго. Многіе названные ученые, подъ напоромъ своихъ страстишекъ и мыслишекъ, доходятъ до столь же положительныхъ знаній историческихъ лицъ и событій. И такихъ знаній клиномъ изъ человѣка не выбьешь: они страдаютъ папскою болѣзнью, вѣрой въ свою непогрѣшимость.

Кононовъ дважды съ невольной прогулки забѣгалъ къ Полѣнову и все не заставалъ его дома. Наконецъ тотъ явился. Кононовъ откровенно разказалъ все съ нимъ случившееся; только слова „поросеночекъ“ языкъ выговорить не повернулся.

Полѣновъ похвалилъ Кононова за переѣздъ отъ благодѣтеля.

— Только не стѣсню ли я васъ?

— Вотъ еще глупости!

— Мнѣ всего дня на два, пока не пріищу комнаты.

— Да оставьте этотъ вздоръ.

Они помолчали.

— Я думаю написать ему письмо, сказалъ немного погодя Кононовъ.

— Зачѣмъ это?

— Я хочу высказать ему все; безъ всякой грубости и дерзости, но все, все...

— Какъ знаете; по-моему лучше плюнуть.

— Но вѣдь надо же объяснить ему что я уѣхалъ на всегда...

— И безъ того узнаетъ.

— Но что я никогда, никогда не возвращусь...

Полѣновъ помолчалъ.

— Нѣтъ, я напишу, рѣшительно сказалъ Кононовъ.

Полѣновъ опять промолчалъ.

Кононовъ послѣ чаю принялся за письмо. Онъ не могъ не писать; почему это было необходимо нужно, онъ не сумѣлъ бы объяснить Полѣнову, но чувствовалъ что дѣлаетъ жизненное, непреложное дѣло. Ему требовалось нравственно отдѣлить самого себя отъ благодѣтеля, провести между нимъ и собою непереходную черту; возможно яснѣе и обстоятельнѣе выразить ихъ обоюдное несходство. Потребность отрицательнаго самоопредѣленія (хотя онъ и не звалъ ее такимъ именемъ) водила перомъ Кононова. Много изорвалъ онъ бумаги и остался только тогда доволенъ, когда письмо вышло до-нельзя безобразно, и не потому чтобы побужденія и мысли были сами по себѣ безобразны, а въ ту силу что невозможно иначе ихъ выразить въ подобномъ письмѣ къ своему противнику: онъ вѣчно тутъ предъ вашими глазами, вы ему втолковываете, точно съ нимъ спорите, и это обстоятельство путаетъ мысль, придаетъ ей особый, несвойственный ей самой по себѣ, отпеча-

токъ. Удержаться написать такое письмо трудно и даже незачѣмъ удерживаться, но написавъ не слѣдуетъ посылать.

Чего-чего не оказалось на этомъ лоскуткѣ бумаги! Было тамъ и самооправданіе, и слишкомъ пространныя увѣренія что у него и въ мысляхъ того не было въ чемъ благодѣтель его заподозрилъ, и болѣе краткія увѣренія въ вѣчной благодарности за воспитаніе и необыкновенно подробное изъясненіе причинъ почему имъ слѣдуетъ разстаться навсегда. Надъ послѣднимъ пунктомъ особенно потѣлъ сочинитель письма; являлись все новыя и новыя причины, все болѣе и болѣе тонкіе оттѣнки, хотѣлось изложить ихъ возможно яснѣе, обстоятельнѣе и язвительнѣе. Язвительность требовалась самаго высокаго разбора, безъ тѣни грубости. Это мѣсто письма должно было устыдить благодѣтеля и показать ему всю разницу между его грубою неотесанностію и вѣжливо-изящнымъ упрекомъ. И это-то употѣлое мѣсто, вслѣдствіе натуги съ какою писалось, вышло ужасно спутаннымъ, туманнымъ и совсѣмъ не язвительнымъ.

Полѣновъ уснулъ, не дождавшись пока Кононовъ кончитъ письмо; проснувшись на другой день, онъ увидалъ его совсѣмъ одѣтымъ.

— Куда вы такъ рано собрались?

— Я относилъ письмо.

— А-а!

Этого простаго восклицанія было достаточно чтобы Кононовъ почувствовалъ всю неловкость своего поступка; не самого написанія письма, а того что оно отправлено по адресу. И чувство этой неловкости, какъ догадается внимательный читатель, сильнѣе всего при воспоминаніи тревожило Кононова.

Дорого далъ бы Кононовъ чтобы воротить письмо, но благодѣтель вставалъ рано и ему тотчасъ подавали всѣ полученныя письма. Благодѣтелю, понятно, было не особенно пріятно читать посланіе будущаго генерала, но впечатлѣніе оно произвело совсѣмъ не то какого, сочиняя, ждалъ Кононовъ. Прочтя длинное увѣреніе что у Кононова и въ мысляхъ не было въ чемъ онъ его обвинялъ, благодѣтель подумалъ: „Э да никакъ онъ и взаправду влопался въ мою дуреху,—ну, значитъ, слава Богу, что со двора долой". На увѣренія въ благодарности промолвилъ: „знаемъ эти пѣсни, да въ другой разъ не заслушаемся", а дойдя до знаменитаго язвительнаго мѣста—о, еслибъ сочинитель предвидѣлъ это!—благодѣтель просто-на-просто скомкалъ письмо и бросилъ въ корзинку.

— Тьфу, чортъ, сказалъ онъ—какую нескладицу нагородилъ! И понять ничего нельзя: я думалъ онъ умнѣе.

И благодѣтель рѣшилъ: „ну, въ люди ему не выйти, нѣтъ; а развѣ что по ученой части отличится".

V.

Кононовъ переѣхалъ къ Полѣнову потому что некуда было дѣться, но будь у него двадцать мѣстъ куда дѣваться, врядъ ли нашелъ бы онъ пріютъ лучше, чѣмъ у Полѣнова. Судьба въ его лицѣ послала Кононову какъ бы втораго Василій Васильича.

Полѣновъ, первое дѣло, былъ человѣкъ простой. Онъ далъ Кононову день-другой поуспокоиться, поосмотрѣться, и на третій напрямки, безъ всякихъ подходовъ и обиняковъ, освѣдомился о состояніи „государ-

ственнаго казначейства“ своего бывшаго ученика. Узнавъ что у него пятьсотъ съ хвостикомъ рублей, онъ назвалъ Кононова Крезомъ и объявилъ что ему „бабушка ворожитъ“.

— Деньги всѣ у себя держать нечего, хоть и пустыя, а все жь процентишки получать будете, рѣшилъ онъ и взялся пристроить капиталъ.—Ну, хоть вы и богачъ, продолжалъ онъ,—а все жь сто двадцати пяти рублей въ годъ маловато, проценты къ тому же каждый годъ уменьшаться будутъ: капиталъ брать придется, а потому: какъ вы на счетъ уроковъ?

Кононовъ отвѣчалъ: молъ и радъ бы да гдѣ достать. Доставанье Полѣновъ призналъ своимъ дѣломъ. И черезъ недѣлю у Кононова были уроки, сперва плохенькіе, а тамъ и получше. Кононову оставалось только удивляться житейской умѣлости товарища да благодарить его.

— Ну вы эти нѣжности оставьте, замѣтилъ Полѣновъ.—По-моему, между товарищами всѣ эти изъявленія благодарности и прочее не годятся. Сказалъ: спасибо, и баста.

— Ну, спасибо вамъ!

— И баста.

Еще черезъ мѣсяцъ, или около того, Полѣновъ, возвратясь изъ гостей, освѣдомился у бывшаго ученика, каковъ онъ въ языкахъ?

— Ничего себѣ.

— Переводить можете?

— Думаю что могу. Для себя, случалось, упражнялся. Будто не дурно выходило.

— Съ нѣмецкаго и французскаго?

— Пожалуй и съ аглицкаго.

— Ладно. Завтра же отправимтесь.

И у Кононова явился новый источникъ дохода, притомъ довольно порядочный. Мѣсяца черезъ три, онъ жилъ уже припѣваючи и могъ дозволить себѣ извѣстныя роскоши: и книжку нужную купить, и въ театръ сходить. И все это сдѣлалось такъ быстро, безъ всякихъ съ его стороны усилій. Какъ было не повторить вслѣдъ за Полѣновымъ: бабушка молъ вамъ ворожитъ?

Другое дѣло, Полѣновъ былъ человѣкъ съ яснымъ и твердымъ умомъ, съ ясными и опредѣленными отношеніями ко всему на свѣтѣ. Сынъ небогатаго и великосемейнаго дворянина, онъ рано долженъ былъ начать трудъ изъ-за куска насущнаго хлѣба; изъ дому онъ не только не бралъ ни гроша, но порой помогалъ семьѣ. Разъ онъ скопилъ деньжонокъ и думалъ на лѣто съѣздить въ родную деревнюшку, гдѣ всякій кустикъ былъ ему милъ и дорогъ, гдѣ онъ любилъ всѣхъ, включительно до подслѣпаго и приглухаго старика-повара, все переваривавшаго и перевиравшаго. Ужь день отъѣзда былъ назначенъ, какъ пришло отъ отца письмо, гдѣ тотъ жаловался на плохія обстоятельства. Сынъ, не долго думая, принялся хлопотать о кондиціи и сумѣлъ найти выгодную. Онъ взялъ половину денегъ впередъ, приложилъ къ нимъ часть изъ скопленныхъ, оставивъ себѣ буквально только на табакъ, и послалъ отцу. Изъ остальной отъ кондиціи половины, онъ удержалъ сколько было необходимо чтобъ перебиться въ Петербургѣ до пріисканія уроковъ, а прочее послалъ отцу же. Ему и въ голову не приходило даже про себя жаловаться: вотъ де обстоятельства лишили меня удовольствія побывать дома, еще меньше думалъ онъ, что сдѣлалъ хорошее дѣло. Любить семью, помогать ей, жить для нея

Полѣнову было столько же естественно какъ рыбѣ жить въ водѣ. „Развѣ можно не любить семьи, или чтобъ семья тебя не любила? раздумывалъ онъ.—Бываютъ, правда, такія несчастія, но Господи! случись со мной подобное, я жить бы не могъ.“ Университетъ былъ для него иного рода семьей. Товарищъ такой же братъ; не помочь товарищу, не помочь брату, или отцу. Все это вещи не мыслимыя. Случалось Полѣнову нападать на негодяевъ, которые либо надували его, либо пакости про него распускали. „Въ семьѣ не безъ урода“, утѣшался тогда Полѣновъ,—это все равно, что еслибы братъ вышелъ негодяй. Неужто гнать бы его отъ порога? Нѣтъ, все помочь, поддержать слѣдуетъ.“ Огорчаться подобными случаями для него казалось такою же глупостью какъ не жениться потому что жена можетъ измѣнить, или отвергать семью на томъ основаніи что попадаются плуты отцы и сыновья негодяи.

То было дорого въ Полѣновѣ что его убѣжденія и вѣрованія выросли и сложились вмѣстѣ съ нимъ; это придавало имъ особую крѣпость и стойкость. Онъ не сдѣлался, а выросъ въ такого человѣка какимъ былъ. „Сама жизнь тебя выпестовала“, говорилъ Полѣнову одинъ изъ его пріятелей, Чулковъ.

И Полѣновъ любилъ эту выпестовавшую его жизнь, понималъ и цѣнилъ ея хорошее. Онъ не былъ слѣпъ и къ ея дурному, но не пялилъ безъ устали глазъ только на него, и другихъ пялить не приглашалъ: поглядите молъ какой я хорошій, кромѣ дурнаго вокругъ ничего не вижу. Когда въ послѣдствіи пріятели вспоминали про Полѣнова, у всѣхъ и на умѣ, и на языкѣ было одно слово: „славный“ молъ человѣкъ. И у всѣхъ славно же становилось на сердцѣ.

Кононову съ Полѣновымъ жилось легко и ладно. Надо сказать что у Полѣновской хозяйки, вскорѣ послѣ переѣзда Кононова отъ откупщика, нашлась подходящая комната; онъ поселился въ ней и друзья прожили стѣна о стѣну до самаго отъѣзда старшаго изъ Петербурга. Полѣновъ полюбилъ и привязялся къ своему ближнему сосѣду; всячески заботился о немъ, баловалъ даже его. Не говоря ужь о доставленіи уроковъ и переводовъ, онъ думалъ о малѣйшихъ для пріятеля удобствахъ. Пойдетъ Кононовъ въ театръ, Полѣновъ распорядится чтобъ ровно къ его приходу самоваръ былъ готовъ. И такъ-то во всемъ, какъ за любимымъ младшимъ братомъ, ухаживалъ за нимъ. Кононовъ не только не замѣчалъ, не подозрѣвалъ даже половины этихъ заботъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Счастливы сочинители имѣющіе въ виду поучить читателя, показать ему вредъ ли, пользу ли чего-нибудь. Нужно такому сочинителю доказать вредъ сѣченія, начинаетъ онъ лущить героя и лущитъ всласть день и ночь, въ каждой главѣ, на каждой страницѣ. Другой, отъ такихъ-то истязаній въ мочалу истрепался бы и Богу душу отдалъ, но сочиненный герой выносливъ. Черезъ пять, или болѣе страницъ требуется оному же сочинителю показать какъ зараждается въ человѣчествѣ благодѣтельная идея протеста (идея ей же сочинитель поклоняется, не замѣчая что по его же разказу она выходитъ благодѣтельнымъ слѣдствіемъ усиленнаго лущенія)—герой и на это покладистъ. Eins, zwei, drei!

и въ его головѣ мигомъ слагается идея протеста, въ добавокъ точь-точь въ такомъ видѣ въ какомъ потребно сочинителю. Еще черезъ десять страницъ, необходимо сочинителю сдѣлать героя человѣкомъ „развитымъ", достойнымъ сыномъ XIX вѣка (иначе самъ сочинитель счелъ бы себя плохимъ сочинителемъ),—герой и на такое дѣло гожъ: извѣстно, русскій человѣкъ на все способенъ. И вотъ неизвѣстно откуда, даже не изъ Америки, является геніальный товарищъ, или не менѣе геніальный столичный житель, все знающій, все испытавшій и извѣдавшій, несмотра на двадцатилѣтній возрастъ. И вступаетъ сей геній въ темную, освѣщенную мерцающими сальными огарками, комнату, гдѣ въ ожиданіи свѣта добродѣтельное юношество пьетъ чай съ прокислыми сухарями. Только войдетъ, всѣ ему, какъ птенцы маткѣ, въ ротъ уставятся, а онъ ткнетъ пальцемъ въ запотѣлое оконце, и изъ устъ его, прямо въ ушееса юношества излетятъ таковы слова: „вотъ гдѣ свѣтъ!" И тотчасъ же всѣ, а пуще всѣхъ герой, увѣруютъ что свѣтъ именно тамъ, куда пальцемъ ткнуто, и никому, а паче всѣхъ герою, не придетъ въ голову: не только де свѣту что̀ въ оконцѣ. Словомъ, укладистый герой, по пословицѣ, что мѣшокъ: что̀ положатъ—несетъ.

Счастливы такіе сочинители и великая награда ихъ ждетъ: критики, ставящіе себѣ въ вящее достоинство свое тупое пониманіе, поймутъ ихъ. Хороши и удобны, слова нѣтъ, новоизобрѣтенные патентованные мѣшки-герои! Охъ куда удобнѣе живыхъ людей, особенно тѣхъ что̀ живутъ умственною жизнью, у кого въ головѣ свой царь есть, да такой царь что подобно многимъ инымъ царямъ начнетъ мудрить и передѣлывать чело-

вѣка, вершить его подъ свою мѣру, да вдобавокъ самого себя считаетъ настоящимъ царемъ, рѣшителемъ судебъ, кому не токмо за страхъ, но и за совѣсть повиноваться надо.

Неудобство такого живаго человѣка, между прочимъ, заключается въ трудности, почти невозможности услѣдить за ходомъ его умственнаго развитія. Откуда и когда взялась, или какъ сложилась та или иная мысль? Почему эта вотъ мысль побѣдила другія, или стала замѣтнѣе другихъ, сдѣлалась любимицей ума? Отчего данная мысль поразила умъ при тѣхъ, а не иныхъ обстоятельствахъ? Отчего третья врѣзалась не въ то время какъ дошла прямо, изъ непосредственнаго источника, а при получкѣ изъ вторыхъ, третьихъ, Богъ знаетъ какихъ рукъ, видоизмѣненная, можетъ-быть искаженная? Насколько, наконецъ, мысль, рожденная ли, пришлая ли, сама измѣнилась при столкновеніи съ другими, какой оттѣнокъ отъ нихъ получила и въ свою очередь насколько ихъ измѣнила, насколько придала имъ свой оттѣнокъ? Если у писателей, чьи мысли и думы отпечатываются въ ихъ твореніяхъ трудно прослѣдить шагъ за шагомъ такое развитіе и почти невозможно возстановить ихъ полный умственный обликъ,— то гдѣ ключъ къ такому дѣлу относительнаго частнаго человѣка, не оставившаго подобныхъ какъ бы окаменѣлыхъ слѣдовъ? Я предполагаю человѣка, который мыслитъ, изучаетъ себя, стремится къ самоопредѣленію. Не тутъ ли, не въ этомъ ли самоопредѣленіи разгадка? Но оно само начинается когда матеріалу накоплено уже довольно и зданіе на половину готово; переходныя же ступени, между тѣмъ, стерлись, не удержались ясно въ памяти: ея вниманіе устремлялось и устрем-

лено на храненіе и скрѣпу матеріаловъ, добытыхъ и добываемыхъ.

Предположите такую задачу: откуда и въ какое относительно время натаскала ласточка себѣ на гнѣздо камешковъ, волосинокъ, грудокъ глины, каждый и каждую изъ нихъ. Задача не невозможная, но и такая сравнительно простая задача потребуетъ много времени, трудовъ, соображеній самыхъ остроумныхъ. Умственное гнѣздо вьется почти также безсознательно какъ птичье, но та великая между ними разница что въ немъ, въ свитомъ умомъ гнѣздѣ, живы и дышутъ каждый камешекъ, каждая песчинка и грудочка: эти живыя грудочки множатся и пораждаютъ новыя и сами между собою не липкою жидкостью склеены, срослись живою плотью, составили живое же цѣлое. И это цѣлое, и все цѣликомъ и по частямъ, развивается, доходитъ до возможнаго совершенства, болѣетъ, выздоравливаетъ, умираетъ: умираетъ душевное, воскресаетъ духовное, по апостольскому слову.

Кононовъ былъ человѣкъ мыслящій, стремился къ самоопредѣленію. Постепенно у него выработался взглядъ на себя, своя теорія, создался идеалъ котораго онъ стремился достигнуть. Но какъ зародилась и развилась эта теорія? Насколько она была слѣдствіемъ самоизученіа и по какому методу, достаточно ли точно и осмотрительно велось это изученіе? Много ли схватила теорія жизненныхъ чертъ, или въ ней оказалось достаточно мнимыхъ? Раждалась ли она свободно изъ жизни, или пришлая старалась подчинить себѣ жизнь?

Какъ ни трудна задача, попытаемся прослѣдить ходъ умственнаго развитія Кононова. Благо если уда-

стся намѣтить его точками, и дай Богъ чтобъ эти точки недалеко уклонялись отъ направляющей.

II.

Кононовъ первоначально поступилъ на математическій факультетъ, но пробылъ на немъ всего полгода. Нельзя сказать чтобъ у него вовсе не было способности къ математикѣ; онъ легко слѣдилъ за преемственностью выводовъ и самый ходъ доказательства занималъ его; онъ поражался красотой формулы и былъ даже въ силахъ оцѣнить эту красоту, но доказательство кончено, послѣдній выводъ сдѣланъ и выраженъ строгою, сжатою и красивою формулой—и память не удерживала того хода за каждымъ шагомъ котораго слѣдила внимательно, съ любовнымъ любопытствомъ; красивая формула оставляла впечатлѣніе умственной красоты, но сама ускользала. Словомъ изо всей работы не выходило плотной, по всей длинѣ ровно ссученной нити; по мѣстамъ нить была ссучена на-диво, отдѣлка тонкая, но, вершокъ дальше, шла дряблая, расползалась при легкомъ рывкѣ. Кононовъ замѣтилъ это и приписалъ своей неспособности къ математикѣ. Онъ рѣшилъ перемѣнить факультетъ. Но какой выбрать? Нравилось и тянуло и то, и другое. Онъ перешелъ на камеральный. „Покуда", утѣшалъ онъ себя. Такое утѣшеніе было необходимо въ виду того что многіе чьимъ мнѣніемъ онъ дорожилъ, называли такой переходъ „изъ поповъ въ дьяконы"; необходимо было оно и для себя: вѣдь не затѣмъ же поступлено въ университетъ чтобы только кончить курсъ! Зачѣмъ же? допросилъ онъ себя. Не ради чиновъ, — это дѣло рѣшеное, сданное въ ар-

хивъ еще при Василій Васильичѣ; не для правъ—такое ученіе кончено, права, насколько они нужны, добыты. Для чего же? Ради ли изученія какой отдѣльной науки или чтобы стать человѣкомъ образованнымъ? Дума надъ этими вопросами натолкнула его на теорію.

Теорія постепенно вырабатывалась, окрѣпала и когда довольно окрѣпла, авторъ постарался придать ей надежащій видъ. Книги, столкновеніе съ людьми, сличенія себя съ товарищами, развитіе собственныхъ мыслей,—все несло свой вкладъ въ теорію. И теорія, надо правду сказать, во многомъ отвѣчала дѣйствительности. Въ окончательномъ видѣ она гласила слѣдующее: надо развивать свою личность; всѣ препятствія къ развитію должны быть устранены. Главнымъ двигателемъ свободной личности полагался талантъ; не спеціальный, къ чему-нибудь талантъ, не предрасположенность къ извѣстнымъ занятіямъ, а талантливый умъ, стремящійся обогатить себя знаніями, развить свои лучшія качества, постигнуть свою конгеніальность съ тѣми или другими великими дѣятелями, примкнуть къ нимъ и дозрѣть такъ-сказать подъ ихъ сѣнью. Талантливая личность въ высшей степени человѣчна, и ничто человѣческое не должно быть ей чуждо. Она не можетъ закупориться въ спеціальность, подъ страхомъ обузить свои стремленія, или стѣснить свою свободу. Такой личности противополагался труженикъ. Труженикъ человѣкъ почтенный, болѣе или менѣе узкій спеціалистъ, чернорабочій умственной республики. Ему дается усидчивымъ трудомъ что̀ таланту открывается безъ усилій; притомъ онъ никогда не обниметъ въ цѣлости всего подлежащаго познаванію; частности приковываютъ его и никогда ему не взлетѣть надъ ними.

Труженикъ—куликъ; онъ вѣчно хвалитъ свое болото, и это болото вовсе не такъ дурно какъ полагаютъ; въ немъ своя дѣятельная жизнь, но обуженая, безъ широкаго простора. Талантъ же соколомъ взмываетъ въ высь; еще въ старину знали каковъ красносмотрителенъ высокаго сокола летъ.

Кононовъ чувствовалъ въ себѣ такой талантъ и дѣлалъ все что̀ могъ и умѣлъ для его развитія. Онъ благословлялъ свой, вначалѣ необдуманный, переходъ на камеральное отдѣленіе. Числиться на немъ представляло несомнѣнныя удобства; этимъ, первое, легко выполнялась формальная сторона университетскаго курса; затѣмъ, самое ея выполненіе не требовало многаго времени и дозволяло посѣщать любыя лекціи другихъ факультетовъ, заниматься чѣмъ любо, и наконецъ, главное, свобода развитія личности ни мало не стѣснялась, не скривлялась уклоненіемъ въ спеціальность.

Не должно думать чтобы талантливая личность въ стремленіи всесторонне развить себя, довольствовалась шапочнымъ знакомствомъ съ предметами, задѣвала о нихъ концомъ крыла, только задѣть бы, набрасывалась на все, только бы наполнить умственную торбу. Нѣтъ, такая забава годна развѣ для пустоцвѣтовъ, для скороспѣлокъ что̀, по выраженію Кононова, „спѣшатъ словно на коньках пролетѣть по наукѣ“. Талантливая личность смотрѣла на дѣло оброзованья строже и глубже. Она не набросится на новизну ради ея новости; ея, какъ стараго воробья, на мякинѣ не проведешь. Мишурныя знаменитости, профессора гарцовавшіе на либеральномъ конькѣ, не считали Кононова въ числѣ своихъ поклонниковъ. Онъ открывалъ въ нихъ грубость

пониманія, поверхностное отношеніе, какъ слѣдствіе этой грубости, и къ своему предмету, и къ наукѣ вообще. „Шиллеръ сказалъ что для однихъ наука—богиня, для другихъ—дойная корова; онъ не зналъ что явятся плясуны и для нихъ она станетъ натянутымъ канатомъ“, замѣтилъ онъ послѣ одной лекціи, покрытой довольно дружными рукоплесканіями. Умъ быстрый и пытливый, Кононовъ легко усваивалъ себѣ предметъ, схватывалъ, такъ-сказать, на лету его выдающіяся части; на чемъ онъ останавливался, случайно ли, по влеченію ли, онъ старался понять до точки, усвоить строго и ясно, отличить тонко. Умъ страстный и влюбчивый, онъ жадно хватался за предметъ, но эта страстная влюбчивость не переходила въ покойную любовную привязанность, тихую и долговѣчную. Кононовъ отлично чувствовалъ тонкость и гибкость своего ума и старался развить эти качества до виртуозности.

Тонкому и гибкому уму—чего не замѣчалъ Кононовъ — не доставало выправки, выдержки и самостоятельной рабочести. Кононовъ не плуталъ, какъ во время оно, по лѣсу, но и не шелъ твердою ногой, по матерой землѣ; онъ не зналъ крѣпкаго чувства человѣка у кого есть увѣренность, что кряжевая дорога тутъ она, у него подъ ногами. Его умъ стремился взлетѣть все выше, откуда виднѣе, и нерѣдко зарывался. Тамъ, въ воздушномъ океанѣ онъ плавалъ

«Безъ руля и безъ вѣтрилъ».

Такое свойство его ума было замѣчено умнымъ старикомъ-профессоромъ. Разъ по окончаніи лекціи Кононовъ заспорилъ съ нимъ о теоріи, о которой шла рѣчь. Онъ дѣлывалъ это не разъ. Какъ всегда, профессоръ

внимательно выслушалъ студента, сказалъ свои возраженія, и затѣмъ, помолчавъ, прибавилъ:

— Вы, г. Кононовъ, человѣкъ несомнѣнно умный, да умъ-то у васъ непосѣда. Вамъ все гулять бы да прохаживаться. Слова нѣтъ, вкусъ у васъ есть: мѣста для прогулокъ вы выбираете живописныя. Только спѣшите очень: хочется повыше на самую высокую гору взобраться: это молъ горка и хороша да низка, та вонъ повыше, и вы скорехонько туда. Я не хочу сказать что вы при этомъ по сторонамъ только глазѣете; нѣтъ, мимоходомъ, вы и наблюдаете, и вдумаетесь, и порой работнику на полѣ совѣтъ добрый дадите. Только сами-то вы не работникъ. Не обижайтесь; мнѣ хотѣлось предупредить васъ. Былъ у меня такой же какъ вы ученикъ, и ничего изъ него не вышло, несмотря на всѣ его таланты. Жаль мнѣ будетъ если съ вами то же случится.

Такое замѣчаніе, сдѣланное искреннимъ и дружескимъ тономъ, не могло не заставить Кононова призадуматься. Онъ помучился таки, желая выразумѣть его поточнѣе и пообстоятельнѣе; для этого онъ старался опредѣлить построже точку зрѣнія профессора. „Не упрекаетъ ли онъ меня недостаткомъ спеціальности?“ Такой вопросъ прежде всего пришелъ въ голову. Теорія тянула на утвердительный отвѣтъ. „Но нѣтъ, говорило наблюденіе, — онъ не изъ тѣхъ узкихъ спеціалистовъ что̀ по собственному сознанію идутъ точно по постоянно-суживающемуся корридору, пока не ткутся носомъ въ спеціальный уголъ, откуда ничего не видно. Нѣтъ, онъ не таковъ“. Въ чемъ же тогда упрекъ? „Или мы иначе понимаемъ развитіе личности? Умы ли у насъ разной породы?“ Къ утвердительному отвѣту на эти по-

слѣднія соображенія особенно сильно склонялся Кононовъ. Мелькало у него: молъ слѣдовало бы въ такомъ разѣ поближе изучить это различіе и пониманій и самихъ умовъ, но тутъ ставилось многоточіе. Для рѣшенія задачи не доставало данныхъ; талантъ намѣчалъ задачу, неработникъ надъ ней не трудился.

Кононовъ ошибался: профессоръ говорилъ просто какъ опытный наблюдатель надъ развитіемъ молодыхъ умовъ. Замѣчаніе старика прошло какъ тучка предъ солнцемъ талантливой личности. Она продолжала жить своею жизнью и эта жизнь была довольно полна, ясна и радостна чтобы тревожиться легкаго облачка, замѣчать небольшіе пробѣлы. До времени дышалась вольно и здорово, и Кононовъ чувствовалъ себя божественною личностью ничуть не меньше чѣмъ Гейне на первыхъ порахъ по пріѣздѣ въ Парижъ.

III.

Кононовъ за долгое житье вмѣстѣ не только привыкъ къ Полѣнову, полюбилъ его. Они не разставались въ теченіи двухъ съ половиною лѣтъ: Полѣновъ по окончаніи курса, близь года пробылъ въ Петербургѣ, числясь на службѣ въ министерствѣ, пока не вышло подходящее мѣсто въ родной губерніи. Кононовъ не забылъ своего сожителя и не рѣдко про него вспоминалъ. Воспоминанія эти были различны, слагались въ отдѣльныя группы. Охотнѣе всего Петръ Андреичъ останавливался на первыхъ дняхъ знакомства, на первыхъ шагахъ съ той и съ другой стороны. Онъ съ особою любовью припоминалъ мельчайшія подробности, анализовалъ ихъ и всегда выносилъ отрадное впечатлѣніе. Ему

шептался первый ихъ разговоръ: шептались отдѣльныя слова на которыхъ сосредоточивался смыслъ. „Переѣхалъ.“—Прекрасно. „Не стѣсню?“—Глупости. „Письмо?“—Не зачѣмъ. „Отправилъ.“—А-а! И потомъ освѣдомленіе на счетъ „государственнаго казначейства“, вопросъ: „Какъ вы на счетъ уроковъ?...“ Какъ все это дѣлалось просто, прямо, откровенно, безъ всякой натуги, съ полною свободой! Ты разказываешь мнѣ про себя, дѣлаешь меня нравственнымъ повѣреннымъ своихъ дѣлъ и дѣлаешь это по своему побужденію, свободно, и я столь же свободно выражаю свое мнѣніе, каково оно есть, но тебѣ его не навязываю, ни приговора, осудительнаго ли, оправдательнаго ли, надъ твоими дѣйствіями не произношу. Таковъ, казалось Кононову, былъ смыслъ рѣчей Полѣнова.

Эта свободность отношеній чѣмъ дальше, тѣмъ глубже укоренялась. У Полѣнова была дѣдовская поговорка: „хоть ты мнѣ и братъ, да я-то на свой ладъ.“ Помни дескать: я такой же какъ ты человѣкъ, могу и имѣю право думать и чувствовать совсѣмъ по-своему и ты на этотъ дорогой мнѣ каравай, хорошо ли, худо онъ спеченъ, рта не разѣвай. Говори что̀ думаешь: соглашайся не соглашайся со мной; какъ знаешь; только на мое мнѣніе или чувство не посягай. Хорошо оно, нѣтъ ли, гоже мнѣ или нѣтъ — про то я знаю. Я всегда тебя выслушаю; если сможешь — имѣй на меня вліяніе: на это запрета нѣтъ. Но чуть ты вздумаешь насильничать, извини, я заставлю тебя войти въ границы.

Полѣновъ былъ далекъ считать такія житейскія правила своими, лично ему принадлежащими. Онъ былъ увѣренъ: они выработаны студентскимъ „товариществомъ“ и не за одно поколѣніе. Кононовъ по природѣ

не общительный, разговорчивый только съ близкими (и эти черты характера согласовались съ его теоріей развитія личности), не весьма понималъ значеніе Полѣновскаго товарищества и даже сомнѣвался въ его существованіи. Разговоры и споры сюда относящіеся составляли отдѣльную группу воспоминаній. Какъ споры и разговоры наталкивали на самоопредѣленіе, давали ему матеріалъ, такъ и воспоминанія кучились не вокругъ приземистой, коренастой фигуры Полѣнова, а на начинавшемъ себя разумѣть *я*. Споры бывали въ такомъ родѣ.

Задиралъ, по старинному выраженію, чаще Кононовъ, начиная толковать объ университетѣ, его назначеніи и проч.

— Я цѣню университетъ насколько онъ даетъ средства развить личность вообще, а *мою* собственную въ особенности, объявлялъ онъ.

— Нѣтъ, это что-съ! возражалъ Полѣновъ.—Умственное развитіе и безъ университета можно получить изъ книгъ. И еще лучше чѣмъ въ иномъ университетѣ.

Тому примѣры были наготовѣ. Въ Казани прикащикъ книжной лавки самоучкой прошелъ всю высшую математику, выдержалъ экзаменъ на кандидата лучше четвертокурсниковъ и потомъ сталъ профессоромъ. Остроградскій, говорятъ, за неспособность къ математикѣ былъ исключенъ изъ Харьковскаго университета. И за границей... Но Полѣновъ любилъ русскіе примѣры, находя что они „понятнѣе“.

— „Не спорю, оговаривался онъ,—дѣльнаго профессора послушать полезно. Видишь какъ живой человѣкъ съ предметомъ обращается, и самъ научаешься тому же.

А коли хотите знать, для этого еще полезнѣй у такого профессора подъ рукой поработать. Ну, да наши больше лекціями отбояриваются, развѣ въ кои-то вѣки руководство напишетъ, да и то вѣрнѣй на половину переведетъ. И выходитъ: главное книги, книги, книги.

— Книги или университетъ—все равно; все же ихъ главное назначеніе быть средствомъ для развитія личности.

И Кононовъ упрекалъ пріятеля въ нежеланіи понять значеніе личности, пускался въ разъясненіе своей теоріи.

Полѣновъ возражалъ. Чтобъ онъ не признавалъ значенія личности—избави Боже! Пусть личность обособляется, окрѣпаетъ въ своихъ особенностяхъ, только не становилась бы исключительною, слишкомъ въ себѣ замкнутою, ничего внѣ себя какъ слѣдъ не признающею! Но онъ смотритъ на университетское дѣло съ болѣе житейской точки; не всѣ студенты одарены высокими талантами, не всѣ могутъ даже выдержать кандидатскій экзаменъ.

— Намъ не учеными, не писателями, не государственными людьми быть, а простыми смертными. Даже и смертный-то для насъ терминъ слишкомъ общій. Притворяться нечего: большинство изъ насъ станетъ, чѣмъ отцы были, чиновниками да помѣщиками. Мы не соль земли, а то что̀ этой солью солится—мясо, рыба, какъ хотите зовите, только не *chair à canon*. Да, за нами еще есть люди кому настоящей соли и понюхать не удастся. Тѣ нашими крохами питаться будутъ. И не спорю, намъ знать о томъ что̀ повыше не худо, и даже себя умственно развить слѣдуетъ, насколько силы есть, или какъ мужики говорятъ, на сколько „могуты

хватитъ". Не то вѣдь, пожалуй, англійскую соль за поваренную примешь да ею себя и просолишь, а не то бузуномъ удовольствуешься.

И вотъ для этого-то большинства, для этого подлежащаго солкѣ мяса, этого *chair à saler*, кромѣ умственнаго развитія по могутѣ, необходимо нѣчто иное. Доказывая, Полѣновъ шелъ такимъ путемъ. Онъ предлагалъ спросить любаго студента: зачѣмъ молъ ты поступилъ въ университетъ? Рѣдкій, по его мнѣнію, отвѣтилъ бы на такой вопросъ прямо, ясно и толково. Который—и такихъ избранное меньшинство—мечталъ о наукѣ, о самообразованіи; который—и такихъ большинство—поступалъ по темному влеченію къ чему-то хорошему, по неясной увѣренности что такъ слѣдуетъ; который, наконецъ, соображалъ на счетъ карьеры и правъ.

— И, замѣтьте, прибавлялъ онъ,—послѣдній предъ товарищами ужь стыдится сознаться для чего именно поступилъ въ университетъ. Вотъ вамъ первая польза товарищества. Оно подымаетъ, указываетъ высшую цѣль.

Словомъ, по Полѣнову, товарищество есть нѣкотораго рода воспитательная среда, гдѣ студенты выдѣлываются, становятся людьми. Иначе: научаются цѣнить свое человѣческое достоинство и уважать его въ другихъ.

— Вашими бы устами да медъ пить, замѣчалъ Кононовъ.—Только все это мечта. Въ дѣйствительности, этого вашего товарищества нѣтъ, а есть либо панибратство да амикошонство, либо стремленіе къ корпораціи.

— Да откуда жь у меня взялись эти идеи о товариществѣ? Выдумалъ я ихъ что ли?

— Нѣтъ, не выдумали. Вы только переносите личныя мнѣнія, черты своего характера, на другихъ; желанія, pia desiderata, принимаете за существующее...

— Ну, а мой отецъ, а дѣдъ мой, а другіе старинные студенты тоже желаніе за дѣйствительность принимали?

— Ошибка въ томъ же родѣ. Человѣчество мечтало о золотомъ вѣкѣ, люди о златой юности, когда, кажется, творились чудеса...

— Ну нѣтъ, извините-съ. Вы вотъ, Кононовъ, старинныхъ студентовъ не видали, оттого такъ и говорите. А у меня и отецъ, и дѣдъ студентами были. И я старинныхъ студентовъ видывалъ. Въ Петербургѣ вы ихъ, настоящихъ то-есть, и не увидите: бюрократятся сильно, а вотъ въ провинціи!.. Ну, вотъ и поговорите съ ними, со стариками-то, и узнаете тогда что́ они въ университетѣ цѣнятъ и цѣнили. Въ тѣ-то времена наука не больно процвѣтала; хуже чѣмъ теперь въ порядочной гимназіи учили. А они людьми вышли, и людьми на всю жизнь остались. И они вамъ скажутъ что всѣмъ этимъ товариществу обязаны. И во мнѣ эти понятія не личныя, не мечты, какъ вы говорите, а отъ нихъ; я ихъ преемственно получилъ, а гдѣ преемственность, тамъ дѣйствительность, тамъ жизнь, заключалъ онъ съ торжествомъ, какъ всегда дѣлаетъ молодой человѣкъ опираясь на мысль которую признаетъ неоспоримою. — А вотъ вы давеча товарищество къ корпораціи приравняли, такъ это даже обидно. Я этихъ корпорацій всякихъ терпѣть не могу. А будто подобное что-то такое и въ университетѣ заводится, не безъ грусти подтверждалъ онъ замѣчаніе Кононова.—Да, да. Начинаютъ попадаться такіе студенты. Думай-молъ всѣ какъ одинъ,

дѣлай что̀ всѣ хотятъ, и правъ будешь, а не то сейчасъ—подлецъ. И права для студентовъ какія-то особыя выдумываютъ, и студентъ ужь не студентъ, а какой-то новый чинъ въ табелѣ о рангахъ. И выше-то всѣхъ, и умнѣе, и честнѣе, а остальные тоже чуть не подлецы. Нѣтъ, это корпорація нѣмецкая (эпитетъ „нѣмецкій“ Полѣновъ вообще прилагалъ ко всему чего хуже не бываетъ), это казармщина. Нѣтъ, *я*, и не я одинъ, а всѣ *мы* не это въ университетѣ цѣнили.

— И вотъ видите, разъ послѣ такого спора прибавилъ особенно грустно Полѣновъ,—заведется эта казармщина или вообще товарищество падетъ, я сына своего въ университетъ не пошлю, то-есть въ русскій, какъ мы его понимаемъ. А для науки въ Германію пусть ѣдетъ, тамъ на этотъ счетъ мастера̀ (Полѣновъ строго держался нынѣ полузабытаго отличія Нѣмцевъ отъ Германцевъ).

Пріятели оставались каждый при своемъ мнѣніи. Полѣновъ находилъ что Кононовъ по-своему правъ, и Кононовъ то же думалъ про Полѣнова. „Ему товарищество не нужно, разсуждалъ Полѣновъ,—онъ на умъ свой надѣется и, правду сказать, есть на что̀ ему надѣяться“. Строго выводъ былъ не совсѣмъ таковъ: внутри у Полѣнова шевелилось нѣчто среднее между сужденіемъ и чувствомъ (чего онъ даже про себя не высказывалъ ясно); и оно нашептывало ему: „молъ полнѣе и лучше была бы его (Кононова) жизнь, знай онъ и даже не знай, а чувствуй, именно чувствуй что̀ такое товарищество“. Кононовъ же цѣнилъ мнѣніе Полѣнова не столько по отношенію къ нему лично и даже не какъ мнѣніе само по себѣ правильное или не правильное, ему нравилась собственно своеобычность этого мнѣнія. Эта своеобычность, по Кононову, въ томъ со-

стояла что мнѣніе опиралось не столько на умственные выводы, сколько на нѣчто внѣ себя, на нѣчто живое. И это живое порой бывало не только живымъ, но и живучимъ. Понемногу онъ начиналъ даже допускать что Полѣновское товарищество не вполнѣ мечта, что оно идеалъ студенческой жизни, но не той впрочемъ что̀ онъ видѣлъ вокругъ, а прежней, временъ когда отецъ и дѣдъ Полѣновы были студентами. „Но существуй даже оно, это товарищество, теперь, все-таки я цѣнилъ бы его настолько оно давало бы средства развить личность“, заключилъ онъ. Кононовъ имѣлъ случай не разъ замѣчать подобную своеобычность Полѣновскихъ мнѣній.

Во время оно стали входить въ моду всякія соціальныя и соціалистическія теоріи, всякія разрушительныя бредни. Полѣновъ выслушивалъ всѣ эти пѣноизверженія съ добродушіемъ истинно патріархальнымъ и славянскимъ. Онъ ни умственно, ни сердечно не раздражался противъ теорій посягавшихъ, казалось, на все ему дорогое и святое. Умственно, потому что его занимали, были ему дороги и святы не отвлеченныя идеи семьи, собственности, государства, а своя семья, свой уголъ и чувство что онъ Русскій, внѣ и безъ чего онъ не могъ себя понять. Сердечно, потому что не могъ вообразить фактическаго посягательства на жизненный строй необходимый, также какъ для него, для милліоновъ людей. Вотъ почему, относя разрушительныя теоріи къ области мечтаній и утопій, онъ приписывалъ имъ эпитеты честный и благородный. Бездомный и безсемейный, Кононовъ уже въ силу этого обстоятельства долженъ былъ искать себѣ опоры въ мысли. Полѣновское добродушничанье было ему не по нутру.

— Не понимаю что̀ вы тутъ видите честнаго и благороднаго, говорилъ онъ.

— Отчего же? добродушничалъ Полѣновъ.—Согласитесь, еслибы всѣ были одинаково богаты, это было бы хорошо. Побужденія, намѣренія тутъ добрыя, но конечно это мечта.

— Хорошими намѣреніями, по пословицѣ, адъ мощенъ. Притомъ вы сами находите что это невозможно. Что̀ жь тутъ хорошаго мечтать о невозможномъ?

— Я и говорю что это мечта, но мечта честная и благородная.

— Мечта не можетъ быть ни честною, ни благородною; эти качества приложимы только къ нравственной сторонѣ человѣка. Честная мечта такая же нелѣпость какъ честная мысль. Мысль напримѣръ бываетъ правильная и не правильная, умная и глупая, чистая и прикладная и т. д., но нѣтъ ни честныхъ, ни благородныхъ мыслей. Еще пожалуй выдумаютъ честныя заблужденія! Честныя мысли, честныя убѣжденія, отъ такого смѣшенія понятій только путаница, вавилонскій языкъ. Я вотъ слышалъ какъ разъ кучеръ витійствовалъ. „Вороная, говоритъ, лошадь убѣдительная.“ Оно конюхамъ и позволительно безъ смысла высокимъ слогомъ выражаться, да *намъ*-то слѣдовало бы понимать значеніе словъ, а не первое встрѣчное совать.

— Вы слишкомъ серіозно къ этому относитесь, Кононовъ. Всѣ эти теоріи малѣйшей критики не выдерживаютъ, я знаю. Только все же пусть лучше объ общности имуществъ мечтаютъ, чѣмъ о карьерѣ или какъ бы денегъ нажить.

— Нѣтъ, ужь лучше пусть о чемъ хочетъ мечтаетъ только не мечталъ бы тамъ гдѣ учиться и знать слѣдуетъ. Это, по пословицѣ, съ суконымъ рыломъ въ калачный рядъ.

Разъ Кононовъ пришелъ домой поздно и крѣпко не

въ духѣ. Видно было онъ ушелъ откуда-то взволнованный и вдобавокъ дорогой, припоминая бывшее, еще пуще разволновался. На опросъ Полѣнова что̀ съ нимъ, онъ рѣзко отвѣчалъ:

— Наслушался вашихъ благородныхъ мечтаній!

— Какихъ моихъ мечтаній? съ недоумѣніемъ спросилъ Полѣновъ.

— Ну, вотъ что̀ вы благородными и честными называете. Вы одни цвѣтки еще знаете, а я до ягодокъ нынче дошелъ. Все, видите, надо прочь, всю цивилизацію съ государственнымъ устройствомъ, съ искусствомъ, наукою....

— Но это глупости....

— Да именно глупостями они и называютъ, не разслыхавъ подхватилъ Кононовъ.—И кто же? Не нашъ братъ студентъ, не мечтательный юноша по-вашему, а самъ—кто бы вы думали? Самъ К. Л. М., знаменитость, бывшій профессоръ, великій ученый! Изъ тѣхъ кого „подъ великимъ страхомъ признать велятъ историкомъ и географомъ!“ Онъ поучалъ, нѣчто даже въ родѣ лекціи прочелъ. А въ концѣ и глазки закрылъ, и съ блаженнѣйшею улыбочкой проговорилъ: “Итакъ, господа, вся предыдущая исторія человѣчества была рядомъ глупостей.“ Меня, знаете, слегка огорошило. Думаю, вѣрно онъ на счетъ политики, либерализмомъ хвастнуть хочетъ. Переспросилъ. „Нѣтъ, говоритъ вся, вся вообще.“ И преблагосклонно улыбнуться изволили. Да, вся! А тутъ же насчетъ нервовъ навралъ что-то. Кто-то изъ естественниковъ ему замѣтилъ, а онъ: „Я въ этомъ, не спеціалистъ, могъ перепутать, но идея, идея важна!“ И все съ улыбочкой.... Что̀ жь, Полѣновъ, и это благородныя мечты?

— Полноте, не смѣшивайте. Видите, Кононовъ....

Но Кононовъ не слушалъ; онъ спѣшилъ высказать накопившіяся мысли и высказывалъ торопливо, отдѣльными фразами, пользуясь малѣйшими поводами къ ассоціаціи идей.

— Нѣтъ, что̀ меня поражаетъ, между прочимъ говорилъ онъ,—это переустройство всего изъ-за какихъ-то неправильностей въ отношеніяхъ между капиталомъ и трудомъ.... Такихъ-то мелочныхъ неправильностей тысячи бывали и будутъ; ихъ исправляли и опять онѣ заводились.... Я вѣдь понимаю, можно строить идеальное государство и въ немъ все подчинять идеѣ государственности.... Ну, придется тогда съ Платономъ наградить поэтовъ и выпроводить ихъ за границу... Но когда умъ теорію создавалъ, то ошибка сейчасъ видна: цѣлость жизни подчиняется частному понятію.... Вообще всѣ соціальныя науки еще во младенчествѣ, въ основу мало изученія фактовъ положено... Но все-таки тамъ умъ, а тутъ... И это честныя, благородныя мечтанія!...

Полѣновъ промолчалъ.

— Я старался быть справедливымъ, вставилъ онъ чрезъ нѣкоторое время.—Это послѣднее что̀ вы разказывали—глупость, но въ мечтѣ о равенствѣ имуществъ я все-таки вижу нѣчто благородное.

Кононовъ въ свою очередь промолчалъ, но онъ долго не спалъ въ эту ночь и его занимали не *тѣ* люди и не *тѣ* мнѣнія. „Полѣновъ; думалъ онъ,—хочетъ быть справедливъ, боится осудить ближняго. Не поступокъ судитъ, а мысль. Онъ думаетъ, что осудить мысль, назвать ее не правильною, такой же грѣхъ какъ, по его христіанскимъ понятіямъ, назвать человѣка дурнымъ. Мысль судится по своимъ законамъ, а не по нравственнымъ. Онъ смѣшиваетъ это, и страха ради мнимаго грѣха будетъ вертѣться и то называть благо-

роднымъ что вдобавокъ совершенно противно его понятію о благородствѣ.“ И слѣдомъ затѣмъ онъ не безъ горечи спросилъ: „Неужели же и къ нему, и къ этому славному, милому человѣку мнѣ придется испытать то же страшное чувство отчужденности?“

Чувство отчужденности, его же боялся Кононовъ, по отношенію къ Полѣнову, осталось въ этомъ зародошномъ состояніи. Оно нашло себѣ иной исходъ. Обстоятельства похожія на сейчасъ описанныя были къ тому поводомъ. У Полѣнова набралось много народу; зашли всякіе споры, и модные вопросы, конечно не замедлили выступить на сцену.

— Прекрасно, Полѣновъ, сказалъ одинъ изъ мечтателей,—вы наши убѣжденія называете мечтою— пусть такъ. Не стану вести схоластическаго спора о словахъ: зовите какъ хотите. По вашему же сознанію, въ нашихъ мечтахъ много честнаго и благороднаго; мы, кромѣ того, признаемъ свои убѣжденія единственно справедливыми. Разумѣется, мы станемъ стараться о проведеніи ихъ въ жизнь, и проведемъ. И весь вопросъ теперь въ томъ: будете или не будете вы мѣшать намъ дѣйствовать?

Полѣновъ не ждалъ такого вопроса: таково далека была отъ него мысль, что эти мечты годны на иное что, кромѣ развлеченія юношей въ досужіе часы. Онъ смутился и ничего не отвѣтилъ.

— Позвольте, началъ было Кононовъ.

Полѣновъ видѣлъ что онъ взволнованъ; то же замѣтили и всѣ. Наступила тишина ожиданія, всегда непріятная и нѣсколько раздражающая. Про такую тишину нельзя сказать: тихій ангелъ пролетѣлъ. Скорѣй тутъ чортъ притаился. Тишина ничѣмъ не разрѣшилась. Вошли новыя лица, сшибка отсрочилась и уже не возоб-

новлялась. Какъ всѣ разошлись и пріятели вдвоемъ остались, Кононовъ сталъ по комнатѣ ходить. Онъ ходилъ долго и тревожно; Полѣновъ не трогался съ мѣста, ждалъ какого-то слова, чувствовалъ нѣчто недомолвленное должно быть высказано.

— Да, началъ Кононовъ,—вы ему ничего не отвѣтили. Извините, я тогда перебилъ васъ. Мнѣ не терпѣлось, но помѣшали!... А что̀ вы отвѣтили бы ему?

Полѣновъ тотчасъ понялъ кому и на какой вопросъ.

— Видите, правду сказать: я смутился. Я не ждалъ вопроса. Вопросъ впрочемъ самъ по себѣ—пустое хвастовство и фразерство.

— Ну, нѣтъ.... Однако что̀ вы ему отвѣтили бы? настойчиво переспросилъ Кононовъ.

— Вѣрнѣе, промолчалъ бы. Отвѣта на такой вопросъ быть не можетъ. О чемъ говорилъ онъ, того быть не можетъ. Въ этомъ родѣ и ему отвѣчалъ бы.

— Д-да! протянулъ Кононовъ и тотчасъ быстро добавилъ:—А знаете что̀ я хотѣлъ сказать ему? Сказать?

— Пожалуста.

— Вотъ что̀. Я хотѣлъ сказать ему: мы съ вами разной вѣры, на двухъ не сходящихся берегахъ стоимъ. И между нами ничего общаго нѣтъ и быть не можетъ. Я ненавижу ваши, какъ вы ихъ называете, убѣжденія, какъ только можно ненавидѣть умомъ.... Да, Полѣновъ, вставилъ онъ,—умъ не меньше сердца способенъ ненавидѣть и разница та, что умъ не прощаетъ. Никогда. Нельзя простить посягательства на цивилизацію, на исторію человѣческаго разума.... Да, сказалъ бы ему, я васъ ненавижу, вы для меня хуже послѣдняго дикаря, послѣдняго идіота. У идіота опытный педагогъ

можетъ развить до нѣкоторой степени умъ; самое дикое общество—зачатокъ цивилизаціи. Но вы ее-то и отвергаете, на разумъ посягаете. Съ вашей стороны: хаосъ, неурядица, анархія; съ нашей: строй, урядъ, законъ.... И извините за отступленіе, онъ, я знаю, усмѣхнулся бы и сказалъ: „дѣйствительно положительный законъ на вашей сторонѣ". Онъ не захотѣлъ бы понять въ какомъ смыслѣ я употребилъ слово „законъ", а можетъ-быть уже и не въ силахъ: война разуму объявлена.... И вотъ что̀ я еще хотѣлъ сказать вамъ, Полѣновъ, именно вамъ лично. Мы во многомъ съ вами не сходимся, очень во многомъ, и въ главномъ: въ религіозныхъ убѣжденіяхъ. Не бойтесь, я не на споръ иду. Это дѣло свободной совѣсти. Но вы не хотите, именно не хотите понять суть философскаго міросозерцанія. По-вашему, вы по крайности не разъ, можетъ-быть въ жару спора, но вы не разъ высказывали что по-вашему пантеистъ ли, или матеріалистъ — одно и то же. Такъ знайте же: мнѣ матеріалистъ противнѣе самаго завзятаго ханжи. И по тѣмъ же причинамъ почему ненавижу.... онъ искалъ слова и не нашелъ, и повторилъ, — почему ненавижу *тѣхъ*. Я пантеистъ, я признаю разумъ, я признаю строй и закономѣрность въ мірозданіи. А у матеріалистовъ, какъ и у *тѣхъ*, слѣпой случай, хаосъ, беззаконіе. Оттого-то *тѣ* часто бываютъ матеріалистами; по крайности, когда послѣдовательны. Да, это-то отверженіе разума и его законовъ и ненавистно моему уму.... Вотъ что̀ мнѣ давно хотѣлось сказать вамъ, Полѣновъ.

Кононовъ говорилъ горячо и искренно. Казалось рождавшаяся мысль непосредственно одѣвалась словомъ; въ самомъ звукѣ голоса слышался трепетъ живорожденной мысли. Этой бесѣды не забылъ ни одинъ изъ прія-

телей. Особенно памятна она Кононову. Въ тотъ вечеръ онъ долго не могъ успокоиться: пересказывалъ про себя что̀ говорилъ Полѣнову, развивалъ и уяснялъ свою мысль. Мысль подмывалась бодрымъ и крѣпкимъ чувствомъ, и сама питала и возбуждала его. То было чувство неразрывной связи со всѣмъ человѣческимъ, со всѣмъ что̀ достойно такого имени. „Да, да, я чувствую эту связь, не разъ повторилъ онъ про себя, и она лучше, крѣпче и чище всякихъ кровныхъ и иныхъ связей". Такова-то была новая выжитая имъ мысль. И ему думалось что съ этой ночи онъ переродился, сталъ инымъ человѣкомъ. Нѣтъ не инымъ, а просто человѣкомъ.

Полѣновъ съ этого вечера сталъ выше цѣнить Кононова; точно его умъ и способности явились ему вдругъ сосредоточеными въ фокусѣ. Но въ то же время Полѣновъ почти сожалѣлъ что пріятелъ придаетъ слишкомъ серіозное значеніе мечтѣ того не заслуживающей.

На другой день Кононовъ какъ бы сдѣлалъ небольшое добавленіе къ разговору.

— Ахъ, да, сказалъ онъ, — я забылъ извиниться предъ вами. Дѣло было давно; можетъ-быть вы и забыли. И съ перваго взгляда оно покажется даже мелочью. Какъ-то мы говорили о религіозныхъ вопросахъ, и у меня сорвалось: „вы, Полѣновъ, вѣрите на всякій случай; авось молъ пригодится".

— Ну, полноте.

— Нѣтъ, нѣтъ. Дайте мнѣ покаяться. Эта мальчишеская острота грѣхъ противъ разума. Я знаю, такіе пріемы въ ходу и признаюсь: меня самого на нихъ во время оно поддѣвали. Но внутри меня мучало это словцо. Не улыбайтесь: у меня множество такихъ мелочей на памяти, и онѣ меня тормошатъ.... Впрочемъ

это къ дѣлу нейдетъ; я хотѣлъ только извиниться предъ вами.

IV.

Полѣновъ высоко цѣнилъ умъ и способности Кононова, любилъ его какъ брата. Естественно, его заботило; что̀ станется съ этими способностями, что̀ выйдетъ изъ пріятеля? Спросить прямо Кононова о его планахъ онъ не рѣшался. Это значило вмѣшаться въ его самоличныя дѣла; „товарищество“ запрещало такіе донросы. Иное дѣло выскажись онъ самъ, но у Кононова о будущемъ точно и думушки не было.

Чѣмъ дальше, тѣмъ больше мучала Полѣнова эта сердечная забота. Наступало время разлуки, надолго, можетъ навсегда. Полѣновъ, какъ ни крѣпился, началъ выспрашивать исподтиха, обиняками и намеками, но Кононовъ точно не понималъ ихъ. На послѣдяхъ Полѣновъ не выдержалъ и спросилъ на прямки. „Была не была!“ подумалъ онъ.

— Извините, Кононовъ, заранѣе прошу извиненія за то что̀ скажу. Знаю что собственно не имѣю права, но думаю—можетъ-быть и ошибаюсь—что долженъ сказать вамъ то что̀ на душѣ.

Кононовъ нѣсколько насторожился при такомъ запутанномъ началѣ.

— Вы уже на третьемъ курсѣ.... что̀ вы намѣрены съ собой дѣлать по окончаніи курса?

— А! А я думалъ Богъ знаетъ о чемъ.

— Однако?

— А кто жь его знаетъ! Что-нибудь, полагаю, да буду дѣлать.

— Только что-нибудь? и ничего опредѣленнаго?

— Ничего. Вы сами же прозвали меня вольнымъ казакомъ.

— Но вѣдь надо же выбрать карьеру, опредѣлить себя къ чему-нибудь....

— А вотъ буду опредѣлять самого себя какъ вещь an und für sich, сострилъ Кононовъ.—Чѣмъ не занятіе? Но шутки въ сторону. Я ничего не загадываю, да и причины къ тому не вижу. Отрицательно могу только сказать: въ чиновники не пойду. И вы знаете почему: слово Василію Васильичу дано, исполнить надо. Ба, кстати вспомнился: ничего выгорать не будетъ, къ нему на контору опредѣлюсь, благо предлагалъ. Онъ же, слышно, фабрику завелъ.

— Я не о томъ говорю чѣмъ вы жить будете, задумчиво проговорилъ Полѣновъ.—Это что-съ! А вотъ умъ, таланты, ихъ не растратьте....

— О, Боже! *Мои* таланты!

— Полноте: вы человѣкъ самолюбивый, настойчивѣе, вслѣдствіе перерыва, началъ было Полѣновъ.

Кононовъ вспыхнулъ.

— Кто вамъ сказалъ что я самолюбивъ?

— Свои глаза на то имѣю.

— Вы не совсѣмъ не правы, спокойнѣе заговорилъ Кононовъ,—я дѣйствительно самолюбивъ; только самолюбіе мое не экспансивнаго, а интенсивнаго свойства.

— Раскройте философскую скобку....

— Самолюбіе мое во мнѣ самомъ, какъ въ банкѣ, закупорено; я только предъ самимъ собой самолюбивъ. Высказывать свои способности, словомъ, дивить Европу—на это самолюбія нѣтъ.

— Прекрасно-съ. Только вѣдь надо же и такому самолюбію удовлетвореніе.

— Ему есть пища: разумное развитіе личности, своего *я*....

— Но....

— Позвольте. Я живу и тружусь, буду жить и буду трудиться только ради этого развитія. И мнѣ все равно чѣмъ я другимъ буду казаться, хотя ничѣмъ. За одно ручаюсь: фокусника изъ меня не выйдетъ....

— Крайности, крайности-съ! Ужь будто только и можно что ничевушкой, либо фокусникомъ быть. Можно и не желать не только Европу, никого не дивить, и въ то же время значить что-нибудь въ жизни....

— Да, въ своей собственной, въ личной жизни.

— Не пустынникомъ же вы сдѣлаетесь? Вѣдь пустыннику-то отмаливаться отъ самолюбія требуется, помните! И выходитъ-съ, какъ ни киньте, все безъ людей не прожить, а среди людей, чтобъ покойно было, надо занять опредѣленное положеніе. И напрасно вы думаете что если вы самолюбивы только предъ собой, то ужь вамъ все равно такъ или иначе о васъ другіе судить будутъ. Пусть внутри самолюбіе и удовлетворено будетъ, а все жь нѣтъ, нѣтъ.... Постойте, постойте, не перебивайте.... „Плевать-молъ на нихъ!“ это вы сказать хотѣли? Прекрасно-съ, приговоръ сдѣланъ, но какой? Слѣдствіе его—разладъ, а гдѣ разладъ....

— Не понимаю, къ чему вы все это и говорите, сухо перебилъ Кононовъ.

Полѣновъ не замѣтилъ ни сухости тона, ни раздраженія на лицѣ пріятеля, и продолжалъ съ прежнею горячностью.

— Къ тому и говорю, чтобы доказать что кромѣ вашей внутренней задачи, кромѣ свободнаго развитія свободнаго *я*, какъ вы однажды прекрасно вырази-

лись.... Не думайте, я не говорю противъ нея, ничуть; я понимаю, цѣню вашу задачу.... Но видите, кромѣ этого нужна внѣшняя цѣль, дѣло, занятіе, какъ угодно назовите, и дѣло житейское, практическое.... Словомъ, какъ говорится, опредѣлить себя къ чему-нибудь надо.... Я не умѣю точно выразить, ну да вы понимаете.... И мало сказать „надо"; нѣтъ, вы должны, вы обязаны.... А иначе, Кононовъ....

— Иначе?

Сухость тона перешла теперь во враждебную раздраженность, готовую прорваться, но Полѣновъ спѣшилъ досказать свою мысль и не замѣтилъ такого перехода.

— А иначе.... иначе, какъ я уже говорилъ, произойдетъ разладъ, и мучительный разладъ. Вы наживете себѣ мученія, и чѣмъ больше ихъ будете скрывать, тѣмъ....

— Эхъ, Полѣновъ, не ваша забота чужыхъ дѣтей качать, сказалъ Кононовъ и невольно отвернулся отъ пріятеля, точно такимъ движеніемъ думалъ задержать прорвавшееся чувство.

У Полѣнова, какъ говорится, руки опустились.

— Ну да; такъ оно и есть. Такъ я и думалъ. Оттого-то и извинился заранѣе.

Онъ проговорилъ это съ такимъ необычайно искреннимъ и наивнымъ простодушіемъ что раздраженіе Кононова мигомъ пропало. Онъ взглянулъ на растерянное лицо пріятеля и невольно улыбнулся. Полѣнову было не до того, чтобы замѣтить дружескую улыбку.

— Да, да, лепеталъ онъ столь же искренно, но теперь въ тонѣ, кромѣ того, слышалась оскорбленная сердечность,—я зналъ это. Но что̀ жь дѣлать? Мнѣ казалось, я долженъ.... Я не имѣю права, но я.... я полюбилъ васъ какъ брата....

Полѣновъ не могъ продолжать, и взволнованный взглянулъ на Кононова: тотъ улыбался ему. Оба протянули другъ другу руку.

— Нѣтъ, не вы виноваты, а я, началъ Кононовъ.— Вы правы, и имѣли право, и ваша заботливость ни мало меня не обижаетъ, напротивъ,... Только.... Ахъ, Полѣновъ, еслибы вы знали какое больное мѣсто разбередили.... Знаю, вы безъ умысла, не нарочно.... Видите, во мнѣ есть—не знаю, природный ли это недостатокъ, или воспитаніе виновато, или я самъ виною— только есть во мнѣ задатокъ несчастія, именно внутренняго, душевнаго несчастія.... На меня находитъ порой такая тоска; я чувствую тогда, что мнѣ чего-то не достаетъ; не то чтобы не доставало того что̀ можно имѣть въ будущемъ, чего хочется; нѣтъ, не достаетъ того чего у меня нѣтъ и быть не можетъ, но безъ чего жизнь все-таки будетъ не въ жизнь.... Я, видите, путаюсь, не могу, боюсь опредѣлить.... Мысль сторонится какъ наткнется на эго мѣсто, а вы.... вы именно его кольнули.... Но оставимъ, бросимъ это, мнѣ неніятно.... А затѣмъ, затѣмъ вы правы, и спасибо вамъ, и я подумаю о чемъ вы говорили, и... и, слава Богу, мы разстанемся друзьями.

Друзьями они и разстались. Полѣновъ недоумѣвалъ почему Кононовъ сказалъ „слава Богу“ и что̀ грозило ихъ дружбѣ, но онъ не счелъ удобнымъ допытываться о причинахъ. Кононовъ все боялся испытаннаго имъ чувства отчужденности. Пусть тепло и сердечно будетъ воспоминаніе о Полѣновѣ!

По отъѣздѣ ніятеля, Кононову стало не по себѣ на старой квартирѣ. И комната точно не такъ свѣтла, и хозяйка не такъ внимательна, и прислуга не такъ услужлива. Придетъ ли вечеромъ домой, ноги сами

собой направляются къ знакомой двери, уже складываются слова, анъ поговорить-то не съ кѣмъ, за знакомою дверью незнакомый жилецъ. „Да, славный онъ человѣкъ, и хоть мы и разошлись бы по разнымъ дорогамъ, онъ вправо, я.... (Кононовъ не договаривалъ, но чувствовалъ: его дорога не влѣво отъ пріятелевой, а выше, но этого слова онъ не хотѣлъ, боялся выговорить).... но все же мы остались бы добрыми сосѣдями: вѣдь мы одинаково разумѣли свободу.

Такъ ли иначе ли, только Кононовъ не остался на старой квартирѣ. Другаго Полѣнова сыскать было нельзя; требовалось найти подходящаго хозяина. Таковой представился самъ въ лицѣ Семена Иваныча Худышкина, по призванію (въ чемъ г. Худышкинъ ни мало не сомнѣвался) художника, по складу жизни (что̀ г. Худышкинъ всемѣрно отрицалъ) пьяницы довольно горькаго. Сей господинъ Худышкинъ былъ единственный человѣкъ съ кѣмъ Кононовъ былъ на *ты*. Какъ это случилось, Петръ Андреичъ самъ не помнилъ: только выпили они брудершафтъ, и съ тѣхъ поръ Худышкинъ ни разу не сказалъ ему *вы*, чѣмъ и его пріучилъ говорить себѣ *ты*. Впервые же съ господиномъ Худышкинымъ онъ встрѣтился у благодѣтеля, куда будущій великій художникъ явился въ двуличневомъ пиджачкѣ и съ кудластыми длинными волосами. Благодѣтель былъ пріятелемъ его отца, купца довольно богатаго.

— Что̀ тятенькины денежки пріѣхалъ мотать? небрежно-дружески спросилъ благодѣтель.

— Смѣйтесь, ни мало не смутясь отвѣчалъ господинъ Худышкинъ,—а вотъ какъ я прославлюсь да сдѣлаюсь знаменитымъ художникомъ, сами тысячи за мои картины платить будете.

— Ну, ладно, будемъ ли, нѣтъ, старуха на двое сказала. А не лучше бы тебѣ фантазіи-то бросить да дѣломъ заняться?

— Такъ искусство по вашему вздоръ? спросилъ господинъ Худышкинъ да и пошелъ качать. Онъ и голову назадъ откинулъ, и глаза у него загорѣлись. Эпитеты „великій и святой“ посыпались изъ его устъ какъ соль изъ рукава сказачнаго солдата, продававшаго бабамъ ложку-самосолку.

Кононовъ думалъ: оборветъ молъ его благодѣтель. Ничуть не бывало: благодѣтель слушалъ внимательно и хотя порывался мысленно сказать: „вздоръ молъ все, складно только вретъ“, однако заказалъ господину Худышкину портретъ съ роковой веснушчатой дочери. Солдатъ сумѣлъ продать ложку.

Господинъ Худышкинъ, послѣ ссоры Кононова съ благодѣтелемъ, встрѣтивъ однажды господина студента, навязался къ нему и потомъ сталъ захаживать. „Нашему брату художнику не дурно порой около умныхъ людей новертѣться“, рѣшилъ онъ. Человѣкъ вообще не застѣнчивый, Семенъ Иванычъ просто перетащилъ къ себѣ Кононова.

— Чего тебѣ здѣсь оставаться? Переѣзжай ко мнѣ: и покойнѣй будетъ, и столъ у меня почти семейный.

Нарѣчіе „почти“ означало что господинъ Худышкинъ хотя и не женатъ, но обзавелся Форнариной. Но я до времени распространился о художникѣ; не самъ по себѣ, но такъ-сказать косвенно онъ занималъ мѣсто въ воспоминаніи Кононова, о чемъ пойдетъ рѣчь.

Семенъ Иванычъ не прекращалъ знакомства съ откупщикомъ, хотя навѣщалъ его рѣже и злобился

на него за непризнаніе своего таланта, собственно за не покупку произведеній своей геніальной кисти. Однажды—Кононовъ былъ уже на четвертомъ курсѣ—господинъ Худышкинъ возвратился разстроенный и даже блѣдноватый, и объявилъ своему жильцу что благодѣтель волею Божіею помре скоропостижно, отъ удара.

— Обожрался, должно-быть, рѣзко сказалъ Кононовъ.

То всплеснула старая привычка судить благодѣтеля на извѣстный салтыкъ. Худышкинъ съ укоромъ глянулъ на него.

„Все-таки я много обязанъ ему", поспѣшилъ Кононовъ замять внутри себя непріятное чувство, вызванное укоряющимъ взглядомъ художника. Суть невольнаго восклицанія отъ того не измѣнилась.

— Ты, конечно, пойдешь на похороны, сказалъ художникъ, еще наканунѣ начавшій сбираться на это торжество.

— Зачѣмъ я пойду туда? съ неудовольствіемъ замѣтилъ Кононовъ:—да и не люблю я похоронъ: наберется народу....

— Ну, на выносъ въ церковь ты все-таки пойдешь же.

— Нѣтъ. Не зачѣмъ.

— Какъ же.... Все же онъ тебѣ.... И опять вы въ ссорѣ были.... Ну, помириться, поклониться его праху, ну....

Семенъ Иванычъ не кончилъ. Странно ему казалось что такой умный человѣкъ и такой простой вещи не понимаетъ. „Это всякій мужикъ пойметъ зачѣмъ", подумалъ онъ. У Худышкина, мимоходомъ сказать, было

довольно такихъ непосредственныхъ, эпическихъ движеній. Кононовъ смутился замѣчанію Худышкина и рѣшилъ было пойти, однако передумалъ. „И что̀ я буду тамъ дѣлать! Еще узнаетъ меня кто-нибудь, и пойдетъ шушуканье!“ И рой мелочныхъ непріятныхъ воспоминаній облѣпилъ его. Какъ ни непріятны были воспоминанія, онъ не гналъ ихъ. Онъ смутно чувствовалъ, что они отдаляютъ и заслоняютъ нѣчто болѣе непріятное и тяжелое. Онъ не допытывался въ чемъ именно состоитъ это болѣе непріятное. То былъ порывъ сердца, безсознательно имъ загубленный; порывъ къ примиренію и прощенію въ виду свѣжей, еще не закиданной могилы. Непріятное заключалось бы въ борьбѣ этого сердечнаго порыва съ укоренившимся сужденіемъ о благодѣтелѣ.

Черезъ извѣстное время, при посредствѣ неизбѣжнаго господина Худышкина, Кононовъ былъ приглашенъ къ душеприкащику покойнаго. „Вѣрно откупиться за обиду хочетъ“, думалъ онъ дорогой, „завѣщалъ тысченку, другую. Не бойся, не подкупишь. И десяти не возьму.“ Точно благодѣтель былъ живъ и онъ могъ спорить съ нимъ! Вовсе не то оказалось, чего ждалъ Кононовъ. Душеприкащикъ обратилъ вниманіе молодаго человѣка на одинъ изъ послѣднихъ пунктовъ завѣщанія. Въ немъ стояло: „Также завѣщаю и моимъ душеприкащикамъ вмѣняю въ священную обязанность ранѣе исполненія сего духовнаго моего завѣщанія выдать такую-то сумму студенту Петербургскаго университета Петру Андрееву Кононову, кои деньги взяты мною займообразно на честное слово у отца его, бывшаго имрецкаго купца Андрея Петрова Кононова.“

Кононовъ вышелъ ошеломленный. Не фактъ полу-

ченія суммы, для него весьма значительной, ошеломилъ его; онъ даже не думалъ о деньгахъ. Отношенія покойнаго къ отцу, дѣду, къ нему самому, явились въ новомъ свѣтѣ и возмущали молодаго человѣка.

„Онъ приберегалъ, приберегалъ эти деньги, отцовскія, *мои* деньги! думалъ онъ на возвратномъ пути,— а для чего? Чтобы покичиться, поломаться надъ нами. Отецъ—и вспомнилась ему опять грустная сцена ранняго дѣтства, и слезы, и давившее горло слово—отецъ умеръ въ бѣдности, въ горѣ. Да, да, теперь я какъ будто припоминаю, кто-то мнѣ говорилъ что отецъ съ тоски запилъ, оттого и умеръ.... А эти, *его* деньги могли спасти его!... И дѣдъ—опять прилило воспоминаніе какъ унижался старикъ предъ откупщикомъ и его трехаршинными наглецами.—О, теперь я понимаю на что̀ намекалъ Василій Васильичъ: „молъ, можетъ, и узнаешь каково было легко дѣду къ *нему* идти“. И онъ все время корчилъ благодѣтеля и считалъ себя въ правѣ всячески оскорблять меня и выгнать изъ дому. И новыя личныя воспоминанія хлынули мутнымъ потокомъ. То „знаніе“ благодѣтеля до чего давно уже дошелъ Кононовъ теперь укрѣпилось и точно подтвердилось вновь открытыми фактами. Такимъ побытомъ не рѣдко укореняются самыя грубыя ошибки, и ошибочныя заключенія все подтверждаются новыми и новыми фактами. Но Богъ съ нею, съ этой ошибкой: грустнѣе что застылъ на первомъ шагу примирительный порывъ сердца, и ничѣмъ уже не могла исправиться ошибка сужденія.

Въ дѣйствительности же обстоятельства этого дѣла были таковы. Благодѣтель не отдалъ денегъ вовремя, потому что самому круто приходилось, а своя рубашка ближе къ тѣлу. Отдай онъ въ тѣ поры деньги, самъ

въ банкроты попалъ бы. Можно бы, конечно, дѣду отдать.... Но, первое, денегъ лишнихъ не случилось, и хотя благодѣтель и честнымъ купцомъ себя понималъ, безъ нужды деньги выпускать не любилъ. „Все равно вмѣсто процентовъ сына воспитаю, а долгъ у меня на душѣ“, рѣшилъ онъ. Воспитаніе, конечно, дешевле многолѣтнихъ процентовъ обошлось, но вѣдь деньги не на проценты браны были, и благодѣтель, въ свою очередь, случалось, ссужалъ Андрея Петровича деньжонками. А чтобы на совѣсти у него долгъ не лежалъ, того не было. Завѣщаніе было писано за нѣсколько лѣтъ до ссоры съ Петромъ Кононовымъ, тотчасъ по полученіи извѣстія о смерти дѣда, и благодѣтелю ни вотъ-ни, ни разу и въ голову не пришло лишать его отцовскихъ денегъ.

V.

Какъ бы то ни было, Кононовъ оказался обладателемъ двухтысячнаго годоваго дохода. Когда онъ вдумался въ это обстоятельство, радостное чувство полной внѣшней независимости охватило его. Онъ, конечно, могъ бы прожить трудомъ, но знать, что можешь по произволу располагать временемъ, заниматься чѣмъ угодно!... Теперь нечего думать о „выборѣ профессіи“, объ „опредѣленіи себя къ дѣлу“, о чемъ толковалъ Полѣновъ. По его словамъ, чтобъ удобно жилось межь людьми, надо занять опредѣленное положеніе. Что жь! оно есть теперь, это положеніе. „Кто онъ такой?“ На сей вопросъ отвѣтъ готовъ: „человѣкъ если не съ капиталомъ, все же съ капитальцемъ“. Онъ теперь въ нѣкоторомъ смыслѣ rentier, или, какъ говорится, „живетъ въ свое удовольствіе“.

Кононовъ понималъ что „опредѣленное положеніе“, по Полѣнову значило не совсѣмъ то. Его требовалось занять въ сферѣ болѣе высокой, гдѣ цѣнится внутренній человѣкъ. Но то ужь благо, что нечего спѣшить опредѣлять себя въ этомъ значеніи и ради этого не зачѣмъ насиловать свою личность. Пусть личность разовьется опредѣлительнѣе, и тогда свободное *я* свободно излюбитъ какое-нибудь дѣло. Къ воспоминаніямъ объ этомъ пунктѣ присоединялось нѣчто. Именно, Кононовъ позже убѣдился въ слѣдующемъ: кромѣ де всякихъ соображеній, радостное чувство независимости поддерживалось въ то время не яснымъ, еще слѣпымъ сознаніемъ что съ полученіемъ наслѣдства устранялась, или откладывалась въ долгій, въ очень долгій, чуть не безконечный, ящикъ забота о тѣхъ задаткахъ душевнаго несчастія въ чемъ съ такою откровенностью онъ сознался Полѣнову.

На этомъ мы оставимъ воспоминанія Петра Андреича. Мы прокинемъ около двухъ лѣтъ, не потому чтобы за это время нечего было ему вспоминать, а по той причинѣ что важнѣйшія изъ оныхъ воспоминаній пришлось бы намъ самимъ въ теченіи разказа припоминать и такимъ образомъ невольно повторяться.

Итакъ прологъ конченъ, и я могу приступить къ самой повѣсти. Начаться же этой „трудной“ повѣсти по возможности съ самаго будничнаго, самаго заурядного дня.

Книга первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Дождь, казалось, зарядилъ надолго. То не былъ бойкій и молодцоватый молодой лѣтній проливень что̀ налетитъ съ громомъ и свистомъ и пошелъ валять. На такой-то глядѣть весело и само собой приговаривается: „ловко! славно! а ну-ка припусти! еще, еще! ай да лихо! да дорогу-то, дорогу хорошенько взпузырь!“ Дождь что̀ надолго зарядилъ былъ не таковъ. Онъ шелъ не спѣша и не лѣниво, не прибавлялъ и не убавлялъ шагу; капалъ себѣ да покапывалъ, шлепалъ да пошлепывалъ: степенно, досужливо, съ дѣловымъ достоинствомъ. Словно каждая капля этого дождя была проникнута холоднымъ сознаніемъ что̀ суть дѣла не въ силѣ, а въ непрерывномъ паденіи.

Непрерывныя водяныя нити волочились сверху, скрещивались, путались, перепутывались. Случись прохожій съ достаточно пылкимъ воображеніемъ (разумѣется въ высокихъ калошахъ, въ непромокаемомъ кожаномъ пальто съ таковымъ же воротникомъ); могъ бы онъ подумать будто забрелъ ненарокомъ на водяной канат-

ный заводъ и тамъ попалъ въ просакъ, откуда, сколько ни барахтайся, не вылѣзешь.

Болѣе простые прохожіе поругивались и чертыхались на дождь, а онъ, знай себѣ, похлопывалъ да пошлепывалъ, не разбирая и не уважая никого и ничего. Онъ пробивался и забивался всюду, все превращалъ въ сырость и мглистый туманъ; смѣшивался съ дымомъ топившихся бань и фабричныхъ заведеній; влажною и ѣдкою пылью норовилъ въ носъ, щекоталъ вѣки.

— Не одно, братцы, солнышко радуетъ всѣхъ и веселитъ, казалось говорилъ этотъ разсудительный дождь,— и я, Дождь, для всѣхъ же, для всѣхъ. Все-то я, братцы, вымочу; все-то сыро и сѣро станетъ; не разберешь день ли стоитъ, ночь ли пала, жидкою ли мокретью по городу сумерки расползлись.

Такой-то дождь поливалъ городъ С.-Петербургъ въ одинъ прекрасный (sui generis) октябрьскій день, лѣтъ семь, или малость побольше назадъ.

II.

Дождю неумолимо поливавшему Петербургъ со всѣми окрестностями не было никакой причины не мочить деревяннаго дома надворнаго совѣтника Щурупова, состоявшаго Васильевской части, 0-го квартала, ближе къ Голландской биржѣ и Малому Проспекту чѣмъ къ Среднему и Смоленскому кладбищу. Еще меньше было причинъ оному дождю не мочить каменнаго флигеля на дворѣ означеннаго дома.

Во второмъ этажѣ флигеля находилась квартира уже извѣстнаго читателю Семенъ Иваныча Худышкина. Квар-

тира дѣлилась на двѣ половины: хозяйскую и жильцовскую. Въ хозяйской было темно: самъ Семенъ Иванычъ отправился за получкой денегъ; его кухарка Петровна отпросилась въ гости, хотя за часъ до ухода смѣло утверждала что „въ такой де дождь добрый хозяинъ собаки на дворъ не выгонитъ“; его любовница, Амалія Ѳедоровна, валялась на кровати и подремывала подъ дождь.

На жильцовской было свѣтло. Тамъ, въ небольшой комнатѣ съ громадными окнами (комната, мимоходомъ сказать, напоминала домоваго хозяина, маленькаго, глазастаго человѣчка), сидѣлъ за письменною работой молодой человѣкъ.

Онъ глядѣлъ сосредоточенно, почти строго, занимался самымъ усидчивымъ образомъ. Это впрочемъ не значило что работа его занимала. Весьма напротивъ. По временамъ, какъ онъ подымалъ отъ стола голову и начиналъ перебирать отложенныя въ сторону бумаги, блѣдное лицо искривлялось брезгливою улыбкой, и голубые усталые глаза искрились злобнымъ пренебреженіемъ. Казалось, молодой человѣкъ презиралъ и свою работу, и особенно себя, зачѣмъ ею занимается. Это замѣчалось въ движеніи пальцевъ, когда онъ дотрогивался до бумагъ. Онъ точно боялся запачкать пальцы прикосновеніемъ и въ то же время опасался не увидѣлъ бы кто до чего онъ дотрогивается. Наконецъ онъ всталъ, наклонясь надъ столомъ еще разъ перебралъ бумаги, сунулъ ихъ въ портфель и отбросилъ подальше отъ себя.

Было пять съ четвертью по полудни, и молодой человѣкъ, взглянувъ па часы, рѣшилъ, пора де обѣдать. Такому рѣшенію, видно, не суждено было осуществиться.

— Пишутъ въ анекдотахъ, разсуждалъ молодой человѣкъ, отходя отъ стола по направленію къ дивану,— будто великіе люди за работой забывали о ѣдѣ. Вздоръ, не вѣрю. Хорошая работа—здоровая работа: она аппетитъ должна возбуждать. А вотъ какъ отъ нечего дѣлать дрянью займешься!... фу!

Кононовъ (для читателя не секретъ что тò былъ онъ), по просьбѣ одного знакомаго, нѣкоего Никандра Ильича Слѣпищева, взялся просмотрѣть програму журнала, который затѣялъ издавать оный Никандръ. Слѣпищевъ былъ литературный промышленникъ: онъ бралъ у книгопродавцевъ переводы, раздавалъ ихъ молодымъ людямъ за болѣе дешевую плату и затѣмъ издавались они яко бы подъ Слѣпищевой редакціей. Кононовъ, во время оно, благодаря посредничеству Полѣнова, состоялъ у Никандра въ батракахъ, и Никандръ весьма одобрялъ талантливаго студента чьи исправные переводы нечего было редактировать. „У васъ, батюшка, слогъ есть", не безъ зависти говаривалъ онъ. Самъ Никандръ, какъ ни бился, не могъ справиться съ *ужами* и *которыми:* гибелью наползали они въ его статьи и переводы, письма, даже рѣчи. Нынѣ, желая сдѣлаться болѣе крупнымъ промышленникомъ, онъ вспомнилъ о Кононовѣ и упросилъ его вообще просмотрѣть програму, „а также если насчетъ слога." За сей-то работой мы и застали Петра Андреича. „И зачѣмъ было браться?" продолжалъ размышлять молодой человѣкъ. „Зналъ что путнаго ничего не выйдетъ, и все-таки дозволилъ упросить себя.... И мало того: самъ себя обманулъ, увѣрилъ что пожалуй оно и занимательно выйдетъ.... А зналъ, раньше зналъ.... И какъ это глупо!... Вѣчно надуть себя хочу.... не клюетъ.... и точно тотъ Англичанинъ...."

Онъ думалъ несвязно, обрывками, ровно дѣло о чемъ думалось не стоило стройнаго размышленія, или же отъ частой умственной переборки въ конецъ надокучило. Такъ порой отъ дѣлать нечего перелистываешь знакомую и надоѣвшую книгу. Вспомнивъ про Англичанина, молодой человѣкъ усмѣхнулся какъ доброму знакомому: „а, вы-молъ это!“ И тутъ же замѣтилъ каково странно вспоминаются давно и хорошо знакомыя вещи.

„Вѣдь этотъ вотъ Англичанинъ, раздумывалъ онъ уже о томъ что̀ сейчасъ замѣтилъ,—онъ часто приходитъ мнѣ въ голову, и что̀ именно случилось, я въ эти мгновенья хорошенько не помню. И труда себѣ не даю припоминать, а тутъ онъ, этотъ случай, цѣликомъ передо мной, словно въ точку съёжился. И только мелькнетъ эта точка, я будто все припомнилъ и мысль пойдетъ своимъ чередомъ. И такое впечатлѣнье точки повторяется всегда. Любопытно!... А въ чемъ бишь дѣло? дай-ка припомню.“

Онъ сталъ припоминать анекдотъ, какъ сталъ бы разказывать другому и замѣтилъ: чтобы припомнить все подробно, потребовалось нѣкоторое усиліе памяти.

— Психологическая тонкость!... И что̀ у меня за страсть наблюдать ихъ! сказалъ онъ про себя.

Анекдотъ въ томъ состоялъ что ѣздилъ Англичанинъ на мельницу подъ Гатчиной, форелей удить, и когда клевъ не задавался, старикъ мельникъ будто̀ бы (при подробномъ воспоминаніи Петръ Андреевичъ усумнился въ справедливости анекдота) заставлялъ внученка нырять и насаживать рыбешку на крючекъ, а самъ въ это время заговаривалъ Англичанина. Форелька заготовлялась заранѣе, Англичанинъ не подозрѣвалъ уловки,

всегда оставался доволенъ и щедро расплачивался съ хитрымъ старикомъ.

Какъ молодой человѣкъ припомнилъ подробно анекдотъ и замѣтилъ за собой страсть наблюдать психологическія тонкости, мысль его повернула на прежнее.

„Разница между мной и Англичаниномъ та что онъ не зналъ про обманъ, а я самъ ужу, самъ ныряю, самъ себя надуваю и все-таки....“

Мысль словно споткнулась. Онъ не сказалъ самому себѣ: „и все-таки доволенъ“, но предчувствовалъ: продолжай мысль идти, она непремѣнно пришла бы къ такому заключенію. Молодой человѣкъ подмѣтилъ эту недосказанность мысли и что, думая, онъ въ то же время слѣдитъ за ходомъ своей мысли, и сознаетъ это слѣженье, и опять-таки замѣчаетъ, что есть въ немъ это сознанье.

Происходившее внутри его совершенно поглощало вниманіе молодаго человѣка; онъ не замѣтилъ какъ легъ на диванъ, не подозрѣвалъ даже что лежитъ.

„И все-таки я доволенъ собой“, явственно выговорилъ онъ про себя.

Мысль остановилась, ровно дошла до предѣла, стукнулась о него и замерла. Нашло мгновенье когда мысль прекращается, и человѣкъ, хотя не спитъ, ничего не замѣчаетъ и не сознаетъ себя. Про такія-мгновенья говорится что „человѣкъ крѣпко задумался“.

Мысль, простоявъ неподвижно, качнулась и пошла въ другую сторону. Двѣ вещи занимали молодаго человѣка: онъ раздумывалъ о своей особѣ, которую—онъ твердо былъ увѣренъ—онъ вѣчно надуваетъ и, второе, наблюдалъ: что̀ творится внутри его самого. Мысль на подобіе маятника, хотя не съ такою правильностью, колебалась между этими двумя предѣлами.

III.

„Да, о чемъ бишь я думалъ?“ спохватилась мысль, послѣ минутной остановки. „Я замѣчалъ что̀ во мнѣ дѣлается; слѣдилъ за всѣми извивами и изгибами своей мысли. Тамъ, внутри себя, есть нѣчто удивительно-сложное; оно думаетъ, мечтаетъ, грезитъ, и само можетъ сознавать всю эту дробную, кропотливую, путанную и перепутанную работу. Да, сознаетъ все это и вдобавокъ сознаетъ существованіе самого сознанія. Что̀ же оно само по себѣ, это мое сознаніе? Какъ узнать, какъ добраться до него? Если на время я все забуду что̀ зналъ, что̀ видѣлъ и чувствовалъ, и останусь вполнѣ наединѣ съ самимъ собою....“

Онъ остановился и точно съ горки посмотрѣлъ на пройденный умственный путь. Происходившее въ немъ казалось страннымъ и небывалымъ.

„Остаться наединѣ съ самимъ собою; совсѣмъ, совсѣмъ наединѣ, чтобы ничего кромѣ себя не сознавать.... этого со мной не бывало, моя мысль никогда такимъ образомъ не работала; никогда.... И что̀ же теперь, что̀ теперь?“

Онъ старался сосредоточиться, усиливался уединиться какъ можно полнѣе и сильнѣе; теперь онъ уже не считалъ себя вѣчно самое себя надувающею особой, и то грызущее, тоскливое чувство чѣмъ сопровождалась такая мысль оставило его. Онъ былъ поглощенъ тѣмъ что̀ впервые открывалось, еще не открылось, но вотъ сейчасъ, сейчасъ ему откроется. Трепетное чувство пытливаго ожиданія охватило его.

„И что̀ же теперь?—что̀? повторялъ онъ.—Теперь

во мнѣ только одна мысль: *я сознаю самого себя;* да, самого себя отдѣльно, уединенно, внѣ всего, внѣ времени и мѣста. И еще.... еще знаю что это сознаніе, это сознающее самого себя *я* существуетъ".

Молодой человѣкъ перевелъ духъ. Сдѣланное имъ открытіе, или вѣрнѣе — какъ онъ самъ полагалъ — то что̀ теперь само собой открылось ему важнымъ и знаменательнымъ. Онъ нѣсколько разъ повторилъ надъ собою опытъ самоуединенія, боясь не вкралось ли какой ошибки, и каждый разъ самъ собою открывался тотъ же выводъ. Петръ Андреевичъ, анализуя выводъ, скоро убѣдился что онъ есть не что̀ иное какъ Декартово *cogito ergo sum.* Такое убѣжденіе ни мало не опечалило Петра Андреича: онъ не проклялъ Декарта на основаніи правила pereant qui ante nos nostra dixerunt. Такое убѣжденіе, напротивъ, усилило для него значеніе вывода.

„Такъ вотъ что̀ въ сущности значитъ это пресловутое *cogito ergo sum*", думалъ онъ. „А мы, бывало, толковали, спорили о немъ! А настоящій-то внутренній смыслъ этихъ словъ былъ для насъ теменъ, тусклъ. Надо самому прожить такую умственную фазу, тогда только узнаешь ее, тогда только вполнѣ поймешь чужую мысль, уразумѣешь ея значеніе."

Тревожное чувство возбужденной пытливости, съ какимъ онъ дѣлалъ опытъ самоуединенія, теперь замѣнилось спокойнымъ чувствомъ довольства. Молодому человѣку нравилось что умъ его способенъ на такое пониманіе; самая умственная работа, едва конченная, удовлетворяла его. Таковъ былъ новый предѣлъ дальше чего мысль не пошла. Она вновь, какъ маятникъ, качнулась въ обратную сторону и возвратилась къ опыту

самоуединенія и отъ него, но съ уже меньшею противъ прежняго силой паденія, уклонилась къ первому предѣлу. Колебанія умственнаго маятника дѣлались слабѣе, энергія не направляла мысли, и она, становясь вялѣе и вялѣе, переходила въ грезу. Мысль такъ-сказать подремывала....

Долго ли молодой человѣкъ пролежалъ на диванѣ, онъ того не зналъ. Какъ онъ очнулся отъ крѣпкаго задумья, все окружающее показалось ему страннымъ, точно невиданнымъ. Странно и неуклюже лежало на диванѣ чье-то тѣло; точно то было не его тѣло, или онъ его никогда прежде не замѣчалъ. Въ глазахъ что-то мигало и что-то трещало, и еще слышался какой-то шлепъ и дребезгъ. Онъ точно откуда-то сверху глядѣлъ на все, не отдавая себѣ отчета въ томъ что̀ видѣлось и слышалось, не чувствуя нужды въ таковомъ отчетѣ. Бывшее сейчасъ внутри его представлялось столь же смутно. Онъ и на это смотрѣлъ также безучастно и безотчетно какъ на все отражавшееся на сѣтчатой оболочкѣ его глазъ.

Понемногу дремота спадала. Молодой человѣкъ сталъ припоминать что̀ было, не что̀ съ нимъ было, а что̀ произошло въ немъ. Онъ вспомнилъ весь ходъ мысли въ обратномъ порядкѣ до того момента какъ отошелъ отъ стола.

„И вышло: все же я надуваю себя, тѣмъ ли, этимъ, а надуваю. Положимъ, умъ мой пережилъ, самостоятельно пережилъ первую ступень Декартовской философіи,—что̀ жь изъ того? За первымъ шагомъ втораго не будетъ. Да, было время я радовался этой гибкости ума, старался развить ее. Какъ бывало предъ самимъ собой кичишься: понимаю-молъ, точно, ясно понимаю,

ровно какъ самъ авторъ. А дальше? Дальше—стопъ. И неужели же меня ничто, ничто глубоко не занимаетъ? тревожнѣе допытывался онъ,—и я не готовъ.... какъ бишь это?... Да, не готовъ погубить души своей ради чего-нибудь?... Какое глубокое выраженіе: погубить душу свою ради!... не утерпѣлъ, мимоходомъ восторгнулся молодой человѣкъ. Тамъ, у нихъ, губятъ душу, продолжалъ онъ,—ради Христа и Евангелія. Хорошо когда знаешь, чего ради дѣлаешь это и вѣришь что такъ оно и слѣдуетъ. А мнѣ?...“

На горькій вопросъ ничто не отозвалось въ душѣ.

— Нельзя же погубить ее ради развитія своей личности! горько усмѣхнулся онъ.

„Но если это не возможно, если я самъ не знаю ради чего погубить душу, продолжалъ онъ, — то хотя было бы на чемъ растратить силы. Бурно, безумно, безобразно, только не киснуть бы, не киснуть!“

И точно въ отвѣтъ на этотъ вопль отчаянія, предъ его „умными очами“ мелькнулъ нежданно давно не вспоминавшійся образъ.

„Да, съ нею я былъ бы счастливъ“, съ нѣжнымъ волненіемъ говорилъ Кононовъ. „Она понимала меня какъ никто, до малѣйшаго оттѣнка мысли! О, тогда я не сталъ бы раздумывать, не сталъ бы спрашивать: что̀ дѣлать, для кого̀ работать, зачѣмъ? И мое громадное самолюбіе, о чемъ бывало толковалъ Полѣновъ, незамѣтно и привольно умѣстилось бы въ четырехъ стѣнахъ. Душа была бы покойна.... Но то все прошло и стараго не воротишь! Теперь я не слышу про нее и даже хорошенько не знаю гдѣ она и что̀ съ ней, и воспоминанія становятся все слабѣе и слабѣе.... Но отчего и теперь, чуть мелькнетъ воспоминаніе, мнѣ

кажется: я встрѣчусь съ нею. И кажется....“ Кононовъ остановился, точно и наединѣ про себя боялся договорить. „Да, я увѣренъ что еще встрѣчусь съ нею, и эта встрѣча будетъ роковою!“....

Онъ замолчалъ; то нѣжное волненіе, чѣмъ сопровождалось воспоминаніе, стало тревожнѣе и напряженнѣе. Томительное чувство наполнило грудь; воспоминаніе, какъ тяжелое беремя, давило сердце и казалось что и жизнь не возможна пока оно не будетъ удалено, отброшено въ сторону. Помимо воли Кононова, въ немъ совершалась эта борьба; въ душѣ какъ будто что-то дрогнуло и зазвучало; уста шептали:

Зачѣмъ, о призракъ безпокойный,
Меня ты мучишь и тревожишь,
То наполняешь страстью знойной,
То душу точишь мнѣ и гложешь?
Я не зову тебя, страшуся
Съ тобою встрѣчи. На тебя я,
Какъ въ дни былые, не молюся,
Весь міръ для милой забывая.
Теперь молю я о забвеньи,
Его, какъ манны, ожидаю,—
И въ эти самыя мгновенья
Я вновь тебя воспоминаю.
Воспоминанье полно муки:
Ты вновь стоишь передо мною,
Какой была ты въ часъ разлуки,
Холодной, гордой и нѣмою.
Въ отвѣтъ на пени и рыданья
Улыбка на устахъ скользила.
„Отрадны мнѣ твои страданья“,
Она, казалось, говорила.
И если что-нибудь случайно
Тотъ горькій часъ напоминаетъ,—
О, знаю я, съ отрадой тайной
Ты шепчешь: „онъ по мнѣ страдаетъ“.
И на устахъ твоихъ змѣится
Опять улыбка....

. . . . . .

Кононовъ остановился.

„О, сказалъ онъ, — на что̀ бы ты ни могла меня подвигнуть, если воспоминаніе о тебѣ возбуждаетъ въ душѣ нѣчто похожее на вдохновеніе!“

Онъ вздохнулъ, тяжело и долго, и точно обезсилѣвъ, опустился на кресло и охвативъ голову руками склонился на письменный столъ. Часы пробили половину седьмаго.

IV.

Задребезжалъ звонокъ, и въ передней зашуршали и затопали чьи-то тяжелые сапоги. Усатая, круглая какъ мѣсяцъ, рябая, низкостриженая голова съ кашлемъ и храпомъ глянула въ комнату.

— Кто тамъ? очнулся Петръ Андреичъ.

— Колехтура.

— Какая корректура, отъ кого?

— Никандръ Ильичъ погнали. Получить извольте.

И усатый мѣсяцъ подалъ изрядный пакетъ.

— Это что̀ еще? Не ошибка ли?

— Никакъ нѣтъ-съ. Еще старыя, коли готовы, позвольте-съ. Нужны, говорятъ.

— Подожди.

Голова съ усами скрылась. Кононовъ разорвалъ пакетъ. Изъ него вывалилась кипа гранокъ и небольшая записка. Писарскою рукой изображено было что Никандръ Ильичъ надѣется-молъ что Петръ Андреичъ проглядѣлъ уже программу, которая кажется вышла не дурна, о которой они еще потолкуютъ при свиданіи и которую уже требуютъ въ типографію и насчетъ которой былъ уже говоръ въ цензурѣ. Въ заключеніе при-

лагалась небрежная просьба, въ которой не откажетъ Петръ Андреичъ, прочесть прилагаемую статейку, которая также нужна поскорѣе. Въ postscriptum'ѣ, написанномъ Никандровою рукой, стояло: „Такимъ образомъ я считаю что уже началось ваше секретаріатство (было сначала написано „секретарство", но исправлено), о которомъ мы уже говорили и которое, какъ я замѣтилъ, вамъ не противно, или вѣрнѣе не секретаріатство, а соредижированье" (было написано „соредакторство", но потомъ исправлено).

— Это что̀ еще за новость! вспыхнулъ Кононовъ.— Ужь не думаетъ ли онъ на меня черную работу взвалить подъ видомъ своего *секретаріатства!* И что̀ онъ вретъ: ничего я ему не обѣщалъ. Нѣтъ,—продолжалъ онъ, невольно пародируя Никандровъ слогъ,—за такое нахальство, которое вы уже оказали, вы получите нахлобучку, которую я вамъ сейчасъ задамъ.

Кононовъ схватился за перо. Усатая голова съ сапомъ снова выглянула изъ-за двери.

— Ваше высокородіе....

— Что̀ тебѣ? окрысился Кононовъ.

— Ничего-съ. Только дождь ужь очень больно.... до нитки какъ есть.

Смущеніе такъ не шло къ усатому мѣсяцу что Кононовъ улыбнулся.

— Ну? ласковѣе спросилъ онъ.

— Съ Подневскаго вѣдь къ вамъ приперъ. Къ сочинителю гоняли; заикнулся было „не пожалуете ли на чаишко". „Жалованье, говоритъ, получаешь, попрошайничать нечего". Что̀ же! Мы и сами знаемъ что получаемъ. Эхъ!... На ваше высокобродіе одна надежда. До нитки. Выпилъ бы.

— Да и я, можетъ, сочинитель?

— Никакъ-съ нѣтъ.

— Почему нѣтъ?

— Съ лица видно. Вы какъ есть въ себѣ баринъ.

Такой комплиментъ развеселилъ Кононова.

— Сейчасъ, сказалъ онъ и вмѣсто грознаго отвѣта черкнулъ: „Мнѣ рѣшительно, любезнѣйшій Никандръ Ильичъ, нѣтъ времени. При свиданіи поговоримъ. П. К.“ И сложивъ всѣ бумаги, и старыя и новыя, онъ отдалъ ихъ усачу.

— А вотъ тебѣ.

— Вотъ ужь истинно.... Господь васъ спаси.... А то до нитки.

— Петровна, крикнулъ Петръ Андреичъ,—запрете за нимъ двери, да сами сюда пожалуйте.

За стѣной зашуршало ситцевое платье и въ комнату вбѣжала молоденькая блондинка, съ просонья слегка толкнувшись о дверь плечомъ.

— Ахъ, да! вскрикнула она.

— Ахъ, это вы, Амалія Ѳедоровна!

— Ахъ, да, это я! Ахъ, Боже мой!

И блондинка вдругъ застыдилась и закраснѣвшись стала оправлять платьице и волосы.

— Я, знаете, Петръ Андреичъ, все лежала и задремала, наивно объясняла она свои дѣйствія.

Блондинка была маленькая и худенькая; чтобы быть совсѣмъ хорошенькою, ей надо бы годикъ-другой въ холѣ пожить. Отъ туго накрахмаленнаго смятаго платьица ея тѣльце казалось еще худѣе. „Ужь такъ-то я худа, ахъ какъ худа, и житье мнѣ худое!“ казалось жаловалось маленькое тѣльце. Личико впрочемъ не поддакивало тѣльцу: въ немъ не было ничего жалобнаго, оно

все конфешилось и ужь очень казалось хотѣлось ему улыбнуться.

— А Петровны дома нѣтъ, прибавила блондинка и улыбнулась.

— Какая досада! Я хотѣлъ было закусить....

— Это ничего, я сама сбѣгаю, живымъ манеромъ, поспѣшно отвѣчала она, точно боясь не раздумалъ бы Петръ Андреичъ закусить. —А самоваръ давно готовъ, я все ждала Семенъ Иваныча; они деньги пошли получать....

Она остановилась, точно воспоминаніе о томъ кого она за глаза величала *они* было не изъ пріятныхъ, и скорчила гримаску. Но гримаска только шмыгнула по личику, и оно опять засвѣтилось.

— Только чего бы намъ купить? спросила она не безъ лукавства и быстро взглянувъ на Петра Андреича стала смотрѣть на кончикъ своего башмачка.

— Право не знаю, отвѣчалъ молодой человѣкъ.

Но блондинка знала, ахъ! твердо знала чего именно слѣдуетъ купить. Она заговорила бойко, спѣшно, съ увлеченіемъ.

— Ахъ, знаете, я думаю сосисекъ и онѣ теперь сейчасъ у нашего колбасника: знаете, такія отличныя, горяченькія, вкусненькія!...

Блондинка разгорѣлась даже. Петръ Андреичъ, подавая ей деньги, не могъ не улыбнуться. Какъ она сконфузилась! „Ахъ, Боже мой! вѣдь Петръ Андреичъ такой умный, такой умный: онъ сейчасъ *совсѣмъ* отгадаетъ что у нея на мысли. Да, онъ теперь знаетъ: она, еще какъ валялась на кровати, думала хорошо бы, ахъ хорошо! поѣсть сосисекъ.“ И чтобы скрыть, свой конфузъ блондинка опрометью бросилась въ двери.

— Постойте, возмите мой зонтикъ, вѣдь вашъ....

— Вы думаете въ закладѣ? быстро спросила она. („Слава Богу, онъ ничего не замѣчалъ", мелькнуло у нея въ головѣ).—Нѣ-ѣтъ, весело протянула она.—Ахъ, это только Семенъ Иванычъ думаютъ что въ закладѣ, а онъ у Петровны въ сундукѣ. Мы всегда такъ. Какъ они придутъ выпимши, мы съ Петровной у нихъ всѣ карманы обшаримъ и деньги вынимаемъ, а имъ только немного оставимъ. Они не знаютъ: думаютъ истратили или потеряли. А потомъ какъ велятъ заложить, мы будто въ закладъ, и Петровна даже изъ дому убѣжитъ, нарочно, конечно, и просидитъ, знаете, съ полчаса этакъ у сосѣдской кухарки или въ лавочкѣ. А мы, знаете, вещь въ сундукъ запремъ и деньги вынимаемъ. И это все Петровна: ахъ, она хитрая-прехитрая, вы не знаете! И вы думаете,—заодно выбалтывала блондинка всѣ секреты,—и зонтикъ, и платье мое шелковое, и другое платье, все въ закладѣ? Ахъ, нѣтъ! Все, все у Петровны въ сундукѣ, торжественно заключила она и расхохоталась.

Не было сомнѣнія: воспоминаніе о Петровниныхъ хитростяхъ было любезно сердцу блондинки.

— Ну, а потомъ, какъ все заложимъ, они видятъ: дѣлать нечего и даютъ денегъ чтобы выкупать. И когда,— она остановилась, точно соображая слѣдуетъ ли сказать о чемъ еще сказать хочется и не успѣвъ сообразить продолжала,—и такъ иногда бываетъ, денегъ у нихъ вовсе нѣтъ, а у насъ есть. И я будто занимаю у Петровны, а то скажу отъ расходовъ оставалось, и они хвалятъ; говорятъ: я хорошая хозяйка и экономничать умѣю....

Амалія Ѳедоровна вдругъ остановилась и сконфузи-

лась; она сообразила что почему-то (почему именно— въ такія тонкости она, далъ Богъ, не пускалась) о послѣдней подробности разказывать не слѣдовало; пробормотавъ: „ахъ я забыла“, она шмыгнула изъ комнаты.

Болтовня Амаліи Ѳедоровны послужила молодому человѣку предметомъ для новыхъ разсужденій; думы на чемъ его засталъ разсылный еще не остыли; онѣ только на время были оставлены съ пылу. Теперь онѣ не замедлили примкнуть къ новымъ разсужденіямъ.

„И *они* хвалятъ, и Петровна такая хитрая-прехитрая, ахъ, вы не знаете!“ повторилъ онъ слова блондинки. „И живетъ себѣ, и не безъ счастія живетъ. Какъ ни верти, а вѣдь тутъ и въ *ихней* похвалѣ, и въ Петровнѣ, свое счастье есть. И мило вспомнить, и сердцу улыбается.... Да; а вотъ ты раздумывай чего-молъ для душевнаго счастья не достаетъ; чего ради душу свою погубить.... Или она свою погубила? Чего же ради? Любви ради?...“ — При словѣ любовь онъ вздрогнулъ, и точно испугавшись недавняго воспоминанія, усиленно занялся думой о блондинкѣ.— „А *они*, продолжалъ онъ, грубый такой, хмѣльной, подъ пьяную руку не подвертывайся — фу!... Нѣтъ, тутъ дѣло проще, гораздо проше.... Что̀ же тутъ?“...

Амалія Ѳедоровна не дала Петру Андреичу раздуматься, скорехонько вернулась. Она весело отрясывала зонтикъ и охлопывала платье.

— Посмотрите, какія чудесныя! закричала она, просунувъ сосиськи въ двери и тотчасъ скрылась.

Черезъ двѣ минуты и самоваръ кипѣлъ на столѣ, и чай былъ заваренъ, и приборы собраны.

— Что̀ жь вы? Садитесь. Или не хотите?

Она ничего не отвѣчала, только глаза у нея засмѣялись; казалось, такъ и покатываются они со смѣху, заливаются.

„Еще бы не хотѣть, съ утра не ѣла“, думала она садясь за столъ, а глаза все смѣялись „своему смѣху“. Уморительно казалось ей что умный человѣхъ ничего не отгадываетъ сегодня.

Она уплетала за обѣ щеки и въ то же время успѣвала и его подчивать, выбирая кусочки получше, и чайникъ на конфоркѣ поправить, и разказывать и смѣяться своему разказу.

„А все сосиськи надѣлали“, подумалъ Петръ Андреичъ, косвенно отвѣчая самому себѣ на заданный вопросъ.

Вдругъ, только-что блондинка разошлась окончательно, припоминая какую-то шутку хитрой Петровны („Она вѣдь преуморительная, ахъ, вы не знаете!“) въ передней звякнулъ звонокъ; звякнулъ рѣзко и оборвался, и опять задребежжалъ, точно чья пьяная рука дернула, а пьяныя ноги въ эту минуту шатнулись и потащили за собой руку. Блондинка вдругъ перемѣнилась въ лицѣ и неслышно, на цыпкахъ, шмыгнула въ переднюю. Она скоро вернулась.

— Нѣтъ, славу Богу, не они.... верхняго жильца спрашивали, тяжело дыша съ перепугу проговорила она.

— Отчего жь славу Богу?

Петръ Андреичъ спросилъ совершенно машинально. Блондинка широко раскрыла глаза и поглядѣла на него.

— Ахъ, я боялась.... Семенъ Иванычъ.... они деньги пошли получать....

— И вернутся пьяными? съ усмѣшкой добавилъ Петръ Андреичъ, также машинально, какъ раньше спросилъ „отчего славу Богу?“

Амалію Ѳедоровну всю передернуло; Кононовъ въ свою очередь поморщился, замѣтилъ что проврался. „Что̀ жь я ей такое сказалъ?“ старался онъ припомнить.

— Ахъ, нѣтъ... Что̀ вы говорите! залепетала въ сильнѣйшемъ волненіи блондинка, — конечно Семенъ Иванычъ... Только нѣтъ, они меня любятъ, и даже ревнуютъ, а вы говорите! И вы знаете на какой дорогѣ я была, и я могла пропадать, а вы говорите!

— Извините, прошепталъ Кононовъ, и еще сильнѣе поморщился. „Да что̀ жь такое я могъ ей сказать?“ снова спросилъ онъ себя.

— Ахъ, нѣтъ... Вы говорите: они пьютъ. У всякаго, конечно, свои слабости. Но я никогда, ахъ никогда! не должна ихъ забыть, и мнѣ грѣхъ будетъ.... И они ревнуютъ... И какъ я сейчасъ теперь была въ вашей комнатѣ, а они могли приходить.... И я испугалась отъ этого.... А вы говорите.... ахъ!

„Что̀ у нея тамъ въ головѣ копошится?“ подумалъ молодой человѣкъ и готовъ былъ сквозь землю провалиться.

— Нѣтъ вы знаете и не должны. Aber wissen Sie, Петръ Андреичъ, Sie dürfen mir das niemals sagen, ach! niemals!

Блондинка наполовину забыла родной языкъ и никогда на немъ даже не думала. Но въ важныхъ, въ *совсѣмъ* важныхъ случаяхъ не могла говорить по-русски. За нѣмецкимъ языкомъ неминуемо слѣдовали слезы. Такъ оно было и теперь.

„Да что̀ жь я ей однако сказалъ?“ уже съ досадой подумалъ Петръ Андреичъ, и желаніе провалиться сквозь землю усилилось.

Амалія Ѳедоровна, глотая слезы, быстро собрала со стола и ушла на свою половину.

„Нѣтъ видно я засидѣлся“, думалъ онъ, „и ужь говорю не думая, самъ не знаю что̀. И чортъ меня дернулъ сказать; сидѣла бы да болтала. И что̀ такое я ей сказалъ?“

Ударило половину восьмаго. Кононовъ рѣшилъ что засидѣлся на одномъ мѣстѣ и ему необходило провѣтриться. Онъ одѣлся и готовился ѣхать, самъ не зная куда. „Ну, куда-нибудь да попаду, а не то въ театръ“, сказалъ онъ.

— Вы извините, я не думалъ обидить васъ, сказалъ онъ блондинкѣ, уходя.

Она лукаво глянула ему въ глаза.

— Ну, ну, ну! полноте! улыбнулась она и слегка похлопала его по плечу.

— Что̀ такое „ну“? спросилъ онъ, и тоже улыбнулся.

— Ну, ужь я знаю! И въ лукавыхъ глазахъ скользнуло что-то вызывающее, ужасно вѣтряное и отчасти манящее.

„Богъ знаетъ что̀ у нея въ головѣ!“ твердилъ Петръ Андреичъ, подходя къ воротамъ.

По счастію извощикъ стоялъ у воротъ; привезъ, должно, кого. Кононовъ нанялъ его, но по дорогѣ два раза перемѣнялъ адресъ. Онъ ужь подъѣзжалъ по третьему, какъ вдругъ приказалъ извощику:

— Ступай-ка, братъ, на Николаевскую, я прибавлю.

„Чудной баринъ“, подумалъ Ванька, понукая дымившуюся лошадку.

„Что̀ у насъ сегодня? Да, четвергъ. Ну, конечно, тамъ по четвергамъ собираются“, увѣрялъ себя Петръ Андреичъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Тамъ, на Николаевской, какъ и въ остальномъ Петербургѣ, былъ не четвергъ, а среда. И никто тамъ сегодня не собирался, а было тамъ вотъ что̀.

Миленькая премиленькая и молоденькая премолоденькая барышня сидѣла одна одинешенька и ужасно скучала. Востроносенькая и живая, она походила на птичку, и теперь, какъ сидѣла нахохлившись и пригорюнившись, тоже напоминала птичку, зазяблую и перемокшую.

„Скучно, думала Людмила Тимоѳеевна, очень скучно и никого нѣтъ. Тетя Маша ушла къ своей пріятельницѣ, завтра у нея по матери поминки. Это она сестры боится, чтобы та не стала надъ пей смѣяться. Няня спитъ, да и о чемъ съ ней разговаривать?“

Да, скучновато-таки было, а въ институтѣ мечталось что дома навѣрно весело.

„Сестра говоритъ: я ничѣмъ не занимаюсь серіозно. Тебя ничто не занимаетъ, оттого тебѣ и скучно!“ мысленно передразнила она сестру. „Ну, и не занимаетъ! (У барышни даже губки надулись). Она даже сердится когда я новое платье примѣряю. И какъ тебя подоб-

ныя глупости занимаютъ!“ опять передразнила она сестру. „Вѣдь я не пристаю же къ ней. Она вотъ ученая, все занимается, а въ ней нѣтъ этого.... Милаго въ ней ничего нѣтъ. Сухая она, и вдобавокъ скупая. Да, ей денегъ жаль, оттого она и на мои платья сердится.“

Тутъ барышня остановилась. „Не хорошо такъ про сестру говорить“, сдѣлала она себѣ строгое внушеніе. „Она мнѣ вмѣсто матери.“

Барышня рѣшила думать о чемъ-нибудь другомъ и невольно продолжала о сестрѣ.

„Она теперь на лекціи сидитъ, соображала Людмила Тимоѳевна, — и щурится на профессора. И еще сердилась зачѣмъ я не поѣхала. Охота въ такой дождь. И что̀ бы я тамъ стала дѣлать? Сестра все поглядывала бы: не заснула ли я? И поминутно спрашивала бы: поняла? а? поняла? А справа усѣлась бы эта знакомая... ну, куцая, рѣшила Людмила Тимоѳевна. „Ахъ, Боже мой, еще какая куцая! И какъ я раньше не замѣчала что она такая?“

И барышня разсмѣялась; она была довольна своимъ открытіемъ.

„Да, о чемъ бишь я думала?“ продолжала она. „Да, эта куцая все наклонялась бы ко мнѣ и пищала бы: ахъ, я это знаю! ахъ, я давно объ этомъ читала! ахъ, какой интересный фактъ, и Либихъ“....

Барышня минутку передохнула.

„И онѣ считаютъ меня глупой, продолжала она, а я вовсе не глупая; я ихъ очень хорошо понимаю, а онѣ не могутъ про меня разсуждать. И я знаю какія онѣ, а онѣ какая я не знаютъ. Да, не знаютъ. А онѣ выдуманныя. У нихъ все выдуманное, ничего своего

нѣтъ. Начнутъ говорить и выдумываютъ: что бы умное сказать? И смѣяться не умѣютъ; онѣ никогда сразу не засмѣются, сперва подумаютъ: умно ли будетъ смѣяться? Какъ же онѣ не выдуманныя! Настоящія выдуманныя. А какая же я? Не знаю, только не выдуманная.... Я Божья, какъ няня говоритъ."

Барышня была довольна всѣми своими открытіями и тѣмъ что она умная и можетъ все разсудить. Она уже не скучала и готовилась продолжать открытія.

„Я не знаю чего хочу, только не хочу какъ онѣ.... Мнѣ не нравится. И вовсе не правда что меня ничто не занимаетъ,—припомнила она сестринъ упрекъ.—Я вотъ въ институтѣ еще отлично ариѳметику знала и теперь русской исторіей занимаюсь. Только я не хочу какъ онѣ.... Не хочу надоѣдать всѣмъ...."

Вошла няня и доложила: баринъ-молъ, Кононовъ прозывается, пришелъ.

„Какъ же я звонка не слыхала?" подумала барышня и громко сказала:—Проси.

„А онъ какой? Тоже выдуманный? Нѣтъ, должно-быть нѣтъ. Онъ въ кузину Настю былъ влюбленъ, я знаю."

Послѣднее обстоятельство было очень важно, по мнѣнію Людмилы Тимоѳеевны, и не мѣшаетъ кстати замѣтить что та о комъ мечталъ Кононовъ звалась Настасьей Григорьевной.

„Выдуманные, они влюбляться не могутъ", рѣшила барышня.

— А вы развѣ не на лекціи? сразу озадачила она Кононова.

— На какой лекціи? не безъ испуга спросилъ онъ.— „Неужели ученый разговоръ вести придется?" не безъ отвращенія подумалъ онъ.

Она сказала на какой.

— Тамъ всѣ, продолжала она.—Сестра говоритъ, очень интересно. Вы развѣ не интересуетесь?

— Я даже не зналъ что есть такая лекція. Но вы тоже не поѣхали, значитъ и вы не интересуетесь?

Кононовъ сказалъ это безъ всякой задней мысли; надо же было что-нибудь отвѣтить придирчивой и ученой барышнѣ, какою въ эту минуту казалась ему Людмила Тимоѳевна. Въ его тонѣ тоже не было ничего особеннаго, развѣ чуть мелькнула досада: попалъ де изъ огня да въ полымя. Но барышнѣ показалось будто онъ смѣется надъ ней, задираетъ ее. Она быстро глянула на него и улыбнулась. „А, ты думаешь кольнуть меня—постой же!“ казалось говорила эта улыбка.

— А по-вашему я непремѣнно должна интересоваться? Ахъ, Боже мой, я и забыла! нынче всѣ, всѣ интересуются. Извольте, буду восхищаться. „Ахъ, какой любопытный фактъ, и Либихъ! И какъ хорошо читаетъ! И главное удивительно логично!“—невольно повторила она свои недавнія открытія.—Что̀ бы сказать еще? Да помогите же, monsieur Кононовъ! Поддержите разговоръ.

— Я право.... и онъ запнулся.—„Да, она не такая; какая же она?“ мелькнуло у него въ головѣ.

Но барышнѣ стало весело что онъ смутился, не сумѣлъ впопадъ отвѣтить. Она закусила удила и пошла съ мѣста въ карьеръ.

— Нынче мода восхищаться лекціями. И теперь смѣются надъ прежнею модой. Сестра, какъ разсердится, всегда говоритъ: „ты ужь восхищайся лучше оперой“. А вѣдь то же самое: „Ахъ, Маріо, что̀ за прелесть! Какой голосъ! И какъ играетъ милашка!“ Вы чѣмъ же и кѣмъ восхищаетесь, М. Кононовъ.

Кононовъ попалъ въ тонъ, и пошла болтовня. Боже! о чемъ только не переговорили они. Разговоръ сыпался пересыпался, лился переливался. Остановиться ему не было никакой возможности: собесѣдники точно условились дразнить другъ друга. Людмила Тимоѳевна по крайней мѣрѣ была увѣрена что онъ все хочетъ кольнуть ее, и въ отвѣтъ готовила шпильки поострѣе. Она увлекалась, вся уходила въ разговоръ. Птичка проснулась, затрепескалась, защебетала. Кононовъ былъ сдержаннѣе, и если порой увлекался, то противъ воли: тò она увлекала его. Барышня была очень мила — онъ замѣтилъ это. Личико у нея было подвижное, живое; выраженіе безпрерывно мѣнялось и всегда казалось естественнымъ и пріятнымъ. И въ словахъ не было ничего затверженнаго, вызубреннаго наизусть. Иное было сказано мѣтко, иное остроумно, иное безцвѣтно, но ни въ мѣткости, ни въ остроуміи, ни въ безцвѣтности не было ничего казеннаго. И не было также никакихъ притязаній ни на мѣткость, ни на остроуміе. Говорилось какъ думалось. Кононовъ порой старался отгадать ея отвѣтъ; нѣтъ, она совсѣмъ другое отвѣчала, или хоть и въ родѣ его догадки, только своеобразно какъ-то, съ какимъ-то своимъ оттѣнкомъ. Точно уголокъ въ лѣсу: уютный и укромный, маленькій, но милый и пріятный; онъ словно уединился ото всего лѣса и живетъ себѣ, знать никого не хочетъ. И солнышко-то въ немъ, кажется, инаково свѣтитъ, и птицы порхаютъ, распѣваютъ по-своему, веселѣе и беззаботнѣе. Тутъ хорошо посидѣть, отдохнуть и забыть на долго ли, на коротко все на свѣтѣ. Кононовъ испытывалъ именно такое впечатлѣніе пріятнаго отдыха, только не забывалъ всего на свѣтѣ. Онъ любовался ею какъ знатокъ, или по меньшей мѣрѣ хотѣлъ именно такъ, а не иначе любоваться ею.

— Я васъ никогда не видалъ такою веселою, сказалъ онъ между прочимъ.

— Вы меня мало видали, сказала она.

— Вы обыкновенно неразговорчивы. Или, быть-можетъ, вы боитесь сестрицы?

Онъ думалъ: „она разсердится на этотъ вопросъ“, и его интересовало что-то она отвѣтитъ. Тутъ-то и крылась разница между имъ и барышней. Задай Людмила Тимоѳеевна ему такой вопросъ, она сдѣлала бы это безо всякой задней мысли. Ее интересовалъ бы не столько смыслъ его отвѣта, сколько какъ, съ какимъ движеніемъ приметъ онъ ея шпильку.

— Нѣтъ, я не боюсь, отвѣчала барышня.—Я просто съ ними разговаривать не умѣю, съ этими что у сестры бываютъ. И она, припомнивъ про „выдуманныхъ“, не утерпѣла чтобы не сообщить своего открытія и не вставить своего словца. При словцѣ, она взглянула, каково де оно ему покажется. Онъ улыбнулся. „Значитъ словцо ничего, хорошее словцо“, рѣшила она.

— Да я съ ними не умѣю разговаривать. А въ столовой у тети, гдѣ тетя Маша чай разливаетъ, мы болтаемъ и смѣемся.

— А меня вы тоже къ выдуманнымъ причисляли?

— Васъ? переспросила Людмила Тимоѳеевна и слегка смутилась.—Я, право, васъ такъ мало знаю....

— Признайтесь что да; скажите по правдѣ....

— По правдѣ я о васъ никогда не думала какой вы....

Людмила Тимоѳеевна окончательно сконфузилась.

— Нѣтъ; вотъ вы говорите, что я сестры боюсь, припомнила она и очень обрадовалась случаю перемѣнить разговоръ,—нѣтъ, я не боюсь. Она умная и много знаетъ.

Людмила Тимоѳеевна остановилась и не знала что̀ еще сказать про сестру: „онъ еще подумаетъ, что я съ ней смѣюсь“, мелькнуло у нея въ головѣ.

— Вѣдь правда, спросила она, только бы не молчать,—вѣдь правда: она умная и много знаетъ?

— Мнѣ кажется у нея весьма серіозный умъ, и она дѣйствительно много знаетъ. Я очень ее уважаю.

— Уважаете? И въ головѣ у барышни мелькнуло новое открытіе.—Значитъ, боитесь ее. Оттого вамъ и кажется, будто и я боюсь. Всегда думаешь про другихъ какъ будто про себя; не про всѣхъ другихъ, а кого мало знаешь.

— Помилуйте, съ чего мнѣ бояться вашей сестрицы? Что въ ней страшнаго?

— Нѣтъ, нѣтъ, горячо заговорила Людмила Тимоѳеевна.—нѣтъ, кого уважаешь, того непремѣнно боишься. Вотъ у насъ батюшка въ институтѣ былъ, священникъ. Славный такой, умный, справедливый. Мы всѣ его уважали, и ужасно какъ боялись. Я не знаю какъ бы вамъ объяснить, Ну, вотъ когда кого уважаешь, сильно уважаешь, съ тѣмъ никогда не вздумаешь просто заговорить; ему не скажешь что̀ въ голову придетъ. Все думаешь: „можетъ-быть, это обидитъ его“, или „покажется ему глупо“, или „просто непріятно ему будетъ, потому что онъ о чемъ-нибудь серіозномъ задумался“. Вотъ это, по-моему, и значитъ бояться; уважать и боиться. Вы поняли?

— Да, да, отвѣчалъ Кононовъ, стараясь уловить ея мысль.

— А вы... вы не разсердитесь?

— Отвѣчать стѣсненіе, говорите.

— А вы именно такъ говорите съ сестрой. Я за-

мѣчала. Вы никогда просто съ ней не говорите, а всегда, всегда думаете сказать ей что-нибудь.... что-нибудь ученое.

— Я говорю съ вашей сестрицей о томъ что̀, по-моему, можетъ занимать ее.

— Да? значитъ, вы говорите съ ней съ подходцемъ! торжественно заключила она.—Вы знаете это слово „съ подходцемъ“? Это няня такъ говоритъ. Вамъ нравится? По-моему оно такое хорошее, и.... и смѣшное.

И Людмила Тимоѳеевна засмѣялась.

— А если вы не просто съ ней говорите, значитъ вы ее боитесь.

— Позвольте, я не вполнѣ васъ понимаю. Вѣдь и вы уважаете, конечно, свою сестрицу, значитъ и вы ее боитесь.

— Нѣтъ это не то; совсѣмъ не то. Неужели вы не понимаете? съ нѣкоторымъ отчаяніемъ заговорила она, и Кононову показалось что на словѣ *вы* было сдѣлано удареніе.—Видите, еслибъ она была не сестрой мнѣ, а постороннею, совсѣмъ постороннею, я уважала бы ее, и тогда боялась бы. А теперь я могу съ ней просто говорить, оттого что люблю ее. Такъ, особенно люблю, по-сестринскому. Вы понимаете?

Кононову казалось будто онъ ее понимаетъ, и разговоръ побѣжалъ своимъ чередомъ.

II.

Кононову не было времени скучать, и онъ проболталъ съ Людмилой Тимоѳеевной до возвращенія старшей сестры съ лекціи. По счастію, лекція затянулась. Сестрица вернулась поздно и не въ духѣ, весьма сурово

поздоровалась съ Кононовымъ и молча стала разливать чай, немилосердно дребежжа ложечками. Съ сестрицей пожаловала ея знакомая дама, „куцая“, по мнѣнію Людмилы Тимоѳевны. Куцая, въ качествѣ дамы образованной, завела ученый разговоръ, обращаясь преимущественно къ Кононову. Тотъ отвѣчалъ ей односложно, только не обидѣть бы благородной дамы, и подумывалъ какъ бы улизнуть поскорѣе домой. Оказалось что поддерживать такимъ образомъ разговоръ не всегда безопасно.

— Вамъ извѣстно, повѣствовала куцая,—что свѣтъ дѣйствуетъ на глазъ. Это законъ....

— Фактъ, неосторожно замѣтилъ Кононовъ.

— Я очень хорошо знаю что̀ такое фактъ и что̀ такое законъ и напрасно вы меня учите, вскипѣла куце-ученая барыня,—вы, мущины, думаете что мы ничего не можемъ знать, но мы вамъ докажемъ....

— Принято называть....

— Не думаете ли вы меня застращать авторитетами? Такъ я ихъ не признаю.

И въ доказательство того дама пустила въ него дюжиной ученыхъ именъ.

— Я вовсе не имѣлъ въ виду, началъ было Кононовъ.

Но отъ учено-куцей дамы не такъ-то легко было отбояриться. Она рѣшилась постоять за себя и за женщинъ вообще и пошла безъ милосердія опоражнивать свой умственный кошелекъ, крошечный, чуточный кошелекъ для мелочи. И даже не для ходячей мелочи, а для воображаемой. Представьте себѣ что копеечки и денежки изъ серебра чеканятся: какіе же кошелечки понадобятся?

— Да, хотя я женщина, черезъ четверть часа кричала она,—но очень хорошо понимаю что̀ такое законъ. И я докажу вамъ.... Что̀ я вывожу изъ факта—это законъ. Напримѣръ, я наблюдаю что человѣку ѣсть надо когда онъ голоденъ. И это законъ.

— Точно такъ, съ поспѣшною почтительностію отвѣчалъ Кононовъ, вставая съ мѣста и берясь за шляпу.

— Да, это законъ. А когда я наблюдаю что у меня слезы идутъ изъ глазъ и знаю что онѣ отдѣляются изъ слезной железы, это—фактъ.

— Такъ точно, еще торопливѣе и еще почтительнѣе проговорилъ Кононовъ, откланиваясь обществу.

О, еслибъ онъ зналъ какую ненависть къ себѣ поселилъ въ груди куцей дамы! „Я, кажется, сбилась, проговорила она про себя,—но я знаю что̀ такое фактъ и что̀ такое законъ. И я ему докажу!“

Убѣжавшій отъ доказательства Кононовъ благополучно вернулся домой, но дома не все обстояло благополучно. Онъ дернулъ звонокъ, въ другой пошибче, въ третій еще: никто не отворяетъ. Онъ дотронулся до ручки, дверь оказалась отпертой. Вошелъ, въ передней темно, дальше тоже, гдѣ-то слышится шуршанье и точно кто-то всхлипываетъ.

„Что̀ тамъ?“ подумалъ Петръ Андреичъ и отворилъ дверь въ кухню.

Его очамъ предстало странное зрѣлище: у плиты, на четвереньках, стоялъ Семенъ Иванычъ и мыча стукался головой о края плитнаго устья. Дверка была отворена, но голова никакъ не попадала въ отверстіе. Семенъ Иванычъ не унывалъ и ревностно продолжалъ тѣ же упражненія. Амалія Ѳедоровна, всхлипывая,

стояла возлѣ со свѣчей въ рукахъ, точно желала посвѣтить сожителю. Петровна подголосывала хозяйкѣ, ползая на колѣняхъ около художника. Она не то хотѣла оттащить его отъ плиты, не то припадала къ нему.

— Нашла-таки, вотъ онѣ, чортовы, съ неудовольствіемъ сказала она, подавая деньги блондинкѣ.—Сочтите-ка.

— Гдѣ жь онѣ были? съ тихими слезами спросила Амалія Ѳедоровна.

— А все въ жилетѣ, въ кармашкѣ. Только подкладочка поразорвамшись, онѣ и запали, да я приловчилась. Зашить одначе надо будетъ; не то вывалятся еще. А сколько?

— Ахъ, надо будетъ зашивать! Ахъ, тридцать семь! рыдала и считала деньги блондинка.

— Ну, слава Богу!—Петровна повеселѣла, и замѣтивъ Кононова точно устыдилась своей веселости и съ сокрушеньемъ доложила: — Безъ правенькаго сапожка пришли-съ.

— Ахъ, скотина! вырвалось у Кононова.

Дамы строго поглядѣли на него.

— Надо однако уложить его. Ну, беритесь, распорядился Кононовъ.

Охмѣлѣвшее тѣло, послѣ немалыхъ трудовъ, было наконецъ водружено на постели и разоблачено отъ мокраго платья. Сыманье лѣваго сапога, вѣроятно, напомнило дамамъ о прежде-временной гибели праваго, и онѣ сочли долгомъ оплакать покойника.

— Ну что̀ вы рюмите? почти прикрикнулъ на нихъ Кононовъ.—Вамъ бы его въ кухнѣ полѣньями, или пусть бы его подъ плитой ночевалъ....

Дамскія слезы мгновенно высохли, и дамы сухими, почти злобными глазами глянули на совѣтчика. „Ахъ ты, безчувственный этакой!“ сказали сухіе глаза.

— Ну, а все-таки парадную дверь запереть не мѣшаетъ, сердито проворчалъ Петръ Андреичъ и пошелъ къ себѣ.

Милый вечеръ не могъ кончиться досаднѣе. „Спать, спать!“ рѣшилъ Кононовъ и улегся, но уснуть не могъ. Въ сосѣдней комнатѣ шуршали платья и слышалось неясное шушуканье. „Или опять заревѣли?“ съ досадой подумалъ молодой человѣкъ. „Нѣтъ, хихикаютъ: деньги, должно-быть, еще нашли“. Но вотъ, слава Богу, шуршанье, хихиканье и шептанье замолкли, только неугомонный дождикъ похлопываетъ, да пошлепываетъ. Хлопъ, шлееепъ, хлопъ, шлееепъ! „Ну-ка подъ дождикъ усну“. Въ ушахъ что-то шепчется. „Что̀ тамъ, бредитъ мысль,— кто тамъ шепчетъ, зовутъ что-ли меня?“ Звуки явственнѣе, вотъ и разслышать можно. Хлопъ—фактъ, шлепъ— законъ!

— Ахъ проклятая! какъ барабанную перепонку намозолила, проворчалъ Петръ Андреичъ и перевернулся на другой бокъ.

Подушка ли сползаетъ, голова ли въ нее тонетъ, только пріятно таково. Задремывается. „Вотъ-вотъ, сію, сію, сію секунду засну“, засыпаетъ мысль. Въ глазахъ мерещиться начинаетъ; мерещится, ростетъ, яснѣетъ, опредѣляется.

— Кто тамъ? забредила мысль,—кто подходитъ?— Ясно: Семенъ Иванычъ изъ плитной дверцы поглядываетъ, и лѣзетъ все ближе, ближе, до лица коснулся.

— Фу, чортъ возьми! И Кононовъ опять перевернулся.

— И отчего эта дрянь лѣзетъ? усиливается сообразить мысль.—Когда засыпаешь всегда рожи представляются... Да, да, она очень мила... И умница... Какъ бишь она это сказала?...

„Хлопъ—фактъ, шлееепъ—законъ!“ опять явственно зачастило въ ушахъ.

„Мочи нѣтъ!“ прошепталъ Кононовъ и думалъ было свѣчу зажечь, но дрема одолѣла.

— Когда засыпаешь, усиливается работать дремлющая мысль, всегда шепотъ слышится, точно зоветъ... И собой она мила!

Въ глазахъ заметались разныя хари, но одна осилѣла. Ясно: изъ плитной дверцы Семенъ Иванычъ и опять цѣловаться норовитъ. И опять вертись. И снова: шлепъ—законъ, хлопъ—фактъ! шумитъ дождь. „Вотъ, вотъ засыпаю“, едва бормочетъ сквозь сонъ мысль. И опять лѣзетъ изъ дверцы, и въ самыя губы норовитъ...

— Ахъ, чортъ васъ возьми! Канитель! ругается Петръ Андреичъ и наконецъ-то, наконецъ засыпаетъ.

III.

Сестрица Людмилы Тимоѳеевны, Паулина Тимоѳеевна, что̀ вчера столь упорно молчала и немилосердо дребежжала ложечками (единственная причина почему я не представилъ ее немедленно читателю), была особа.... нѣтъ, не особа: она терпѣть не могла этого слова и замѣняла его словомъ „личность“. Она выражалась также и про другихъ: „умная личность“, „пустая личность“, „ученая личность,“ и такъ далѣе. Словомъ, всѣ ея знакомые были личности, и сама она была замѣчательная

двацати-пяти-лѣтняя личность. По крайней мѣрѣ, она считала себя таковою.

Она думала про себя какъ про личность ученую, даже слишкомъ ученую, притомъ личность необыкновенно умную. Она училась, постоянно училась, прилежно училась, училась съ тѣхъ поръ какъ начала себя помнить. Она знала астрономію, физику и математику, и не то чтобы на однихъ словахъ, а на самомъ дѣлѣ. Она была умна и до сихъ поръ еще не встрѣчала личности умнѣе себя. Она была вдобавокъ логична. Непрестанно заботилась она дабы все что̀ она ни дѣлала и ни говорила было логично, и всѣ ея слова и дѣйствія отличались строгою логичностью. Въ другихъ, къ немалому негодованію и огорченію, она не замѣчала логичности; особенно нелогичны казались ей мужскія личности. Быть-можетъ это происходило отъ того что у нея была *своя* логика.

Звали Паулину собственно не Паулиной, а Павлой, въ честь бабки, игуменьи. Она находила что не логично называть дѣтей глупымъ именемъ (таково, по ея мнѣнію, было имя Павлы) въ чью бы то ни было честь. Далѣе, игуменья была *свекровью* ея матери, а это имя, равно какъ вообще имена свойства, какъ-то деверь, невѣстка, золовка, шуринъ, казались Паулинѣ ужасно нелогичными. „У Нѣмцевъ нѣтъ же такихъ именъ, а если и были въ старину, то они ихъ уничтожили: не логично обременять память лишними словами.“ Отсюда она выводила что русскій языкъ вообще не логиченъ; нѣмецкій гораздо логичнѣе. Къ своему горю она никакъ не могла отвыкнуть думать по-русски и утѣшалась тѣмъ что ради логичности предпочитала Германцевъ Россіянамъ.

Ея любви къ нѣмецкому племени не мало способствовало слѣдующее обстоятельство. Въ институтѣ облюбовала ее нѣкая классная дама изъ митавскихъ Нѣмокъ, взяла подъ свое крылышко и обучила ее нѣмецкимъ добродѣтелямъ. Добродѣтели сіи состояли въ порядливости, чистоплотности и бережливости. И воспитательница, и ученица были твердо убѣждены что оныя качества свойственны только Нѣмкамъ.

По выходѣ изъ института Паулина возгорѣлась желаніемъ увидѣть Германію, родину классной дамы изъ Митавы. Сіе было ей дозволено, и она покатила въ сопровожденіи своей воспитательницы. Паулина не только очаровалась, но была просто пришиблена нѣмецкою жизнью, показавшеюся ей олицетвореннымъ идеаломъ. Она восхищалась всѣмъ нѣмецкимъ безъ изъятія, безпрекословно и подобострастно. Все, все въ этой ученой странѣ казалось ей логичнымъ и она готова была на всякія жертвы только не отстать бы отъ Нѣмокъ. На что! будучи, между нами, сластеной, она отказалась отъ нѣкоторыхъ своихъ любимыхъ яствъ, какъ-то соленыхъ огурцовъ и поросенка подъ хрѣномъ, ибо оныхъ яствъ въ Германіи вкушать не дозволяется.

Послѣ двухлѣтняго пребыванія подъ небомъ Бюхнера и Фохта, Паулина (я предпочитаю звать ее однимъ именемъ безъ отчества, ибо отчество ей казалось нелогичнымъ) вывезла оттуда три сказанныя нѣмецкія добродѣтели, укрѣпленныя примѣромъ филистерской жизни, матеріалистическія воззрѣнія, нѣсколько свѣдѣній въ наукахъ и мужа своей дорогой воспитательницы, не замедлившей сочетаться законнымъ бракомъ съ ученымъ агрономомъ. Къ несчастію, всѣ эти богатства не пригожались или вовсе не пригодились въ необразованной Россіи.

Начнемъ съ добродѣтелей. Порядливость перешла въ Паулинѣ въ болѣзненную страсть видѣть всюду безпорядокъ и заводить въ домѣ что̀ ни день новые порядки. Чистоплотность въ брезгливость къ русской прислугѣ, казавшейся ей ужасно нечистоплотною, въ ту силу что сама Паулина, занятая науками, не удосуживалась наблюдать за чистотой своей личности. Паулина не раньше успокоилась, какъ взявъ въ домъ горничную Нѣмку, которая, сообразивъ въ чемъ дѣло, взяла въ руки фрейлинъ. Многія русскія барыни, какъ я замѣчалъ, успокоиваются на этомъ. Бережливость Паулины весьма смахивала на скаредность; она усчитывала прислугу на каждой копѣйкѣ и все-таки была увѣрена что ее обкрадываютъ; она самолично отвѣшивала хлѣбъ для прислуги и вѣчно мучалась, что люди жрутъ ужасно. Да, именно „жрутъ“: про себя Паулина выражалась довольно безцеремонно.

Наконецъ Нѣмкинъ мужъ также не пригодился. Паулина мечтала сдѣлать его главноуправляющимъ своего и сестринаго имѣнія, но ей сего не дозволили. Имѣніе не было раздѣлено, да и сама Паулина оказалась въ то время несовершеннолѣтнею. Нѣмкинъ мужъ, при первомъ намекѣ Паулины быть главноуправляющимъ, пробѣжавшій за нею весь Мюнхенъ безъ шляпы, видя что дѣло не выгораетъ выругалъ свою жену, Паулину и варварскую Россію самыми скверными словами и пригрозилъ пожаловаться своему начальству. Паулина обидѣлась, но не на Нѣмца, а на нелогичность русскихъ законовъ считающихъ девятнадцатилѣтнюю просвященную дѣвицу несовершеннолѣтнею. Она была увѣрена что по ту сторону Вержболова такой нелогичности не существуетъ.

Паулина была дѣвицей и богатою невѣстой, но никто не заботился даже узнать замужняя она, вдова, или дѣвица и много ли за ней приданаго. Выражаясь моднымъ слогомъ, такой вопросъ былъ поднятъ всего однажды. Именно при поѣздкѣ Паулины въ наслѣдственное имѣніе черезъ городъ Коротоякъ, между штабсъ-капитаномъ Моргуновымъ и поручикомъ Дергуновымъ произошелъ слѣдующій разговоръ:

— Видѣлъ, спросилъ Моргуновъ,—нынче проѣхала грязь-городская помѣщица Воробьева?

— Видѣлъ: больно мурловата, отвѣчалъ легкомысленный поручикъ.

— Не бѣда: мурловата, за то говорятъ страсть богата, глубокомысленно замѣтилъ солидный штабсъ-капитанъ.—А что она дѣвица или вдовая?

— Она, братъ, ученая.

— А-а!

Тѣмъ разговоръ и кончился.

Нельзя сказать чтобы сама Паулина никогда не мечтала о мужѣ и дѣтяхъ, но мечты эти были особаго свойства. Мужа она не представляла себѣ ни высокимъ, ни среднимъ, ни малаго роста, ни свѣтлорусымъ, ни темнорусымъ, ни чернявымъ, ни чиновникомъ, ни военнымъ, ни ученымъ, ни помѣщикомъ, а видѣлось ей, напримѣръ, что сидитъ она звѣздною ночью въ саду и подлѣ нея личность въ мужскомъ платьѣ. И эта личность ни въ чемъ ей не прекословитъ и не возражаетъ, а только слушаетъ ее и восторгается ею. И обучаетъ она эту личность астрономіи, и говоритъ ему:

— Другъ мой, видишь какая у тебя умная жена: всѣ созвѣздія знаетъ.

А личность ей въ отвѣтъ:

— Да, мой другъ, я счастливъ что у меня такая умная жена.

При мечтѣ о дѣтяхъ Паулина видѣла что она сидитъ и читаетъ толстое нѣмецкое *Руководство къ воспитанію дѣтей*. Она читаетъ и примѣняетъ правила, а дѣтишки.... но она не иначе ихъ могла вообразить себѣ, какъ въ видѣ олицетворенныхъ правилъ.

IV.

Паулина по-своему любила младшую сестру и заботилась о ея воспитаніи, то-есть чтобы сестра по возможности во всемъ походила на нее. Для достиженія такой цѣли, Паулина старалась удалить отъ сестры всякую пошлость и непрестанно толковала ей о необходимости серіозныхъ занятій. Людмила Тимоѳевна плохо поддавалась логичности. Отъ занятій она не отказывалась, но вздумала брать уроки—оле ужаса!—русской исторіи. Старшая сестрица хотя и нашла что младшая *ist ganz verrückt*, но покоряясь необходимости, и чтобы сестра не болталась, пригласила учителя. Что до знакомствъ, то Паулина не могла безъ ужаса вспомнить о пошлости личныхъ сестриныхъ и тети-Машиныхъ знакомыхъ, и на подмогу дерзости съ какою обращалась съ ними старалась окружить ее личностями умными и просвѣщенными. На Кононова Паулина Тимоѳевна до сихъ поръ не обращала никакого вниманія, но со вчерашняго вечера причислила его безповоротно къ „пошлымъ". Ей, какъ и ея куцей знакомой, показалось будто онъ вчера имѣлъ въ виду оскорбить если не всѣхъ женщинъ вообще, то по крайности женскій вопросъ, а на этотъ счетъ Паулина была особенно щекотлива.

Милая барышня сидѣла за фортепіано и разбирала романсъ; во время паузы она вспомнила что вчера ей весело болталось, и что Кононовъ былъ очень милъ: Въ это время ее позвали къ сестрицѣ. „Зачѣмъ я ей?“ подумала Людмила Тимоѳевна и пошла съ тайнымъ предчувствіемъ выговора. Сколько бы она ни перебирала за что̀ ей можетъ быть выговоръ, она никакъ не догадалась бы что разговоръ будетъ о вчерашнемъ. Паулина спросила долго ли просидѣлъ Кононовъ и о чемъ они разговаривали. Вопросы эти, или вѣрнѣе важно-озабоченный тонъ какимъ они предлагались, показались барышнѣ ужасно странными, и она едва удержалась чтобы не улыбнуться. „Неужели ей никогда не приходилось болтать?“ мелькнуло въ головѣ.

— И онъ вѣрно наговорилъ тебѣ кучу самыхъ пошлыхъ любезностей, сказала Паулина тономъ не допускавшимъ сомнѣнія.

Людмила Тимоѳевна съ изумленіемъ поглядѣла на сестру и ничего не отвѣтила.

— Я говорю тебѣ это изъ желанія предупредить, продолжала старшая.—Ты, пожалуй, примешь эти любезности за нѣчто серіозное и вообразишь себѣ...

— Помилуй, Паулина, онъ такъ рѣдко бываетъ у насъ, вставила меньшая.

— Это ровно ничего не значитъ, отрѣзала старшая и продолжала въ томъ же наставительномъ тонѣ.

Милая барышня, слушая эти наставленія, удивлялась, какъ это сестра такая умная, а не имѣетъ понятія о самыхъ простыхъ вещахъ, и отчего онѣ кажутся ей вовсе не въ томъ видѣ, какъ бываютъ на самомъ дѣлѣ. И ей какъ-то жаль стало сестру, и она рѣшила никогда ей впередъ не противорѣчить. „Пусть

она говоритъ что̀ хочетъ, надо быть къ ней снисходительной и ласковою: она вѣдь совершенное дитя", рѣшила Людмила Тимоѳевна.

Наставленія не имѣли иныхъ послѣдствій кромѣ того, что начавъ снова разбирать романсъ и дойдя до той же паузы, милая барышня невольно улыбнулась вспомнивъ недавнія слова сестры и вчерашнее. Она перебрала весь разговоръ, и спросила себя отчего Кононовъ такъ рѣдко бываетъ у нихъ, и рѣшила что хорошо, еслибъ онъ и другіе „нескучные" бывали почаще. Весьма можетъ быть что дальше она открыла бы что *жаль* что онъ рѣдко бываетъ, но была отвлечена приходомъ старика-дяди, недавно пріѣхавшаго изъ деревни. Дядя сталъ разспрашивать, какъ поживаетъ племянница и кто у нихъ бываетъ, и Людмила Тимоѳевна объявила что больше всѣхъ знакомыхъ ей нравится Кононовъ. Она съ такимъ наивнымъ восхищеніемъ разказывала какъ съ нимъ весело, что старикъ, страстно любившій племянницу, просилъ непремѣнно поскорѣй познакомить его съ молодымъ человѣкомъ. Племянница обѣщала. „А если онъ опять долго у насъ не будетъ?" пришелъ въ голову вопросъ. „И можетъ-быть вчера я ему наскучила и показалась глупою". И слѣдомъ барышня улыбнулась, и эта улыбка говорила: „Нѣтъ, быть не можетъ".

Таково было послѣдствіе визита Кононова, въ соединеніи съ наставленіями Паулины Тимоѳевны, на Николаевской. Не безъ послѣдствій вчерашній вечеръ оказался и во флигелѣ господина Щурупова. Именно, блондинка на другое утро, когда Семенъ Ивановичъ еще не проснулись, разказала хитрой Петровнѣ о вчерашнихъ сосиськахъ, смѣхѣ и слезахъ. Петровнѣ все это пока-

залось необычайно интересно и она разспросила кое о чемъ подробнѣе.

— И онъ говорилъ зачѣмъ пьетъ Семенъ Ивановичъ? спросила Петровна.

Блондинка отвѣчала утвердительно.

— А помните что̀ онъ сказалъ какъ мы нашу чуду-то вчера укладывали?

Хитрая Петровна какъ этотъ, такъ и другіе вопросы, предлагала безо всякой не только задней, но и передней мысли, собственно ради поддержанія разговора. Но послѣдній вопросъ почему-то произвелъ впечатлѣніе на блондинку. Она точно что-то сообразила, и вдругъ вспыхнула. Петровна глянула на нее и прищурилась, а блондинка пуще загорѣлась, можетъ-быть потому что въ ту же минуту послышался изъ-за стѣны голосъ Семена Иваныча. Художникъ проснувшись услышалъ, что разговоръ шелъ про сосиськи, и составилъ планъ какъ будетъ ѣсть ихъ.

— Ты что̀ тамъ о сосиськахъ болтала? спросилъ онъ вошедшую Амалію.

Та созналась.

— Гм, особенно свирѣпо промычалъ художникъ. Неизвѣстно отчего зависѣло сіе свирѣпство: отъ обманутой надежды, или отъ ревности, только Амалія Ѳедоровна вся затрепетала и боялась какъ бы Семенъ Ивановичъ не замѣтили этого. И о таковомъ обстоятельствѣ было сообщено Петровнѣ, и это заставило почтенную даму серіозно подумать о дѣлѣ. Какъ она думала и до чего додумалась будетъ своевременно объяснено читателю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Кононовъ проснулся поздно, съ тяжелою головой, и рѣшилъ пить чай въ постели. Въ головѣ было смутно, неясно, туманно; мысли разбѣгались и спотыкались на каждомъ шагу. О вчерашнемъ не сохранилось никакихъ воспоминаній. Отъ дѣлать-нечего и чтобы хоть на чемъ-нибудь сосредоточить мысль, Кононовъ протянулъ руку къ этажеркѣ съ книгами и потащилъ первый попавшійся томикъ. То были стихотворенія Огарева; онъ раскрылъ ихъ на удачу; выпала 83 страница III строфа *Монологовъ*.

Кононовъ сталъ читать механически, но начало стихотворенія показалось ему: онъ рѣшилъ перечесть строфу съ бо̀льшимъ вниманіемъ и началъ вслухъ:

Чего хочу?... чего?... О! такъ желаній много,
Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь
Что̀ кажется порой—ихъ внутренней тревогой
Сожжется мозгъ и разорвется грудь.
Чего хочу? Всего, со всею полнотою!
Я жажду знать, я подвиговъ хочу,
Еще хочу любить съ безумною тоскою,
Весь трепетъ жизни чувствовать хочу!
А въ тайнѣ чувствую что всѣ желанья тщетны,
И жизнь скупа, и внутренно я хилъ,
Мои стремленія замолкнутъ безотвѣтны,
Въ попыткахъ я запасъ растрачу силъ.
Я самъ себѣ кажусь....

Кононовъ остановился.

— Конецъ слабъ, проговорилъ онъ, пробѣжавъ глазами нѣсколько слѣдующихъ стиховъ,—и читать не сто̀итъ, но начало...

И Кононовъ принялся было анализовать начало.

— Можно къ тебѣ? послышались чьи-то необычайно низкія и хриплыя ноты.

— Войди.

Низкія ноты исходили изъ гортани Семенъ Иваныча; его помятое (словно на немъ сидѣли) лицо выражало робкую пристыженность и мучительное самобичеваніе, сіи неизбѣжныя послѣдствія перепоя. Кудластые волосы, сильно намоченые квасомъ, слиплись и не были расчесаны, а только по мѣстамъ прихлопнуты ладонью. Они напоминали высокотравый помятый дождемъ лугъ.

— Да-а, началъ было г. Худышкинъ,—вчера...

— Хорошъ былъ, отрѣзалъ Кононовъ.

Его мысль, оторваная при входѣ художника отъ начатой было работы, стала попрежнему смутна и туманна. Онъ говорилъ точно г. Худышкинъ налицо не находился, а онъ, Кононовъ, самъ съ собою разсуждалъ о художникѣ. Размышленія сіи, надо чести приписать, были не изъ весьма для г. Худышкина одобрительныхъ и, главное, вовсе безцеремонны. По той именно причинѣ, что личное присутствіе художника въ разчетъ не принималось, безцеремонность и неодобрительность сужденій сопровождались безучастною холодностью, и не было въ нихъ и тѣни ни сожалѣнія, ни негодованія, ни иного сколько-нибудь энергическаго чувства. Все это отражалось въ тонѣ какимъ Кононовъ излагалъ свои сужденія вслухъ. Холодная безцеремонность и безучастная неодобрительность тона сокрушительно и язвительно дѣйствовали на художника и безъ того, какъ замѣчено, расположеннаго къ сокрушенію и самоязвленію.

„Да лучше бы ты меня подлецомъ выругалъ!“ подумалъ г. Худышкинъ, услыхавъ простое замѣчаніе: хорошъ-молъ былъ.

— Гм, кашлянулъ Семенъ Иванычъ чтобъ избыть язвительнаго чувства.

— А сегодня, приступилъ онъ къ изложенію главной цѣли своего посѣщенія,—какъ нарочно, чортъ этотъ глазастый, хозяинъ, за деньгами явится: два мѣсяца просрочено.... И дернуло жь меня вчера сказать что за получкой иду!—Тутъ совѣсть сильнѣе загрызла художника и съ тѣмъ вмѣстѣ въ головѣ всколыхнулись вчерашніе пары и онъ едва договорилъ:—Тебя хотѣлъ просить.... не можешь ли впередъ.... хоть часть....

— Теперь нѣтъ, а на дняхъ получу и Амаліи Ѳедоровнѣ отдамъ; пусть прямо хозяину отнесетъ.

Тотъ же безучастно-безцеремонный тонъ!

„Да хоть бы ты сказалъ: надоѣло ужь все впередъ, да впередъ.... Да лучше бы ты мнѣ.... въ рожу плюнулъ“, мысленно не проговорилъ, а прохрипѣлъ несчастный страдалецъ.

— И досада жь!—И точно досада кипѣла въ его голосѣ, только не на то досадовалъ онъ, о чемъ разказать хотѣлъ, а на Кононова.—И досада жь! вчера пятьдесятъ рублей получилъ, и дернулъ же чортъ на билліардѣ все продулъ.

— Не вѣрнѣй-ли: въ правый сапогъ положилъ да съ нимъ вмѣстѣ и обронилъ?

Этого только не доставало! Мѣра художникова тер пѣнія исполнилась.

— Ну, Кононовъ, скрипнулъ онъ зубами,—ты хорошъ, все хорошъ, но какъ нападетъ на тебя эта язв такъ бы, кажется, тутъ тебя на мѣстѣ и....

Худышкинъ не докончилъ, и вдругъ спохватясь бросился бѣжать. Кононовъ смутно сообразилъ, что Семенъ Иванычъ „осерчать изволили“ и взялся за прерванную работу.

Художникъ не досказалъ слова „убить“, но убѣжалъ не потому чтобы боялся убить Кононова. Въ ушахъ ли у него зазвенѣло или точно звонокъ звякнулъ, только глазастый чортъ хозяинъ заметался предъ „умнымъ окомъ“ художника и трусъ велій объялъ его.

— Петровна, Петровна! кричалъ онъ влетая на свою половину.—А? ушла? Ну, хоть ты, Амальхенъ, скорѣе, скорѣе!

Амальхенъ засуетилась сама не зная чему и стала комкать сложеное на столѣ чистое бѣлье.

— Ахъ, Господи, ничего-то ты не умѣешь, только и умѣешь что съ жильцами сосиськи ѣсть, безсмысленно укорилъ Семенъ Иванычъ свою любовницу и точно опомнясь завопилъ:—Да, бѣги же, бѣги, ради Бога.

Въ это время явственно зазвякалъ звонокъ. Амальхенъ бросилась къ двери.

— Да постой же, постой, ради Бога!—И Семенъ Иванычъ ухватилъ ее за платье.—Если хозяинъ, скажи вчера не получилъ, сегодня съ утра ушелъ. Ну, ступай.... Да, стой еще: не принимай его, слышишь, не принимай.... Да чего жь ты стоишь? Господи, точно не слышитъ!

Звонокъ заливался. Амальхенъ въ страхѣ бросилась отпирать. Семенъ Иванычъ, гдѣ стоялъ, затопотался на мѣстѣ. Въ головѣ былъ адъ; все всколыхнулось, перепуталось и заклокотало: и винные пары, и разрозненная пара сапогъ, и укоры совѣсти, и надворный совѣтникъ

Щуруповъ. И великій страхъ напалъ на художника отъ этого каламбурнаго клокотанія въ головѣ. Сему удивляться не должно: нашъ умъ урожденный каламбуристъ, что̀ извѣстно всѣмъ изучавшимъ народныя повѣрья и суевѣрья.

Амалія вернулась блѣдная и запыхавшись.

— Ну что̀? отказала? Повѣрилъ?

— Это къ Кононову толстякъ приходилъ.

— А!

И г. Худышкинъ въ изнеможеніи грохнулся на постель обливаясь холоднымъ потомъ.

Толстякъ между тѣмъ прошелъ къ Кононову.

— Ну такъ и есть, сказалъ онъ, остановившись въ дверяхъ,—первый часъ, а они еще въ постелькѣ валяются, и книжечка въ рукахъ!...

— Навѣрно, Чулковъ. Не успѣлъ войти, ужь выбранился. И Кононовъ отбросилъ книгу.

— Нельзя не браниться. Однако здравствуйте.

— Здравствуйтз.

Они пожали другъ другу руку. Толстякъ съ тяжелою одышкой плюхнулся въ кресло.

— А, извините, что̀ это вы читали? Знаете, не могу видѣть книги равнодушно.

— Огарева перелистывалъ.

— А-а!

— И набрелъ на очень недурное стихотвореніе; раньше я не замѣчалъ его; но, право, хорошо.

Мысли возбужденныя стихотвореніемъ были яснѣе всѣхъ въ головѣ Кононова, не мудрено что онъ заговорилъ именно о нихъ.

— Что̀ вы! съ недовѣріемъ отозвался толстякъ.— А ну-ка прочтите.

Кононовъ прочелъ.

— Всего хочетъ, да еще со всею полнотою вдобавокъ! Молодецъ: губа не дура, сказалъ Чулковъ.— Однако всего да еще такимъ манеромъ хотѣть значитъ въ сущности ничего не хотѣть или не знать чего хочется: „и это молъ вкусно, и то не дурно". Въ обоихъ случаяхъ, чувства мизерныя, а выраженіе козырное, хоть Фаусту въ пору. Въ результатѣ Фаустъ à la grand'misère ouverte. Но по-вашему оно не такъ? Толкуйте.

И пріятели, не видавшіеся близъ трехъ лѣтъ, принялись толковать стихотвореніе г. Огарева. Замѣчаніе Чулкова задѣло Кононова за живое: не стихотвореніе собственно было ему дорого, а свои, имъ навѣянныя, мысли.

— Вопервыхъ, началъ онъ,— за конецъ строфы не стою, возьмите и распните его. Мысль вообще не выдержана.... Но все же мнѣ кажется оно выражаетъ моментъ, важный моментъ въ исторіи развитія личности. Представьте себѣ — и Кононовъ оживился, и чѣмъ дальше все больше оживлялся и съ тѣмъ вмѣстѣ все больше забывалъ о спорной строфѣ, — представьте себѣ такой моментъ: личность — я говорю о талантливой личности — достаточно дозрѣла, чувствуетъ свою силу, хочетъ и готова испытать ее, но на чемъ? вотъ зарубка. А между тѣмъ, будто все манитъ, все влечетъ. Конечно, это чувство кажущееся: выборъ долженъ быть сдѣланъ, и будетъ сдѣланъ. Но пока не сдѣланъ, пока личность колеблется, нападаетъ тоска. Тоска перелома; я сказалъ бы предсмертная тоска, еслибы вѣрилъ въ загробную жизнь. Впереди побѣда, и побѣда предчувствуется даже. Но именно вслѣдствіе

этого предчувствія побѣды тоска сильнѣе, несноснѣе и кажется безысходною. — Да, прибавилъ Кононовъ задумчивѣе,—всякая побѣда тяжела, а побѣда надъ самимъ собою, побѣда воли надъ разумомъ еще тяжеле.... Но послѣднее къ дѣлу нейдетъ.

— Прекрасно, и я все понялъ. Моментъ важный и высказали вы его важнительно, какъ говорилъ одинъ купецъ. Но все это къ господину Огареву не относится, а есть ваша самоличная отсебятина, какъ говаривалъ Карлъ Павлычъ Брюловъ. И я вижу тутъ иную штуку и эта штука вдобавокъ—я стою на этомъ—прекрасно выражена онымъ поэтомъ. Я говорю объ умственной несварихѣ....

— Это что́ еще? Болѣзнь что ли какая?

— Болѣзнь и есть. И притомъ наша кровная, русская. Ея признаки — отвращеніе ото всякой здоровой и фундаментальной пищѣ и стремленіе къ закускамъ; происходитъ она отъ умственнаго объяденія во дни нѣжнаго отрочества и цвѣтущаго юношества. Дѣло бываетъ такъ: родится на свѣтъ умокъ, умишка ничего себѣ, далъ Богъ, здоровенькій и бодрый, и шустрый, правда нѣсколько склонный къ острословію, что̀ можно хоть бы по мнѣ замѣтить, но послѣднее въ скобкахъ. Словомъ, настоящій дворянскій умъ. И предстоитъ его, сударь, воскормить или, коли угодно, воспитать. А чѣмъ? Слѣдуетъ не твердою пищей, а молокомъ духовнымъ, какъ говоритъ одинъ очень умный человѣкъ. И вотъ выдержи этотъ умокъ какъ слѣдуетъ, да муштру хорошую ему задай, и ничего: выходился бы. Не тутъ-то было; его съ первыхъ дней либо, по русскому, соленьями да печеньями, либо, по quasi-иностранному, пикулями да соями, да все съ перчикомъ, да съ каен-

скимъ.... Чаятельно, ни ростбифа, ни щей съ кашей потомъ оцѣнить не сможетъ. Извините, метафора грубенька выходитъ, да не бѣда! Ну-съ, все ему претитъ: и простота претитъ, и здоровье претитъ. Все либо прѣснятиной, либо кислятиной кажетъ. А жрать-то хочетъ, апетитъ, сударь, хоть и болѣзненный, а волчій: всего, кричитъ, подавай, со всею полнотою! И пошла умственная несвариха: ничто въ прокъ нейдетъ. И жалится: „ахъ, нравственно я хилъ, и прочая!“ А если со стороны, откуда виднѣе, посмотрѣть, выходитъ вотъ что: „Вѣрую“ не знаетъ, а Бога въ сторону; сужденія отъ умозаключенія не отличитъ, а кричитъ: у меня де своя логика. Ну, и пошла эта логика собственнаго издѣлія курбеты выкидывать, да еще намъ велитъ ихъ за глубокія нравственныя страданія признавать.

— А вы, какъ погляжу, все такой же поклонникъ здоровья....

— Да древнее правило: здравый умъ.... конецъ и проглотить можно.

И Чулковъ принялся яростно раскуривать потухавшую папироску. Кононовъ помолчалъ. И обоимъ это молчаніе было нужно, и пріятно. Каждый обдумывалъ слова другаго.

„Такъ вотъ до чего онъ дошелъ въ своей теоріи личности“, подумалъ Чулковъ.

„А онъ чуть ли не больше прежняго сталъ ко всему прилагать натуралистическій взглядъ“, сообразилъ Кононовъ.

— Вы, кажись, еще что-то сказать хотѣли? началъ Чулковъ.

— Успѣемъ еще.... Вѣдь мы съ вами три года не видались.

— Да, близь того.

— О Рождествѣ три будетъ: я помню какъ вы уѣзжали.

И каждый подумалъ. „Шли-то мы съ тобою по разнымъ дорогамъ—это ясно, да можетъ дошли во многомъ до того же. Только гора съ горой не сходится. А любопытно бы знать въ чемъ сошлись.“ И движимые такимъ желаніемъ оба заговорили вдругъ, и разсмѣялись.

II.

Пріятели пробесѣдовали не вспомнясь часа четыре добрыхъ.

Я не стану передавать ихъ бесѣды, но не потому чтобы боялся замедлить теченіе повѣсти. Я не передаю бесѣды пріятелей по иной причинѣ; мнѣ необходимо какъ можно скорѣе познакомить васъ съ Владиміромъ Дмитричемъ Чулковымъ.

Жизнь обоихъ пріятелей, съ этой встрѣчи, перепуталась самымъ тѣснымъ образомъ; характеръ одного былъ бы не понятенъ и не ясенъ безъ характера другаго; они оттѣняли другъ друга и какъ бы взаимно дополняли одинъ другаго. Далѣе, Кононовъ охотно повѣрялъ пріятелю свои задушевнѣйшія мысли, свои интимнѣйшія чувства; Чулковъ участвовалъ во всѣхъ приключеніяхъ и злоключеніяхъ Петра Андреича и былъ его неизмѣннымъ сопутникомъ въ странствіяхъ по мытарствамъ. Подъ таковымъ именемъ я разумѣю общества, гдѣ имъ случалось бывать.

Все вышесказанное заставляетъ меня немедленно приступить къ сравнительной характеристикѣ молодыхъ людей.

Начнемъ съ рѣчи. Рѣчь Кононова отзывалась книгой и уединеннымъ размышленіемъ. Онъ былъ не прочь при случаѣ вставить пословицу, или народное реченіе, но ему для этого надо было предварительно уяснить себѣ точный смыслъ реченія, изучить и усвоить его въ кабинетной тиши. Рѣчь Чулкова была живая, скорая, непосѣдливая, какъ онъ самъ. За словомъ онъ въ карманъ не лазилъ и обращался съ рѣчью по-свойски; онъ бралъ слова и реченія откуда придется, только бы они выражали вполнѣ въ данную минуту его мысль. Онъ передѣлывалъ иностранныя слова на русскій ладъ, пестрилъ бесѣду старинными и областными словами, выковывалъ новыя, особенно сложныя и усиленно держался синтаксиса народной рѣчи. „Суть-то въ томъ, говорилъ онъ,—чтобы синтаксисъ былъ свой, а непереводный, тогда и мысль своя; а не въ томъ чтобы колоши мокроступами звать.“ Облѣпиться при такой лѣпкѣ онъ не боялся. „Ахъ, батюшка, отвѣчалъ онъ, когда иное его слово находили неудачнымъ,—на то я Русскій чтобы но-русски безъ нѣмецкой отчетливости говорить“.

Чулковъ любилъ поговорить со всякимъ. Кононовъ любилъ только дружескую бесѣду и съ чуть-посторонними больше отмалчивался. Несмотря на разговорчивость, Чулковъ былъ скорѣй скрытенъ чѣмъ откровененъ, Кононовъ же съ близкими былъ вполнѣ откровененъ. Обычно люди разсуждаютъ по внѣшнимъ признакамъ: разговорчивъ человѣкъ—значитъ душа на распашку, молчаливъ—скрытенъ; такъ разсуждали и о Кононовѣ съ Чулковымъ. Кононовъ, какъ всякій истинно-откровенный человѣкъ, былъ разборчивъ на знакомства Чулкову, какъ человѣку себѣ на умѣ, этого не требова-

лось. У Чулкова было еще свойство приспособляться къ людямъ. Кононовъ задохся бы въ такой средѣ, гдѣ порой подолгу вращался Чулковъ. А Чулкову, какъ съ гуся вода: онъ оставался самимъ собою и выносилъ интересныя наблюденія надъ удущающею средою. Способность приспособляться бывала ему порой не только отрицательно, но и положительно полезна. Она напримѣръ давала Чулкову возможность сближаться съ бывалыми и дѣловыми людьми. У Кононова такихъ знакомствъ почти не было и если случайно выпадали, то онъ не зналъ что̀ съ ними дѣлать. Чулковъ же и цѣнилъ ихъ, и умѣлъ ими пользоваться.

Приспособляясь, Чулковъ изрѣдка прикидывался и выдавалъ себя не за самого себя только въ такъ-называемой образованной средѣ, когда думалъ кого-нибудь „вышутить". Съ бывалыми же и вообще съ людьми простыми онъ оставался чѣмъ былъ самъ по себѣ: „милымъ бариномъ".

Сюда же относящаяся черта: Кононовъ никогда не дѣлалъ никакихъ опытовъ надъ людьми, былъ по возможности, и даже до крайней возможности, снисходителенъ, ласковъ и уступчивъ. Правда, на него, по выраженію Семена Иваныча, порой нападала язва, или какъ однажды картинно выразился онъ же: „любишь ты изъ чужой души вертлюги выворачивать". (Семенъ Иванычъ, какой ни на есть, все же художникъ былъ.) Но эти „выворачиванья" Кононовъ производилъ, какъ мы видѣли, почти безсознательно; замѣть онъ, или даже покажись ему, что не только сужденіе, тонъ его рѣчи глубоко оскорбителенъ для художника, онъ уступилъ бы, жалость къ нему ночувствовалъ. И самъ долго вспоминалъ бы про это, и мучился бы какъ могъ до такой

степени забыться. Чулковъ, напротивъ, склоненъ былъ глядѣть на большинство людей какъ на особей подлежащихъ изученію, и не прочь былъ производить надъ ними психическіе опыты. Для этого онъ доводилъ ихъ до сердца, или до абсурда, или же подводилъ такъ, что человѣкъ обнаруживалъ предъ нимъ свою комическую сторону.

Кононовъ либо близко сходился съ человѣкомъ, либо вовсе не сходился, и большинство, знавшее его шапочно, отзывалось о немъ похвально, или по меньшей мѣрѣ съ крайнею осторожностью, какъ о странахъ незнаемыхъ, или древнѣйшихъ періодахъ исторіи. Исключеніе составляли одни лгуны. Люди столь же мало знали и Чулкова, но имъ, вслѣдствіе его мнимой откровенности, въ силу его приспособляемости, часто казалось будто они знаютъ его даже лучше, чѣмъ онъ самъ.

Въ неблагопріятныхъ отзывахъ о немъ Чулковъ бывалъ порой и самъ виноватъ. Онъ наживалъ себѣ если не враговъ, то недоброжелателей частію въ силу привычки отгадывать чужія мысли, разумѣется, когда отгадка была удачна, частію отъ безжалостнаго разбиванія чужихъ иллюзій. Одинъ музыкантъ толковалъ ему программу своей симфоніи и особенно упиралъ на одно мѣсто.

— Въ оркестрѣ тутъ скрипочки, конечно, пустите! замѣтилъ Чулковъ.

Музыканта покоробило.

— Не люблю когда такъ прокрадываются въ мою душу, сказалъ онъ.

Въ другой разъ писатель en herbe, собираясь писать романъ, высказывалъ Чулкову надежду что произведеніе выйдетъ совсѣмъ оригинальное.

— Вѣдь съ сотворенія міра и до нашихъ временъ всѣ писатели точно помѣшались на любви. Любовь да любовь, точно человѣчеству иной заботы нѣту. Нѣтъ, пора это оставить, особенно въ наше время, когда столько новыхъ мыслей и люди пошли точно новые. Пора выдвинуть новыя страсти, а любовь—на спокой. Что̀ вы скажете?

Чулковъ отвѣтилъ ему первымъ стихомъ *Иліады:*

Гнѣвъ, богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына.

Вообразите гнѣвъ генія въ новомъ родѣ!

Какъ бы то ни было, Чулковъ испытывалъ на себѣ нерѣдкую судьбу людей съ оригинальнымъ и стойкимъ умомъ: большинству хотѣлось глядѣть на него свысока. „Умъ, сказалъ Пушкинъ, любя просторъ, тѣснитъ.“

III.

Возвратимся къ сличенію характеровъ обоихъ пріятелей.

Кононовъ говорилъ про себя, и какъ всегда въ серіозныхъ вещахъ, откровенно, что онъ самолюбивъ, но самолюбивъ интенсивно, только предъ самимъ собою. Его честолюбивыя мечты согласовались съ таковымъ свойствомъ самолюбія. Ему хотѣлось найти образованную среду, или за ея неимѣніемъ хотя бы избранный, но по строгому разуму избранный кружокъ и занять тамъ почетное и вполнѣ самостоятельное положеніе. Не внѣшній почетъ, ниже уваженіе избранныхъ было бы въ такомъ случаѣ для него лестно, а сознаніе своей полезности, своей вліятельной пригодности. У Чулкова мечта была иная; вотъ что̀ отвѣчалъ онъ однажды Кононову, выслушавъ его признаніе:

— Ну, и я скажу вамъ чего мнѣ хотѣлось бы. Я желалъ бы быть отличнымъ, незамѣнимымъ альтистомъ или віолончелистомъ въ превосходномъ, первый сортъ, оркестрѣ. И чтобы дирижоръ у насъ былъ тоже первый сортъ: строгій, требовательный и выше всѣхъ какъ музыкантъ. Чтобъ его слово было для насъ закономъ не въ силу его положенія, а по сознанію, что онъ лучше и выше насъ всѣхъ. Зналъ бы тогда, что есть у тебя свое дѣло и дѣлаешь ты его исправно... Сіи слова можете понимать двояко: и въ прямомъ смыслѣ, и метафорически.

Объ извѣстности, а паче о славѣ съ ея минутнымъ крикомъ восторженныхъ похвалъ и судомъ глупца, ясно, ни одинъ изъ пріятелей не мечталъ. Кононовъ просто-на-просто не понималъ стремленія къ славѣ, а тѣмъ менѣе полагалъ, чтобы такое стремленіе могло быть внутреннею потребностью человѣка: онъ улыбался, слыша толки какъ де важно, особенно въ наше время, пріобрѣсти популярность; онъ улыбался когда говорили о славѣ великихъ людей: вѣдь они цѣнятся и понимаются столь немногими!

Чулковъ не только не понималъ стремленія ко славѣ, но даже хохоталъ надъ нимъ.

— Извѣстность и слава приходятъ сами собой, гогорилъ онъ.—Заслужилъ ее человѣкъ, и славушка, несмотря ни на какихъ Зоиловъ, ни на какія ухищренія злобы, рано или поздно привяжется къ его имени. А не заслужилъ, то:

Какихъ не измышляй пружинъ
Чтобъ мужу бую умудриться,—
Не можно вѣкъ носить личинъ
И истина должна открыться.

Въ концѣ концовъ, всегда провожаютъ по уму, и

заботиться всякій разъ идя въ домъ, гдѣ бываешь чуть не каждый день, каково тебя сегодня примутъ и каково проводятъ не только лишняя трата времени — болѣзнь.

Чулковъ допускалъ впрочемъ такую „слабость“ въ художникахъ-исполнителяхъ, вообще въ людяхъ такихъ профессій какъ напримѣръ адвокаты, профессора и проповѣдники, вся сила коихъ въ увлекательности живаго слова; словомъ, у всѣхъ тѣхъ чья слава кончается почти въ минуту ихъ физической смерти, и отъ кого черезъ поколѣніе остается пустое, безсмысленное и никого не шевелящее имя.

Оба любили и уважали другъ друга. Чулковъ любилъ Кононова за внимательность къ чужой мысли, за желаніе понять и оцѣнить ее, хотя бы она не согласовалась съ его собственными, за стремленіе отдать всему справедливость и за сердечную доброту. Всего этого онъ въ себѣ не видалъ. Кононовъ любилъ Чулкова также за то чего, казалось или дѣйствительно, ему самому не доставало: за смѣлость и безстрашіе, за рѣзкость и „безжалостность“ мысли, за общительность и житейскую, укрѣпленную наукой, наблюдательность. Въ разлукѣ они не переписывались, но всегда встрѣчались друзьями и были увѣрены что иначе встрѣтиться не могутъ.

Пріятели наговорились не только до сыта, но и до обѣда. Рѣшено было провести весь день вмѣстѣ.

За обѣдомъ Чулковъ сталъ развивать программу вечера.

— Я три года не былъ въ Питерѣ, и мнѣ хочется узнать въ чемъ состоитъ то *ничто*, которое онъ въ настоящую минуту дѣлаетъ. Помните, Кирѣевскій ска-

залъ: Петербургъ дѣлаетъ *ничего*, Москва ничего не дѣлаетъ. Вотъ славянофилъ былъ, а прямо на этотъ разъ сказалъ.

— А развѣ они говорятъ криво?

— Нѣтъ, не то чтобы криво, а въ бокъ. Прямо напримѣръ сказать: всякій народъ долженъ быть духовно самостоятеленъ, а они въ бокъ: Петра бранятъ.

— Но программа вечера?

— А, сейчасъ. Отправимся мы въ нѣкій домъ, гдѣ собраніе будетъ. Меня о семъ извѣстилъ нѣкій старецъ, хорошій старецъ, во вкусѣ тѣхъ крутыхъ стариковъ какихъ Корнель лучше всѣхъ описывалъ; онъ кстати и поклонникъ Корнеля. А по имени Мина Иванычъ Кущинъ,—не знаете?

— Нѣтъ.

— И не мудрено. Онъ здѣсь наѣздомъ. А познакомиться стоитъ: онъ человѣкъ клюжій....

— Это что̀ за слово?

— Провинціализмъ. А значитъ оно хорошій человѣкъ, благоприличный. Противоположное неуклюжій, только къ духовнымъ качествамъ прилагается.

— Что̀ же за домъ?

— А есть двѣ сестрицы, наши грязьгородскія помѣщицы; я съ ними прошлымъ лѣтомъ больше мѣсяца у сказаннаго Кущина прожилъ, онъ имъ дядей приходится. А по фамиліи сіи сестрицы Воробьевы.

— Да я вчера у нихъ былъ!

— Ну какже васъ не бранить? По четвергамъ у нихъ наблюденія можно научныя дѣлать, а онъ по средамъ ѣздитъ!... Развѣ для бесѣды съ меньшой?

— Я вчера въ первый разъ разговорился съ нею.

— Напрасно: барышня она значительная, какъ го-

ворятъ козловскіе мѣщане. Главное: куринаго въ ней мало. Знаете, мужики зовутъ бабъ куриный народъ.

„Нѣтъ, это не то; нѣтъ, онъ мало ее знаетъ“, подумалъ Кононовъ и ему живо вспомнился вчерашній вечеръ, и рѣшилъ непремѣнно отправиться къ Воробьевымъ.

Они отправились.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

У старшей сестрицы Воробьевой собралось общество блестящее, интеллигентное и избранное. Я говорю блестящее, ибо большинство онаго было вполнѣ увѣрено, нѣтъ, не увѣрено,—не слѣдуетъ употреблять словъ въ составъ коихъ входитъ вѣра когда говоришь о такомъ обществѣ,—а убѣждено что блещетъ умомъ, самостоятельностью и главное новизной, лаковою новизной своихъ идей. Я называю блестящее общество интеллигентнымъ, ибо то же большинство считало себя суперъ-интеллигенціей страны, свои идеи, слова, поступки, даже движенія интеллигентными и соглашалось во мнѣніи что интеллигенція состоитъ единственно въ отрицаніи всяческихъ предразсудковъ; разнорѣчіе допускалось только въ томъ что̀ называть предразсудкомъ; они говорили: „всѣхъ и вся“; другіе только „всѣхъ“. Я придаю интеллигентному обществу эпитетъ избраннаго, ибо всѣ безъ исключенія члены считали себя выше другихъ людей, обозначаемыхъ общимъ именемъ „наша публика“. *Наша* не значило чтобъ они являлись предъ какою

нибудь публикой: не было допускаемо и мысли что можетъ существовать публика способная ихъ оцѣнить. Слово „публика“, такимъ образомъ, значило не просто публика, а вся Россія. Объ этой публикѣ отзывались въ такихъ выраженіяхъ: „вы знаете нашу публику“, или „вы знаете глупость (иногда нѣжнѣе: неразвитость) нашей публики“.

Описывать всѣхъ присутствовавшихъ на четвергѣ у старшей Воробьевой нѣтъ никакой надобности. Но краткій перечень, думаю, не будетъ лишнимъ, тѣмъ болѣе, что не одному изъ нихъ придется играть роль болѣе, или менѣе видную въ теченіи настоящей „Исторіи“.

Тутъ былъ князь Бросокъ-Ашметкинъ, не какой-нибудь мордовскій или вотяцкій князишка, а честнаго Гедеминова дома отрасль. Сія отрасль обладала способностью безъ перестани болтать языкомъ во рту часовъ десять и заговаривать дамъ до истерики, даже до обморока; кромѣ того, она ежесекундно вмѣсто смѣха издавала фистулой звуки кои всего удобнѣе изобразить слогомъ *хгы*. Тутъ былъ грязьгородскій землевладѣлецъ Погалевъ, большой любитель ученыхъ разговоровъ, особенно по части политической экономіи; человѣкъ не глупый, дюжій тѣломъ, но съ душой рыхлою и разсыпчатою. Онъ сумѣлъ сочетать страсть къ знаніямъ съ непробудною лѣнью и, выйдя изъ университета, не прочелъ ни одного сочиненія въ десять печатныхъ листовъ. Въ свое оправданіе онъ измыслилъ будто въ нашъ вѣкъ брошюры и газеты важнѣе книгъ и глоталъ газеты и брошюры усерднѣе чѣмъ иной мнимый больной микстуры и пилюли. Такимъ образомъ, онъ исполнялъ долгъ образованнаго человѣка: былъ умственно занятъ и ничего умственно не дѣлалъ. Тутъ былъ дру-

гой, грязьгородскій же дворянинъ, длинный и тонкій, имѣвшій необыкновенную (по величинѣ, но не по рѣдкости) способность говорить gnasi-ученыя и gnasi-умныя пошлости. Увидитъ напримѣръ черепъ, сейчасъ его глубокомысленно въ руки, столь же глубокомысленно осмотритъ со всѣхъ сторонъ, скажетъ латинское названіе какого-нибудь шва или кости, и затѣмъ при общемъ молчаніи замѣтитъ: „что ни говорите, а антропологія вещь важная и достойная всякого уваженія". Еще была у него слабость все давно знать или слышать. Какую бы книгу вы ему ни показали, хоть самую разспеціальную, хоть всего за два часа появившуюся на свѣтъ, онъ безъ запинки говорилъ: „а, знаю, давно читалъ". Тутъ былъ необычайно бѣлокурый драгунскій офицеръ, для котораго все на свѣтѣ казалось „необыкновенно просто и ясно". Онъ вѣчно недоумѣвалъ какъ люди вообще не могутъ понять „такой простой и ясной" вещи, а россійскіе фельетонисты въ частности не надумаются растолковать ее человѣчеству. Въ силу незнанія иностранныхъ языковъ и инстинктивному отвращенію отъ всякаго мало-мальски серіознаго чтенія, онъ полагалъ что только россійскіе фельетонисты могутъ совершить такое благое дѣло; Француза вообще онъ считалъ для этого слишкомъ вертлявымъ, Нѣмца туманнымъ, Англичанина эгоистомъ, Россіянъ-нефельетонистовъ консерваторами. И онъ нерѣдко вздыхалъ: „ахъ, будь я фельетонистъ!..." Тутъ былъ не кончившій курса (изъ либерализма, а отнюдь не по лѣни) кадетъ Пуганчиковъ, маленькій и щедушненькій, съ желтоватенькимъ личикомъ, свидѣтельствовавшимъ что онъ прилежно и настойчиво спасался отъ уроковъ по лазаретамъ и другимъ мѣстамъ

гдѣ спасается лѣнивое (какъ либерально, такъ и просто лѣнивое) кадетство. Наконецъ тутъ былъ the last, lut not the least, неученый и не скромный, по собственому сознанію краса и честь *новаго* (именно новаго, отнюдь не молодаго) поколѣнія, Іоанникій Іосифовичъ Хамазовъ, новый чиновникъ новаго акцизнаго управленія. Онъ обладалъ восточными, вращавшимися какъ бы на пружинахъ глазами и купой волосъ на верхней губѣ, какъ разъ подъ нѣжинско-греческо-огуречнымъ носомъ. Эти достоинства не препятствовали ему полагать что онъ не только физически, но и нравственно вылитый Наполеонъ III. У него былъ, какъ увидятъ читатели, свой маленькій дворъ; онъ въ знакъ удовольствія или неудовольствія тормашилъ то вправо, то влѣво свою подносную рощицу.

Представительницы нѣжнаго пола были не менѣе замѣчательны. Тутъ была наша знакомая куцая дама съ своимъ микроскопическимъ умственнымъ портъ-моне, Тутъ была стриженая бѣлокурая дѣвица Пуганчикова, недурная собой, съ краснотой на кончикѣ недурненькаго носика. Она любила высказывать общія положенія, которыя какъ бы служили resumè разговора, порой небывалаго. Тутъ была красивая и богатая, съ чудными изумрудами въ ушахъ, помѣщица, сама не знавшая зачѣмъ разъѣхалась съ мужемъ, пріѣхала на вечеръ, вообще не вѣдавшая зачѣмъ дѣлала то что̀ на своемъ вѣку вытворяла. Тутъ была некрасивая лѣтъ четырнадцати дѣвочка, дочь зажиточнаго отца, убѣжавшая изъ пансіона дабы жить самостоятельнымъ трудомъ; она мечтала сдѣлаться переплетчицей, а еще лучше бы прачкой: не послѣдній въ своемъ родѣ экземпляръ пародіи на мученичество ради идеи.

Среди сонма гостей выдѣлялась угрюмая и строгая фигура старика, сидѣвшаго въ углу и съ молчаливымъ неодобреніемъ слушавшаго раздававшіеся вокругъ толки. Онъ казался изваяніемъ, назначеннымъ для ученой библіотеки и нечаянно попавшимъ въ курильню. Сухое худощавое лицо съ живыми подъ нависшими бровями глазами; правильный лобъ; черные съ сильною просѣдью волосы, зачесанные въ видѣ голубиныхъ крыльевъ; черный, застегнутый до верху, сюртукъ на сухомъ и крѣпкомъ тѣлѣ—таковы были главнѣйшія черты этого суроваго изваянія.

Хозяйка... Но всякому свѣжему человѣку съ перваго взгляда ясно было, что въ семъ домѣ нѣтъ хозяйки. Обычные же, несвѣжіе гости слишкомъ много думали о себѣ чтобы вспомнить о такомъ устарѣвшемъ предразсудкѣ, какъ хозяйка. При томъ Паулина Тимоѳеевна была не высокаго мнѣнія о собиравшихся у нея по четвергамъ гостяхъ, рѣдко къ нимъ выходила въ залу, а больше сидѣла съ кѣмъ-нибудь однимъ у себя въ комнатѣ и если терпѣла ихъ, то единственно ради цѣлей педагогическихъ. Она знала что всѣ эти личности поклонники женскаго вопроса (до другихъ ихъ мнѣній ей не было дѣла) и полагала что̀ какъ они ни низки въ умственномъ отношеніи, все-таки могутъ оказать благодѣтельное вліяніе на младшую сестру.

II.

Наши пріятели попали что̀ называется въ самый кипетъ. Ихъ встрѣтили гамъ и крики, хгыхгыканья князя, брякъ чайныхъ ложечекъ и непродорный дымъ двухъ дюжинъ непрестанно дымившихся папиросъ. Ко-

ноновъ, давно не бывшій въ такомъ многолюдствѣ, опѣшилъ и готовъ былъ проклясть своего Виргилія. Чулкова, прежде всего поразили княжескіе *хгы*.

— Никогда не видалъ чтобы человѣкъ кадыкомъ хохоталъ, шепнулъ онъ Кононову и направился къ князю.

Бросокъ-Ашметкинъ разговаривалъ съ какою-то дамой. Не успѣли наши пріятели сѣсть неподалеку, какъ онъ вдругъ обернулся къ Чулкову, видимо продолжая съ нимъ начатый съ дамой разговоръ.

— Ахъ да, хгы! И я, хгы, сказалъ онъ,—сюда шелъ пѣшкомъ, мимо Думы, хгы, тамъ, хгы, гдѣ-то пожаръ былъ и флагъ вывѣсили, хгы!

— Ну? выпятилъ глаза Чулковъ.

— Ахъ да, хгы! И я, хгы, подумалъ: что еслибы вмѣсто флага, хгы, революціонное знамя на каланчѣ, хгы, хгы, поднять? А, хгы, какъ думаете что̀ бы, хгы, вышло?

— Повисѣло бы, а потомъ сняли.

— Хгы! А во Франціи, хгы, сейчасъ революція, хгы!

— Что̀ жь дальше?

— Хгы!—Князь не зналъ что̀ дальше.—А дальше, хгы, какъ вы на счетъ священныхъ правъ?

— Какихъ священныхъ правъ? спросилъ Чулковъ и подумалъ: „скоръ однако этотъ хгыкала: приспособиться никакъ не даетъ“.

— Ну, хгы, собственность; ну, хгы, наслѣдство.

— А-а, протянулъ Чулковъ и прищурившись глянулъ на Кононова, какъ бы приглашая его насладиться эффектомъ, но тотъ сидѣлъ нахмурясь и морщилъ носъ отъ княжескихъ рѣчей.—А-а! вы объ этомъ! Сто̀итъ

говорить! Я думалъ за такіе вопросы нынче штрафъ берутъ....

Князь опѣшилъ: онъ не видалъ еще такого радикала. „Хамазовъ на что Наполеонъ, а этотъ смѣлѣе!“ подумалъ онъ.

— Хгы, хгы! началъ онъ и долго не могъ произнести иного слога.—Хгы, хгы! Ну, хгы, такъ я вамъ здѣсь ископаемаго человѣка покажу.

— Ископаемаго?

— Хгы, да. Хгы, глядите.

Онъ указалъ на угрюмаго старика въ черномъ сюртукѣ. То былъ „клюжій“ человѣкъ Чулкова, Мина Иванычъ Кущинъ.

— Чѣмъ же онъ ископаемый?

— Хгы, въ Бога вѣруетъ.

„Ну, братъ, не интересенъ ты: сразу выкладываешь больше чѣмъ хочется“, подумалъ Чулковъ, и осмотрѣвшись увидѣлъ куцую, свою старинную знакомую. Куцая бесѣдовала съ блондинкой Пуганчиковой и въ жару разговора не замѣтила подхода Чулкова.

— И во всемъ, во всемъ, кричала она, точно красноносенькая находилась отъ нея за версту и между ними водопадъ шумѣлъ,—во всемъ рѣшительно надо давать ребенку свободу. А розги—вредъ.

— Я уважаю свободу, въ видѣ resumé, объявила блондинка и осмотрѣлась, слышалъ ли кто эту мысль.

— Потянется ребенокъ къ огню, дайте обжечься. Пусть изъ опыта узнаетъ что огонь жжется. И это, вѣрьте, лучше всякихъ розогъ. Ребенокъ долженъ все узнать изъ опыта.

— А если онъ забудетъ опытъ и вторично вздумаетъ обжечься? спросилъ Чулковъ.

— Хотя бы въ десятый разъ. А розги—вредъ, прокричала куцая, сама не зная кому отвѣчаетъ.

— А къ синильной кислотѣ потянется, тоже волю дать: пусть изъ опыта научится....

— Ахъ, это вы! Откуда? И все такой же шутникъ! перебила куцая, оглянувшись.—Садитесь и разказывайте.

Но Чулковъ извинился, что со многими еще ни словомъ не перекинулся и пообѣщавъ явиться черезъ пять минутъ, улизнулъ.

— Веселый господинъ, сказала куцая: слово *человѣкъ* не существовало въ ея лексиконѣ.

— Да, отвѣчала красноносенькая. — И мнѣ нравится что онъ естественъ. Когда я говорила о свободѣ, онъ сзади васъ стоялъ и та-акъ естественно почесалъ носъ!

— Да, онъ очень естественъ, подтвердила куцая.

— И я уважаю все естественное, въ видѣ resumé, замѣтила Mlle Пуганчикова.

Чулковъ, человѣкъ беззаботный на счетъ своей славы, не слышалъ этого лестнаго отзыва. Онъ подсѣлъ къ своему знакомому Погалеву, имѣвшему жестокое словопреніе съ акцизнымъ чиновникомъ Хамазовымъ. Чулковъ слѣдилъ за споромъ, какъ любитель и знатокъ пѣтушьихъ боевъ за воинами съ золотенькими гребешками; споръ же былъ въ томъ родѣ какіе не рѣдко ведутся на Руси людьми, слывущими за образованныхъ. Ни одинъ изъ спорящихъ не имѣлъ твердаго и точнаго понятія о предметѣ спора и каждый старался не доказать, а выкричать свое мнѣніе.

— И какъ вы ни распредѣляйте податей, густымъ и убѣдительнымъ баритономъ говорилъ Хамазовъ подер-

тивая quasi-усы вправо въ знакъ Наполеоновскаго благорасположенія къ собесѣднику,—какъ вы ихъ ни распредѣляйте, платить подати, и всю ихъ совокупность замѣтьте, будетъ пролетарій....

— Даже если вовсе будетъ избавленъ отъ податей?

— Я говорю: все равно.—И г. Хамазовъ взялся за лѣвую сторону подносной щетины: третій Наполеонъ начиналъ высказывать легкое нерасположеніе. — Все равно, повторилъ онъ, — бѣднякъ будетъ вносить всю совокупность податей въ видѣ платы за скверный хлѣбъ и скверный уголъ и всякую мерзость, чѣмъ только богачу вздумается отравлять его. Единственное средство—уничтоженіе богатства. Тогда подати падутъ сами собой.

— Я понимаю уничтоженіе бѣдности на землѣ, робко началъ Погалевъ, но уничтоженіе богатства.... Онъ не договорилъ изъ скромности.

— Вы, мой милый,—и Наполеонъ III ткнулъ своего собесѣдника пальцемъ въ колѣно въ знакъ, что его терпѣніе истощается,—вы, мой милый, оттого не понимаете что Грановскаго сильно наслушались....

Погалевъ побагровѣлъ.

— А! закричалъ онъ.—Такъ и я вамъ скажу: вы у Печкина [1]) Рулье наслушались....

Оба были изъ Московскаго университета, и взаимные укоры были имъ до тонкости понятны. Я неразъ слышалъ эти укоры, но точный смыслъ оныхъ для меня темноватъ.

— Такъ я скажу вамъ *кто* вы: вы скрытый крѣ-

---

[1]) Извѣстная во время оно кофейня въ Москвѣ.

постникъ, вскричалъ Наполеонъ-Хамазовъ и дернулъ изо всей силы щетинку подъ посомъ влѣво.

— Я крѣпостникъ? почти со слезами отвѣчалъ Погалевъ,—да я своихъ крестьянъ.... Онъ не кончилъ и не безъ усилія надъ собой сказалъ:—А вы ярый соціалистъ, и коммунистъ, и....

Господинъ Хамазовъ не далъ ему докончить.

— Грр, скрыппули по-Наполеоновски зубы,—совѣтую вамъ быть осторожнѣе въ словахъ. Назвать кого-нибудь крѣпостникомъ ничего не значитъ, правительство на него за это косо смотрѣть не станетъ, а еще, пожалуй, орденомъ наградитъ, но назвать кого-нибудь, да еще въ обществѣ, соціалистомъ и коммунистомъ значитъ быть доносщикомъ.

Погалевъ засопѣлъ. „Въ морду или разрюмится?“ подумалъ Чулковъ. „Ну, ну, ну, ну же!“ мысленно бодрилъ онъ Погалева, но тотъ ограничился сопѣніемъ.

„Плохъ же ты, братъ“, мысленно обратился къ нему Чулковъ. „Твой дѣдъ и не ученъ былъ, а подъ висѣлицей сумѣлъ Пугачу сказать: „Не царь ты, дядюшка, а воръ“, а ты предъ махонькимъ воришкомъ сробѣлъ.“

Дальнѣйшія размышленія Чулкова были прерваны слѣдующимъ происшествіемъ. Къ Наполеону-Хамазову почтительно, даже подобострастно, подсеменилъ двора его секретарь, кадетъ въ отставкѣ Пуганчиковъ, и спросилъ:

— Не теперь ли разказать о *новомъ* бракѣ?

— Да, разкажите, повелительно отвѣчалъ Іоанникій-Наполеонъ и дернулъ щетинку вправо. — Господа, прибавилъ онъ громогласно, и вамъ не мѣшаетъ послушать.

— Хгы, хгы, слушайте! заоралъ князь и съ адъютантскою ловкостью подлетѣлъ къ господину Хамазову.

Въ обществѣ произошло движеніе; многіе подошли и стали въ кружокъ.

Спасавшійся отъ уроковъ кадетъ тоненькимъ, писклявенькимъ и гнусавымъ голоскомъ началъ повѣствованіе. Онъ говорилъ точно отвѣчалъ порядочно вытверженный урокъ. (Хорошо урока онъ въ жизнь не зналъ.) Разказъ состоялъ какъ нѣкой дѣвицѣ, за нѣкіе проступки (въ чемъ они состояли для важности опускалось), предстояла дешевая и скорая, но несовсѣмъ удобная поѣздка административнымъ путемъ въ сѣверо-восточныя губерніи; она же предпочитала прокатиться за границу. Необходимаго для выѣзда изъ Имперіи паспорта ей, понятно, получить было нельзя. Тогда нѣкій благородный юноша предложилъ ей сочетаться фиктивнымъ бракомъ; они обвѣнчались, и дѣвица, подъ новымъ именемъ, по оплошности полиціи, добыла необходимую для выѣзда изъ Имперіи тетрадку.

— Какое благородство! какое самопожертвованіе! восклицали вокругъ.

— Я уважаю самопожертвованіе, резюмировала общій восторгъ Mlle Пуганчикова.

— А я однако давно уже слышалъ или читалъ объ этомъ, не утерпѣлъ, похвасталъ своими знаніями длинный и тонкій дворянинъ, но на его слова, какъ всегда, никто не обратилъ вниманія.

— Извините, сказалъ Чулковъ,—но раньше чѣмъ судить велико ли самопожертвованіе, надо опредѣлить чѣмъ жертвовалъ и жертвовалъ ли человѣкъ въ данномъ случаѣ.

— Это, однако, весьма ясно и просто, какъ все на свѣтѣ, замѣтилъ драгунскій офицеръ.

Наполеонъ-Іоанникій дернулъ quasi-усъ влѣво. Отъ Чулкова это движеніе не ускользнуло.

— Извините, обратился онъ къ господину Хамазову, весьма польщенному этимъ обращеніемъ,—извините, я провинціаль, а у насъ въ провинціи отсталость.... И я желалъ бы нѣсколько разъясненій на счетъ этого.... этого событія, потому что это.... это—событіе, даже эпоха....

— Однако это просто и ясно, и будь я фельетонистомъ!... началъ снова драгунъ.

Наполеонъ сдѣлалъ жестъ, и князь, съ адъютантскою ловкостью, „убралъ" драгуна.

— Какихъ вы желаете разъясненій? спросилъ Наполеонъ и благосклонно погладилъ Чулкова по чашечкѣ праваго колѣна.

— Я боюсь — повторяю я провинціалъ — я боюсь не поступилъ ли этотъ молодой человѣкъ опрометчиво?

— Чѣмъ же опрометчиво? спросилъ господинъ Хамазовъ, дергая щетинку вправо. Надо замѣтить что онъ самъ, съ Наполеоновскою ловкостью, убѣдилъ молодаго человѣка вступить въ сей фиктивный бракъ.

— Видите.... видите, точно сконфуженный милостивымъ вниманіемъ столь важнаго лица, говорилъ Чулковъ,—этотъ юноша можетъ пожелать жениться.... конечно, не ради святости брака — чего избави Боже! Ахъ, Господи, какое я слово сказалъ!... — И Чулковъ захихикалъ по-идіотски, горломъ.

„Не слишкомъ ли я однако?" мелькнуло у него въ головѣ, но онъ тотчасъ же успокоился почувство-

вавъ что господинъ Хамазовъ гладитъ его по колѣну.

— Обмолвка дозволяется, съ благосклонною улыбкою сказалъ Іоанникій.

— Извините, точно оправляясь отъ конфуза, продолжалъ Чулковъ,—ну, если онъ влюбится и захочетъ жениться, а вѣнчаться уже нельзя будетъ.

— Другъ мой, наставительно замѣтилъ господинъ Хамазовъ,—новые люди могутъ влюбляться только въ новыхъ женщинъ (господинъ Хамазовъ отвергалъ, какъ предразсудокъ, дѣленіе оныхъ на дѣвицъ и замужнихъ), а потому могутъ обойтись безъ вѣнчанія.

— Но родители? робко вставилъ Чулковъ.

— Найдутся всегда граждане готовые вступить въ фиктивный бракъ съ избранницей гражданина, диктаторски вѣщалъ Наполеонъ III устами Іоанникія.

— Но перемѣна убѣжденій? еще робче спросилъ Чулковъ.

— Новый человѣкъ никогда не измѣняетъ своимъ убѣжденіямъ. По крайности за того, кто подалъ поводъ къ вашимъ провинціальнымъ сомнѣніямъ, я ручаюсь, какъ за самого себя.

Господинъ Хамазовъ чувствовалъ себя въ ударѣ. „*Провинціальныя сомнѣнія* весьма не дурно сказано: въ моихъ рѣчахъ есть слогъ“, мелькнуло у него въ головѣ. И слѣдомъ онъ подумалъ: „не намекнуть ли этому простаку что я, Хамазовъ, и устроилъ этотъ бракъ; для популярности въ провинціи не мѣшаетъ“, и господинъ Хамазовъ открылъ было ротъ.

— А, началъ Чулковъ своимъ тономъ,—въ такомъ случаѣ въ этомъ новомъ, какъ вы его зовете, бракѣ,

нѣтъ никакого самопожертвованія. Это просто излишне-запутанный способъ добывать паспортъ. Можно бы легче.

Наполеонъ заклокоталъ въ сердцѣ господина Хамазова: онъ изо всей силы дернулъ щетинку влѣво.

— Однако, какъ же это легче? сказалъ онъ, чувствуя что говоритъ вовсе не то что слѣдуетъ, и что „провинціальная бестія" ловко поддѣла его.

— Легче-то? Фальшивый паспортъ добыть. Или вотъ кто-нибудь изъ дамъ, конечно не личныхъ знакомыхъ фиктивной супруги, могъ бы передать ей свой паспортъ, и черезъ три дня объявить: утраченъ молъ. Не правда ли, mesdames, вы конечно....

— Да, да, конечно! въ голосъ отвѣчали куцая и Mlle Пуганчикова: куцая потому что ей показалось будто Чулковъ лично въ ней и только въ ней одной предположилъ достаточный для такого подвига запасъ самопожертвованія; блондинка потому что онъ былъ такъ естественъ.

Зубы Наполеона III заскрежетали во рту господина Хамазова.

— Меня не занимаетъ, важно замѣтилъ онъ, какъ легче обойти законъ; это интересно развѣ для служащихъ въ Управѣ Благочинія. И притомъ—внезапная мысль его осѣнила:—Я хотѣлъ собственно показать нашей публикѣ во что умные люди цѣнятъ церковный бракъ.

III

Кононовъ все время сидѣлъ молча и на одномъ и томъ же мѣстѣ. Разговоры его не занимали; занималъ одинъ Чулковъ.

„Изъ чего бьется человѣкъ? думалось ему.—Пере-

убѣдить, что ли, ихъ хочетъ? Или посмѣяться надъ ними? Напрасный трудъ! И еще Чулковъ думаетъ что онъ практическій человѣкъ!"

Практическій человѣкъ вышелъ, а Кононовъ все молча сидѣлъ на томъ же мѣстѣ. „И зачѣмъ я сюда пріѣхалъ?" безотвѣтно шевелилось въ его головѣ. Онъ почему-то однако не собирался уѣзжать. Вдругъ послышался живой и веселый смѣхъ. „Гдѣ это?" хватился Кононовъ и осмотрѣлся вокругъ. „Нѣтъ, они смѣяться не умѣютъ: они выдуманные", вспомнилось ему вчерашнее словцо барышни, и слѣдомъ сама барышня, и еще слѣдомъ: „Тамъ у насъ, гдѣ тетя Маша чай разливаетъ, весело: и болтаютъ, и смѣются." Гдѣ жь оно это *тамъ*? И опять донесся веселый смѣхъ.

— И я могъ сидѣть, когда!...

Кононовъ всталъ, но въ которую дверь идти? Къ счастію, въ одной изъ дверей показалась горничная съ чайнымъ подносомъ. Кононовъ почти бросился къ этимъ дверямъ, но на дорогѣ его ждала засѣка. Куцая дама не даромъ вчера долго не спала, придумывая какъ отомстить за фактъ и законъ: планъ мщенія созрѣлъ.

—Monsieur Кононовъ. М. Кононовъ! окликнула она его.

— Что̀ вамъ угодно? съ неудовольстіемъ остановился Петръ Андреичъ.

— Вы, говорятъ, въ душу вѣрите?

— Вы, вѣроятно, хотѣли сказать: „вѣруете", съ улыбкой сказалъ Кононовъ.—Но все равно, я удовлетворю вашему любопытству: я *знаю* что у человѣка есть душа.

— Развѣ это можно знать?

— Даже должно.

И Кононовъ пошелъ было.

— М. Кононовъ! снова остановила его куцая.

— Что̀ вамъ угодно?

Куцая теперь сама не знала чего ей угодно. Планъ мщенія былъ составленъ удивительно: предполагался несомнѣннымъ отвѣтъ „вѣрю“, и затѣмъ высиженная острота долженствовала на смерть поразить врага.

— Ну все равно вѣрите, вѣруете или знаете, затарантила она, — вотъ возьмите три копѣйки и поставьте за мою душу свѣчку... Она полѣзла въ карманъ.

— Можете оставить ихъ у себя за прекрасную остроту, съ вѣжливымъ поклономъ отвѣчалъ Кононовъ, и на этотъ разъ ушелъ.

„Я, кажется, что-то неудачно, но все-таки онъ съ предразсудками, а я нѣтъ“, утѣшилась куцая.

— Дерзкій господинъ, обратилась она къ женѣ знаменитаго педагога. — А еще философомъ притворяется!...

— Я его терпѣть не могу, отвѣчала дама.

— Я уважаю ту философію, когда всякій человѣкъ сытъ, измыслила красноносенькая блондиночка.

Какъ раньше Чулковъ не обратилъ вниманія на доброе дамское мнѣніе, такъ теперь Кононовъ не слыхалъ дурнаго.

— А, и вы къ намъ въ дѣтскую? весело встрѣтила его Людмила Тимоѳевна.—Позвольте представить вамъ: М. Paul, младшій братъ Погалева, котораго вы знаете; очень милый мальчикъ.

М. Поль былъ въ подросткахъ: не то мальчикъ, не то молодой человѣкъ.

— Да, я очень милый мальчикъ, весело расклани-

ваясь подтвердилъ меньшой Погалевъ,—и вы это сейчасъ увидите. C'est mon opinion, monsieur, et je le partage, съ комическою важностью замѣтилъ онъ.

— Очень радъ.—И Кононовъ пожалъ руку раздѣлителю своего собственнаго мнѣнія.

— Что̀ жь, Владиміръ Дмитричъ, перевели? обратился юноша къ Чулкову.

— Нѣтъ еще.... Постойте.... le bonheur domestique, да?

— Да.

— Нѣтъ, не знаю.

— Лакейское счастіе.

И хохотъ.

— Ну и вы переводите, задалъ Чулковъ:—chantons célébrons la gloire d'Achille.

— Ну, это старо: Антонъ серебро по бульвару тащилъ, безъ запинки отвѣчалъ М. Поль.

И опять хохотъ.

М. Поль продолжалъ мило дурачиться. Между прочимъ, по просьбѣ Людмилы Тимоѳеевны, онъ изобразилъ англійскій парламентъ. Вождь оппозиціи, со шляпой Чулкова на затылкѣ, стоялъ упираясь на лѣвое колѣно и правою рукой безпощадно тыкалъ на шумѣвшій самоваръ, изображавшій главу кабинета. Затѣмъ самоваръ зашумѣлъ оппозиціонно, а М. Поль превратился въ главу кабинета. Онъ сидѣлъ завернувшись въ салфетку, нахлобучивъ шляпу и скрестивъ руки на носу.

— Точь въ точь на картинкѣ въ Иллюстраціи, при общемъ хохотѣ объявилъ меньшой Погалевъ.

— Ну, развѣ съ дѣтьми не веселѣе? спросила барышня Петра Андреича, и они заговорили особо.

Чулковъ подсѣлъ къ тетѣ Машѣ; юноша, не чаявшій въ немъ души, присѣлъ подлѣ же. Тетя Маша

была славная и добрая старушка и большая пріятельница Владиміра Дмитрича.

— Люблю такихъ старушекъ, говаривалъ Чулковъ,— слушаю ихъ простыя рѣчи и думаю: „а и мы въ свое время умѣли на балахъ въ невозможномъ, по модѣ, декольте отличаться, и французскіе комплименты слушать, и въ то же время съ горничными своими друзьями быть“....

Старушка почти со слезами жаловалась на свое житье и на обиды отъ старшей племянницы Поли.

— Повѣрите, Владиміръ Дмитричъ, все язвить, на всякомъ шагу язвитъ. Батюшку въ домъ и не думай позвать; къ Скорбящей иду, „куда“ сказать боюсь: осмѣетъ. Положимъ, я вынослива, да опасаюсь: Людочку собьетъ. Ужь съ братцомъ Миной Иванычемъ поговорить хочу: не увезетъ ли насъ съ Людой въ деревню.

„Я всегда ее терпѣть не могъ, а теперь вижу какая она противная“, подумалъ меньшой Погалевъ про старшую Воробьеву.

— Этою язвительностью въ бабку она, въ старую Воробьиху, еще игуменьей послѣ была: Павлой нареклась, коли помните, продолжала Марья Ивановна.— Та—прости Господи мое согрѣшеніе!—хоть богомольная была, а тоже бывало ничѣмъ на нее не угодишь. Все пилитъ, все не въ угоду. И порой такая-то тома на меня нападетъ.... И думается: Полѣ-то грѣшно было бы; вѣдь я ради ея чуть не въ курной избѣ жила.... Ну да вамъ, Владиміръ Дмитричъ, разказывать нечего.... сами знаете....

Старушка заплакала и чтобы скрыть слезы сказала:—Ахъ, я и забыла лишнія ложечки убрать!—и ушла изъ комнаты.

„Ну, когда я буду прокуроромъ, желалъ бы чтобъ эта противная попалась: я ее упекъ бы!“ съ негодованіемъ мечталъ М. Поль.

Владиміръ Дмитричъ зналъ слѣдующее. Имѣніе малолѣтнихъ Воробьевыхъ, по смерти отца, осталось обремененное жестокими долгами; свояченица покойнаго, тетя Маша, назначенная душеприкащицей и опекуншей, старшую Полю пристроила въ институтъ, а младшую Милу отправила къ другому опекуну и душеприкащику, родному своему и матери сиротокъ брату, Минѣ Ивановичу Кущину. Сама же Марья Ивановна поселилась въ прикащичьей избѣ, ѣла и пила чуть не по-мужичьи, усчитывала каждую копѣйку, и увеличенными, ея стараніями и совѣтами Мины, доходами съ имѣнія уплачивала долги. Къ выходу старшей изъ института имѣніе было почти очищено отъ долговъ и Паулина Тимоѳевна могла свободно заниматься науками. Паулина все это знала, но какъ-то не удосуживалась вспоминать: серіозныхъ занятій, видно, было много.

Чулковъ, по уходѣ тети Маши, прислушался къ *особому* разговору.

— Какъ вамъ сказать, люблю ли я его? съ жаромъ говорила Людмила Тимоѳевна.—Да, въ *Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ* очень люблю. Тамъ все мило, и онъ самъ такой милый! И *Ревизора* люблю: не понимаю многаго, но.... очень смѣшно. А *Мертвыхъ Душъ* не люблю.

— Отчего же?

— Какъ бы вамъ сказать? Знаете, я такихъ людей никогда не видала, и мнѣ кажется, что люди лучше, добрѣе, или.... право не знаю.... нѣтъ, что они, можетъ-быть, и похожи, но не такіе точно. Впрочемъ, можетъ-быть, это глупо и я просто не понимаю....

Въ это время вошелъ старикъ Кущинъ.

— Ахъ, дядя, милый! вскричала барышня и побѣжала ему на встрѣчу.—Позвольте представить....

И она отрекомендовала ему Кононова.

— Весьма, сударь, радъ, сказалъ старикъ, пожимая руку молодаго человѣка.—А гдѣ твоя сестра? обратился онъ къ племянницѣ.

— Полина? Я думала она въ залѣ....

— Паулина Тимоѳеевна была въ маленькой угловой и бесѣдовала съ какимъ-то Нѣмцемъ, сказалъ Кононовъ.

— Ну, такъ она вѣрно и теперь тамъ! рѣшила барышня.—Это, дядя, нѣмецкій ученый, пріѣхалъ къ намъ профессорскаго мѣста искать.... Онъ читалъ, кажется, астрономію въ какомъ-то тамошнемъ университетѣ.... M. Paul, вы не помните въ какомъ?

— Въ Зауеркраутскомъ [1]), безъ запинки отвѣчалъ М. Поль.

Всѣ засмѣялись, кромѣ старика. Людмила Тимоѳеевна замѣтила что дядя не улыбнулся даже.

— Дядя, милый! спросила она:—вы не въ духѣ? васъ разсердили?

— Ничего; тамъ въ залѣ у васъ какой-то.... Вотъ твоей сестрѣ, вмѣсто того чтобы съ Нѣмцемъ объ астрономіи говорить, лучше бы поглядѣть что̀ у нея въ залѣ творится.... Да, какой-то, забылъ фамилію: сестрица твоя знакомила какъ съ умнымъ.... Мазаный какой-то, съ рачьими глазами....

— Ахъ, это вѣрно Хамазовъ! закричала барышня.—Ахъ, дядя, какъ вы мѣтко опредѣляете!...

---

[1]) Sauer Kraut—кислая капуста.

— Ну да Хамазовъ, теперь вспомнилъ.... И что̀ за глупая фамилія! бурчливо сказалъ старикъ.

— Развѣ не все равно какая фамилія? спросила Людмила Тимоѳевна, инстинктивно чувствуя что надо отвлечь дядю отъ воспоминанія о рачьихъ глазахъ господина Хамазова.

— Конечно, не все равно, отвѣчалъ старикъ.— Фамилія—старинное прозвище или отъ имени родоначальника. У тебя напримѣръ, прозвище ничего. Ну что̀ такое Воробьева? Ни хорошо, ни худо, простая птичья фамилія. Но Хамазовъ!... И возьми фамилію отъ любаго слова, напримѣръ скрипѣть. Скрипуновъ— ничего, Скрипищевъ—даже хорошо, стариной пахнетъ, но Скрипулькинъ, а? Ну, куда годится Скрипулькинъ? Въ смотрители виннаго городка развѣ? А этотъ.... Грекъ, или Арнаутъ онъ какой что ли....

— Нѣтъ, дядя, повторила тотъ же маневръ племянница,—вы такъ чудесно его опредѣлили.... И теперь меня должны. Ну, какая я? Однимъ словомъ скажите.... Дядя, милый!

— И меня однимъ словомъ, жалобно, по-дѣтски залепеталъ М. Поль.

— Ну ты, егоза, сказалъ ему Кущинъ.

— Покойно благодаю, отвѣтилъ М. Поль и какъ умный мальчикъ „сдѣлалъ ножкой“.

Всѣ засмѣялись, и старикъ улыбнулся.

— Ну, вотъ это мило что улыбнулся! сказала Людмила Тимоѳевна.—А теперь, какъ хотите, и меня должны опредѣлить. Дядя, миленькій!

— Ну и ты егоза, улыбнулся старикъ.

— Ну нѣтъ.—И барышня надула губки.

— Это васъ что ли опредѣлить? отозвался Чулковъ.

— Да.

— Нѣтъ ничего легче. Вы—неверстаная.

— Это что̀ значитъ „неверстаная“?

— А верстать значитъ подгонять подо что-нибудь, подъ какую-нибудь мѣрку....

— Довольно, поняла, сказала барышня и подумала: „это въ родѣ какъ няня *божьей* меня называетъ, только вѣрнѣе и ближе“, и вслухъ:—Хорошо. Умница.

— Кто же умница: вы, или я?

— Конечно я, засмѣялась барышня.

— А коли умница, опредѣляйте какой *я*.

— Вы? будто вы не знаете? Вы сдобный!

— Вотъ и подите съ женскими опредѣленіями!

— Неужто вы не понимаете?—Барышня широко раскрыла глаза.—Сдобный, ну, знаете, вкусный такой. Вотъ какъ сдобный пирогъ съ курицей бываетъ....

— Довольно, довольно! И безъ того не понимаю!

— А я какой? спросилъ Кононовъ.

— Вы? И Людмила Тимоѳевна съ особою живостью поглядѣла ему въ глаза.—Вы....

— Людмила! раздался педагогически-строгій голосъ старшей сестрицы.—Мнѣ надо съ тобой поговорить.

Барышня отправилась на зовъ, а М. Поль точно поправилъ очки на носу: это былъ намекъ на ученость Паулины. Всѣ улыбнулись, а старикъ шутя погрозилъ милому мальчику.

— Дѣдушка, чѣмъ васъ тамъ разобидѣли? спросилъ Чулковъ по уходѣ барышнй.

Кущинъ вовсе не былъ ему дѣдушкой, но оба чувствовали другъ къ другу нѣжность и старикъ обычно говорилъ Чулкову *ты*.

— По твоей же милости досталось, отвѣчалъ Мина

Иванычъ,—взбудоражилъ ты ихъ всѣхъ. Особенно этотъ коноводъ ихній Замазовъ или Халвазовъ словно звѣрь рыкучій сталъ; такъ и водитъ рачьими глазами на кого бы накинуться. Почувствовалъ: престижу лишился. Тамъ есть маленькій какой-то, не человѣкъ даже, а культя какая-то олицетворенная—Кущинъ говорилъ о кадетѣ въ отставкѣ—и онъ даже противъ барина своего дерзить сталъ. Заговорили они о революціи, о большой; факты перевираютъ и переворачиваютъ.... Ну, да это само собой разумѣется.... И этотъ Айвазовъ кричитъ: „не женись Дантонъ, революція удалась бы". А культя споритъ: „нѣтъ, говоритъ, Робеспьеръ оплошалъ; ему бы въ каждой деревнѣ гильйотину поставить, и головы всѣмъ анти-революціонерамъ рубить, да рубить...." Вы не можете вообразить, обратился старикъ къ Кононову,—какое отвратное впечатлѣніе онъ на меня произвелъ; самъ маленькій, а рѣчи кровавыя и точно не о человѣческихъ головахъ, а о сахарныхъ.... Я не выдержалъ, и пошелъ....

— И тѣмъ кончилось? спросилъ Чулковъ.

— Нѣтъ. Этотъ твой Гумазовъ,—старикъ повернулся къ Чулкову;—какъ разъ на моей дорогѣ стоялъ, и все руками машетъ. Я чтобы пройти „извините" говорю. А онъ.... И нахально главное.... Въ наше время только подъячіе съ крестами такъ глядѣли, когда плюхи добивались, чтобы потомъ безчестье содрать.... Такъ онъ: „вы можетъ несогласны?" И уставился рачьими глазами. Меня взорвало:—Трудно, говорю, согласиться, когда факты передаются не вѣрно.... Я, кажется, сказалъ вамъ что они врали!... Ну и указалъ имъ двѣ три ошибки....

— А онъ?

— Еще нахальнѣе сталъ.—Вы историкъ, что ли? „Археологіей занимаюсь“.—А! нынче эта наука не въ модѣ! Я извинился что не зналъ qu'ils ont changé tout cela, и ушелъ. Нѣтъ, въ наше время у самой ученой дамы такихъ сюжетовъ нельзя было встрѣтить....

— А въ ваше время онѣ тоже водились? спросилъ Кононовъ.

— Когда жь ихъ не было? Еще Моліэръ писалъ *Les femmes savantes*. Въ другомъ родѣ конечно.

— Чего жь. было, дѣдушка, сердиться? спросилъ Чулковъ.

— Какъ же не сердиться! „Археологія не въ модѣ!“ Что̀ за аргументъ? По-его въ модѣ знать какъ допотопныя птицы гнѣзда вили, а какъ предки жили не въ модѣ! Такъ я скажу̀ ему что онъ вретъ, горячился старикъ,—что если такъ, для него наука вообще не въ модѣ, и что онъ о допотопныхъ гнѣздахъ только болтаетъ, а не апрофондировалъ этого сюжета. Не въ модѣ! Нѣтъ я тебя спрашиваю, что̀ это за аргументъ?

— Аргументъ извѣстный, отвѣчалъ Владиміръ Дмитричъ.—Я впрочемъ знаю лучшій примѣръ такого аргумента.

— Какой? полусумрачно, полувесело спросилъ старикъ, предчувствуя шутку Чулкова: лобъ у него былъ наморщенъ, а уста полуулыбались.

— Въ Москвѣ были пѣвецъ и пѣвица; пѣвецъ плохой, пѣвица хорошая. Разъ они дуэтъ репетировали. Пѣвецъ вралъ больше обыкновеннаго. Съ вами пѣть нельзя, вы все фальшите, говоритъ пѣвица. А онъ: „А ты содержанка“.

Кущинъ фыркнулъ, удерживаясь отъ смѣху.

— Да, да, именно такъ. „Вы сдѣлали ошибку“.— Археологія не въ модѣ, нѣсколько разъ повторилъ Мина Иванычъ.—Нѣтъ, ты вотъ что̀ объясни. Положимъ, вѣжливость ихнею религіей запрещается и можетъ-быть по ихнему катехизису старики въ чемъ-нибудь деффективны, — вотъ какъ по Мухамеду у женщинъ души нѣтъ. Все это такъ. И Богъ съ ними. Но знаній почему не уважаютъ? Я вѣжливо ему замѣтилъ ошибки, ему благодарить бы, а онъ нахальничаетъ. Чѣмъ же знанія виноваты?

— На этотъ счетъ картинка у раечниковъ придумана.

— Ахъ, Владиміръ Дмитричъ, разкажите! не утерпѣлъ закричалъ М. Поль.

— А вотъ нарочно не разкажу чтобы не перебивали.

— Ей-Богу, не буду; ей-Богу, въ послѣдній разъ, закрестился милый мальчикъ.

— Картинка такая: комнатка нарисована и по срединѣ скамейка; на скамейкѣ сѣдой старикъ, достодолжнымъ образомъ разоблаченный, а подлѣ стоитъ молодой парень и въ рукахъ у него пукъ розогъ преизрядный. Объясненіе сей картинкѣ: Ученикъ за то своего мастера въ.... въ....—Чулковъ поперхнулся, замѣтивъ въ дверяхъ тетю Машу и быстро договорилъ:—за то пониже спины бьетъ что искусства отъ него не перейметъ.

Всѣ расхохотались, а старикъ судорожно замахалъ рукой.

— Оставь, оставь, закричалъ онъ,—не то расхохочусь до боли.

Въ это время вернулась Людмила Тимоѳеевна.

— Что̀, что̀ такое? Вѣрно, Чулковъ смѣшное разказалъ?

— Ахъ, очень! подтвердилъ меньшой Погалевъ.

— Владиміръ Дмитричъ, что̀ такое? Разкажите, пожалуйста! Голубчикъ, милый! Булочка сдобная, разкажите!

— А вотъ признайтесь зачѣмъ васъ сестрица вызывала, тогда разкажу.

— И спрашивать нечего: пилила, отозвалась тетя Маша.

— Ахъ, тетя!—И барышня шутя погрозила ей розовымъ пальчикомъ.

— Выговоръ былъ? Сознаетесь? подхватилъ Чулковъ.

— Да.—И барышня слегка покраснѣла.

— Такъ я вамъ скажу за что̀.

— Отгадывайте!

— За то что весь вечеръ просидѣли здѣсь, а не играли роль хозяйки предъ умными гостьми. Правда?

Дядя пристально взглянулъ на племянницу.

— Умница: отгадалъ.

„Надо будетъ принять къ свѣдѣнію“, замѣтилъ про себя дядюшка.

— Теперь кто же умница: вы или я?

— Вы, только разказывайте....

— Видите, дѣдушка заспорилъ съ Хамазовымъ....

Кононовъ почувствовалъ себя неловко, а старикъ строго поглядѣлъ на Чулкова, но Владиміръ Дмитричъ остался невозмутимъ.

— Споръ былъ таковъ, продолжалъ онъ,—г. Хамазовъ утверждалъ что лучше быть, какъ онъ, прохвостомъ, а дѣдушка что лучше быть археологомъ. Только

дѣдушка сплоховалъ не смогъ доказать что археологъ лучше прохвоста. А было не трудно: слѣдовало къ еврейскому аргументу прибѣгнуть.

— Это что̀ за аргументъ? спросилъ удивленный старикъ.

— А, изволите видѣть, ѣхали на пароходѣ шоссейный солдатикъ изъ Жидковъ и монахиня. Монахиня, какъ увидала Жидка, стала укорять его зачѣмъ Христа распялъ. Жидокъ обидѣлся: „И цѣмъ зе наше еврейское званіе дурно?“ Онъ, видите, еврейство свое за званіе считалъ. Ну, и срѣзалъ монахиню: „Насе, говоритъ, званіе высе васего, потому зе изъ насего званія въ васе всегда попасть мозно, а изъ васего въ насе нельзя“.—И когда хохотъ затихъ:—И вамъ бы, дѣдушка, этого про....

По счастію Чулковъ сидѣлъ противъ двери и вовремя замѣтилъ нѣжинско-греческо-огуречный носъ г. Хамазова. Появленіе г. Хамазова произвело впечатлѣніе. Въ глазахъ Людмилы Тимоѳеевны промелькнуло неудовольствіе и боязнь. „Что̀ ему надо? подумала она,— ужь не хочетъ ли снова ухаживать за мною?“ Тетя Маша назвала про себя г. Хамазова подлипалой. Такому названію не мало способствовало то обстоятельство что изо всѣхъ мужскихъ личностей извѣстныхъ Паулинѣ, одинъ г. Хамазовъ пользовался ея благорасположеніемъ. Онъ сумѣлъ снискать его молчаливымъ согласіемъ съ ея мнѣніями, благоговѣніемъ предъ ея ученостію, сообщеніемъ своевременныхъ свѣдѣній о лекціяхъ и аккуратно-усерднымъ добываніемъ билетовъ на оныя. Г. Хамазовъ былъ до того Паулинѣ пріятенъ, что несмотря на свойственную ей бережливость, она, по его настоянію, участвовала въ какихъ-то подпискахъ на какія-

то общественныя дѣла и даже абонировалась на прогрессивный русскій журналъ. Паулина по-русски не читала и русскихъ книгъ для себя не покупала. Исключеніе составляли переводы иностранныхъ ученыхъ сочиненій, преимущественно нѣмецкихъ (изящною словесностью она вообще гнушалась). По словамъ Хамазова, журналъ былъ на европейской высотѣ мысли по всѣмъ вопросамъ, особенно женскому, а потому Паулина рекомендовала его сестрѣ. Но милая барышня, проглядѣвъ журналъ, отложила его въ сторону. „Либо скука, либо бранятся", замѣтила она. И прогрессивный журналъ поступилъ въ пользованіе тети Маши. Добрая старушка со всеусердіемъ читала всѣ безъ исключенія россійскія и иностранныя повѣсти, какія только прогрессивная редакція тискала въ свой журналъ, и во всѣхъ злодѣяхъ находила большое сходство съ г. Хамазовымъ.

„Легокъ, прохвостъ, на поминѣ", подумалъ Чулковъ, и то же подумали остальные собесѣдники, только въ болѣе нѣжной формѣ.

— Миръ вамъ, развязно началъ г. Хамазовъ.

— Шелъ бы къ чертямъ! шепнулъ Чулковъ тетѣ Машѣ.

— Вотъ ужъ правда, согласилась она.

— Владиміръ Дмитричъ, можно надъ нимъ штуку откинуть? освѣдомился М. Поль, мгновенно проникнувшійся ненавистью къ носу г. Хамазова.

— Ни подъ какимъ видомъ.

Никто не откликнулся на привѣтствіе г. Хамазова.

— Вотъ и видно, господа, нравоучительно началъ онъ,—что вы мужикомъ гнушаетесь; не умѣете отвѣтить на народное привѣтствіе.

Всѣ поморщились какъ отъ фальшивой ноты.

— А какъ слѣдуетъ отвѣчать? съ почтительнымъ любопытствомъ спросилъ Чулковъ.

— Садись къ намъ.

— Въ какой губерніи изволили наблюдать сей народный обычай?—И Чулковъ вынулъ записную книжку.

— Всюду, въ любой избѣ....

— Ахъ, а я и не зналъ! съ сокрушеніемъ и поклономъ отвѣчалъ Чулковъ.

М. Поль, подстрекнутый примѣромъ Чулкова, въ свою очередь вздумалъ „вышутить“ огуречный носъ. Онъ мигомъ очутился подлѣ него.

— И я, представьте, не зналъ, сказалъ онъ.—Et moi, j'en suis moutardé!

Теперь всѣ не удержались и прыснули со смѣха.

— Что-съ? дерзко и нахально спросилъ г. Хамазовъ, дергая влѣво quasi-Наполеоновскій усъ.

— И симъ огорченъ, виноватъ: огорченъ есмь, бойко отвѣчалъ мальчикъ.—А вы развѣ не знаете по-французски?

— Вы будущій прокуроръ, кажется? еще нахальнѣе спросилъ Наполеонъ, усиливъ прежній жестъ.

— Къ вашимъ услугамъ. Въ чемъ прикажете себя обвинить?

М. Поль почувствовалъ что Чулковъ дергаетъ его за фалды.

Г. Хамазовъ, пренебрегая мальчишкой, круто отъ него отвернулся и обратился къ Людмилѣ Тимоѳеевнѣ съ проповѣдью о пустомъ и антипрогрессивномъ направленіи большинства нашей молодежи.

— И только реальное воспитаніе.... разглагольствовалъ онъ.

Веселая „дѣтская“ превратилась въ плохую „классную“.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Паулина Тимоѳевна была слишкомъ большою поклонницей науки, чтобы пренебрегать гигіеническими правилами, а потому у нея гости не засиживались и никогда не обременяли желудка ужиномъ. Раннему уходу нашихъ пріятелей, кромѣ того, не мало способствовало вторженіе въ столовую г. Хамазова; старикъ Кущинъ вышелъ вмѣстѣ съ ними и пригласилъ молодыхъ людей поѣсть устрицъ, не безъ задней мысли поближе познакомиться съ тѣмъ, кого такъ сильно хвалила сегодня по утру младшая племянница. Они отправились къ Осетрову, гдѣ Чулковъ поставилъ непремѣннымъ условіемъ не заводить серіознаго разговора пока онъ не проглотитъ по крайности двухъ дюжинъ

Затворницъ жирныхъ и живыхъ,
Слегка обрызнутыхъ лимономъ.

— Ну, господа, сказалъ онъ,—я готовъ, и пусть кто въ голосѣ заводитъ разговоръ. Я, признаюсь, плохой запѣвало.

Чулковъ приписывалъ важное значеніе умѣнью завести бесѣду. „Разговоръ все равно что пѣсня“, говаривалъ онъ, „заведена не такъ, и баста: все пропало и слушать не хочется. Только разговоръ завести еще труднѣе: его наизусть не вытвердишь.“

— Я сегодня весь вечеръ молчалъ, сказалъ Мина Иванычъ,—да и вообще нашему брату, степняку, рѣдко

приходится говорить, а потому прошу уступить мнѣ первое слово.

— Ладно, дѣдушка, отозвался Чулковъ.

— Сколько я замѣчалъ, началъ старикъ свое слово,— нравственное и умственное уродство всегда есть не что̀ иное какъ искаженіе какого-нибудь истинно-человѣческаго стремленія. Сегодня я подмѣтилъ нѣсколько такихъ искаженій. Какъ бы то ни было, они бросаются на все, только удовлетворить бы своему искаженному стремленію. О, еслибъ они видѣли истинные образцы настоящаго героизма! Театръ, одинъ театръ могъ бы сослужить службу въ этомъ отношеніи. Я вывелъ такое убѣжденіе изъ опыта. Давно уже было это, очень давно, я былъ вашихъ лѣтъ, быть-можетъ моложе—обратился старикъ къ Петру Андреичу.—Мнѣ случилось присутствовать на двухъ представленіяхъ gratis, для простаго народа, въ *Comédie.* Давали Корнелевыхъ *Сида* и *Ораса.*— Старикъ выговаривалъ названія піесъ на французскій ладъ и вообще въ его рѣчи.... но внимательный читатель уже замѣтилъ особенности языка Мины Иваныча и мнѣ не зачѣмъ разъяснять ихъ. — Еслибъ вы знали что̀ сталось со всею этою массой, когда оскорбленный Don Diègue встрѣчаетъ своего сына знаменитымъ: „Rodrigue, as-tu du coeur?“ О, всякій, всякій въ залѣ вздрогнулъ вмѣстѣ съ Родригомъ! И всякій почувствовалъ въ чемъ состоитъ *долгъ* для будущаго Сида. А эти суровыя слова старика, они персировали всѣ сердца.

И Мина Иванычъ съ паѳосомъ продекламировалъ:

Ne réplique point, je connais ton amour:
Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour;
Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense.
Enfin tu sais l'affront et tu tiens la vengeance:
Je ne te dis plus rien....

— Да, да! съ сильнѣйшимъ воодушевленіемъ продолжалъ онъ, — или въ *Орасѣ*, когда старикъ сказалъ: „Qu'il mourût!“ О, тутъ не было ни актеровъ, ни зрителей, ни залы! Все слилось въ одинъ крикъ: „bravo, le vieux!“ И вы думаете такія минуты переживаются даромъ? Не вспоминаются, когда надо выбирать между добромъ и зломъ? О, я тогда понялъ что̀ значатъ стихи Пушкина:

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
И прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ....

Старикъ помолчалъ, опустилъ голову на грудь.

— Вотъ чего я желалъ бы отъ театра: возбужденія такихъ высокихъ, такихъ героическихъ порывовъ! Я умеръ бы спокойно, и не страшился бы искаженныхъ стремленій.... Но у насъ сперва кормили зрителей мишурнымъ геройствомъ, а потомъ.... потомъ мы сумѣли осмѣять эту мишуру.... И рады: точно Богъ-знаетъ какое дѣло сдѣлали!...

И старикъ горько усмѣхнулся.

— Будто мы видѣли сегодня искаженное стремленіе къ героизму? спросилъ недовѣрчиво Чулковъ. — Впрочемъ, можетъ-быть и да.... Но, дѣдушка, повихнувшихся не исправишь указавъ имъ на добрый путь. Прочтите скопцу житіе святѣйшаго святаго, онъ все же будетъ умиляться предъ своимъ батюшкомъ купцомъ Селивановымъ, Петромъ Третьимъ тожь. И не знаю въ чемъ нашъ умственный повихъ, и чѣмъ его лѣчить (если только можно лѣчить горбатыхъ) но вижу что онъ есть. Хотя вижу его въ другомъ.

— Въ чемъ же? спросилъ старикъ.

— Въ томъ что мы разучились смѣяться.

— Ты, вижу, нынче въ ударѣ говорить: глаза разгорѣлись.

— Какъ всегда послѣ устрицъ и хорошаго вина....

— Начинай же. Я чувствую ты наговоришь сегодня множество отборныхъ парадоксовъ....

— Которые въ концѣ концовъ окажутся истиной, съ комическою важностью замѣтилъ Чулковъ.—Но

Длить споры не мое желанье

и я приступаю къ комической импровизаціи.

Чулковъ откашлялся, встряхнулъ головой и началъ:

Похвальное или надгробное (ad libitum) **слово смѣху.**

— Замѣтили ли вы, господа, чтобы въ той курильной комнатѣ, гдѣ мы съ вами имѣли честь дышать сѣрноазотно-углекислымъ дымомъ, въ семъ estaminet неправильно называемомъ салономъ de Mlle Pauline des Passereaux, кто-нибудь смѣялся? Невозможно чтобы замѣтили, ибо тамъ хгыхгыкали, хихикали и производили разные иные звуки, но не смѣялись. Они усиливались подражать смѣху при помощи кадыка, и пускали въ ходъ горловую и головную фистулу, но никто не вспомнилъ даже объ аппаратѣ мудрою природой для смѣха предназначенномъ. А такъ ли довлѣетъ смѣяться Россіянамъ? Развѣ мы не рожденные зубоскалы, смѣхуны, шутники, забавники и краснословцы? Благочестивые монахи не упускали случая занести въ лѣтопись красное словцо, остроту или мѣткое прозвище. Не смотря на святительскіе жезлы и царскіе посохи въ насъ не совсѣмъ угасла любовь къ скоморошничеству и дурачеству. Вспомните что находились охотники шутить даже съ Павломъ I подъ страхомъ ссылки въ Сибирь!

Вѣдь и у насъ деспотизмъ отчасти умѣрялся эпиграммой: сколько однихъ программъ министерскихъ концертовъ! Мы хохотали, покатывались, заливались и помирали со смѣху, мы весело смѣялись и не щадили, ради краснаго словца, ни матери, ни отца, но никогда еще донынѣ не унижались до хихиканья. Кто же или что̀ зашибло нашъ веселый и громкій смѣхъ? Вопервыхъ, сильнѣйшее поврежденіе ему нанесъ нашъ великій комикъ. Когда онъ переполошилъ тогдашнюю литературную Мордву, не менѣе нынѣшней упражнявшуюся въ разныхъ „перкобыльствахъ", по счастливому выраженію одного изъ новѣйшихъ геніевъ,—когда онъ переполошилъ ихъ своею комедіей, они прибѣгли къ своему обычному маневру, обвинили его въ безнравственности. Слѣдовало ли оспаривать сихъ глупцовъ? Нѣтъ. О чемъ они кричали? Что въ комедіи долженъ быть честный человѣкъ? Да, и въ отвѣтъ имъ надо было сказать: „Мордва! своими замѣчаніями вы показали свое незнаніе исторіи литературы; своею строгостью на счетъ нравственности что вамъ говорить больше нечего; вы сочинили свой кодексъ уголовно художественныхъ законовъ и ищите въ произведеніяхъ нарушенія этихъ законовъ; вы вообразили себя судьями, но помните: ваши повѣстки мы не обязаны принимать и ваши заочныя рѣшенія можемъ даже не читать." Но Гоголь поднялъ ихъ замусленную перчатку. „Какъ нѣтъ честнаго человѣка? Онъ есть и этотъ честный человѣкъ—смѣхъ." Excusez du peu, Николай Васильичъ! Честный человѣкъ, то-есть у котораго долгъ основной тонъ всей личности, словомъ стоикъ, вовсе не расположенъ къ смѣху. Онъ какъ Шекспировъ Кассій, если улыбается, то кажется точно надъ самимъ

собою: зачѣмъ де позволилъ себѣ улыбнуться. Смѣхъ прежде всего и паче всего — здоровый человѣкъ. Но бѣда тѣмъ не ограничилась. Допущена аллегорія смѣха, и все пошло на аллегорію. Хлестаковъ, этотъ чистокровный Петербуржецъ, не знающій даже что въ уѣздныхъ городахъ есть штатъ чиновниковъ, и что почты не находятся подъ адмиралтейскимъ вѣдомствомъ и въ то же время увѣренный въ своей просвѣщенности и въ томъ что онъ выше всѣхъ и можетъ всѣхъ третировать en canaille—вдругъ обратился въ аллегорію маловѣрной общественной совѣсти. Театръ въ аллегорію проповѣднической каѳедры. Наконецъ и самъ Николай Васильевичъ соблаговолилъ превратиться въ аллегорію человѣка заболѣвшаго собственными несовершенствами, а потому видящаго и всюду одни несовершенства. Будь я знакомъ съ нимъ, и будь мнѣ въ то время, какъ теперь вотъ уже два мѣсяца, тридцать лѣтъ, то-есть достигни я возраста, когда всякій порядочный человѣкъ безъ всякихъ хитростей и уловокъ обязанъ прямо высказывать свои мысли и мнѣнія, я сказалъ бы ему: „Николай Васильевичъ, если вы не аллегорически, а дѣйствительно заболѣли своими несовершенствами, чтобъ избыть эту хворобу пишите трагедіи: смѣяться вамъ не время“. Да, господа, мнѣ порой сдается что еслибы Гоголь послѣдняго періода вмѣсто того чтобъ упорствовать въ комедіи, взялся за трагедію—онъ вылѣчился бы, и у насъ было бы нѣсколько трагедій, мрачныхъ, суровыхъ, но великолѣпныхъ! Не даромъ же у него нѣкоторые находили Дантовскія черты; не даромъ же Тенъ, говоря о Данте, вдругъ припомнилъ одну сцену изъ *Тараса Бульбы!*

— Великолѣпный парадоксъ, сказалъ Мина Иванычъ.

— Дѣдушка, не мѣшать! Но покончивъ съ трагическими причинами ослабѣванія смѣха, перейдемъ къ комическимъ. Вопервыхъ, нѣтъ, вопервыхъ уже было.... Итакъ, вовторыхъ. Вовторыхъ, съ нѣкотораго времени мы сдѣлались до крайности серіозны, приличны и возвышены. Серіозны до того что желаемъ не обыкновеннаго смѣха, а серіознаго, то-есть чтобы въ театрѣ напримѣръ въ смѣшныхъ мѣстахъ никто не улыбался, и наоборотъ, въ трагическихъ не плакалъ. Въ этой серіозности мы скоро дойдемъ до того, что не только станутъ требовать чтобъ играли, а будутъ играть Гоголя и Мольера такъ что мы помремъ съ зѣвоты. И это мы назовемъ облагороженьемъ фарса. Уже Бобчинскій когда летитъ во 2мъ актѣ на сцену, въ театрѣ не обрываетъ двери—это для насъ грубо! Подождите: скоро гдѣ у Мольера назначено бить палкой, актеры будутъ цѣловаться. Мы приличны—о, Господи! какъ мы приличны!—мнѣ въ юности, когда я сгоралъ отъ жажды, запрещали съѣсть на улицѣ апельсинъ, или въ театрѣ яблоко: не прилично де. Я потѣлъ лѣтомъ въ пальто, ибо наслышался что безъ пальто неприлично ходить по улицамъ. И вы всѣ страдали отъ этихъ неприличныхъ приличій. И громко смѣяться, а паче хохотать—тоже конечно не прилично. При мнѣ одна дама говорила писателю-комику: „Я видѣла вашу комедію; ужасно смѣшно, но неужели вы хотѣли чтобы зрители такъ страшно хохотали въ вашей комедіи?“ А одинъ очень умный человѣкъ, но слишкомъ приличный господинъ, жаловался что въ Лейпцигѣ публика слишкомъ хохотала (онъ боялся сказать: животики надрывала) при представленіи *Сна въ Лѣтнюю Ночь*. Ему это казалось оскорбленіемъ памяти Шекспира. Наконецъ, мы стали

падки на возвышенное, и до того гоняемся за нимъ что бойкаго англійскаго фельетониста Диксона возвели чуть не въ геніи. Это въ серіозномъ видѣ, а въ комическомъ мы пожелали возвышеннаго юмора и возвышенной сатиры! И явились охотники дѣлать русскій юморъ, который также похожъ па англійскій, какъ русскій портеръ на Перкинса и К°. Не то скверный квасъ, не то прогорклое черное пиво. И явились возвышенные сатирики, все мѣряющіе на свой салтыкъ и воображающіе что если они надо всѣхъ безъ разбора смѣются, то уже Аристофаны, если не выше. И все у насъ есть: и недоученая серіозность, и приличіе, и высокая, съ коломенскую версту, сатира,—и нѣтъ только смѣха. И ищемъ мы его всюду и завидуемъ Французамъ, что они сохранили способность смѣяться, и ради сердечнаго облегченія не признаемъ въ нихъ никакой серіозности! И довольствуемся смѣшными словами и повторяемъ ихъ до изнеможенія, а еще недавно понимали комическія личности. Находимъ остроумными скверные переводы французскихъ куплетовъ, а прежде сами были мастера писать куплеты. Наконецъ,

Окогченная летунья,
Эпиграмма хохотунья,
Эпиграмма эгоза

превратилась въ пародію двустишія:

Я скажу что Кони лошадь,
Остроумно и смѣшно.

Словомъ, русскій смѣхъ поступилъ въ разрядъ всего исторусскаго, а потому низкаго. Сюда, какъ извѣстно, относятся: русскій гусь, русское платье и русскій человѣкъ. А въ заключеніе я предлагаю тостъ въ память

Батюшки Смѣха, и за ваше здоровье, господа. Ибо кто здоровъ, тотъ умѣетъ смѣяться.

— Молодецъ! сказалъ старикъ, чокаясь съ Чулковымъ.

— А вино, что Французы называютъ, *bon*, какъ говорилъ одинъ чиновникъ, не знавшій ни слова по-французски, сказалъ Чулковъ, выпивая свой стаканъ.

II.

Возвращаясь домой Кононовъ раздумался о всемъ сегодня видѣнномъ и слышанномъ. Первымъ дѣломъ его поразило сходство, порой дословное, въ мысляхъ объ извѣстномъ предметѣ людей, повидимому, мало похожихъ другъ на друга, людей разнаго склада ума, возраста, у каждаго изъ коихъ есть свои симпатіи и антипатіи, свои пристрастія. Старикъ Кущинъ напримѣръ скорбитъ о недостаткѣ истиннаго героизма, желаетъ чтобы трагедія его возбуждала, но онъ самъ толковалъ сегодня съ Чулковымъ о приниженіи идеаловъ. Или Чулковъ говоритъ что мы разучились смѣяться, но онъ самъ по утру обратилъ его вниманіе на недостаточность комизма у позднѣйшихъ русскихъ писателей. А они всѣ жили болѣе или менѣе разною жизнью. Съ Чулковымъ, правда, онъ былъ знакомъ еще студентомъ, но теперь не видавшись съ нимъ три года, не переписываясь даже, онъ во многомъ больше чѣмъ прежде съ нимъ сходится.

„Но всѣ мы, продолжалъ онъ, разбросанныя единицы! Старикъ одна единица — живетъ уединенно въ деревнѣ, занимается археологіей, раздумываетъ обо всемъ что̀ дѣлается и говорится вокругъ, но говорить ему,

какъ самъ жаловался, приходится рѣдко. И можетъ-быть есть другая единица, и занимается математикой, и также думаетъ про себя.... Отчего и мы сейчасъ говорили втроемъ уединенно?"

Кононовъ доѣхалъ домой.

„Да, правъ Чулковъ", продолжалъ онъ идя по двору и всходя на лѣстницу, „идешь въ гостиную и попадешь въ курильню, гдѣ другъ до друга никому нѣтъ дѣла. Хамазовъ назвалъ этого добродушнаго Погалева доносчикомъ; тотъ чуть не заплакалъ, но смолчалъ. И мы всѣ смолчали. Но либо одинъ доносчикъ, либо другой негодный нахалъ, и кому-нибудь изъ нихъ не слѣдъ быть въ порядочномъ обществѣ. Но никто не вступился, даже тѣ кто лично за обиду не ограничился бы предслезнымъ сопѣніемъ. И въ самомъ дѣлѣ, кому какое дѣло до скандала въ курильной? Это дѣло полиціи или фельетониста...."

Но тутъ Кононовъ замѣтилъ что забрался этажемъ выше и чуть было не позвонилъ въ чужой колокольчикъ. Онъ спустился и попалъ наконецъ къ себѣ.

„Да, о чемъ я думалъ?" продолжалъ онъ раздѣваясь. „А, вспомнилъ. Погалевъ и Хамазовъ обмѣнялись упреками на счетъ своихъ бывшихъ профессоровъ. Я ихъ читалъ: оба могли быть разныхъ мнѣній, но оба были люди талантливые и достойные уваженія. И что̀ же? Изъ ихъ именъ бывшіе ученики сумѣли сдѣлать бранныя клички. Мы хвалимся часто что не имѣемъ сословныхъ предразсудковъ. Но мы выдумали новые. Оттого умственные сумерки и тьмѣ такъ хорошо"....

И Кононовъ загасилъ свѣчку.

„И она одна не боится говорить своихъ мнѣній, продолжалъ онъ думать уже про Людмилу Тимоѳевну,—

и не считаетъ ихъ непогрѣшимыми, и не боится что ее не сочтутъ всезнающей.... А что̀ жь я не спрашиваю, смѣясь обратился онъ къ себѣ, гдѣ она воспитывалась? Вѣдь она институтка и мнѣ слѣдовало бы сморщить носъ....“

Но тутъ начались предсонные шепоты и образы, но не вчерашніе, а милые и веселые, и Петръ Андреичъ заснулъ благополучно.

Старикъ Кущинъ вернувшись домой впалъ въ раздумье.

„Паулина—онъ и про себя не называлъ ее племянницей—дѣлаетъ выговоръ Милѣ что та не была хозяйкой, а сама сидитъ весь вечеръ съ какимъ-то агрономомъ, что-ли.... А гдѣ быть хозяйкой? Въ жидовскомъ кагалѣ.... Сестра Марья права: она въ игуменью Павлу.... та тоже въ разговорахъ возносилась, а подъ носомъ ничего не видѣла.... И говорятъ: молодую дѣвицу надо въ общество вывозить.... А гдѣ я его тутъ найду.... Тутъ, говорятъ, всѣ на клубахъ помѣшались—привились Петровскія ассамблеи: не то порядочное собраніе, не то голландская полпивная.... И не мудрено: дома скучно, семьи нѣтъ, соберутся на половину все Айвазовы и толкуютъ все одно и то же.... А тамъ хоть попрыгаютъ, или на театрѣ поиграютъ.... Нѣтъ, не хорошо тутъ!... Точно про Вѣну читаешь“....

Чулковъ, придя домой, точно записывалъ въ памяти слѣдующее:

„Не дурно бы узнать фиктивнаго мужа и сдѣлать надъ нимъ нѣсколько опытовъ.... Мальчишка Погалевъ шустёръ, точно вѣтеръ.... Надо бы, говоря метафорически, посѣчь его.... А то они всѣ на остроуміи помѣшались.... Эко диво! Всякій русскій дворянинъ, коли

не идіотъ, остроуменъ; всякій мужиченко, чуть не болванъ, зубоскалить умѣетъ.... Еще что? Да. Неужто Кононовъ проумозрительничаетъ Людмилу Тимоѳевну?... Дуракъ же будетъ.... А вы, Владиміръ Дмитричъ? Но о себѣ раздуматься—цѣлую ночь не спать, а толку не будетъ.... Ну-тка, Владиміръ Дмитричъ, заснемте.... Охъ, Господи, Господи! прости мя грѣшнаго!"

И Чулковъ перекрестился, повернулся на бокъ и заснулъ....

Милой барышнѣ снился въ эту ночь престранный сонъ. Она видѣла что ей весело, и она болтаетъ, и вдругъ подползаетъ черный тараканъ (а она ихъ страхъ не любила) и лапкой теребитъ лѣвый усъ.

Книга вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Чулковъ (читатель позволитъ мнѣ заняться имъ), проснувшись на другой день, началъ съ того чѣмъ вчера кончилъ: съ думы о самомъ себѣ. Думы эти, впрочемъ, не заключали въ себѣ ничего тревожнаго и печальнаго или способнаго разогнать сонъ, чего онъ такъ боялся наканунѣ. Чулковъ спросилъ себя на долго ли онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и отвѣчалъ: „на неопредѣленное время". Ему однако почему-то казалось что это неопредѣленное время будетъ довольно продолжительно, и что ему даже слѣдуетъ пожить въ Питерѣ. Не вдаваясь въ разборъ „почему именно", онъ занялся вопросомъ: „на что̀ будемъ жить?" Приведя въ извѣстность состояніе финансовъ, онъ убѣдился въ необходимости достать „работишку". Соображая какую именно, онъ нашелъ что самое подходящее отправиться къ нѣкоему знакомому книгопродавцу-издателю, или, какъ онъ выразился, „печатной бумаги продавцу", и достать у него переводовъ. Справившись съ часами (было около полудня) онъ рѣшилъ: сейчасъ де идти самое время,

ибо утренній покупатель сбылъ, а дневной еще не наваливаетъ. Подойдя къ магазину, Чулковъ остановился въ нерѣшительности, точно предстояло войти въ нехорошее мѣсто и за нехорошимъ дѣломъ. Потолкавшись предъ витринами, полюбовавшись на роскошныя иностранныя изданія и таковыя же гравюры, прочитавъ раза по три заглавія выставленныхъ всѣхъ книгъ, изъ коихъ надъ нѣкоторыми были наклеены ярлычки „новость", онъ торопливо вошелъ въ лавку.

На спросъ о книгопродавцѣ, ему отвѣчали что Христофоръ Германовичъ сейчасъ только отправился въ типографію и вообще врядъ ли будетъ сегодня въ магазинѣ, ибо если не сегодня вечеромъ, то завтра утромъ навѣрно на недѣлю уѣзжаетъ изъ Петербурга. Такой отвѣтъ показался Владиміру Дмитричу почему-то подозрительнымъ, и онъ осмотрѣлся нѣтъ ли какого знакомаго прикащика; но всѣ лица были новыя: за три года персоналъ магазина совершенно измѣнился. Чулковъ освѣдомился у кассира съ кѣмъ разговаривалъ, куда ѣдетъ Христофоръ Германовичъ, на что тотъ отвѣчалъ:

— Право, не знаю хорошенько, и закричалъ черезъ магазинъ:—Рамихъ, вы не знаете куда?

Но Рамихъ, не дождавшись конца вопроса, крикнулъ „сейчасъ" и юркнулъ по лѣстницѣ въ верхнее отдѣленіе магазина. Чулковъ убѣдился окончательно что печатипродавецъ никуда не ѣдетъ, и отправился побродить по Невскому. Нагулявъ черезъ полчаса аппетитъ, онъ вошелъ въ небольшой, но сравнительно дорогой, а потому мало посѣщаемый ресторанчикъ.

— А, батюшка, это вы!

То былъ голосъ искомаго Христофора Германовича. Онъ съ самымъ беззаботнымъ и довольнымъ видомъ

сидѣлъ за завтракомъ и привѣтствовалъ Чулкова словно самаго искренняго и задушевнаго друга. Такое привѣтствіе видимо не понравилось сидѣвшему напротивъ Христофора и не принимавшему участія въ завтракѣ мрачному чернявому господину; онъ съ нѣкоторою злобой закусилъ конецъ бороды и поднялся со стула. Христофоръ Германовичъ уловилъ такія движенія мрачнаго незнакомца, и еще любезнѣе и привѣтливѣе обратился къ Чулкову.

— Закусить зашли? а? Садитесь, поболтаемъ, выпьемъ винца!

И Христофоръ, вскочивъ съ мѣста, подалъ Чулкову стулъ, опростанный незнакомцемъ.

— Такъ *такъ*, Христофоръ Германовичъ? спросилъ незнакомецъ.

— Такъ, любезнѣйшій, такъ, съ обязательною улыбкой отвѣчалъ книгопродавецъ.

— То-есть какъ *я* говорилъ?

— Нѣтъ, любезнѣйшій, какъ *я*, еще обязательнѣе объявилъ торговецъ.

Мрачный господинъ стукнулъ шляпой по колѣну, точно желалъ вышибить дно у шляпы, или раздробить колѣнную чашечку.

— Ну, ладно, я вечеркомъ зайду.

— Заходите, почтеннѣйшій, заходите, только попозднѣе, когда магазинъ станемъ запирать: на досугѣ побесѣдуемъ.

Мрачный господинъ сурово глянулъ на книгопродавца, взмахнулъ шляпой, точно желая стукнуть его въ самое *рожество*, но удержался, и нахлобучивъ шляпу, вышелъ, со злости хлопнувъ дверью.

— Ну, батюшка, гдѣ жь это вы? А? Давненько?

столь же любезно затарантилъ Христофоръ, выливая въ свой стаканъ остатки вина, чѣмъ хотѣлъ угостить Чулкова.

Книгопродавецъ былъ человѣкъ необыкновенно живой и подвижный; чистая ртуть попрыгучая. Разсмотрѣть его лицо не было никакой возможности; какъ бы нечаянно, сверху, сбоку или снизу вы на него ни взглянули—вамъ попадались одни глаза; казалось, они были одарены способностью прыгать по всему лицу. Столь же не легко было опредѣлить его національность: онъ весьма удовлетворительно, но съ акцентомъ, изъяснялся на пяти языкахъ. По его восторженному космополитизму, опытный наблюдатель могъ заключить что предки Христофора Германовича не принадлежали къ семьѣ европейскихъ народовъ.

— Да, да, беззаботно трещалъ онъ, такъ вы, батюшка, все больше въ провинціи?

— Да.

— И ничего?

— Какъ видите.

— Конечно тамъ образованности нѣтъ, но есть патріархальность. А у насъ, батюшка, новость: слышали, Слѣпищевъ журналъ затѣваетъ?

— Какъ же, читалъ программу. Какъ думаете: пойдетъ?

— О, чорта пойдетъ въ этой паршивой странѣ! А впрочемъ, кто знаетъ? У журналистовъ домà, а найдите богатаго книгопродавца! Плохо, совсѣмъ плохо, хоть магàзинъ закрывай. А? правду я говорю?

— Вамъ лучше знать.

— Да, да. И съ нимъ въ компаніи какой-то Кононовъ....

— Кононовъ?

Чулковъ сталъ разспрашивать и убѣдился что сей Кононовъ есть никто иной какъ нашъ Петръ Андреичъ.

„Странно, подумалъ Владиміръ Дмитричъ,—онъ мнѣ вчера ничего не говорилъ. Впрочемъ, онъ толковалъ о выборѣ дѣятельности и вѣроятно....“—Я знаю Кононова, сказалъ онъ вслухъ,—онъ мнѣ пріятель.

— Правда: богатый человѣкъ?

Чулковъ отвѣчалъ утвердительно и уловилъ жадный взоръ книгопродавца.

— Тысящъ пятьдесятъ имѣетъ?

— Гораздо больше, производя опытъ надъ книгопродавцемъ, отвѣчалъ Чулковъ, и затѣмъ не удержался произвести новый опытъ и прибавилъ:—Только онъ не въ компаніи.

— Кто жь вамъ то сказалъ?

— Самъ Кононовъ, отвѣчалъ Чулковъ и мысленно побранилъ себя: „Не повредить бы мнѣ пріятелю этими опытами.“

Книгопродавецъ на мигъ отуманился.

„Видно, Слѣпищеву въ долгъ далъ, ну да ты не раскошелишься, и свое не сахаромъ, такъ патокой выберешь“, подумалъ Владиміръ Дмитричъ, и вслухъ:—А что̀?

— А, ничего, быстро отвѣтилъ книгопродавецъ и снова затарантилъ:—Да, да. Я самъ думаю журналецъ завести.

— Въ какомъ родѣ?

— Безъ брани и паршивости здѣшней. Во Франціи у всякаго книгопродавца есть homme de lettres, который ему проспекты пишетъ и газета гдѣ ихъ помѣщаютъ.

Но много разъ здѣсь пробовалъ и не умѣютъ. Найдешь, и помѣститъ двѣ-три статейки, а потомъ цѣну заломитъ: не дашь, и выругаетъ. Вотъ сейчасъ сидѣлъ: ругался, а теперь прибѣжалъ: сочиненьишко проситъ издать. Паршивецъ!

— Что̀ жь, издаете?

— Въ убытокъ, и дорого далъ, но нельзя жь: ругатель.

— Рублей десять съ листа? спросилъ Чулковъ, припомнивъ жесты мрачнаго незнакомца.

— Какъ же то можно! засмѣялся книгопродавецъ, но не извѣстно: слишкомъ высока или слишкомъ мала показалась ему цѣна назначенная Чулковымъ.—Да, и журналъ. И нѣтъ людей, некого въ редакторы взять....

Христофоръ пристально взглянулъ на собесѣдника. „Не на меня ли мѣтишь?“ подумалъ Чулковъ.

— Да, знаете, чтобъ честно и благородно....

„То-есть, хвалили твои изданія“, подумалъ Чулковъ, и вслухъ:—Неужели людей нѣтъ?

— И нѣтъ же. А цѣну далъ бы большую: молодому человѣку прилично можно бы жить.

И Христофоръ опять поглядѣлъ на нашего пріятеля.

— А именно?

— Пятьдесятъ и даже семьдесятъ.... Христофоръ чуть не прибавилъ „пять“, но вовремя спохватился.

„Дешево же цѣнишь людей, а покупать ихъ собираешься“, подумалъ Чулковъ.

Христофоръ опять вызывающимъ образомъ посмотрѣлъ на Чулкова, но видя что тотъ не соблазняется, перемѣнилъ разговоръ.

— Что̀ жь, завтракъ кончили? Не пройдете ли ко мнѣ въ магазинъ? Можетъ, работку возьмете?

— Если подходящая....

Они отправились. Подходя, Христофоръ обогналъ на нѣсколько шаговъ Чулкова и не то орломъ влетѣлъ, не то ужомъ скользнулъ въ двери. Онъ на мигъ остановился и осмотрѣлъ все съ потолка до полу, съ генерала-покупателя до послѣдняго мальчика.

— Былъ? спросилъ онъ мимоходомъ у кассира.

— Былъ, отвѣчалъ онъ.

— И сказалъ какъ я велѣлъ:—не раньше недѣли вернусь?

Кассиръ кивнулъ головой.

— А больше никто не былъ?

— А вотъ они еще спрашивали, указалъ кассиръ на входящаго Чулкова.

Христофоръ Германовичъ, точно получивъ пріятное извѣстіе, лукаво усмѣхнулся лѣвою половиной рта, еще кой съ кѣмъ побесѣдовалъ, и украдкой взглянувъ на Чулкова, какъ бы желая узнать терпѣливо ли онъ дожидается и убѣдясь что терпѣливо, снова улыбнулся и какъ бы не замѣчая нашего пріятеля, даже слегка задѣвъ его плечомъ, подлетѣлъ къ двумъ дамамъ. Чулковъ беззаботно наблюдалъ все происходившее вокругъ; присоединимся и мы къ нему. Дѣло поучительное.

— Что̀ жь вамъ, сударыни, угодно?

— А вотъ по записочкѣ.

Христофоръ взглянулъ.

— Этого изданія нѣтъ, все распродано. Но не угодно ли мое, въ томъ же родѣ, но лучше, и всѣми журналами одобрено.

Христофоръ вралъ: спрашиваемое изданіе было далеко не распродано.

— Какъ же? сказала растерявшаяся дама съ записочкой, обращаясь къ другой.

„И чего они всѣ боятся! и чего теряются!“ подумалъ Чулковъ.

— Надо по записочкѣ, нерѣшительно подсказала другая дама.

— Да, намъ по записочкѣ....

— Какъ угодно, но будете жалѣть, отрапортовалъ Христофоръ и шмыгнулъ отъ дамъ.

Дамы еще довольно долго постояли, пошептались и наконецъ ушли. Очевидно: наступи на нихъ посильнѣе Христофоръ, онѣ купили бы его изданіе, но продавецъ печатной бумаги завидѣлъ добычу получше. Онъ подлетѣлъ къ покупателю готовившемуся расплатиться за шесть отложенныхъ томовъ.

— Ступай, приказалъ онъ мальчику и обратился съ обязательнѣйшею улыбкой къ покупателю: — Позвольте-съ, я скорѣе сочту. Что̀ изволили пріобрѣсти?

— Да вотъ для деревни, отвѣчалъ простодушный покупатель.

— Въ деревнѣ изволите жить? Лѣтомъ сельская жизнь, конечно, какъ сказалъ нашъ великій Грибоѣдовъ. Позвольте посмотрѣть что̀ изволили взять.—И просмотрѣвши книги:—А, серіозное чтеніе, серіозное чтеніе! Вы любитель серіознаго чтенія?

— Да, скромно отвѣчалъ польщенный любитель серіознаго, самъ не знавшій зачѣмъ купилъ тѣ, а не другія книги.

— Это рѣдкость, особенно въ провинціи.—Да, мы лучше другихъ знаемъ состояніе образованности. Но позвольте: въ такомъ случаѣ вамъ надо взять мое из-

даніе, въ томъ же родѣ, и всѣ либеральные журналы могу сказать одобрили.

При словѣ „либеральные“, Христофоръ Германовичъ подмигнулъ покупателю: „мы де съ вами въ этомъ толкъ знаемъ“ и обернувшись досталъ съ нижней полки томовъ десять.

Покупатель съ благоговѣніемъ сталъ разсматривать „либеральныя“ изданія и съ такимъ выраженіемъ: „тутъ-то, должно, все открыто“. Книгопродавецъ между тѣмъ объяснялъ достоинство каждаго изданія. Хотя онъ ничего не говорилъ кромѣ словъ „интересное“, „замѣчательное“, „превосходное“, но произносилъ эти слова столь убѣдительно и притомъ такимъ довѣрчивымъ тономъ „мы де съ вами понимаемъ“, что любитель серіознаго чтенія, совѣстясь какъ это онъ доселѣ не зналъ, даже не слыхалъ заглавій оныхъ замѣчательныхъ сочиненій и въ то же время польщенный тономъ ловкаго издателя, отложилъ для себя два заглавія.

— А это не возьмете?

— Нѣтъ, не рѣшительно отвѣчалъ покупатель.

— Весьма жаль.... Дѣтокъ имѣете?

— Нѣтъ.

— Весьма жаль.... Дѣти есть тоже въ деревнѣ рай. И у меня громадный выборъ дѣтскихъ книгъ для всѣхъ возрастовъ, отъ двухъ до семнадцати лѣтъ: смѣло можете рекомендовать знакомымъ. Да, не безъ вздоха добавилъ книгопродавецъ-издатель, — не мы, кто жъ позаботился бы о подростающемъ поколѣніи.... Дѣти.... да, они наши подростающія.... именно подростающія силы, какъ совершенно вѣрно сказалъ одинъ нѣмецкій педагогъ.

„Какой однако образованный человѣкъ этотъ книгопродавецъ“, подумалъ любитель серіознаго чтенія, сокрушаясь о неимѣніи дѣтей.

Образованный человѣкъ между тѣмъ вдругъ перемѣнилъ тонъ.

— А это изданьице не возьмете?

— Покуда нѣтъ.

— Напрасно: книга идетъ весьма шибко и продаемъ послѣдніе экземпляры. А второе изданіе? Да.... Но притомъ цензура.

Любитель серіознаго чтенія поспѣшилъ купить изданіе, которое, въ скобкахъ, шло весьма плохо.

— Прикажете счесть?

— Да, пожалуста.

— А! вы и легкимъ чтеніемъ не пренебрегаете? сказалъ Христофоръ разсматривая купленныя книги.

— Да, знаете для смѣху.... совѣстливо началъ покупатель.

— А! похвально. Но въ такомъ случаѣ вамъ надо взять въ томъ же родѣ и совершенно новомъ вкусѣ.— И Христофоръ уже не показывая отложилъ для любителя смѣха два или три изданія.—Итого семьдесятъ два рубля сорокъ копѣекъ.

— Семь....

— Такъ точно, семьдесятъ два и сорокъ, но сорокъ копѣечекъ уступаю.... А супругу жь имѣете? — И по утвердительномъ отвѣтѣ закричавъ мальчику: „Прохоровъ, завяжи для господина“, Христофоръ умчался въ другое отдѣленіе.

Едва успѣлъ смущенный любитель серіознаго и легкаго чтенія вынуть радужную для расплаты какъ торговецъ явился съ кипой кипсековъ....

— Извольте.... Для супруги жь подарокъ изящный и всегда въ гостиной.... И не дорого.... Напримѣръ вотъ этотъ.... Позвольте....

Взглянувъ на свою замѣтку, онъ быстро перевелъ талеры на рубли и по торопливости вмѣсто 25 рублей сказалъ 37.

— Нѣтъ.... ужь я.... получите, оборвалъ вдругъ покупатель.

— Позвольте, съ любезнѣйшею улыбкой и обязательно принимая деньги сказалъ Христофоръ.—И вотъ сдачка-съ.

— Но вы бы уступку.... Это въ обычаѣ.

— Я уже сдѣлалъ и не могу, честью увѣряю не могу.... И притомъ еслибы мои изданія, но мы сами сорокъ и больше процентовъ. И притомъ журналисты вредятъ. Вы знаете, все ругаютъ. И авторскій гонораръ.... Они Крезами живутъ, а мы.... За труды надо же.... и вы не повѣрите!

Покупатель смутно соображалъ что за пять минутъ слышалъ совсѣмъ иныя рѣчи.

— А супругѣ жь?

Но при имени супруги, покупатель сталъ усиленно прощаться. Христофоръ Германовичъ съ любезнѣйшими рѣчами самъ вынесъ „пакетецъ", благодаря и восхваляя любителя серіознаго и легкаго чтенія.

Чулковъ съ затаеннымъ смѣхомъ любовался на сцену купли-продажи.

„Такъ тебѣ дураку и надо, проводилъ онъ мысленно любителя чтенія, — будь хоть на столько человѣкомъ, чтобы знать что̀ тебѣ нужно и чего не надо покупать. „А супругу жь имѣете?" припомнилось ему Христофорово причитаніе. И Чулкову стало рисоваться какъ

явится благовѣрный домой и разъяренная благовѣрная со злостью швырнетъ пакетецъ и скажетъ: „Хоть бы читалъ дуракъ, а то....“ Но на этомъ мѣстѣ мечты были прерваны. Христофоръ Германовичъ коснулся его локтя и сказалъ: „Пойдемте“. Они пошли было въ комнатку за магазиномъ, но имъ заступила дорогу чуйка.

— Къ вашей, Христофоръ Германовичъ, милости.

— Сказано: по вечерамъ, гнѣвно отвѣчала его милость.

— Сказывали, ѣхать сегодня изволите....

— Да, ѣду конечно....

— Сдѣлайте божескую милость: безъ копѣйки сижу.

— Да, безъ копѣйки! А *Исторію Проституціи* какъ сброшюровалъ? Тутъ дама паршивая цѣлый бунтъ, а въ магазинѣ пропасть народу.... Двухъ листовъ не хватало.

— *Прослетучею* не я-съ, ей-Богу не я-съ.

— А кто жь?

— Должно Ѳерапонтовъ.... А я *Костетучею*.... А вы ему еще дороже платите.

— Ну, сколько жь тамъ?

— По книжкѣ....—И чуйка вытащила изъ голенища засаленную книжку.

— То сколько жь? морщась на книжку спросилъ образованный книгопродавецъ.

— Пятьдесятъ семь рублей, ей-Богу жь пятьдесятъ семь.

— Ну жь, въ послѣдній разъ.... Зайковскій,—крикнулъ Христофоръ черезъ весь магазинъ кассиру,—выдайте ему сполна что̀ слѣдуетъ.... То сколько жь? еще разъ спросилъ онъ чуйку.

— Пятьдесятъ семь.

— Семнадцать рублей, громогласно приказалъ хозяинъ кассиру.

Чулковъ, проходя за книгопродавцемъ, слышалъ какъ чуйка ударила руками о полы и со вздохомъ прошептала:

— Господи мой Боже, что̀ жь я теперь буду дѣлать!

Но судьбѣ видно вздумалось сегодня обучать терпѣнію не одну чуйку, и Чулкова. Не успѣлъ Христофоръ взяться за ручку дверей въ комнату какъ наружная дверь въ магазинъ отворилась съ громомъ и дребезгомъ: едва стекло не вылетѣло. Книгопродавецъ бросился на встрѣчу шумливому посѣтителю.

— Что̀ жь угодно? спросилъ онъ вѣжливо не пуская шумливаго на середину магазина.

— Вышла наконецъ послѣдняя часть?

И шумливый съ дерзкимъ жестомъ сунулъ чуть не въ лицо Христофору билетъ.

— Нѣтъ-съ еще, успокоительно отвѣчалъ торговецъ.

— Когда же? выставляя зубы озлобленно спросилъ подпищикъ.

— Неизвѣстно, потому....

Но подпищикъ былъ не расположенъ слушать резоны.

— Это чортъ знаетъ что̀ такое! Это надувательство! Я напечатаю въ газетахъ! Въ образованныхъ странахъ такъ не дѣлается! Я васъ!... Это мошенничество!

— То-жь мы выдаемъ переводъ, а оригиналу не вышло, видимо сдерживая себя, доложилъ торговецъ.

— А *мнѣ* какое дѣло! Я *свои* деньги заплатилъ.

— Когда жь авторъ заболѣлъ!

— А *мнѣ* какое дѣло! Повторяю, это мошенничество! И я!...

— Прохоровъ, сбѣгай за городовымъ!

Посылка за городовымъ видно показалась шумливому господину ссылкой болѣе убѣдительною чѣмъ авторская болѣзнь.

— Вы думаете что наша публика глупа и давно не выбила у васъ всѣхъ стеколъ, такъ и я.... Нѣтъ, это мошенничество!

Проговоривъ эту рѣчь необычайно быстро, буянъ еще быстрѣе скользнулъ изъ магазина, не забывъ однако хлопнуть изо всѣхъ силъ дверью.

— Видѣли? сказалъ Христофоръ Чулкову, входя весь блѣдный въ замагазинную комнатку. — А, то-жь народъ; только въ морду и понимаетъ. Паршивецъ на паршивцѣ! А за границей—то-то-жь смирные: Нѣмца боятся.

И Христофоръ Германовичъ задребежжалъ злостнымъ смѣхомъ. Чулковъ сидѣлъ, опустя голову.

— Ахъ да, вамъ что̀ же? съ неудовольствіемъ заговорилъ книгопродавецъ. — Ей Богу, времени такъ мало....

— Да вы-же сами пригласили меня, возвысивъ голосъ отвѣчалъ Чулковъ.

— Ахъ да! работки желаете? — Книгопродавцева злоба, видимо, утихала. — Вотъ, батюшка, уѣхали и хоть бы адресъ оставить. Вѣдь и въ провинціи могли работать, или времени нѣтъ, занятій масса?

— Нѣтъ, время выпадало и свободное....

— То-то-жь! И вотъ, ей-Богу, на прошлой недѣлѣ васъ вспоминалъ. Была работка, тысящи на полторы,

и вы всегда аккуратно и прекрасно.... Но отдалъ, вчера отдалъ, и паршивцу отдалъ.... Да, такъ вамъ работки? И какъ на грѣхъ ничего нѣтъ! А я васъ люблю, ей Богу-жь, и всегда готовъ.... Молодой человѣкъ, и со свѣдѣніями и.... — Христофоръ чуть было не сказалъ „и не паршивецъ", но вовремя вспомнилъ что его любимое словцо въ похвалѣ было бы не кстати.— И.... и вполнѣ порядочный.... Да, такъ работки? Не хотѣлъ издавать, но для васъ.... Прохоровъ! крикнулъ онъ въ форточку.

Явился мальчикъ.

— Видѣлъ же какъ я продавалъ?...

— Видѣлъ-съ, отвѣчалъ мальчишка, лукаво взмахнувъ бойкими глазенками.

— Учись же, а то продалъ на пятнадцать цалковыхъ и радъ! Ну, ступай, и спроси у Рамиха десять книжечекъ, малыхъ, что̀ я вчера отложилъ на верху. Онъ знаетъ. На третьей полкѣ, литера Б. Понялъ? Повтори.

— У Рамиха десять книжекъ, на третьей полкѣ, литера Б, отбарабанилъ мальчишка.

— Ну, живо же, маршъ!

Мальчикъ улетучился.

— Давайте жь серіозно разговаривать. Мы, можетъ, еще сойдемся.

Христофоръ на минуту умолкъ, точно соображая дальнѣйшую рѣчь, потомъ кашлянулъ и началъ тономъ, если не откровеннымъ, то довѣрительнымъ. Въ тонѣ слышалось еще что-то; я назвалъ бы это задушевностью еслибы Христофоръ, посвящая Чулкова въ свои тайны и излагая ему свои завѣтныя думы, въ то же время не соображалъ: пойдетъ ли Владиміръ Дмитріе-

вичъ на удочку, и если пойдетъ, то до какой степени можно его эксплуатировать.

— А то, батюшка, вы меня давно знаете и хвалить себя я не намѣренъ, повѣствовалъ честный книгопродавецъ. — И скажу вамъ только: тружусь я двѣнадцать али болѣ лѣтъ, и вы знаете какъ тружусь. Вотъ и сейчасъ съ вами бесѣдую, а за магазиномъ слѣжу и все что̀ тамъ дѣлается вижу.

Тутъ Христофоръ вскочилъ со стула, поглядѣлъ черезъ форточку въ магазинъ, крикнулъ на мальчишку чтобы не сопѣлъ, приказалъ прикащику отправить завтра книги въ Екатеринбургъ и спросилъ кассира вернулся ли артельщикъ съ почты. Послѣ такихъ блестящихъ доказательствъ неустаннаго труда, хозяинъ приступилъ къ дальнѣйшему повѣствованію.

— Да, батюшка, тружусь, и хотя не могу сказать что бѣдствую, однако и настоящихъ наградъ за трудъ не вижу и цѣли своей не достигъ. А сколько-жь брани и пакости вытерпѣлъ, то лучше не вспоминать!

Послѣ сего краткаго, но яснаго изложенія прошлаго и настоящаго положенія дѣлъ, Христофоръ, какъ человѣкъ просвѣщенный, обратилъ вниманіе не на сущность дѣла, а на вредныя и полезныя вліянія. Вредъ ему наносили, по его мнѣнію, сотоварищи по торговлѣ и журналисты. Чтобъ умалить сей вредъ надлежало уничтожить соторговцевъ, а уничтожить ихъ можно только при помощи журналистовъ. Но заручиться журналистами, по нѣкоторымъ причинамъ, дѣло весьма трудное.

— А не скажу жь чтобы всѣ они дураки были, излагалъ Христофоръ, — есть и понимающіе. И кто понимаетъ, беретъ, но положиться невозможно. И всѣ жа-

луются. И вчера еще видѣлъ одного господина: почтенный человѣкъ и домъ собственный имѣетъ, и въ дѣлахъ толкъ знаетъ. И вотъ разказывалъ: затѣвалось общество одно, на акціяхъ. И двѣ газетишки паршивыя ругаться сейчасъ стали, предпріятіе жь новое, публикѣ незнакомое. Ну, побоялись что подпискѣ повредятъ и, дѣлать нечего, обѣдъ устроили. И редакторамъ подъ куверты въ пакетикахъ по тысящѣ рублей положили. Тѣ народъ ловкій, смекнули и пакетики такъ-то прекрасно въ карманъ что кто слѣдилъ за ними, и тѣ не замѣтили когда спрятали. И предъ подпиской статьи напечатали отличныя, лучше требовать нельзя. И подписка жь удалась. Но что̀ дальше? недѣля, другая прошла, одинъ изъ редакторовъ опять заругался. Но будь журналисты умнѣе, клянусь вамъ, всѣхъ бы книгопродавцевъ убилъ. И мнѣ лучше бы было, да и литературѣ русской хорошо было бы. Вотъ, ей-Богу жь, деньги *порядочныя* платилъ бы. А то жь, батюшка, взялись бы, и дѣло полезное. Я говорилъ за редакторство 40 цалковыхъ, такъ ли? Такъ больше жь дамъ, до пятидесяти рублей не пожалѣю.

Чулковъ, вспомнивъ давешнюю цѣну, рѣшилъ что черезъ недѣлю Христофоръ и двадцати-пяти рублей за редакторство не пожалѣетъ. Чувство гадливости стало овладѣвать имъ, и онъ боялся: не пустился бы Христофоръ въ дальнѣйшія нѣжности. По счастію мальчикъ принесъ книги.

— Ну вотъ, батюшка, книжки, смотрите и рѣшайтесь скорѣе, сказалъ Христофоръ подавая томики Чулкову.

Христофоръ говоря это точно другимъ человѣкомъ сталъ; тонъ его изъ конфиденціальнаго сдѣлался дѣловымъ, даже нѣсколько рѣзокъ сталъ.

— Ну, почемъ возьмете?

— Цѣна извѣстная. Съ листа....

— Терпѣть не могу съ листа платить; берите круглую цифру съ тома. Изданіе жь вамъ извѣстное, три года назадъ такія жь книжки переводили.... Почемъ за томикъ брали?

— Сто двадцать приходилось.

— Ну, берите круглымъ счетомъ по сту.

— Помилосердуйте, Христофоръ Григорьевичъ: тамъ шрифтъ былъ другой, этотъ мельче и сжатѣе.

— А что жь шрифтъ? Шрифтъ пустяки. А если мельче, то и мнѣ за наборъ дороже платить придется.

— И въ тѣхъ книжкахъ было по десяти, много по двѣнадцати, а здѣсь....

Христофоръ не далъ Чулкову счесть сколько листовъ въ книжкѣ, и пробормотавъ: „рѣшайтесь, а то право жь некогда", выбѣжалъ въ магазинъ.

Чулковъ принялся высчитывать среднее число листовъ въ томѣ. Въ шести книжкахъ ихъ оказалось около ста; стало, за листъ приходилось около шести вмѣсто прежнихъ десяти, не говоря уже о величинѣ листа. Чулковъ вздохнулъ.

— Что жь, согласны? спросилъ вихремъ влетѣвшій книгопродавецъ.

— Дешево очень, по шести съ листа....

— А цѣны жь Богъ строитъ, сами знаете. И по-моему еще дорого, я за пять и за четыре сдамъ....

— Вѣрю, только переведутъ скверно....

— А то все равно. Хорошихъ переводовъ не цѣнятъ. Газеты паршивыя все равно разругаютъ, а публика паршивая, кромѣ заглавія, ничего не пойметъ. Я знаю, вы человѣкъ знающій и образованный, и я

лично готовъ для васъ, но противъ рожна, или какъ это говорится.... Что̀ жь согласны? берете? И съ Богомъ. А то, честью клянусь, некогда: и въ типографію, и въ цензуры, и въ двадцать мѣстъ еще поспѣть надо....

— Э, чортъ, давайте ужь! отвѣчалъ Чулковъ.

Сдѣлка была заключена.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Вернувшись домой, Чулковъ на второй лѣстничной площадкѣ столкнулся со сходившими внизъ Рудометкинымъ и Кущинымъ. Мимоходомъ сказать, Владиміръ Дмитричъ поселился на квартирѣ у Рудометкина, своего стариннаго пріятеля; сей же Рудометкинъ, имѣющій играть довольно видную роль въ дальнѣйшемъ ходѣ нашей *Исторіи*, обучалъ Людмилу Тимоѳевну русской исторіи.

— Наконецъ-то! привѣтствовалъ его Мина Иванычъ.—А я тебя съ часъ ждалъ. Спасибо твоему товарищу: не побрезговалъ старикомъ.

— Аль дѣло какое, дѣдушка?

— Нѣтъ; просто покозировать захотѣлось. Пойдемъ-ка.

И простившись съ Рудометкинымъ, Чулковъ съ Кущинымъ поднялись въ четвертый этажъ. Мина Ивановичъ тотчасъ же принялся „козировать“ самымъ добросовѣстнымъ образомъ и съ полчаса проговорилъ о всякой всячинѣ; Чулковъ, несмотря на такой маневръ,

догадался что старикъ въ волненіи и только не хочетъ прямо объясниться.

— Да, сказалъ наконецъ Кущинъ, словно мимоходомъ,—я и забылъ сказать: былъ у меня сегодня этотъ твой Гумазовъ.

— Господинъ Хамазовъ? переспросилъ Владиміръ Дмитричъ, недоумѣвая какое дѣло могъ имѣть поклонникъ Наполеона III къ русскому помѣщику занимающемуся археологіей.—Зачѣмъ?

— То-то зачѣмъ? Я и самъ не знаю. Говорилъ-то онъ много, и не то извинялся, не то мораль мнѣ читалъ. А потомъ сталъ въ благорасположеніи своемъ увѣрять. Я, знаешь, нѣсколько суховато его принялъ. А онъ все: благорасположеніе да благорасположеніе. Очень я въ Гумазовскомъ благорасположеніи нуждаюсь!

— Слушайте же разгадку. Сдается, будто не совру. У васъ двѣ племяницы невѣсты и невѣсты не бѣдныя....

Старикъ перебилъ его.

— Неужто? закричалъ онъ и вдругъ покатился со смѣху.—Ну, такой бизарріи я и не чаялъ! Павла Тимоѳеевна Гумазова.... ха, ха, ха!

— Не Павлой Тимоѳеевной тутъ пахнетъ, серіозно сказалъ Чулковъ.

— Что̀?

Мина Иванычъ вдругъ пересталъ смѣяться и сердито, почти злобно поглядѣлъ на Чулкова, ровно тотъ сказалъ нѣчто въ высшей степени непозволительное.

— Неужто вы вчера не замѣтили?

— Чего? съ боязнью прошепталъ Кущинъ.

— Какъ онъ былъ внимателенъ къ Людмилѣ Тимо-

ѳевнѣ, какъ трепетно завелъ рѣчь объ юношествѣ, и какъ мило намекнулъ на свою серіозность, словно приглашая и ее....

— Ахъ онъ Арнаутъ этакой! Да какъ онъ смѣетъ думать о Людмилѣ?

— Почему же не смѣть? На чужой ротъ, не то на чужую думку, платка не накинешь. И не пойму я вашего гнѣва.

— И не поймешь, серіозно замѣтилъ Кущинъ,—не поймешь, оттого что молодъ еще, не можешь къ другимъ имѣть такихъ отеческихъ чувствъ. А вотъ возьми ребенка, вырости его, облюбуй, а потомъ посмотримъ: станешь ли горячиться когда Арнаутъ на него свои рачьи глазища пялить станетъ.

— Я понялъ бы, еслибы Людмила Тимоѳевна сама....

— Что̀?

У старика глаза даже сверконули.

— Ну, еслибъ она раньше похвалила или даже просто благосклонно отозвалась о господинѣ....

— Похвалила? Моя Людмила похвалила? Да ты съ ума сошелъ!

И Мина Иванычъ съ рѣзкимъ (на театрѣ оно показалось бы неестественнымъ) движеніемъ сложилъ руки на груди и уставился на собесѣдника.

— Эхъ, дѣдушка, со вздохомъ отозвался Чулковъ,

Сердце женское задача
Нерѣшенная умомъ,

а дѣвичье сердце и подавно.

— Что̀ ты этимъ хочешь сказать? Что̀ Людмила?...

— Не лично о Людмилѣ Тимоѳеевнѣ говорю я. Можетъ, съ ней этого не случится. Но я столько примѣ-

ровъ видывалъ, да еще вѣроятно больше увижу.... Не дай Богъ только въ настоящемъ случаѣ....

— Ты загадками говоришь. Какихъ примѣровъ?

— Да вотъ возьмемъ въ примѣръ дѣвицу хорошую, и умную, и красавицу, вотъ хоть бы Настасью Гавриловну....

Старикъ поднялъ голову при этомъ имени. Благосклонный читатель припомнитъ кузину Настю, о которой милая барышня вспомнила нѣсколько дней тому назадъ при нежданномъ визитѣ Кононова и о комъ самъ Кононовъ мечталъ подъ шумящій дождь.

— Ну? сказалъ Мина Иванычъ.

— Ну, отвѣтилъ Чулковъ,—ну скажите ради Бога, у нея ли не было жениховъ хорошихъ? И отчего она вышла за своего мужа?

— Ты его мало знаешь, онъ человѣкъ достойный, серіозно отвѣтилъ Мина Иванычъ.

— Достойный, достойный! Другіе-то не достойные что ли были?... горячо сказалъ Чулковъ.—Скажите сами: по ея характеру, по ея поэтичности, по всему ея складу, развѣ такой мужъ былъ ей надобенъ?

— А я и не зналъ что ты по Настѣ страдалъ.

Чулковъ разсмѣялся.

— Нѣтъ, дѣдушка, не отгадали, сказалъ онъ.—Я изъ-за себя горячиться не сталъ бы, а еслибы горячился, то ни вы и никто бы не замѣтилъ. Я про себя погорячился бы. А вотъ бѣдняга Кононовъ... И вѣдь знала, знала, лукавая, что онъ въ ней жизни не чаетъ! — Чулковъ помолчалъ. — Такъ вотъ, дѣдушка, каковы случаи бываютъ. И чаще поэтичная дѣвушка, чурбана въ мужья изберетъ, чѣмъ что̀ подходящее. А по сему—и это, конечно, свидѣтельствуетъ о моемъ

восхищеніи, если не благоговѣніи передъ ней,—а по сему опасаюсь я и за Людмилу Тимоѳевну. Глядите, выберетъ себѣ въ мужья тоже какого-нибудь....

— И не смѣй мнѣ говорить объ этомъ! крикнулъ старикъ.

— И не буду. Только отвѣтьте мнѣ: отчего лучшія дѣвушки словно нарочно ищутъ себѣ самыхъ плохихъ мужьевъ?

— Что̀ жь мнѣ тебѣ отвѣтить? Избитую фразу что бракъ лотерея?

— Нѣтъ, лотереей онъ бываетъ гдѣ сваха главное лицо, а гдѣ сама невѣста выбираетъ безо всякихъ понуканій, тутъ не лотерея. Въ старину вонъ ихъ сило̀мъ женихи брали. „Побори, говорила богатырша, и въ тѣ поры замужъ за тебя пойду". А нынче бы словно наоборотъ. „Потому, говоритъ богатырша, я за тебя за мужъ иду что всегда тебя побороть могу". Что̀ лучше? Поди, рѣши!

Уходя Мина Иванычъ, будто безо всякой задней мысли, спросилъ Чулкова:

— Ты, кажется, упомянулъ что Кононовъ былъ влюбленъ въ Настю? Что̀ жь онъ и до сихъ поръ страдаетъ? Вѣдь, кажется, года два какъ она замужемъ? Пора бы и забыть.

— Конечно пора бы. Горячка проходитъ, отчего бы любви не пройти? Впрочемъ, нынче доктора возвратную горячку открыли: чего добраго, и возвратная любовь, amor recurrens, проявится.

— Ты безъ шутки не можешь, а....

— Что жь вы замолчали?

Кущинъ подумалъ сперва: говорить ли? и потомъ сказалъ:

— Любопытно бы знать какъ теперь Кононовъ....

— Для васъ любопытно или еще для кого-нибудь?

— Для меня, твердо отвѣчалъ старикъ, и на движеніе Чулкова прибавилъ:—Ты думалъ догадливость показать, только ошибаешься, честное слово ошибаешься... *Она* ни слова не говорила.

— Но вы надѣетесь что скажетъ?.. Впрочемъ, нечего любопытничать... А на счетъ Кононова постараюсь разузнать. Только помните, дѣдушка, дѣло щекотливое, надо выждать время.

— Мнѣ не къ спѣху, смѣясь отвѣтилъ старикъ.

II.

Въ разговорѣ Мины Иваныча съ Чулковымъ къ имени Людмилы Тимоѳеевны примѣшалось имя господина Хамазова. Припомнимъ какъ поморщилась, и что̀ подумала милая барышня при входѣ акцизнаго Наполеона въ столовую. Такимъ образомъ господинъ Хамазовъ втирается въ романъ. Есть люди которыхъ добромъ никуда не пустили бы, а всюду они вотрутся.

Іоанникій Іосифовичъ былъ что̀ у насъ называютъ человѣкъ развито̀й, а что̀ именно разумѣютъ у насъ подъ симъ названіемъ, далъ Богъ никому не извѣстно. Какъ я ни прислушивался, какъ ни добивался точнаго смысла этого словечка, ничего не узналъ. Бухнетъ барышня: „молъ я консервативныхъ журналовъ не читаю“, и хотя бы вся ея мудрость сими словами ограничилась, барышня слыветъ развито̀ю. Гимназистъ бойко обо всемъ разсуждаетъ, и о томъ, главное, что его вовсе не тому учатъ чему слѣдуетъ, и гимназистъ

попадаетъ въ развитые. На дняхъ одна дама рекомендовала мнѣ доктора: „отличный, говоритъ, докторъ и главное идеи у него новыя эти, хорошія, словомъ развитòй человѣкъ.“ И безъ развитòго ни на шагъ. Ужь не относится ли развитòй къ развитому, также какъ чуднòй къ чудному, и не въ этомъ ли разгадка?

Но какъ ни трудно добраться до истиннаго смысла моднаго словечка, тѣмъ не менѣе господинъ Хамазовъ былъ человѣкъ развитòй. Въ юности Ниша, или Аникашка, смотря по расположенію родителей, Іоанникій, подобно многимъ великимъ людямъ, никакихъ задатковъ геніальности не обнаруживалъ. Былъ онъ мальчишка злой и хитрый, на ученье туговатый, изъ тѣхъ что зовутся зубрилками и долбешками. Можетъ, онъ и навсегда такимъ остался бы, не явись въ Трухлятинскую губернскую гимназію, куда ради чиновъ былъ помѣщенъ Аникашка, въ качествѣ учителя россійской словесности, кандидатъ Московскаго университета Иванъ Николаичъ Кисловскій (тогда еще не было моды въ фамиліяхъ на *скій* дѣлать польское удареніе на предпослѣднемъ слогѣ).

Иванъ Николаичъ обладалъ нѣжнымъ и сладкимъ голосомъ, голубыми закатистыми глазами, привычкой скрещивать на груди руки и душой мечтательной. Какъ большинство учителей россійской словесности (не въ обиду будь сказано), Иванъ Николаичъ былъ болтунъ изрядный и слова о будущемъ счастіи человѣчества, о послѣднихъ, именно и даже исключительно о послѣднихъ, результатахъ науки не сходили у него съ устъ. Россійскую словесность, по собственному выраженію, онъ преподавалъ „свободно“. Сія свобода состояла въ рабскомъ преклоненіи предъ „послѣднимъ словомъ“

критики, то-есть предъ послѣднею quasi-критическою статьей, quasi-либеральнаго журнала, будь она написана недоучившимся путейскимъ кондукторомъ или отставнымъ лѣсничимъ. Прочитаное онъ выбалтывалъ на урокахъ. Кромѣ такого свободнаго преподаванія, Иванъ Кисловскій всемѣрно заботился о развитіи своихъ учениковъ. Развитіе состояло во внѣдреніе въ нихъ идей благихъ и въ отвращеніи ихъ отъ зла. Внѣдреніе въ томъ заключалось что когда приходилось толковать, напримѣръ, объ идилліи господинъ Кисловскій заводилъ рѣчь о времени когда соціализмъ и коммунизмъ войдутъ въ жизнь, и люди при семъ удобномъ случаѣ превратятся въ агнцевъ непорочныхъ. Отвращеніе состояло въ томъ что при разборѣ, напримѣръ, *Мертвыхъ Душъ*, Иванъ Николаичъ изображалъ Россію царствомъ лжи, взяточничества и мерзости, при чемъ довольно прозрачно намекалъ на подлость директора и глупость губернатора. Несчастный болтунъ и не подозрѣвалъ что возбуждаетъ въ юныхъ серцахъ безпредметную и безотрадную злобу, а въ юныхъ умахъ зудливую раздражительность.

Есть сѣмена любящія почву безплодную и сухую. Къ такимъ сѣменамъ принадлежали сѣмена посѣваемыя почтеннымъ учителемъ; къ такимъ почвамъ принадлежала голова Аники Хамазава. Скоро ученикъ развился окончательно. Однажды просматривая ученическія сочиненія, господинъ Кисловскій не безъ горечи убѣдился что правила правописанія неизвѣстны его любимцу; онъ осторожно и дружески, не въ классѣ даже, а у себя на дому, попенялъ за это Аникѣ.

— Чего вы безпокоитесь? бухнулъ Аника.—Неужто вы не понимаете что такой развитой какъ я че-

ловѣкъ, если бы только захотѣлъ, легко бы выучилъ эти глупыя правила?

Развитіе между тѣмъ шло своимъ чередомъ. Аника при помощи наставника, минуя подводные камни россійской грамматики, прямо во слѣдъ за Искандеромъ махнулъ на *Тотъ Берегъ*. Можете вообразить что за каша образовалась у него въ головѣ. Разорвите нѣсколько книгъ въ лоскутки, потомъ сложите обрывки какъ попало и прочтите: что̀ молъ выйдетъ? Выйдетъ ровно то что̀ вмѣщалось въ головѣ господина Хамазова. Прибавьте къ этому безпредметную озлобленность.

Господинъ Хамазовъ злобился на весь міръ. Когда у него умеръ отецъ (чиновникъ выбившійся изъ грязи), Аника, узнавъ что послѣ покойника, жившаго хорошо и присылавшаго ему достаточныя деньги, ничего не осталось, излилъ въ такихъ словахъ свою злобу:

— Вѣдь бралъ взятки, бралъ! Ну, и скопилъ бы для сына. Нѣтъ, самому, видите, пожить хотѣлось: подумаешь, и въ самомъ дѣлѣ умѣлъ какъ порядочные люди жить!

Хамазовъ-отецъ умеръ когда Аника былъ на третьемъ университетскомъ курсѣ. Онъ не пропалъ; у него было уже кое-какія связишки завязаны и находясь въ душевномъ прискорбіи онъ открылъ въ себѣ новый талантъ—умѣнье развивать особъ женскаго пола. Первая барынька кого онъ наставилъ, была не безъ капитальца; она прожила съ нимъ полтора года, перевезла въ Петербургъ, научила болтать по французски и пристроила на службу. Въ виду такихъ успѣховъ, Аника Осипычъ сталъ звать себя Іоанникіемъ Іосифовичемъ. Въ Петербургѣ господинъ Хамазовъ возмечталъ о себѣ еще больше и почелъ себя, на основаніи политическихъ

фокусовъ, въ родѣ извѣстныхъ уже читателю по описанію вечера у Павлы Тимоѳеевны, ни болѣе ни менѣе какъ политическимъ дѣятелемъ. И хотя давно извѣстна поговорка: „видна-молъ птица по полету“, или какъ выражался Шекспиръ, „видна свинья по лѣни, лисица по кражѣ, а левъ по добычѣ“, тѣмъ не менѣе находились люди раздѣлявшіе такую претензію господина Хамазова. Тѣ обрывки мыслей и фразъ что̀ копошились въ Аникиной головѣ стали для него нѣкотораго рода катехизисомъ; человѣкъ безъ вѣры и убѣжденій, онъ вѣрилъ въ непреложную истину своей болтовни и жилъ этою жалкою пародіей на религію.

Способъ развиванія женщинъ въ Петербургѣ нашъ Аника-воинъ привелъ въ нѣкоторую систему. Чаще онъ приглашалъ намѣченную дѣвицу или даму гулять, нанималъ лодку и приказывалъ перевощику плыть мимо крѣпости; поравнявшись съ мрачною твердыней, онъ начиналъ сосредоточенно-страстнымъ шепотомъ повѣствовать о герояхъ мысли пострадавшихъ единственно за свою честность, и прозрачно намекалъ что и ему, Хамазову, предстоитъ та же горькая участь, что и онъ окончитъ жизнь въ оковахъ или въ далекой ссылкѣ. Затѣмъ, указывая на набережную, онъ начиналъ расписывать самыми черными красками, какую злодѣйскую, позорную и роскошную жизнь ведутъ домовладѣльцы оной набережной и отсюда обращалъ взоръ свой на честнаго труженика-перевощика, который де чтобы не погибнуть отъ бѣдности и громадныхъ податей за нѣсколько копѣекъ потворствуетъ барской прихоти, то-есть попросту повезъ кататься барыньку и господина Хамазова. Развитіе продолжалось нѣсколько вечеровъ, смотря по понятливости субъекта, и завершалось уче-

ніемъ объ эманципаціи женщинъ. Pour la bonne bouche, господинъ Хамазовъ пламеннымъ слогомъ изображалъ свою страсть и молилъ подарить взаимностью его, честнаго мученика за идею, кому ежесекундно грозятъ кандалы. И находились Россіянки замиравшія отъ этихъ словъ и готовыя идти хоть на край свѣта за своимъ развивателемъ! Вы удивляетесь? Но раскройте девять изъ десяти русскихъ повѣстей, романовъ или комедій съ направленіемъ, и вы непремѣнно найдете патетическую сцену гдѣ дѣва увѣряетъ увлекшаго ее избранника: полюбила молъ тебя за рѣчи дотолѣ ни отъ кого не слыханныя, или юная жена оправдывается предъ старымъ мужемъ въ невольномъ увлеченіи любовникомъ, ибо, повѣствуетъ она, отъ него услыхала я не слыханное: онъ вразумилъ меня что воровать и взятки брать не годится. О бѣдные мои авторы! гдѣ и съ кѣмъ вы живете что такихъ дурёхъ приходится вамъ идеализировать и возводить въ перлъ созданія!

Людмила Тимоѳевна имѣла несчастіе понравиться господину Хамазову; онъ съ перваго же разу порѣшилъ развить ее и продѣлалъ съ нею описанный фокусъ. Бѣдная, только-что выпущенная институтка вернулась съ прогулки красная и взволнованная; на спросъ тетки она отвѣчала, что устала и прошла въ свою комнату, гдѣ долго еще не могла успокоиться. Она была возмущена наглыми рѣчами; горѣла отъ стыда какъ позволила себѣ ихъ слушать; она чувствовала: есть въ нихъ что-то нездоровое, тлетворное какъ зараза. Она тотчасъ же рѣшила что въ другой разъ, хотя бы сестра и настаивала, не пойдетъ гулять съ господиномъ Хамазовымъ. Іоанникій красноту и взволнованность барышни принялъ за признаки несомнѣннаго успѣха и

фокусовъ, въ родѣ извѣстныхъ уже читателю по описанію вечера у Павлы Тимоѳеевны, ни болѣе ни менѣе какъ политическимъ дѣятелемъ. И хотя давно извѣстна поговорка: „видна-молъ птица по полету“, или какъ выражался Шекспиръ, „видна свинья по лѣни, лисица по кражѣ, а левъ по добычѣ“, тѣмъ не менѣе находились люди раздѣлявшіе такую претензію господина Хамазова. Тѣ обрывки мыслей и фразъ что̀ копошились въ Аникиной головѣ стали для него нѣкотораго рода катехизисомъ; человѣкъ безъ вѣры и убѣжденій, онъ вѣрилъ въ непреложную истину своей болтовни и жилъ этою жалкою пародіей на религію.

Способъ развиванія женщинъ въ Петербургѣ нашъ Аника-воинъ привелъ въ нѣкоторую систему. Чаще онъ приглашалъ намѣченную дѣвицу или даму гулять, нанималъ лодку и приказывалъ перевощику плыть мимо крѣпости; поравнявшись съ мрачною твердыней, онъ начиналъ сосредоточенно-страстнымъ шепотомъ повѣствовать о герояхъ мысли пострадавшихъ единственно за свою честность, и прозрачно намекалъ что и ему, Хамазову, предстоитъ та же горькая участь, что и онъ окончитъ жизнь въ оковахъ или въ далекой ссылкѣ. Затѣмъ, указывая на набережную, онъ начиналъ расписывать самыми черными красками, какую злодѣйскую, позорную и роскошную жизнь ведутъ домовладѣльцы оной набережной и отсюда обращалъ взоръ свой на честнаго труженика-перевощика, который де чтобы не погибнуть отъ бѣдности и громадныхъ податей за нѣсколько копѣекъ потворствуетъ барской прихоти, то-есть попросту повезъ кататься барыньку и господина Хамазова. Развитіе продолжалось нѣсколько вечеровъ, смотря по понятливости субъекта, и завершалось уче-

тріевича. Каждая переводимая строчка подсказывала ее. Не малыхъ усилій стоило ему усидѣть за столомъ первые полчаса. Онъ бранился и сердился на всѣхъ и вся, на Христофора, на свою горькую участь, на самого себя, на автора переводимой книжки, и въ то же время понуждалъ себя работать во что̀ бы то ни стало. Злобное расположеніе отодвигалось при этомъ на задній планъ и наконецъ могло быть усмотрѣно развѣ въ томъ что Чулковъ сталъ *зло* работать. Со стороны поглядѣть, можно бы подумать что за столомъ не переводчикъ сидитъ, а вдохновенный поэтъ и въ его головѣ быстрой и вольной чередой слагаются образы одинъ другаго поэтичнѣе, а онъ едва успѣваетъ набрасывать ихъ на бумагѣ. Можно было бы сравнить также Чулкова съ внезапно-забившимъ въ пустынѣ источникомъ, а исписанные листки что̀ онъ отбрасывалъ въ сторону съ наполненными бадьями: и чѣмъ больше ихъ наполнялось, тѣмъ сильнѣе била вода.

Такія и еще болѣе странныя сравненія приходили въ голову самому Владиміру Дмитріевичу по мѣрѣ того какъ онъ втягивался въ работу. Когда же онъ окончательно втянулся, то не только забылъ о всѣхъ причинахъ своей недавней злобы, но о томъ даже чѣмъ занимается. Фантазія его разыгрывалась все больше и больше, мечта уносилась все дальше и дальше. Порой, какое-нибудь выраженіе въ переводѣ или строй фразы давали поводъ къ цѣлому ряду мимолетныхъ мыслей. Когда подобная мысль или сближеніе двухъ мыслей казались Чулкову замѣчательными, ему становилось жаль что онѣ, чего добраго, уйдутъ отъ него безслѣдно, по неимѣнію времени на ихъ развитіе. Въ такихъ случаяхъ онъ гналъ чувство сожалѣнія и набрасывался еще злѣе

на работу, точно она была врагомъ подлежавшимъ немилосердому истребленію. А переводъ все подвигался и подвигался. Опамятываясь отъ фантазій и мимолетныхъ мыслей, Чулковъ съ испугомъ начиналъ перечитывать рукопись, опасаясь не нагородилъ ли чего несуразнаго, но къ немалому его удивленію и удовольствію переводъ, сдѣланный почти безсознательно, оказывался вѣрнымъ.

Онъ безъ отдыха проработалъ полторы недѣли и наперевелъ гибель. Почти не разгибалъ спины съ утра до поздней ночи, отдыхая только полчаса послѣ завтрака и часъ послѣ обѣда. Не извѣстно долго ли бы онъ еще такимъ образомъ, какъ выражался, „промашинничалъ", еслибы на одиннадцатый день солнечный лучъ не упалъ прямо предъ нимъ на бумагу. Чулковъ всталъ и подошелъ къ окну; всѣ эти дни онъ не зналъ что̀ дѣлается на дворѣ и даже ни разу не вспомнилъ объ этомъ. Теперь же погода показалась ему удивительною: солнце сіяло для него по крайней мѣрѣ въ двадцать разъ краше чѣмъ для остальныхъ смертныхъ. И взманился Владиміръ Дмитричъ прогуляться, и отправился на Васильевскій къ Кононову. Боже! какъ пріятно казалось ему переступать ногами, чувствовать что дышешь, ощущать свѣжій воздухъ на лицѣ!

Кононовъ эти полторы недѣли скучалъ больше обыкновеннаго. Больше чѣмъ когда чувствовалъ онъ свое одиночество; встрѣча съ пріятелемъ, живой обмѣнъ мыслей если не возбудили, то разшевелили его. Теперь сидѣть дома и отъ томительнаго ничего недѣланія перебирать все что̀ въ голову придетъ, казалось ему не переносно. Разъ пять забѣгалъ онъ къ Чулкову и постоянно получалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ: „не знаю

куда вышли и не знаю когда вернутся". Однажды, послѣ такой неудачи, прошелъ онъ къ Воробьевымъ. Паулина Тимоѳеевна не заблагоразсудила къ нему выйти, и даже ни къ кому въ частности не обращаясь, но вслухъ проворчала: „что̀ ему здѣсь надо? послѣднее время чуть не каждый день является". И затѣмъ не безъ ехидства прибавила:

— Людмила, кажется къ вамъ кто-то пришелъ.

Людмила Тимоѳеевна не безъ удовольстія узнала о приходѣ Конснова („съ нимъ весело", подумала она), но замѣчаніе сестры не то чтобы разсердило или смутило, а слегка разстроило ее. Доброе расположеніе духа если не сошло съ рельсовъ, то получило значительный толчокъ. Ей было не по себѣ какъ она вошла въ гостиную, и далѣе случилось такъ, что это чувство легкой неловкости не только не уменьшилось, а скорѣе увеличилось. Кононовъ, случайно надумавъ зайдти къ Воробьевымъ, почувствовалъ нѣкоторое пріятное возбужденіе, въ родѣ того какое испытываетъ любитель музыки или театра отправляясь слушать или смотрѣть любимую піесу. Ему представилась милая барышня какою онъ видѣлъ ее въ два послѣдніе раза; ему слышались невытверженныя рѣчи, живой голосокъ. Все время визита онъ обращалъ усиленное вниманіе на ея слова, ожидая знакомаго впечатлѣнія. Такое настроеніе было не къ мѣсту; казалось, точно ему все равно кто бы ни сидѣлъ предъ нимъ, только возобновилось бы знакомое впечатлѣніе. „Онъ точно меня высматриваетъ и выспрашиваетъ", мелькнуло въ головѣ Людмилы Тимоѳеевны, и она отвѣчала натянуто и нехотя. Словомъ, разговоръ не клеился и обоимъ поскорѣе хотѣлось отъ него избавиться. Кононовъ просидѣлъ недолго. На пути

домой онъ не безъ удивленія спрашивалъ себя: та ли это дѣвушка что̀ недавно еще казалась ему такою милою умницей.

„У читателей есть повѣрье, пришло ему въ голову,— что интересные романы начинаются скучно, а скучные, напротивъ, въ началѣ очень интересны. Видно, это правило порой приложимо и къ людямъ.“

„Я не въ кунсткамерѣ сижу, не безъ гнѣва сказала милая барышня по уходѣ Кононова,—чтобы всякій кому вздумается приходилъ и задавалъ мнѣ, какъ ученой собачкѣ, вопросы“. И нѣкоторое враждебное чувство шевельнулось въ ней противъ Кононова.

IV.

— Гдѣ вы пропадали? Ни ко мнѣ ни ногой, ни васъ застать!

Такими словами встрѣтилъ Кононовъ Чулкова.

— Виноватъ: запоемъ страдалъ.

Петръ Андреевичъ съ испугомъ глянулъ на пріятеля.

— Не бойтесь; я выражаюсь метафорически.

И Чулковъ весело, продолжая сравненіе, разказалъ о своемъ „переводномъ загулѣ“.

— Сказать вамъ откровенно, какое впечатлѣніе произвелъ на меня вашъ разказъ? спросилъ Кононовъ.

— Сдѣлайте одолженіе....

— Мнѣ стало завидно.

— Чему же именно вы завидуете? Ужь не тому ли что я на нѣкоторое время превращаюсь въ переводокачальную машину?

— Именно. Я желалъ бы по временамъ испыты-

вать эту механичность труда. Этотъ запой, судя по вашему разказу, вещь заманчивая. Вы заняты, пишите, а между тѣмъ въ вашей головѣ безпорядочно, ничѣмъ не стѣсненныя, пестрыми толпами пробѣгаютъ мысли, фантазіи, комическіе образы! И — для меня въ этомъ самое заманчивое—воля ни мало не участвуетъ во всемъ этомъ, все дѣлается само собою. О, въ это время, нѣтъ сомнѣнія, ваша мыслительная способность отдыхаетъ на свободѣ, фантазія освѣжается!

— Со стороны послушать—заманчиво; но, говоря по совѣсти, я всѣхъ этихъ пріятностей не пожелаю не только вамъ, но и злѣйшему врагу моему, еслибы таковой объявился.

— Вѣроятно въ этомъ запоѣ, или какъ хотите зовите, есть свои невыгоды, но я замѣчалъ что всегда послѣ него вы становитесь бодрѣе и свѣжѣе.

— И послѣ настоящаго запоя люди тоже на время бодрѣютъ и свѣжѣютъ, а въ концѣ концовъ....—Чулковъ не договорилъ и словно вспомнивъ нѣчто непріятное, опустилъ голову и притиснулъ зубами нижнюю губу, какъ порой невольно дѣлаешь чтобы заглушить внезапную боль. Онъ промолчалъ всего полсекунды, но когда заговорилъ снова, въ голосѣ слышалось необычное раздраженіе.—Свѣжѣе и бодрѣе!... А кто вамъ сказалъ что это сердечная бодрость?... Почему не веселье вырвавшагося на волю каторжника?... Мысль отдыхаетъ? А можетъ-быть отучается работать?... Комическіе образы.... Да, негры весьма способны къ комизму.

Чулковъ говорилъ отрывисто и скоро; онъ не успѣвалъ взвѣшивать мыслей и выраженій, врядъ ли даже вполнѣ понималъ что̀ говоритъ. Кононовъ съ изумленіемъ поглядѣлъ на него.

— Васъ ли я слышу? сказалъ онъ.—Такія рѣчи... а я до сихъ поръ считалъ васъ самымъ здоровымъ человѣкомъ изо всѣхъ кого знаю.

Чулковъ всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Ахъ, не думалъ я что со мной такой пашквиль случится! сказалъ онъ спокойнѣе и силясь улыбнуться.—Я что-то нагородилъ вамъ, кажется. Не думайте, что я мысли свои высказывалъ, я даже не помню что̀ именно говорилъ — меня просто охватило горькое чувство.

Кононовъ вопросительно поглядѣлъ на Чулкова.

— Вы хотите знать что̀ за горькое чувство? А вотъ извольте слушать: студентомъ хаживалъ я въ нѣкоторую кухмистерскую, и туда же ходилъ старичокъ сѣденькій, должно-быть чиновникъ отставной. Какъ бывало ни придешь, онъ уже тамъ, и уйдешь, а онъ остается. Бѣдняга! Дома видно ему скучно было и онъ, только не одному бы сидѣть, въ кухмистерской полъ-жизни проводилъ. Безпріютность его всегда меня трогала; въ самомъ дѣлѣ, что̀ тяжелѣ когда свой уголъ на старости лѣтъ не милъ тебѣ? И я, глядя на него, всегда со страхомъ думалъ: „не пришлось бы и вамъ, Владиміръ Дмитричъ, сего испытать!“ И боюсь я, сильно боюсь на старости лѣтъ не имѣть нравственнаго пріюта; боюсь что досугъ мой, какъ доселѣ было, будетъ просто отдыхомъ отъ работы и не знать мнѣ такого досуга что̀ дозволилъ бы излюбленнымъ дѣломъ заняться. Ахъ, Кононовъ, вы не знаете этой тоски по досугѣ. И будь у меня досугъ!...

— Вы занялись бы? съ живостью спросилъ Кононовъ.

— Да, занялся бы.... Впрочемъ, не въ томъ дѣло

чѣмъ заняться. Еще знавалъ я старичка, этотъ счастливый былъ. Ходилъ онъ въ Публичную Библіотеку и проповѣди изъ разныхъ изданій переписывалъ. Признаюсь въ легкомысліи: комиченъ казался мнѣ старичокъ. Разговорились мы, я ему сейчасъ полезный совѣтъ: „вамъ, говорю, книги бы лучше купить, дешевле будетъ, а то бумага одна что̀ стоитъ, не говоря о трудѣ“.—Да, отвѣтилъ, и чувствительно этакъ говоритъ,—вы правы, и я вѣрю вамъ что дешевле, но при перепискѣ въ мысль болѣе вникаю и при томъ чего ради лишу я себя въ часы досуга занятія для меня пріятнаго? „Занятіе для меня пріятное!“ А, что̀ вы скажете? Какое славное человѣческое чувство тутъ кроется. А запои-то мои, чѣмъ вы восхитились, занятіе для меня непріятное. И доживу ли до пріятнаго?

Кононовъ съ сочувственною грустью посмотрѣлъ на Владиміръ Дмитріевича.

— Вы жаждете досуга и думаете что въ немъ все. А вотъ у меня и досугъ есть, а я ничего не дѣлаю, сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Но вы говорили намедни о выборѣ дѣятельности? сказалъ съ изумленіемъ Чулковъ.

— И боюсь что въ сотый разъ погорячился. Досугъ, досугъ! разгораясь все больше и больше съ теченіемъ рѣчи началъ онъ. — И вы думаете что на досугѣ такъ сейчасъ и заработаешь? А не придетъ мысль: встрѣчу ли сочувствіе, нравственную поддержку?

— Начните работать, и найдутся люди....

— Точно ли найдутся? А если и найдутся, то будутъ ли они тутъ, подлѣ васъ? Выдержите ли вы недовѣрчивый холодъ, который приходилось испытывать людямъ и не въ нашу вёрсту, холодъ убивавшій людей

большихъ талантовъ, заставлявшій ихъ бросать свое дѣло? На что̀ вы надѣетесь? Оглянитесь кругомъ, что̀ вы увидите? Нѣчто хуже апатіи—суетливую безтолочь, самоувѣренную и гордую. Ничто не въ состояніи занять такъ-называемое общество на пять минутъ. Кто рѣшится остановиться на какомъ-нибудь явленіи, изучить, оцѣнить его? У всѣхъ одинъ вопросъ и запросъ: „что̀ новаго? Подавайте новаго?“ Мода, мода на все: на книги, мысли, піесы, убѣжденія, даже на науки. Сегодня въ модѣ физіологія, а завтра ужь никто о ней не думаетъ, а всѣ устремились на исторію. Прошлогодняя книга—прошлогодняя шляпка. Мысли изнашиваются скорѣй чѣмъ платья и сдаются на литературную толкучку. И всѣ кричатъ: „мы оцѣнимъ, мы готовы оцѣнить, но великаго, великаго намъ подавайте!“ Такъ оно великое на улицѣ и валяется. Вообразите себѣ брилліантщика, который умѣлъ бы цѣнить только Кохъ-и-Нуры, а средней величины брилліанты оцѣнивать считалъ бы ниже своего достоинства. Вы скажете я преувеличиваю? Но я напомню вамъ одинъ только фактъ: Глинка, на рубежѣ родной земли, сказалъ: „дай Богъ мнѣ никогда не видать этой проклятой страны“, и наряду съ этимъ фарисейскіе вопли о томъ что таланты на Руси живутъ не долго. О, этотъ образъ великаго художника изгнаннаго не формулированнымъ остракизмомъ не даетъ мнѣ покоя. Поучительный примѣръ. А у Глинки ли не было силы?

Чулковъ угрюмо молчалъ. Ему вспомнилось одно изъ послѣднихъ вдохновеній Пушкина—идеалъ свободнаго уединенія. Не въ немъ ли, не въ этомъ ли идеалѣ спасеніе? И Чулковъ высказалъ это.

— Работайте для себя; уединитесь, найдите трудъ

по душѣ, и тогда.... тогда что̀ вамъ въ сочувствіи или несочувствіи?

— Вы проповѣдуете умственное пустынежительство? Что̀ жь, можетъ-быть вы правы. Мужикъ скопитъ въ глуши малую толику, и по неимѣнію вблизи банка, завертываетъ свой достатокъ въ тряпицу и прячетъ его. Не такъ ли слѣдуетъ хранить и умственный достатокъ, по-мужичьи?

— И-и, Кононовъ, еще есть утѣшеніе: всегда найдется два-три друга съ кѣмъ можно подѣлиться мыслями.

— Не спорю. Но много ли при этомъ наработается? Впрочемъ у насъ на Руси много было, есть и вѣроятно долго еще будетъ добровольныхъ лѣнтяевъ. Какъ часто слышишь о людяхъ образованныхъ, людяхъ оригинальнаго ума, тонко и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко понимавшихъ вещи. И что̀ же, спрашиваешь, сдѣлали они? И въ отвѣтъ едва укажутъ статейку, часто спеціальную, затерянную па страницахъ забытаго журнала. О нихъ хранится преданіе между людьми близкими, а потомъ.... потомъ о нихъ забываютъ. А знаете, прибавилъ Кононовъ послѣ нѣкотораго молчанія,—ваше замѣчаніе объ уединенныхъ трудахъ для самого себя напоминаетъ мнѣ старинную мою мечту. Я ее долго чуждался, чурался и боялся высказывать; все казалось мнѣ будто въ ней есть нѣчто неладное. Но теперь.... теперь она мнѣ кажется даже привлекательною. А именно: уѣхать въ прекрасное далеко, въ Римъ или Флоренцію, и поселиться тамъ, изучая чудеса искусства, находя въ нихъ все новую и новую красоту и проникаясь чувствомъ благоговѣнія. Тамъ навѣрно встрѣтишь людей съ кѣмъ можно будетъ подѣлиться своими мыслями и работать заодно надъ равно дорогою для всѣхъ задачей....

V.

— Изо всѣхъ вашихъ рѣчей, сказалъ черезъ нѣкоторое время Чулковъ,—для меня покуда ясно одно: вы не въ компаніи со Слѣпищевымъ....

Кононова точно оса ужалила.

— Кто вамъ сказалъ что я съ нимъ въ компаніи? накинулся онъ на пріятеля. — Какая мерзкая сплетня! И вамъ, Чулковъ, какъ *вамъ* не стыдно думать что я....

— Постойте, не горячитесь, перебилъ Владиміръ Дмитричъ.—Вопервыхъ, въ этомъ слухѣ, или сплетнѣ, зовите какъ угодно, я не усматриваю ничего для васъ обиднаго. А вовторыхъ, Никандръ Ильичъ конечно не геній, но право не изъ такихъ съ кѣмъ нельзя каши варить. Во всякомъ случаѣ, въ прикащики и конторщики весьма годится, и я полагалъ что вы сошлись съ нимъ именно на такихъ условіяхъ....

— Но развѣ вы не читали программы?

— Читалъ: въ ней, какъ въ большинствѣ программъ, ничего кромѣ громкихъ фразъ нѣтъ.—И замѣтивъ движеніе Кононова, онъ прибавилъ:—Успокойтесь еще разъ: программа могла быть одобрена раньше чѣмъ вы сошлись и прочая, и прочая, и прочая.

— Да, да, разсѣянно отвѣчалъ Петръ Андреичъ.— Но.... но.... не секретъ кто вамъ сказалъ о моемъ участіи?

— Помилуйте, какой же секретъ!

И Чулковъ удовлетворилъ любопытству пріятеля разказавъ о своемъ разговорѣ въ книжной лавкѣ; но пріятеля это ни мало не успокоило.

— Да, да, попрежнему проговорилъ онъ. — Но

кому.... кому нужно.... и главное съ какою цѣлью пущена эта сплетня?

— Дѣло, я думаю, самое простое. Самъ Никандръ Ильичъ могъ распустить....

— Но для чего ему?...

— А хотя бы для кредиту. Вы слывете за человѣка богатаго. Говорятъ что у васъ пятьдесятъ тысячъ чистоганомъ, да кромѣ того домъ и амбары въ Москвѣ. И сказать ли что̀ еще плетутъ объ васъ: будто вы незаконный сынъ того.. . ну, какъ бишь его?... ну, откупщикъ-то....

— Это однако чортъ знаетъ что̀! въ крайнемъ раздраженіи вскричалъ Кононовъ.

— Помилуйте! Да эти сплетни знакъ что васъ любятъ. Да, да, любятъ. Ибо общественному воображенію кажется что быть богачомъ, а особенно сыномъ откупщика весьма лестно. Охъ, еслибъ про меня подобное распускалось! Нѣтъ, все гадости про себя слышишь: то тебя въ крѣпость засадили, то подрался ты съ кѣмъ-нибудь.... А сплетни про васъ, да онѣ даже не безвыгодны для васъ.

— Чѣмъ это?

— А вотъ чѣмъ. Случись вамъ нужда въ деньгахъ, вамъ охотно повѣрятъ.

— Такія утѣшительныя соображенія не приходили мнѣ въ голову, отвѣчалъ Кононовъ и улыбнулся, но не хорошо улыбнулся.

Петръ Андреичъ по уходѣ пріятеля остался въ самомъ скверномъ расположеніи духа. На придачу къ обычнымъ невеселымъ думамъ, его облѣпили со всѣхъ сторонъ мелочныя воспоминанія возбужденныя сплетней на счетъ его родства съ откупщикомъ.

„Какой я однако мелочной, дрянной человѣкъ, бранилъ онъ самого себя. — Только пустяки да дрязги и занимаютъ меня. Думалъ ли я два года назадъ что доживу до такого состоянія?“ И ему припомнились стихи Пушкина:

Но грустно думать что напрасно
Была намъ молодость дана,
Что измѣняли ей всечасно,
Что обманула насъ она;
Что наши лучшія желанья,
Что наши свѣжія мечтанья
Истлѣли быстрой чередой,
Какъ листья осенью гнилой.

„Мечтанья, желанья? продолжалъ молодой человѣкъ, — нѣтъ, сколько-нибудь дорогія воспоминанья, и тѣ истлѣли. Да, теперь я не въ силахъ даже вызвать *ея* образа! А еще недавно.... но я отъ него „отдѣлался стихами“. Очень нужно было!... А о чемъ, бишь, я еще на дняхъ мечталъ? Да! чтобъ жизнь растратить бурно, безумно. Охъ, и это даже въ дѣйствительности происходитъ иначе чѣмъ въ мечтахъ. Силы растратить? Вишь, чего захотѣлось! А вотъ не угодно ли съ Семенъ Иванычемъ „загулять“? Оно тоже въ своемъ родѣ и бурно и безумно.... Тьфу, гадость какая!“

Идучи домой, Чулковъ не на шутку обезпокоился за пріятеля. Его тревожила не перемежаемость переходовъ отъ порыва чуть не къ отчаянію, не смѣна намеднишняго „выбора дѣятельности“ сегодняшнимъ „работать не зачѣмъ и не для кого“, а самый характеръ этихъ переходовъ.

„Это не обычная россійская несвариха, думалъ онъ, — а болѣзнь совсѣмъ особая. Какъ окрестить ее не знаю, но признаки таковы: насильственное уедине-

ніе; стремленіе къ замкнутости вслѣдствіе боязни не мнѣнія другихъ, нѣтъ, а того что другіе неминуемо либо отвернутся, либо глупо надругаются надъ твоей святыней; чрезмѣрный (въ извѣстной степени онъ необходимъ) аристократизмъ мысли и чувства. А лѣченье? — И Чулкову вдругъ почему-то припомнилось порученье Мины Иваныча. А я дуракъ, бранилъ онъ самого себя.—Какой удобный случай пропустилъ. Какъ онъ жаловался, мнѣ и сказать бы: жениться, молъ, вамъ слѣдуетъ, и затѣмъ....

— Письмо вамъ, доложила кухарка.

Письмо оказалось отъ Слѣпищева: редакторъ просилъ Чулкова въ извѣстный день и часъ зайти къ себѣ *по дѣлу*.

— Вотъ ужь именно голенькій „охъ", а за голенькимъ Богъ, развеселился Владиміръ Дмитричъ. — Никандръ подороже, чай, Христофора дастъ. А я еще сегодня на себя такой пашквиль напустилъ. Нѣтъ, сударь, чтобъ впредь съ вами сего не было. И если заведется даже горчина въ сердце вашемъ, то да будетъ она не болѣе какъ приправой къ смѣху. Въ извѣстные годы, говорятъ, безъ пряностей трудно обойтись.... Однако я размечтался слишкомъ рано; еще неизвѣстно зачѣмъ Никаша требуетъ. А посему не угодно ли, Владиміръ Дмитричъ, за работу, ибо какъ говорилъ молодой герцогъ старому барону:

Уединенье
И праздность губятъ молодыхъ людей.

Чулковъ усѣлся за письменный столъ и началъ переводить приговаривая: „Литейная, качай! Васильевская, качай! Всѣ части качай! ай!"

Чрезъ пять минутъ всѣ части закачали и только и было слышно что скрипъ пера.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

По пустой раковинѣ можно узнать какой въ ней моллюскъ жилъ; исчезни человѣческій родъ, новый властелинъ земли по останкамъ нашихъ жилищъ опредѣлитъ что въ нихъ обитало двуногое безперое существо. Но ни одинъ натуралистъ не опредѣлитъ по пустой раковинѣ вкусна ли показалась ѣдоку жившая въ ней устрица, и въ свѣжемъ или несвѣжемъ видѣ была она подана на столъ. Думаю даже что ни одинъ изъ самыхъ пламенныхъ россійскихъ поклонниковъ естественныхъ наукъ не возьмется за такую задачу. Точно также остерегайтесь опредѣлять характеръ и умъ квартиранта по пустой квартирѣ; ничего вы не узнаете, ни даже его средствъ (ибо быть-можетъ онъ съѣхалъ не доплативъ). Но не только пустымъ, и меблированнымъ квартирамъ не совѣтую довѣряться. И изо всей мебели больше всего опасайтесь письменныхъ столовъ и книжныхъ шкафовъ. Боже! сколько роскошныхъ столовъ, снабженныхъ всякими нужными и не нужными приспособленіями для усидчивыхъ письменныхъ работъ, видѣлъ я въ кабинетахъ людей не писавшихъ ничего во всю жизнь, кромѣ полуграмотныхъ записокъ. Но шкафы съ книгами,—шкафы еще опаснѣе! Поглядите что̀ за книги, что̀ за изданія, что̀ за переплеты! Вы думаете: хозяину открыты сокровища всѣхъ литературъ и самъ онъ тонкій знатокъ и цѣнитель—успокойтесь, онъ не знаетъ даже хорошенько заглавій книгъ, выбранныхъ для него услужливымъ книгопродавцемъ, а если и читаетъ со скуки, то какой-нибудь подкаретный листокъ.

Все сіе написано мною того ради чтобы какой простодушный читатель, увидѣвъ на обширномъ столѣ Никандра Ильича Слѣпищева кипу журналовъ и газетъ на полдюжинѣ языковъ, не подумалъ: „то-то голова, должно-быть! Вся-то Европа предъ нимъ какъ на ладони“. Никандръ Ильичъ просто былъ редакторомъ или по крайности готовился стать таковымъ.

Никандръ Ильичъ Слѣпищевъ, человѣкъ добрый и почтенный, лѣтъ за сорокъ пять, съ брюшкомъ и сѣрыми узкими глазками, съ необычайно круглымъ лбомъ и сильно развитой нижней челюстью, во дни юности не только не мечталъ быть редакторомъ, но даже нѣсколько брезговалъ литераторами по профессіи. Изо всѣхъ умственныхъ способностей природа наградила его тою здоровенною памятью что̀ зовется дурацкою. Онъ помнилъ все что̀ читалъ, и читалъ потому что запоминалъ прочитанное. Такою способностью не мало гордился и не прочь былъ блеснуть ею и показать что онъ обо всемъ имѣетъ понятіе. Во время оно „имѣть обо всемъ понятіе“ было верхомъ россійскаго образованія и это выраженіе было въ такой же модѣ, какъ нынѣ слово „развито̀й“. Россійское пробужденіе, по согласному свидѣтельству историковъ, послѣдовавшее послѣ Крымской войны, застало Слѣпищева исправнымъ министерскимъ чиновникомъ. Но скоро для него открылось новое поприще дѣятельности. Въ числѣ разныхъ предпріятій образовалось общество изданія полезныхъ книгъ; учредители были люди самые благонамѣренные, но къ сожалѣнію весьма мало знавшіе за что̀ именно они берутся. Они были убѣждены что книги вообще полезны, и что ихъ слѣдуетъ издавать, но за предѣломъ этихъ общихъ мѣстъ для нихъ начиналось „незнаемое поле“, terra incognita.

Одинъ изъ директоровъ, хорошій знакомый Слѣпищева, говоря съ нимъ о новомъ обществѣ, обронилъ довольно невинную фразу „для насъ де особенно важно не сочувствіе только, но и содѣйствіе истинно-образованныхъ людей". На досугѣ, Никандръ Ильичъ раздумался о словахъ директора и рѣшилъ что въ нихъ заключался намекъ на желаніе чтобъ онъ, Никандръ, примкнулъ къ дѣлу. Тутъ въ Никандрѣ впервые проснулся практическій геній. Онъ набросалъ проектъ дѣятельности общества и отправился съ нимъ къ знакомому директору.

— Вы какъ-то говорили мнѣ, не безъ торжественности объявилъ онъ,—что дѣло просвѣщенія, которому вы посвятили всѣ свои силы, нуждается въ поддержкѣ людей образованныхъ, которой вы даже желаете. Мнѣ пришли нѣсколько мыслей, которыя я набросалъ, и позвольте предложить ихъ на ваше разсмотрѣніе. Быть-можетъ онѣ вамъ пригодятся....

Никандрова записка произвела въ собраніи директоровъ фуровъ.

— О, я говорилъ вамъ что это человѣкъ со свѣдѣніями, самодовольно сказалъ знакомый директоръ.

— Золотой человѣкъ, завторили ему. И главное, не только на книги по всѣмъ отраслямъ указалъ, но объяснилъ почему каждую слѣдуетъ издать.

Еще бы не объяснить! Доводы, взятые Никандромъ изъ книгопродавческихъ объявленій и проспектовъ, были болѣе чѣмъ убѣдительны, были неотразимы. Прочтя ихъ не рѣшиться тотчасъ же издать столь полезную книгу было также невозможно, какъ нельзя не купить книги если вѣрить восхваленіямъ издателя. Рѣшено было: благодарить г. Слѣпищева за его просвѣщенное вниманіе

къ дѣлу общества и просить его принять дѣятельное участіе по изданію книгъ.

Однажды проснувшійся практическій геній не оставлялъ Никандра. Онъ смѣло взялся за дѣло и сталъ вербовать работниковъ. Онъ устроилъ цѣлый департаментъ переводчиковъ; въ чиновники попали между прочимъ наши пріятели Кононовъ и Чулковъ. Никандръ, кромѣ изряднаго жалованья въ качествѣ распорядителя, отдѣлялъ себѣ львиную долю за редакцію перевода (а бралъ онъ на редакцію переводы надежные), то-есть въ сущности за напечатаніе своего имени на обложкѣ книги. Дѣятельность кипѣла. Правда, переводы нерѣдко отдавались людямъ съ улицы, не имѣвшимъ понятія ни о томъ языкѣ съ котораго переводили, ни о томъ на который переводили; книги выбирались, только бы побольше ихъ издать; напереведено было столько что не успѣвали печатать. Никандръ Ильичъ однако кредита въ обществѣ не терялъ, ибо въ кассѣ было еще достаточно денегъ. Онъ леталъ по редакціямъ, прося содѣйствія „столь полезному дѣлу“; онъ самъ кропалъ и другихъ нанималъ кропать статейки гдѣ излагались достоинства изданныхъ книгъ, и нерѣдко красовалась фраза: „имя редактора, г. Слѣпищева, лучшая порука́ за достоинство перевода“.

Вся эта дѣятельность, какъ и слѣдовало ожидать, окончилась тѣмъ что въ три года касса общества истощилась, и все его богатство состояло во множествѣ застрявшихъ изданій и еще въ большемъ количествѣ негодныхъ рукописей. Но Слѣпищеву все это было съ полугоря; онъ за это время пріобрѣлъ извѣстность переводчика, завязалъ литературныя знакомства, и, главное, получилъ смѣлость и самоувѣренность. По кру-

шеніи общества, Никандръ Ильичъ, все время не оставлявшій государственной службы, продолжалъ свою литературную дѣятельность. Въ одно прекрасное утро, онъ открылъ въ себѣ новый талантъ. Онъ помнилъ прочтенныя въ корректурахъ книги,. помнилъ оттуда цѣлыя тирады, помнилъ разборы ихъ въ иностранныхъ журналахъ, но все это покуда не приносило ему пользы.

„А что̀ если я скропаю изъ всего этого статейку?“ спросилъ онъ себя.

Началъ кропать—ничего, кропалось знатно. Статьи его печатались и составили необходимый для правильнаго хода журнальнаго дѣла балластъ. Онъ писалъ ихъ потому что онѣ печатались, и печаталъ потому что за это деньги платили.

„А вѣдь и моя скромная дѣятельность не безполезна“, мечталъ онъ порою.

II.

Мы застаемъ Никандра Ильича за послѣобѣденнымъ кофеемъ, съ сигарою во рту: ему казалось что редактору слѣдуетъ курить сигары. Онъ не безъ нѣжнаго чувства оглядывалъ свой кабинетъ.

„Кабинетикъ хоть куда, думалъ онъ,—и столъ, и шкафы, и всякій кто войдетъ скажетъ „сейчасъ де видно что редакторскій кабинетъ.“

Никандръ Ильичъ бережно поправилъ газеты на столѣ, и неизвѣстно зачѣмъ снялъ крышку съ чернилицы и заглянулъ внутрь.

„Ну, продолжалъ онъ,—и мебель, сейчасъ видно, новая и не дешевая, а это довѣріе уже внушаетъ и

сотрудникамъ и типографщику, и на счетъ бумаги. Нѣтъ, что̀ ни говорите, а внѣшность дѣло важное. И такъ, Никандръ Ильичъ,—ласково-шутливо обратился онъ къ себѣ,—вотъ вы и редакторъ, настоящій редакторъ, *свой* журналъ у васъ есть. Да, да. Ну-съ посмотримъ, посмотримъ.

И Никандръ Ильичъ почему-то сталъ необычайно доволенъ самъ собою. „И не мечталъ", мысленно прошепталъ онъ, именно прошепталъ, и оглянулся, точно боясь не подслушалъ бы кто его мысли.—Да! вдругъ вспомнилъ онъ и улыбнулся.

Онъ вспомнилъ что сегодня встрѣтился съ самимъ Несторомъ россійскихъ журналистовъ и тотъ благосклонно отозвался о его программѣ. „А онъ дѣло знаетъ", похвалилъ Никандръ Ильичъ Нестора.—А вотъ погоди, мысленно обратился онъ къ Нестору, какой я нумерокъ выпущу—въ носъ бросится. И похваливъ себя за невыпущенный еще нумерокъ, Никандръ Ильичъ проникся вдругъ почему-то ненавистью къ Нестору.

„Тоже стихами говоритъ:

Дай Богъ побольше намъ журналовъ
Плодятъ читателей они,

а у самого, поди, кошки на сердцѣ скребутся."

Никандръ Ильичъ посоображалъ еще на счетъ того что̀ сдѣлано покуда для журнала, и остался увѣренъ что лучше и нельзя было поступить.

„Но подписка?" вдругъ у него мелькнуло въ головѣ. Всякій разъ какъ этотъ вопросъ проскальзывалъ въ его головѣ Никандръ Ильичъ чувствовалъ поползновеніе вскочить съ мѣста. Такъ было и сегодня; му-

рашки забѣгали по спинѣ Никандра Ильича, и Никандръ Ильичъ забѣгалъ по кабинету.

„Однако, отчего бы ей не пойти, утѣшалъ онъ себя, чувствуя всю тщету такого утѣшенія.—*Имъ* тамъ хорошо разговаривать, продолжалъ онъ, не зная хорошенько кого именно онъ понималъ подъ „ими“, и гдѣ это „тамъ“—а поди устрой дѣло. Развѣ не лопаются? Я самъ прекрасно умѣю разсуждать, но теорія и практика двѣ вещи различныя,“

И редакторъ вздохнулъ о различіи теоріи и практики.

„По теоріи, разсуждалъ онъ,—я прекрасно знаю что у журнала должно быть направленіе и что мы призваны направлять общественное мнѣніе, которое...—И Никандръ отхваталъ нѣсколько затверженныхъ фразъ о направленіи и общественномъ мнѣніи—Я это все знаю, и могу написать, но на практикѣ.

Направленіе практически представилось ему въ видѣ редактора пренебрежительно отзывавшагося о своихъ „семинаристахъ, которые у него въ журналѣ чортъ знаетъ что городятъ.“

„Да, имъ, получая по двадцати тысячъ дохода, хорошо тамъ разговаривать, снова повторилъ Никандръ Ильичъ. — А я затрачиваю деньги, и хочу имѣть на нихъ процентъ. Я купецъ, и хотя въ этомъ никому не слѣдуетъ сознаваться.... Но наединѣ я долженъ обсудить все.... И толкуйте тамъ объ общественномъ мнѣніи! А отчего одинъ журналъ идетъ, а другой съ такими же, а порой съ тѣми же сотрудниками не пойдетъ, и не пойдетъ, хоть что̀ ты хочешь.... Нѣтъ, нѣтъ, съ большимъ жаромъ заговорилъ онъ,—надо, непремѣнно надо что-нибудь новенькое. По правдѣ сказать, все наше

старье прискучило публикѣ, и еслибъ удалось.... А впрочемъ если удачи большой не будетъ, все же новая метла чище....“

Въ это время заслышались шаги. Никандръ Ильичъ вздрогнулъ и схватилъ первую попавшуюся газету. Вошелъ Чулковъ.

— А почтеннѣйшій Владиміръ Дмитричъ, любезно заговорилъ онъ.—Очень радъ и очень вамъ благодаренъ что пожаловали. Садитесь. Не прикажете ли сигару? Или папиросу?...

Никандръ Ильичъ началъ съ того что на основаніи старинной дружбы („развѣ она была между нами?“ подумалъ удивленный Чулковъ) побранилъ своего гостя: зачѣмъ де онъ прожилъ въ провинціи и Москвѣ, которая по мнѣнію редактора была хуже всякой провинціи, цѣлыхъ три года, время не малое въ жизни, особенно молодаго человѣка („почему же особенно?“ подумалъ Чулковъ).

— Помилуйте, воскликнулъ редакторъ, нарисовавъ мрачную картину жизни Чулкова,—съ вашими ли способностями, съ вашими ли свѣдѣніями зарывать талантъ въ землю! Это было бы непростительно, какъ непростительно людямъ которые знаютъ уже о существованіи такихъ способностей и которые способны оцѣнить ихъ, не поспособствовать ихъ развитію и не указать пути на которомъ вы можете развить ихъ и притомъ быть полезны обществу, которое нуждается въ развитыхъ людяхъ.

„Когда-же ты устанешь?“ подумалъ Чулковъ. Но Никандръ не уставалъ, и опять началъ о развитіи способностей и о способствованіи такому развитію.

— Я, какъ вамъ извѣстно, предпринимаю изданіе

журнала, объявилъ въ заключеніе Никандръ Ильичъ и остановился.

— Какъ же. И я по вашему письму догадался что дѣло безъ меня не обойдется.

Редакторъ довольными глазами посмотрѣлъ на Чулкова.

— Спасибо вамъ что не забыли меня, продолжалъ Чулковъ,—я, знаете, отъ работы не бѣгаю. Романчикъ требуется перекачать? Давайте, живо изготовимъ.

— Неужели вы меня не поняли? съ огорченіемъ воскликнулъ редакторъ.—Для переводной работы я не смѣлъ бы и безпокоить васъ. („Напрасно", подумалъ Чулковъ.) Для этого найдутся люди. („Жаль", подумалъ Чулковъ.) Но я полагалъ что благодаря вашей наблюдательности, въ которой я не разъ имѣлъ случай убѣдиться, вы скопили достаточное количество матеріаловъ, и что ваши интересныя наблюденія будутъ не безынтересны для будущихъ читателей моего журнала.

— То-есть, прищурившись спросилъ Чулковъ,— вы желаете сдѣлать изъ меня нѣчто въ родѣ фельетониста?

— Да, да, вы прекрасно поняли ту мысль которую я имѣлъ въ виду. Но кромѣ того ваше остроуміе и насмѣшливость нашли бы не только пищу, но могли бы принести не малую пользу журналу....

— Именно?

— Въ случаѣ полемики, которой я, конечно, всячески буду избѣгать, какъ совершенно искренно объявилъ въ программѣ, но которая при нынѣшнихъ, весьма прискорбныхъ литературныхъ нравахъ къ несчастію почти неизбѣжна....

— Другими словами, вамъ требуется брехунчикъ?

— Какъ вы странно выражаетесь! нѣсколько поморщившись сказалъ редакторъ.—Впрочемъ, поспѣшно прибавилъ онъ,—въ самомъ этомъ шутливомъ названіи полемиста я узнаю костичность вашего ума, которою всегда, если помните, восхищался. Притомъ не думайте что я желаю чѣмъ-нибудь стѣснить вашу будущую дѣятельность, которая должна быть предметомъ вашего свободнаго выбора, который....

— Очень вамъ благодаренъ, отвѣчалъ Чулковъ, — но не чувствуя въ себѣ таланта....

— Но отчего не попробовать?

— Напробоваться боюсь, отвѣчалъ смѣясь Чулковъ.

Слѣпищевъ съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на Чулкова. „На что̀ онъ намекаетъ?“ подумалось ему.

— Быть-можетъ, началъ онъ и остановился, не зная что̀ именно „быть-можетъ“.—Быть-можетъ.... Да, радостно подхватилъ онъ, догадавшись что̀ „быть-можетъ“,—да, быть-можетъ, вы находите что программа журнала слишкомъ консервативна. Но въ такомъ случаѣ, вы не обратили вниманія на одно мѣсто. Позвольте. Никандръ Ильичъ порылся на столѣ, досталъ экземпляръ своей программы и повертѣвъ ее въ рукахъ, напалъ наконецъ на искомое мѣсто.—Вотъ оно, послушайте.—И Слѣпищевъ не безъ чувства прочелъ:—„Мы однако не остановимся ни предъ какими результатами науки, и смѣло признаемъ все ею утвержденное и доказанное“.—Мнѣ кажется, прибавилъ онъ,—шире на вещи нельзя смотрѣть.

— Невозможно, согласился Чулковъ.

— А потому?...

— А потому я весьма радъ переводить для столь просвѣщеннаго изданія.

Сказавъ послѣднія слова, Чулковъ самому себѣ удивился. „Однако я ловко сталъ врать, подумалъ онъ,— журналисту въ пору.“

— Но, началъ было Никандръ Ильичъ.

— Къ вамъ кто-то идетъ, перебилъ Чулковъ, и собрался было уйти.

— Останьтесь; это Кононовъ, удержалъ его редакторъ.

Дѣйствительно, то былъ Петръ Андреичъ. Оба пріятеля переглянулись и помѣнялись едва замѣтною усмѣшкой. Никандръ Ильичъ съ приходомъ Кононова измѣнилъ тонъ; цвѣты газетнаго краснорѣчія, столь обильно расточаемыя предъ Чулковымъ, онъ замѣнилъ болѣе простою рѣчью; самый тонъ изъ редакторско-вѣжливаго сталъ болѣе дружескимъ.

— Помогите хоть вы, Петръ Андреичъ, одолѣть этого упрямца, сказалъ онъ. — Предлагаю ему писать что̀ хочетъ, а онъ отнѣкивается. И знаете, обратился онъ къ Чулкову,—я скажу вамъ что̀ заставляетъ васъ отказываться—лѣнь.

— Положимъ, меня отказываться заставляетъ лѣнь, съ улыбкой сказалъ Чулковъ, — но съ вашей стороны усиленно приглашать меня—излишнее прилежаніе. Вѣдь вы, Никандръ Ильичъ, сами хорошенько не знаете годенъ ли я въ сотрудники или нѣтъ. Повѣрьте, моя литературная овчинка не сто̀итъ вашей редакторской выдѣлки.

— Вотъ видите, ото всего шуткой отдѣлывается. Право, Петръ Андреичъ....

— Мнѣ трудно уговаривать человѣка на то отъ чего я самъ отказался.

Кононовъ проговорилъ это тономъ сухимъ, нѣсколько даже желчнымъ; Чулкову такая напряженность тона показалась чрезмѣрною, и онъ съ недоумѣніемъ взглянулъ на пріятеля. Слѣпищевъ потупился.

— Я только.... началъ было редакторъ и замолчалъ.—Странный вы народъ, господа! заговорилъ онъ потомъ.—Вамъ дѣлаютъ честь, извѣстное предложеніе, единственно на томъ основаніи что считаютъ васъ людьми способными и талантливыми, а вы точно обижаетесь за это. Сколько ни соображаю, не могу понять. Я кажется не стѣсняю вашихъ убѣжденій и даю вамъ почти *carte blanche*. И я во всякомъ случаѣ сдѣлалъ то что̀ почиталъ нѣкоторымъ образомъ своимъ долгомъ, и вы не можете жаловаться что вамъ было отказано въ сочувствіи, или что вамъ не предлагали случая сдѣлать карьеру. Съ вами, Петръ Андреичъ, я впрочемъ еще долженъ поговорить.

— Я мѣшать не стану, сказалъ Чулковъ и направился въ залу.

— Скажите, Петръ Андреичъ, что̀ именно заставляетъ васъ отказываться? Можетъ-быть....

Кононовъ не далъ договорить.

— Было бы долго разговаривать объ этомъ; долго и для васъ неинтересно, отвѣчалъ онъ.

— Конечно, я не смѣю претендовать на вашу откровенность, но повѣрьте я чувствую къ вамъ искреннее расположеніе. И видите, я прямо скажу почему просилъ васъ о сотрудничествѣ. Мнѣ случилось слышать ваши мнѣнія о различныхъ явленіяхъ нашей литературной жизни, и они казались мнѣ интересными, и главное *новыми*, то-есть не похожими на другія, и я думалъ васъ попробовать. То же передайте и Чулкову.

Кононовъ всталъ, точно желая сказать: довольно-молъ.

— Позвольте на минутку, поспѣшно остановилъ его Никандръ Ильичъ.—Вы сейчасъ увидите что я, впрочемъ, еще не такой эгоистъ какъ вы думаете. Онъ досталъ изъ стола незапечатанное письмо.—Вотъ письмо къ одному моему пріятелю и лицу которое можетъ быть вамъ небезполезно. Вы не желаете избрать литературное поприще, но надо же что-нибудь дѣлать, а этотъ господинъ можетъ помочь вамъ хорошо поступить на службу, а хорошо начатое дѣло вещь очень важная.— И на движеніе Кононова онъ заговорилъ необыкновенно быстро и часто, словно считалъ что эта быстрота придастъ убѣдительность его рѣчи.—Нельзя-съ уклоняться отъ дѣла, нельзя-съ. Хотя бы вамъ и не совсѣмъ оно нравилось, а все-таки вы должны служить обществу. И повѣрьте въ этомъ мнѣ просто какъ человѣку опытному и много видѣвшему въ жизни. А я-съ видѣлъ не одинъ печальный примѣръ какъ молодые люди, и со способностями, сперва дичились дѣятельности, а потомъ сожалѣли и.... погибали.

Никандръ Ильичъ долго еще говорилъ на эту тему, и говорилъ все также быстро и часто, и какъ ему казалось убѣдительно. У Кононова двадцать разъ вертѣлось на языкѣ наотрѣзъ отказаться отъ письма, но онъ подумалъ что такой отказъ огорчитъ Слѣпищева, а огорчать того, кто высказываетъ вамъ свое расположеніе, хотя бы онъ и не пользовался вашимъ, казалось ему вещью не позволительною. Рѣшивъ что письмо мѣста въ карманѣ не пролежитъ, онъ взялъ его и поблагодарилъ Никандра Ильича за участіе.

III

Чулковъ вошелъ въ залу; тамъ уже было нѣсколько человѣкъ гостей; ихъ принималъ секретарь, чахоточный молодой человѣкъ, считавшій, какъ всѣ литературные секретари, *свой* журналъ чѣмъ-то полубожественнымъ, а самого себя счастливѣйшимъ изъ смертныхъ, при такомъ де важномъ и даже, подымай выше, литературномъ дѣлѣ состою; онъ всѣмъ и каждому съ улыбкой и нѣжной фистулой объявлялъ что Никандръ Ильичъ проситъ извиненія что сильно де занятъ, но черезъ четверть часа освободится.

Человѣкъ шесть сидѣло въ кучкѣ; они о комъ-то разговаривали и отзывались о немъ не совсѣмъ благопріятно, называя дуракомъ и дрянью. Чулковъ, принимая во вниманіе отечественные нравы, догадался что рѣчь идетъ объ отсутствующемъ хозяинѣ.

— А что̀ господа, правда у него денегъ много? спросилъ чистенькій, тщательно одѣтый и причесаный юноша.

— А чортъ его знаетъ, пробурчалъ растрепаный брюнетъ со смуглымъ лицомъ. Смуглота была неравномѣрно распредѣлена на лицѣ, и глядя на него можно было подумать что брюнетъ либо никогда не мылся, либо не умѣлъ мыться и постоянно растиралъ по лицу нажитую грязь.

— Нѣтъ, позвольте, ввязался третій,—я положительно знаю что онъ за женой взялъ тридцать тысячъ, да у него свои были.

Третій проговорилъ эти слова съ какой-то убѣдительною злостностью и въ теченіи своей короткой рѣчи раза три оскалилъ зубы, точно собираясь наброситься на возражателя, буде таковой явится.

— Ну-съ, мы эти росказни не въ первый разъ слышимъ, отозвался немытый.—Но я вѣрю редактору когда гонораръ у меня въ карманѣ. Не мало у меня за ними денегъ пропало!

— Китаевъ однако говорилъ мнѣ что ему за политику предлагалъ по семидесяти пяти съ листа, вставилъ юноша.

Это невинное извѣстіе произвело на злобнаго сильное впечатлѣніе: лицо у него задергалось, и чтобы скрыть свое волненіе онъ началъ вытягивать пальцы правой руки, такъ что они захрустѣли.

— Не знаю-съ, но охотно вѣрю, отчеканилъ онъ:— дуракамъ счастье.

— А я думалъ политику *вы* будете писать, сказалъ немытый злобному, подливая масла въ огонь.

— Я не сталъ бы еслибы даже и предложили, отчаянно солгалъ злобный.

— Я къ тому, продолжалъ развивать свою мысль юноша,—что если такія деньги за политику, то за беллетристику слѣдуетъ дороже.

— Это почему-съ? накинулся на него злобный политикъ.—Серіозно, господа, обратился онъ ко всѣмъ,— по-моему слѣдовало бы поднять этотъ вопросъ: почему беллетристика оплачивается дороже чѣмъ политика? Кажется для политики и свѣдѣній требуется больше и вообще это дѣло труднѣе.

— Ну это еще вопросъ, пробурчалъ немытый.

— То-то вотъ и есть: мы всѣ толкуемъ о равенствѣ, а на дѣлѣ!—И злобный махнулъ рукой.—Вамъ впрочемъ это все равно: вы привыкли питаться скандалами и по-вашему выше фельетона въ мірѣ ничего нѣтъ, кольнулъ онъ немытаго.

— Мы, батюшка, не виноваты, съ напускнымъ добродушіемъ отвѣчалъ фельетонистъ, — не виноваты что вся наша общественная жизнь одинъ большой скандалъ, да и литература-то наша, по правдѣ сказать, тоже на скандалъ смахиваетъ. Мы по крайней мѣрѣ не притворяемся, а пишемъ что̀ думаемъ и изъ иностранныхъ газетъ своихъ мнѣній на прокатъ не беремъ. И какъ вы ни сердитесь, безъ хорошаго политика газета существовать можетъ, а безъ насъ, фельетонистовъ, нѣтъ. И воскресные нумера расходятся на 700 экземпляровъ больше.

— Потому что наша публика ничего серіознаго не понимаетъ, а любитъ одни скандалы. Вы помните нашъ первый нумеръ, обратился онъ къ одному изъ молчавшихъ,—и статью о нуждахъ нашей промышленности. Въ Англіи и Соединенныхъ Штатахъ этотъ нумеръ разошелся бы въ сотняхъ тысячъ, а у насъ....

— Ни одного не купили, засмѣялся фельетонистъ и отошелъ отъ кучки.

— Думаетъ что остроумно сказалъ! прошипѣлъ злобный.—Нынче всякій дуракъ, продолжалъ онъ, глядя прямо въ глаза юношѣ,—въ писатели лѣзетъ; некуда— въ литературу. А вы тоже повѣстушку всучить надѣетесь?

Юноша видимо обидился близкимъ сосѣдствомъ дурака и своей повѣстушки, но скрѣпя сердце скромно отвѣчалъ:

— Да, думаю предложить.

— Глядите; не опоздайте. Онъ, говорятъ у Курносова романъ купилъ.

— Какъ опять романъ написалъ? съ испугомъ спросилъ юноша.

— Ему долго ли? У него, говорятъ, волшебный сундучокъ есть, постучитъ въ крышечку и готовъ романчикъ.

— Надо однако разузнать. И повѣствователь побѣжалъ на рекогносцировку.

— Въ четвертую редакцію носитъ повѣсть, отнесся злобный къ добродушному.—Къ намъ тоже забѣгалъ, да нашего Авдѣя не надуешь.

И злобный презрительно улыбнулся и также отошелъ отъ кучки.

— Постоянно всѣмъ завидуетъ, сказалъ одинъ изъ молчавшихъ съ лицомъ добродушнымъ и плоскимъ.—И главное воображаетъ что всѣ такъ и набрасываются на его „передовыя". Какъ его статья, все въ конторѣ пристаетъ: много ли нумеровъ продано?—Какъ всегда-съ. „Чего жь имъ еще надобно, кричитъ, чего жь имъ еще надобно!"

Слушатели разсмѣялись.

Чулкову захотѣлось узнать что̀ за люди сейчасъ разговаривали, и на его счастье къ нему подошелъ знакомый актеръ, шлявшійся по всѣмъ редакціямъ, знавшій всѣ журнальныя сплетни и потому считавшій себя литературно-образованнымъ человѣкомъ. Изъ его объясненій оказалось что немытый былъ знаменитый фельетонистъ, извѣстный подъ псеводнимомъ *Ничегонезнайки*, фельетонистъ чье появленіе въ театрѣ или на общественномъ собраніи заставляло дрожать актеровъ и умолкать самыхъ смѣлыхъ ораторовъ, страха ради быть продернутыми въ слѣдующее воскресенье; актеръ отзывался о немъ, какъ о „здоровенной башкѣ". Злостный писалъ четырехъ-саженныя статьи въ *Просвѣтитель*; о немъ актеръ отозвался неопредѣленно: „хва-

лятъ". Юноша писалъ повѣсти и подавалъ большія надежды, но какія именно, актеръ не зналъ. Добродушный состоялъ *бѣгунчикомъ* въ двухъ-трехъ редакціяхъ, то-есть рыскалъ по городу отыскивая новости, описывая торжества, обѣды, драки и прочая. Онъ занимался также переноской сплетень изъ одной редакціи въ другую и тѣмъ не мало способствовалъ оживленію нашей словесности: не одна задорная полемика начиналась изъ-за его сплетни.

— Народъ они для насъ полезный, прибавилъ актеръ,—о бенефисикѣ публикѣ напомнить, или бенефисную піесу впередъ расхвалить, или вскользь упомянуть будто цензура затрудняется ее пропустить (а у насъ публика на запретное падка)—покормишь бѣгунчика завтракомъ или ужиномъ, глядишь, въ двухъ газетахъ слухъ и пущенъ: Знаете: „намъ сообщаютъ изъ достовѣрныхъ источниковъ".

Актеръ засмѣялся и затѣмъ спросилъ Чулкова: „какъ онъ поживаетъ", и не дождавшись отвѣта сталъ жаловаться на свое житье-бытье. По его словамъ, ему не было хода и на его долю доставались только дрянныя и неблагодарныя роли.

— И знаете наше положеніе вообще такое что я думаю бросить все и махнуть въ провинцію: тамъ больше простора таланту, заключилъ онъ.

Чулкову припомнилось что такія точно рѣчи онъ слышалъ отъ этого самаго актера много лѣтъ назадъ.

— Однако, батюшка, заболтался я съ вами. А гдѣ-то наша гроза? А вотъ онъ. Надо пойти полюбезничать.

— Непремѣнно надо? улыбаясь спросилъ Чулковъ.

— Нельзя иначе.—И актеръ состроилъ благочестиво-грустную рожу, какую строилъ въ „серіозныхъ“ роляхъ.

— Почему?

— Онъ, конечно, ничего въ актерскомъ дѣлѣ не понимаетъ, но вопервыхъ, кому же пріятно чтобъ его ругали, а вовторыхъ: для провинціи важно. А то пріѣдешь въ какую-нибудь Казань, а тамъ уже знаютъ какъ васъ ругали.

— Но мнѣ кажется, вамъ слѣдовало бы полагаться на свой талантъ, и на мнѣніе публики.

— Талантъ, конечно, отвѣчалъ актеръ,—но публика у насъ еще глупа.

И актеръ затрусилъ по направленію къ немытому фельетонисту.

— Ну, что-съ, подобострастно кланяясь спросилъ онъ,—понравилась вамъ вчерашняя піеска?

Лицо актера выражало готовность покориться любому приговору фельетониста.

— Дрянь какъ всегда, отозвался фельетонистъ.

— А исполненіе? какъ вамъ понравился NN? (Актеръ назвалъ извѣстное имя).

— Очень недуренъ.

— Неужели вамъ понравился? съ благоговѣйнымъ ужасомъ спросилъ онъ, и пошелъ разбирать игру своего товарища.—Я не говорю, онъ человѣкъ не безъ таланта, но вчера былъ положительно плохъ, и еслибъ вы знали что̀ это за нравственная дрянь!...

Актеръ выругалъ этого и еще нѣсколькихъ своихъ товарищей.

— Только вы насъ не очень ругайте, почему-то добавилъ онъ.

— Я, кажется, васъ рѣдко....

— Помилуйте! Я не про себя. Я вамъ, напротивъ, очень благодаренъ. Вы если и побраните, то всегда за дѣло, и сейчасъ видно что человѣкъ понимающій, не то что другіе. Мы всегда, какъ знаете, относимся къ дѣлу честно и прилежно, но авторы и начальство.... Вотъ вамъ примѣръ....

И актеръ началъ наушничать.

Въ это время изъ кабинета вышелъ Никандръ Ильичъ. Его появленіе было замѣчено: и тѣми кто устремился на встрѣчу редактору, и тѣми кто остался на мѣстѣ въ ожиданіи что самъ редакторъ къ нимъ подойдетъ. Никандръ Ильичъ точно переродился и былъ великолѣпенъ; онъ на десять разныхъ манеровъ обращался съ сотрудниками; говоря съ одними онъ строилъ глубокомысленную физіономію (насколько его лицо дозволяло выражать глубокомысліе); другимъ съ чувствомъ жалъ руку и заглядывалъ въ глаза, приговаривая „очень радъ, батюшка“, или „надѣюсь что напишите къ первому нумеру“, или „великолѣпную статью помѣстили въ *Соревнователѣ:* до утра не могъ оторваться“; съ третьими обращался съ небрежною ласковостью, въ родѣ какъ знакомые господа обращаются въ трактирахъ съ половыми; надъ нѣкоторыми даже посмѣивался, и всѣмъ вообще лгалъ изобильно. Повидимому всѣ оставались довольны редакторскимъ обращеніемъ и находили что Никандръ, хотя и не Богъ-знаетъ какая умница, однако человѣкъ съ тактомъ.

— Вчера забѣгалъ къ Базунову, доложилъ одинъ изъ бѣгунчиковъ:—знаете сколько у *Соловья* подписчиковъ?

— Штукъ триста, отвѣчалъ редакторъ.

— Всего двадцать четыре.

— Скажите, притворно удивился Никандръ Ильичъ,— такой старый журналъ и такъ мало подпищиковъ! А у насъ кажется около сотни. Вы не помните сколько, Валеріянъ Петровичъ? спросилъ онъ секретаря.

— Двѣсти пятьдесятъ четыре, отвѣтилъ секретарь и улыбнулся самымъ блаженнымъ и довольнымъ образомъ: будь ихъ, подпищиковъ то-есть, дѣйствительно сколько онъ сказалъ, и тогда секретарь не могъ бы улыбнуться блаженнѣе и довольнѣе.

— А всего три недѣли какъ программа выпущена!

Нѣкоторые выразили изумленіе; всѣ впрочемъ знали что цифра значительно преувеличена и весь фокусъ состоялъ въ томъ что никто не зналъ во сколько именно разъ: вдвое, втрое или въ двадцать пять.

— Вы остаетесь, Чулковъ? спросилъ Кононовъ, незамѣтно вошедшій въ залу послѣ редактора.

— Посидите немного, и поѣдемъ вмѣстѣ, упрашивалъ Чулковъ. — Право, еще рано, а куріозовъ здѣсь немало.

Кононовъ сдался на просьбу пріятеля. Чулковъ насторожился и сталъ чутко прислушиваться къ толкамъ, готовый бѣжать на добычу при первомъ дикомъ словѣ. Но звѣрь, какъ извѣстно, на ловца бѣжитъ, и вотъ не подалеку отъ нашихъ пріятелей усѣлись знакомый актеръ и знаменитый нашъ художникъ Мазковъ. Художникъ не того полуисчезнувшаго типа къ коему принадлежалъ Семенъ Иванычъ, а типа нарождающагося; словомъ, *новый* художникъ. Сей Мазковъ, какъ извѣстно всему образованному міру, прославился своей картиной *Исповѣдь*. Въ грязненькой комнаткѣ былъ изображенъ священникъ со всклоченною бородой и краснымъ но-

сомъ, и подлѣ его молодой человѣкъ до того истомленный что одинъ глазъ былъ на палецъ выше другаго; впрочемъ, послѣднее, какъ утверждали клеветники, произошло отъ неумѣнья рисовать. У молодаго человѣка изъ кармана торчало что-то бѣлое: что̀ именно, платокъ или свертокъ бумагъ, разобрать было трудно; что̀ бы однако ни торчало, это обстоятельство послужило къ успѣху картины: бѣлое пятно подало поводъ думать что исповѣдующійся есть политическій преступникъ. Какъ извѣстно, художественная критика признала за картиной несомнѣнную соціальную заслугу, и откупщикъ Водопьяновъ купилъ ее за 4.000 рублей для своей „галдареи".

— Ну, что̀, довольны вы своею заграничною поѣздкой? спросилъ актеръ.

— Эхъ, батюшка, откровенно говоря славны бубны за горами! отвѣчалъ художникъ.

— То же было и со мной. У насъ кричатъ: французскіе актеры, французскіе актеры! А поглядишь на этихъ хваленыхъ молодцовъ: одни фокусы! Ни души, ни естественности! Нѣтъ, они далеко отстали отъ насъ.

Актеръ, въ скобкахъ, довелъ естественность до того что однимъ и тѣмъ же тономъ говорилъ на сценѣ: „я умру за отечество", и въ клубѣ: „что̀ вы сдѣлали въ пикетъ?" Что касается души, то въ качествѣ человѣка развито̀го, актеръ души не признавалъ.

— Именно фокусы, подхватилъ художникъ.— Вотъ и въ нашей академіи господа профессора все твердили: Рафаэль, Рафаэль! А что̀ такое Рафаэль? По-моему, комнатный живописецъ, больше ничего: стѣны цвѣточками разрисовывалъ знатно.

Послѣднее предложеніе, какъ необычайно остроумное, художникъ подчеркнулъ и произнесъ его съ такою трактирною развязностью что Кононова передернуло.

— И что̀ за сюжеты! продолжалъ художникъ.—Я по крайней мѣрѣ нигдѣ не видалъ въ натурѣ летающихъ по воздуху мужиковъ.

Кононовъ опять поморщился.

— Извините, обратился къ нему съ усмѣшливымъ сожалѣніемъ художникъ, — я быть-можетъ нечаянно оскорбилъ ваши религіозныя убѣжденія.

Кононовъ ничего не отвѣчалъ.

— Вы это насчетъ *Преображенія?* освѣдомился Чулковъ.

— Да. Я, впрочемъ, хорошенько не припомню: Преображеніе или Воскресеніе. Мало ли этихъ!... (Художникъ выразился черезчуръ безцеремонно.) И вы не можете вообразить, обратился онъ опять къ актеру,— что̀ это за народъ былъ, эти великіе художники! (Слово „великіе“ было произнесено съ необычайнымъ презрѣніемъ.) Что̀ за низкіе льстецы! Вообразите, своихъ папъ святыми рисовали! А вы знаете каковы были эти папы!

Самъ художникъ былъ человѣкъ безукоризненный; если за дорогія деньги онъ и называлъ откупщика Водопьянова въ глаза меценатомъ, то за глаза величалъ дуракомъ ничего въ художествѣ не смыслящимъ; что же касается папъ, то онъ отъ своего пріятеля злобнаго политика слышалъ что Пій IX въ юности былъ либераломъ, а потомъ сталъ ретроградомъ; знанія же актера насчетъ папъ были того основательнѣе, а именно ограничивались поговоркой: „въ Римѣ быть, папы не видать“.

— Да, съ озабоченнымъ видомъ отвѣчалъ актеръ (точь-въ-точь такая *игра* физіономіи была у него на сценѣ когда онъ не зналъ роли или приходилось выговаривать мудреное иностранное слово).

— Поклонники кричатъ: „красота, красота!“ Но что̀ такое красота? У всякаго вѣка свои идеи, и нашъ вѣкъ несомнѣнно ушелъ далеко впередъ, и у насъ, хотя мы и не великіе художники, задачи повыше изображенія какой-нибудь красоты!

— Напримѣръ, изображеніе заработной платы? спросилъ Чулковъ.

— Да, и прочее, неопредѣленно отвѣчалъ художникъ.—Развѣ вы не читали Прудона? спросилъ онъ, точно самъ что-либо, кромѣ фельетоновъ гдѣ говорилось о его картинахъ, читалъ.

Чулковъ не отвѣчалъ, ибо былъ отвлеченъ жаркимъ споромъ доносившимся съ другаго конца залы.

— А я вамъ говорю что онъ подкупленъ! кричалъ голосъ.

— Почемъ вы знаете?

— Значитъ знаю, когда говорю. И сами скажите: кто могъ заставить его выражать такія мнѣнія, еслибъ онъ не былъ подкупленъ.

— Славный примѣрчикъ для моего собранія неопровержимыхъ аргументовъ, шепнулъ Чулковъ Кононову.

— И васъ это радуетъ?

— Еще бы: смѣшно!

— Скорѣй грустно.

Гости между тѣмъ продолжали съѣзжаться; аристократія, какъ вездѣ, являлась позже. Наши пріятели могли лицезрѣть многихъ именитостей журнальнаго міра.

Въ залѣ просто стонъ стоялъ отъ „дураковъ“, „подлецовъ“, „доносовъ“, „нравственной дряни“, „подкуповъ“ и прочихъ, хотя и бранныхъ, но вполнѣ печатныхъ словъ. Нерѣдко также раздавались фразы: „современный взглядъ на вещи“, или „современная точка зрѣнія“. Однимъ изъ сильныхъ аргументовъ являлись слова: „я не понимаю“. На ряду съ бранью и хвастовствомъ своимъ непониманіемъ, слышались восхваленія столь же крѣпкія и сильныя, столь же заскорузлыя и невѣжественныя. Замѣчательно что если ругательства имѣли цѣлью отрицаніе ругаемаго, то восхваленія стремились уничтожить все кромѣ восхваляемой вещи, конечно *новой*. При этихъ восхваленіяхъ выкрикивались имена новоиспеченныхъ геніевъ, изъ коихъ многимъ судьба готовила завидную участь быть мѣсяцъ, два, даже три во главѣ словесности, науки, музыки и вообще прогресса, а затѣмъ провалиться безслѣдно, исчезнуть по образу дождеваго пузыря.

— Пойдемте однако, сказалъ Кононовъ.

— Еще минуточку, упрашивалъ Чулковъ,—маленькую рекогносцировочку сдѣлаю и баста!

И Владиміръ Дмитричъ отправился на послѣднюю рекогносцировку. Она оказалась удачна.

— Нѣтъ, не спорьте, заговорилъ Знаевъ,—псевдонимъ гораздо лучше. Подпишитесь своимъ именемъ Шавколаевъ, никто читать не станетъ, а подпишитесь напримѣръ *Гамъ-Гамъ* всякій прочтетъ, а если и не прочтетъ, то все же спроситъ: что̀ молъ за *Гамъ-Гамъ?* А одинъ-другой спроситъ, вотъ вамъ и начало извѣстности.

— Нѣтъ, не въ томъ дѣло, тономъ авторитета отвѣчалъ Шавколаевъ, — а хотите добиться извѣстности,

хотите быть замѣченными публикой, хотите чтобы васъ читали, будьте оригинальны: хвалите то что̀ всѣ бранятъ, и браните то что̀ всѣмъ нравится. Повѣрьте, этимъ вы всего добьетесь: васъ непремѣнно захотятъ читать, ну и гонораръ соотвѣтствующій получать будете.

Выслушавъ такое оригинальное опредѣленіе оригинальности, Чулковъ думалъ было уйти, полагая что куріознѣе ничего не услышитъ, какъ политическій споръ привлекъ его вниманіе.

— Ну да, разказывайте про Англію, задорился Экстрамуровъ,—а мы знаемъ что нигдѣ пролетаріатъ такъ не развитъ какъ въ этой странѣ.

— Я не о соціальномъ положеніи говорю, горячился противникъ,—а о свободѣ. Да-съ, о свободѣ. Въ Англіи я свободно могу ругать всякаго, хотя бы министра, хотя бы главу правительства. Да-съ, всякаго. И меня никто въ судъ потребовать не можетъ, никто, кромѣ самой королевы. Тамъ и на заголовкахъ процессовъ такъ и пишутъ: Queen versus такой-то, то-есть королева противъ такого-то. А у насъ всякая дрянь тебя въ клеветѣ обвинить можетъ. Да-съ, я знаю, самъ два мѣсяца высидѣлъ.

„Уйди, Чулковъ, глупѣе ты ничего не услышишь“, сказалъ самому себѣ Владиміръ Дмитричъ и направился къ Кононову.

И наши пріятели, не простясь съ хозяиномъ, ускользнули изъ залы.

IV.

Дорогой Чулковъ предложилъ заѣхать „въ трактирецъ нѣкій для соѣденія и собесѣдованія.“ Не успѣли

наши пріятели порядкомъ усѣсться и заказать ужинъ какъ въ залу вошелъ Мина Иванычъ. Нечего говорить какъ всѣ трое были рады встрѣчѣ.

— А я, знаете, объяснилъ старикъ Кононову,—не могу отъ деревенской привычки отстать—непремѣнно поужинать надо.

— А знаете ли, дѣдушка, гдѣ мы были?—И Чулковъ въ лицахъ представилъ все видѣнное и слышанное.

Кононовъ задумался (о чемъ были его мысли, мы узнаемъ послѣ) и весьма не внимательно слушалъ бесѣду; когда же онъ очнулся, то услышалъ слѣдующую рѣчь Чулкова:

— Нѣтъ, дѣдушка, вы напрасно такъ думаете: хотя Россіянинъ вообще легкомысленъ и, какъ бабочка съ цвѣточка на цвѣточекъ, съ мысли на мысль перепархиваетъ, но есть мужи и жены твердые. И вообще сказать, даже легкомысленный россійскій читатель мудренѣе и своеобычнѣе чѣмъ вы думаете. Вы не глядите что онъ все что̀ подъ руку попадется читаетъ, онъ хитеръ. Вы думаете: онъ выписываетъ эту газету ради ея направленія? Ничуть не бывало, онъ читаетъ только отдѣлъ разныхъ происшествій, и для „него что̀ новаго въ газетѣ?“ значитъ девять убійствъ и три кражи. Какъ скоро этотъ отдѣлъ не полонъ, онъ жалуется что въ газетахъ рѣшительно ничего нѣтъ. Но я увлекся, вѣдь я хотѣлъ сказать о людяхъ во мнѣніи твердыхъ.

— Ну, ну, послушаемъ.

— Начать бы хоть съ бабки моей Ирины Семеновны; дама она, какъ знаете, не молодая, седьмой десятокъ доживаетъ, и ужь насчетъ понятій — кремень. Помилуйте, лѣтъ тридцать, или тридцать пять назадъ

собственноручно поповну за косу оттрепала: не перемигивайся де амурно съ пріѣзжимъ семинаристомъ во храмѣ Божіемъ. И сія дама, столь почтенная, нѣсколько даже воинственная, на старости лѣтъ пристрастіе къ россійской журналистикѣ почувствовала. Заѣхалъ я къ ней въ прошломъ году, глянулъ на журналы что̀ на столѣ лежатъ, и руками даже всплеснулъ. „Бабушка, говорю, неужели и вы, въ лѣтахъ столь почтенныхъ, косу остричь думаете?“ Журналы-то лежатъ, понимаете, самые косострижные.—Другъ мой, отвѣчала, и нѣжно отвѣчала,—неужели ты думаешь что меня ихнія глупости занять могутъ, а до страсти люблю я читать какъ они межь собой грызутся: шута въ домѣ держать не надобно.—Кого бы въ № 2 поставить? Захожу къ знакомому священнику и застаю его за чтеніемъ матеріалистическо-соціалистской книжки. Для начала бесѣды, мой отецъ Григорій оную книжицу похвалилъ. „Батюшка, говорю, да какъ вамъ не стыдно читать-то! Вѣдь это вотъ и вотъ какая книжка!“ А онъ: „преувеличиваете все, по своему обычаю, Владиміръ Дмитричъ, авторъ просто философствуетъ, и не всегда можетъ-быть основательно, но и только, а что о бѣдныхъ говоритъ, то сіе только чувствительное сердце его рекомендуетъ“. И потомъ, въ вящее доказательство, прибавилъ: „я де авторова отца зналъ: препочтенный іерей былъ“. Читай, думаю, отецъ, какія хочешь книжки— вреда онѣ тебѣ не принесутъ.—Теперь № 3. Купчина, лабазъ имѣетъ. Во время польскаго бунта газету сталъ выписывать. А дома черезъ два отъ него — редакція полонофильской газеты была. Онъ на нее и подписался, потому близко: и за пересылку не платить, и мальчишка, вмѣсто того чтобъ баловаться, за номеришкомъ

сбѣгаетъ. Читалъ онъ ее отъ доски до доски, даже всякую полемику. И совсѣмъ, знаете, огазетился; кромѣ какъ про политику, разговору нѣтъ. Прихожу, и давай онъ мнѣ всѣ газеты, кромѣ своей, честить. „За что̀, говорю, бранить изволите? „А за то, говоритъ, что они не патріоты своего отечества, а измѣнщики". Этого и разувѣрять не сталъ. А въ редакціи-то, поди, радовались что лабазникъ подписался. „Сочувствіе де къ польскому дѣлу и въ низшіе классы общества проникаетъ!" Ну, и считайте себѣ велика ли ваша партія! Теперь послѣдній примѣрчикъ, на закуску припасъ нарочно. Захожу я какъ-то въ Александринскій театръ: играютъ піесу какую-то; я, признаться, отъ головной боли зашелъ, и что̀ бы они тамъ ни играли мнѣ рѣшительно все равно было. Въ піесѣ изображенъ, между прочимъ, юноша развратный-преразвратный. И въ уста сему юношѣ вложено порицаніе дѣвицамъ, кои бросивъ богатыхъ родителей, съ дуру за переплетное ремесло принялись. Словомъ, косвенная похвала всякому косостриженію, умостриженію и чувствостриженію. Только актеръ кончилъ, публика какъ загремитъ. Ну, думаю, далече однако прогрессъ распространился. Спасибо сосѣди утѣшили: сами аплодируютъ, а сами приговариваютъ: „Хорошенько ихъ *(имрекъ актера)!* Не такъ еще ихъ ругать слѣдуетъ!" Ну, и успокоился я въ сердцѣ своемъ. Нѣтъ, дѣдушка, книжица такая есть, любилъ я ее очень въ юности читать, *Твердость духа Русскихъ* прозывается. Непремѣнно на Толкунѣ отыщу и собственноручно всѣ сіи примѣры въ оную впишу подъ заглавіемъ: *Твердость духа русскихъ читателей.*

— По правдѣ сказать, я во всемъ этомъ мало утѣшительнаго вижу, сказалъ Мина Иванычъ,—ты говоришь о нетронутой массѣ, но....

Но тутъ вышелъ каламбуръ. Только-что старикъ сказалъ слово „нетронутая“, какъ Чулковъ почувствовалъ что его кто-то тронулъ за плечо. Онъ оглянулся и увидалъ скуластое, нѣжно-улыбавшееся лицо своего сожителя Рудометкина.

— А это ты, Амфилохій! Присаживайся.

Рудометкинъ весело, даже черезчуръ весело поздоровался съ Чулковымъ, и съ большимъ чувствомъ (старикъ чуть не вскрикнулъ) пожалъ руку Мины Иваныча.

— А Кононова развѣ не узналъ? спросилъ Чулковъ.—Вмѣстѣ въ университетѣ....

Но съ Рудометкинымъ сталось вдругъ нѣчто непонятное: онъ осклабился, растянулъ ротъ въ какую-то неровную улыбку (казалось, онъ улыбался правою половиной рта больше чѣмъ лѣвою), принялъ нѣсколько униженный видъ и заложивъ руки за спину, пробормоталъ:

— Какже-съ! А я *ихъ* и не замѣтилъ! Какже-съ, очень даже *ихъ* помню!—И за симъ объявивъ съ особою развязностью что идетъ на билліардѣ шары катать, Рудометкинъ сдѣлалъ неуклюжій общій поклонъ и стремительно вышелъ изъ залы.

— Пьянъ дуракъ! сказалъ Чулковъ, желая какъ-нибудь объяснить поступокъ сожителя: всѣ трое не иначе толковали его, какъ умышленное оскорбленіе Кононова.

Никто не отвѣчалъ. Кононовъ находился въ положеніи человѣка обруганнаго пьянымъ прохожимъ, или вѣрнѣе человѣка нежданно облитаго какою-нибудь гадостью. Старикъ недоумѣвалъ какъ такой скромный молодой человѣкъ и главное „съ такимъ прекраснымъ

сердцемъ" могъ подать какой-нибудь поводъ къ безобразной выходкѣ Рудометкина. И это происшествіе казалось ему тѣмъ необъяснимѣе что послѣ бесѣды съ Амфилохіемъ онъ считалъ его человѣкомъ весьма не глупымъ.

Дальнѣйшая бесѣда не клеилась, и Чулковъ напрасно хотѣлъ развеселить компанію: онъ видѣлъ, что своими стараніями заставить забыть о казусѣ онъ только напоминалъ о немъ. Приходилось разойтись по домамъ.

По пути домой, Кононову нѣсколько разъ приходило въ голову: „чѣмъ онъ могъ досадить Рудометкину?" На этотъ вопросъ отвѣта не только не было, но даже не предвидѣлось: они давнымъ давно не встрѣчались и вообще никогда не были особенно близки.

„Или такъ пріятно оскорбить другаго?" спросилъ себя Кононовъ. „Но, впрочемъ, что̀ думать о пустякахъ! Мнѣ что-то пришло въ голову; Чулковъ что-то говорилъ...."

Онъ сталъ вспоминать.

„Да, онъ сказалъ что нынче мало охотниковъ жить по-своему, и я подумалъ что если это правда, если это явленіе не поверхностное, а болѣе глубокое, то должно непремѣнно отразиться на искусствѣ."

И мысль его отъ мелочныхъ явленій обиходной жизни перенеслась на высшія сферы человѣческой дѣятельности, и тамъ она почувствовала себя на просторѣ. Таково было свойство ума нашего пріятеля.

Мысли пришедшія ему въ голову онъ рѣшилъ не оставлять втунѣ и заняться ими.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Чулковъ зналъ Рудометкина за человѣка честнаго и правдиваго, а потому былъ крайне огорченъ его выходкой и рѣшилъ подвергнуть своего сожителя строжайшему допросу. Сожитель, предчувствуя что быть де допросу, умышленно дня три избѣгалъ Чулкова; онъ являлся поздно, уходилъ рано и прибѣгалъ къ инымъ столь же не мудрымъ хитростямъ. Наконецъ, видя что „допроса не миновать", Рудометкинъ рѣшился укрѣпиться духомъ и выдержать нападеніе пріятеля. Придя домой послѣ обѣда, онъ затворился въ свою комнату и усиленно принялся за чтеніе. Къ вечернему чаю онъ вышелъ съ книгой и притворился по горло занятымъ человѣкомъ. Такими невинными фокусами онъ однако ни мало не отвелъ глазъ Чулкову. Но раньше позвольте васъ познакомить съ Амфилохіемъ Григорьевичемъ, человѣкомъ во многихъ отношеніяхъ замѣчательнымъ.

Рудометкинъ былъ теоретикъ какихъ встрѣчаешь только на Руси. Любители валить съ больной головы на здоровую, мы не прочь посмѣяться надъ теоретичностью нашихъ добрыхъ сосѣдей Нѣмцевъ и даже порой изображать Нѣмца не иначе какъ воплощенною теоріей. Разница тутъ кажется въ томъ что теорія весьма не мѣшаетъ Нѣмцу быть человѣкомъ практическимъ и жить какъ всѣ люди живутъ; Русскій же, какъ ввергнется въ теорію, то весь до малѣйшаго суставчика пропитается ею. Можетъ-быть это зависитъ отъ того что наши теоріи бываютъ по большей части самодѣль-

ными, а самодѣльщикъ къ самодѣльщинѣ всегда особенно пристрастенъ. Амфилохій Григорьевичъ обучалъ юношество русской исторіи и зналъ свой предметъ досконально. Но ему мало было знать, онъ жилъ исторіей, искалъ въ ней осуществленія своихъ идеаловъ, проникался ея духомъ. Рудометкину, по натурѣ, нравилась всякая удаль, молодечество, беззавѣтность; онъ мечталъ о свободѣ, любилъ родину и науку. И онъ искалъ времени, когда все это входиловъ обиходъ, двигало жизнью; когда эти качества были людямъ дороже жизни, потому что жизнь безъ нихъ казалась ничѣмъ. И онъ былъ увѣренъ что такое время существовало: то былъ до-татарскій періодъ русской исторіи, время Владиміровъ, Ярославовъ, Мстиславовъ, время князей страдальцевъ за родную землю, князей оборонителей народныхъ вольностей, князей любителей и распространителей просвѣщенія. Выше этого времени, по его мнѣнію, никогда ничего не было въ мірѣ; дальнѣйшая русская исторія для него была постепеннымъ искаженіемъ великаго начала, и если онъ останавливался съ любовью на нѣкоторыхъ историческихъ личностяхъ, то потому что казались они ему какъ бы отзвукомъ той первоначальной нашей славы. Въ современномъ обществѣ онъ не видѣлъ ни одного изъ излюбленныхъ имъ качествъ, отличительныхъ качествъ всякаго истаго русскаго человѣка. И онъ чуждался общества, ограничиваясь шапочнымъ знакомствомъ, за исключеніемъ Чулкова и еще двухъ-трехъ пріятелей.

Но отметая современное общество, Рудометкинъ любилъ простой народъ и видѣлъ въ немъ народъ избранный. Не долюбливая литературы, онъ благоговѣлъ предъ народными былинами и пѣснями, и малѣйшее къ нимъ

не то что отрицательное, а просто критическое отношеніе полагалъ святотатствомъ. Въ житейскихъ привычкахъ Амфилохій былъ столь же своеобыченъ какъ и въ теоріи. Цѣлый мѣсяцъ онъ покойно занимался по утрамъ уроками, а по вечерамъ изученіемъ своего предмета или бесѣдами о немъ, но около перваго числа, время полученія жалованья, становился нервенъ и характеромъ раздражителенъ. Получивъ жалованье, Рудометкинъ, предварительно обезпечивъ себѣ на мѣсяцъ питаніе и кровъ, закатывался на нѣсколько дней и начиналъ, какъ выражался, „прожигать жизнь". Такое прожиганіе казалось ему необходимою принадлежностью нашего печальнаго времени, когда ни на что доброе нельзя употребить данную отъ Бога силу. Прожиганіе начиналось съ того что нанимался Семенъ-лихачъ, великій почитатель и закадычный другъ Амфилохія Григорьевича. Рудометкинъ и въ тверезые дни не иначе здоровался съ Семеномъ какъ за руку. Возсѣвши на Семена, Рудометкинъ объѣзжалъ нѣкоторыхъ пріятелей, не забывая по дорогѣ ни трактировъ, ни иныхъ выпивательныхъ заведеній. Часамъ къ пяти и въ состояніи значительнаго зашибленія, онъ являлся къ своему пріятелю портному и между ними происходилъ примѣрно такой разговоръ:

— Ты, Амфиля?

— Я, Ваня.

— Аль началъ опять?

— Есть тотъ грѣхъ.

— Дрызгануть нешто?

— Дрызганемъ.

И они посылали за дюжиной пива и распивая вели смиренную бесѣдушку. Ваня разказывалъ Амфилѣ про

свое житье-бытье и о томъ какъ изъ деревенскихъ мальчишекъ онъ вышелъ въ люди, а Амфиля поучалъ Ваню русской исторіи и укрѣплялъ его въ вѣрѣ что Русскій народъ есть новый Израиль, народъ Божій. Наговорившись они начинали ревѣть пѣсни. Кутежъ обычно заканчивался посѣщеніемъ полпивной Ярославца Ивана Андреева. Сей Иванъ Андреевъ, или какъ ради краткости и красоты слога называли его Иванъ Андревъ, снискалъ особое расположеніе Амфилохія Григорьевича по слѣдующему случаю. Амфилохій разказывалъ однажды любознательному Ярославцу про Петра и когда распространился какъ Петръ самъ топоромъ работалъ (черта по понятнымъ причинамъ бывшая для Амфилохія любезною въ Петрѣ), Ярославецъ замѣтилъ:

— Не царское дѣло топоромъ ручки мозолить.

Это замѣчаніе показалось Амфилохію весьма мудрымъ, и онъ преклонился предъ здравымъ русскимъ умомъ Андрева.

Къ бесѣдѣ у Андрева всегда приглашался и Семенъ, великій балагуръ и пѣсенникъ, а равно нѣкоторые изъ завсегдатаевъ заведенія. Тутъ были свои остряки, состязавшіеся по часамъ въ переворачиваньи словъ (ни дать, ни взять Шекспировскіе клоуны) изъ-за преміи назначаемой Рудометкинымъ въ видѣ водки съ приличною закуской, свои пѣвцы, свои бахари и безъ скомороховъ не обходилось. Тѣ художники что̀ на масляной и о Святой леденѣющими устами повѣствуютъ разныя разности съ каруселей Адмиралтейской площади, не стѣсняемые „слишкомъ чопорною“ цензурой, разыгрывали свои шутки.

„Ну да, думывалъ Амфилохій, глядя на полупьяныхъ и совсѣмъ пьяныхъ собесѣдниковъ и обращаясь къ

кому-то невидимому,—развѣ въ вашемъ сосьетѐ такое веселье бываетъ? Толкуете себѣ о вздорѣ, въ чемъ и сами ни бельмеса не смыслите, да и думаете что умными рѣчами занимаетесь! А у насъ если разговоръ зайдетъ, такъ про бывалое, изъ жизни ли, изъ исторіи, а не о пустяшныхъ теорійкахъ болтаемъ! И все то дѣлается не по принужденію какъ у васъ, а по всей нашей волѣ, какъ говаривалось въ древнемъ Новѣгородѣ."

И Рудометкинъ только въ эти дни бывалъ веселъ, счастливъ и доволенъ самъ собой и находилъ что лучше и умнѣе и веселѣе народа Русскаго никого на свѣтѣ нѣтъ.

— Ну, Амфилка, а съ завтра за работу! говаривалъ онъ себѣ, возвращаясь послѣ трехдневной отлучки на вельми опьянѣвшемъ Семенѣ.

И съ завтраго начиналась для него образованная жизнь. Таковъ-то былъ Амфилохій Григорьевичъ Рудометкинъ и, правду говоря, былъ онъ славный малый.

Сей-то славный малый потупилъ глаза въ книгу, видя что Чулковъ входитъ въ комнату. Они перекинулись нѣсколькими незначущими фразами.

— Послушай-ка! сказалъ Чулковъ выпивъ стаканъ чаю.

Амфилохій хотѣлъ было показать, что прослышалъ обращеніе пріятеля, но не сумѣлъ. Онъ быстро и неловко вскинулъ на него глазами, и еще быстрѣе и неловче углубился въ книгу.

— Скажи пожалуста, ты четвертаго дня съ ума сходилъ или пьянъ былъ? спросилъ Владиміръ Дмитричъ.

— Съ чего это? подразумѣвая „ты это думаешь",

спросилъ Рудометкинъ, любившій выражаться съ древненовгородскою краткостью.

— Съ того: Кононову руки не подалъ, въ тонъ ему отвѣтилъ Чулковъ.

— Не хотѣлъ, не подалъ.

— Да пойми, мрачнѣйшій изъ смертныхъ, что сіе законами общежитія возбраняется. Вѣдь это невѣжество.

— Очень мнѣ нужно вашу куртуàзію соблюдать.

— Другъ мой, и древлерусскіе богатыри того не дѣлывали. Войдетъ богатырь во гридницу,

Крестъ кладетъ по-писаному,
Поклонъ ведетъ по-ученому,
На всѣ на четыре на стороны.

Воззваніе къ богатырской вѣжливости не могло не подѣйствовать на Амфилохія; онъ почувствовалъ что прегрѣшилъ противъ идеала.

— Ну просто не люблю его, пробурчалъ онъ чтобы какъ-нибудь извинить себя.

— Сіе не есть резонъ, какъ говаривалъ твой личный врагъ Петръ Первый.—Я вотъ яблокъ не люблю, но нельзя же мнѣ въ силу сего всѣ лотки съ яблоками опрокидывать.

— Ну, пошелъ глупости прибирать.

— И за чтò тебѣ его не любить? Къ одной кумѣ, кажись, не хаживали.

— За чтò? съ силой спросилъ Рудометкинъ и съ не меньшею силой отвѣтилъ:—а за то что тонкачъ.

— Въ какомъ смыслѣ?

— А въ такомъ что онъ не нашего поля ягода; ему бы на всемъ готовомъ жить да тонкими блюдами питаться; бѣлоручка онъ умственная, вотъ чтò. У него

и душа такая, точно ее въ батистовыхъ пеленкахъ выносили. Чуть складочка подвернулась, и умираетъ.

— Ты самъ-то давно ли въ столь тонкія сравненія пустился? съ изумленіемъ спросилъ Чулковъ.

— Ну да, не слушая его продолжалъ Рудометкинъ, — онъ только и умѣетъ что въ надушеной комнатѣ сидѣть да тонкоумныя книжечки на тончайшемъ французскомъ языкѣ читать.

Чулкова взорвало.

— А знаешь кто ты? сердито спросилъ онъ сожителя?

— Кто? неустрашимо спросилъ сожитель, хотя и чувствовалъ: „сейчасъ де обругаетъ".

— Амфибрахій ты семинарскій, и больше ничего.

— Это въ какомъ же смыслѣ? освѣдомился озадаченный Амфилохій.

— А въ такомъ же.

И Чулкову до того смѣшна показалась его внезапная злоба, выразившаяся безсмысленною бранью, что онъ расхохотался.

— Видишь, братъ Рудометъ, сказалъ онъ,—скверная у тебя привычка безъ причины и не зная ругать людей.

— Ну, про него-то я знаю.

— Что̀ знаешь?

— Я и тебѣ удивляюсь, продолжалъ Рудометъ,— ты, кажись, человѣкъ русскій, а онъ иностранецъ какой-то, а связался съ нимъ.

— Да что̀ же ты про него знаешь?

— Ну, ужь знаю.

И какъ ни бился Чулковъ, Рудометъ на чемъ сталъ, не сдвинулся, и все твердилъ: „ну, ужь знаю".

„Что̀ бы однако означала сія таинственная фраза?“ раздумывалъ Чулковъ, и по довольномъ размышленіи и переворачиваньи возможныхъ причинъ чуть не закричалъ по-Архимедовски во все горло „нашелъ!“

— Ты все продолжаешь у Воробьевыхъ уроки давать? спросилъ онъ Рудомета, снова углубившагося въ чтеніе.

При имени Воробьевыхъ у Амфилохія, какъ показалось Чулкову, слегка дрогнула щека. Такое обстоятельство, впрочемъ, вполнѣ оправдывалось тѣмъ что Амфилохій имѣлъ великое стыденіе къ женскому полу вообще, и входя въ домъ гдѣ давалъ уроки барышнямъ, всегда робѣлъ и по неизвѣстной причинѣ съ великимъ усердіемъ теръ въ передней правую ладонь.

— Что̀ жь, какъ тебѣ нравится ученица? Не влюбился еще? беззаботно спросилъ Чулковъ.

— Дуракъ! заоралъ Амфилохій, вскакивая со стула. Онъ зачѣмъ-то захватилъ съ собою и книгу, поднесъ ее чуть не къ скуламъ и потомъ грузно и плашмя бросилъ на столъ.

— Что̀ съ тобою? самымъ невиннымъ тономъ спросилъ Чулковъ.

— Послѣ такихъ словъ....

И не договоривъ, Рудометкинъ взялъ книгу подъ мышку и быстро пошелъ къ двери.

— Куда же ты?

— Видишь, Чулковъ, не безъ волненія проговорилъ Амфилохій, останавливаясь въ дверяхъ, — знай ты что это за дѣвушка, ты никогда бы!...—И опять не договоривъ, онъ быстро повернулся и вышелъ, хлопнувъ дверью.

„Ну такъ и есть, самъ того не зная, влюбился, и

изъ слѣпой ревности, тоже самъ того не зная, обидѣлъ мнимаго соперника", рѣшилъ Владиміръ Дмитричъ.

Мы увидимъ насколько онъ былъ правъ.

II.

Минѣ Иванычу, вскорѣ послѣ описаннаго въ концѣ предыдущей главы, случилось поближе познакомиться съ Кононовымъ. Вотъ какъ это произошло. Старикъ зашелъ за необходимыми, для разъясненія занимавшаго его археологическаго вопроса, справками въ Публичную Библіотеку. Туда же зашелъ и Кононовъ. Я сказалъ, что мысли о современномъ художествѣ такъ заняли Кононова что онъ рѣшился не оставлять ихъ втунѣ. И дѣйствительно, онъ старался провѣрить ихъ и по возможности разработать. Для этого ему потребовалось прочесть нѣсколько сочиненій, и ради этой-то цѣли онъ зашелъ въ библіотеку. Старику, какъ мы знаемъ, Кононовъ понравился съ перваго разу и главное за то что „съ прекраснымъ сердцемъ человѣкъ". Случилось что они почти одновременно окончили занятія. Мина Иванычъ спросилъ молодаго человѣка чѣмъ именно онъ занимался; они разговорились и вышли вмѣстѣ. Мысли Кононова показались старику замѣчательными, и чтобы подробнѣе поговорить о предметѣ онъ пригласилъ его отобѣдать вмѣстѣ.

— Не можете ли вы мнѣ какъ-нибудь нагляднѣе объяснить вашу мысль? спросилъ, между прочимъ, старикъ.

— Не случалось ли вамъ испытывать подобнаго впечатлѣнія: вы смотрите на картину, гдѣ изображена, положимъ, сцена изъ жизни Христа, и вы чувствуете что

васъ занимаетъ не художественный образъ, не самая картина, а взглядъ художника на событіе, и вы кромѣ того чувствуете что и самъ художникъ старался выразить преимущественно свое воззрѣніе, свой критическій взглядъ на данное событіе. Такимъ образомъ весь интересъ картины не въ ней самой, а внѣ ея, во взглядахъ той или иной критической школы. Предъ вами не художественное произведеніе, а живописное изложеніе извѣстной мысли, и чувство возбуждаемое ею не можетъ назваться эстетическимъ.

— Прекрасно, и я вполнѣ васъ понимаю, но продолжайте.

— Въ музыкѣ дѣло поставлено еще проще; композиторъ вамъ предварительно доказываетъ въ особой книжкѣ почему именно его произведенія прекрасны и проситъ васъ не просто наслаждаться его музыкой, а наслаждаться какъ *ему* угодно и слушая непрестанно помнить новые принципы искусства. И позвольте еще примѣръ: не случалось ли вамъ, читая повѣсть, романъ, или поэму, удивляться не творчеству автора, не изображеннымъ образамъ, а тому что онъ искусно и правдиво описываетъ тѣ, или иныя случайныя впечатлѣнія, или подробности быта. И вы невольно замѣчаете что авторъ именно объ этой точности старался, и опять цѣль не въ самомъ произведеніи, а внѣ его.

При слѣдующихъ встрѣчахъ, старикъ постоянно справлялся о ходѣ занятій Кононова, и потомъ зайдя къ нему попросилъ его прочесть наброски. Кононовъ, послѣ небольшаго колебанія, согласился. И сколько дружескаго вниманія, теплаго сочувствія и тонкаго пониманія встрѣтилъ онъ! Сколько дѣльныхъ совѣтовъ и умныхъ замѣчаній услышалъ! Кононову, жившему послѣд-

нее время слишкомъ уединенно, слишкомъ обособленно, какъ было не полюбить умнаго старика!

— Трудитесь, трудитесь, молодой человѣкъ, сказалъ между прочимъ Мина Иванычъ.

И эти простыя слова произвели на нашего пріятеля ободряющее дѣйствіе. Онъ слыхивалъ подобныя поощренія и прежде, хотя бы изъ устъ Никандра Ильича, но то были поощренія людей безсмысленно повторявшихъ громкія фразы о служеніи обществу и т. п., людей для кого умственный трудъ былъ дѣломъ второстепеннымъ. И значили они не болѣе фразъ „пишите, молодой человѣкъ, больше пишите", и т. п., что̀ приходится слышать всякому имѣвшему успѣхъ драматургу отъ актеровъ игравшихъ въ его піесѣ.

Сблизившись съ Кононовымъ, старикъ никому проходу не давалъ, доказывая какой это прекрасный и серіозный молодой человѣкъ и, правду сказать, многимъ надоѣдалъ своими похвалами: однимъ не было дѣла до прекрасныхъ и серіозныхъ молодыхъ людей, а другимъ вообще ни до чего не было дѣла. Но Мина Иванычъ не уставалъ, и вспомнивъ какъ-то что съ недѣлю не бывалъ у своихъ, отправился къ племянницамъ не безъ намѣренія и тамъ потолковать о Петрѣ Андреевичѣ. Его встрѣтила тетя Маша.

— Давненько я, сестрица, не былъ у васъ, началъ старикъ.

— Да, давненько-таки, подтвердила старушка. — Да и не вы одни: по милости Павлы Тимоѳеевны точно въ карантинѣ живемъ. Только, прости Господи, зачумленныхъ и видимъ. А что̀ хорошаго? Ихъ даже въ журналахъ вотъ описываютъ.

Мина Иванычъ взглянулъ на обложку, вспомнилъ Чулкова и усмѣхнулся.

— И не повѣрите, братецъ, какъ намъ этотъ шабашъ надоѣлъ. Старушка остановилась и точно сообразила что-то.—А вѣдь истинно шабашъ, только что не по субботамъ, а по четвергамъ. Ни дать ни взять синагога жидовская, когда они своего Гамана проклинаютъ [1]). Ужь на дворянскій домъ вовсе не похоже.

Старики помолчали.

— А Кононовъ не заходилъ къ вамъ? спросилъ старикъ.

— Это который? Старушка начала что-то соображать, но таково торопливо что ничего толкомъ не успѣла сообразить.—Бѣлокурый, тонкій такой, еще Владиміра Дмитріевича пріятель?

— Да.

— Тоже давно не бывалъ.

— А какъ вы его, сестрица, находите?

Сестрицѣ почему-то подумалось, что братецъ не спроста спрашиваетъ о Кононовѣ, и она хотѣла отвѣтить братцу угодное, только не знала хорошенько что̀ именно отвѣтить.

— Какъ вамъ сказать, братецъ? Онъ мало какъ-то бывалъ у насъ, и я къ нему порядкомъ не приглядѣлась. Но по глазамъ видно что умный человѣкъ; глаза у него такіе прекрасные и задумчивые, только блѣденъ что-то, должно-быть отъ занятій. Или ужь не боленъ ли, бѣдняжка?

Сказавъ „бѣдняжка", старушка вздохнула, и ей отъ души стало жаль Кононова.

---

[1]) Въ извѣстный день у Евреевъ вспоминается избавленіе народа отъ избіенія заступничествомъ царицы Эсѳири предъ Артаксерксомъ. При имени Гамана (Амана) всѣ присутствующіе начинаютъ кричать и проклинать этого злодѣя.

— Онъ очень умный человѣкъ, и главное съ прекраснымъ сердцемъ! не безъ торжества сказалъ старикъ.

— Ну вотъ видите! съ радостнымъ упрекомъ воскликнула тетя Маша, точно она долго убѣждала брата, что у Кононова прекрасное сердце, а тотъ все упрямился, и наконецъ-то сдался. И слѣдомъ ей пришли въ голову соображенія для нея самое неясныя и даже нѣсколько таинственныя, но нравившіяся ей именно по причинѣ своей неясности и таинственности.—И состояньице у него, сказывалъ Владиміръ Дмитричъ, есть, прибавила она.

Мина Иванычъ посмотрѣлъ на сестру, дивясь при чемъ тутъ „состояньице".

— Это все равно, сестрица, а главное что онъ хорошій человѣкъ и дай намъ Богъ побольше такихъ молодыхъ людей!

— Я очень рада, братецъ, что онъ вамъ нравится; нехорошій человѣкъ, я знаю, вамъ и не понравится, отвѣчала тетя Маша, весьма довольная что ея нѣсколько для нея самое таинственныя соображенія, какъ казалось ей, раздѣляются братомъ.—И хорошо было бы еслибъ и Людмилочкѣ понравился.

Мина Иванычъ, занятый мыслями о достоинствѣ Кононова, никакъ не ждалъ такого заключенія. Онъ во всѣ глаза поглядѣлъ на сестру.

— Что̀ жь, братецъ? наивно улыбнулась Марья Ивановна, и этою улыбкой точно приглашала улыбнуться и брата, и точно: Мина Иванычъ взглянулъ на сестру и также наивно, какъ она, улыбнулся.—Что̀ жь, продолжала она,—и дай Богъ, и хотя я ничего такого не замѣчала еще, но желаю Людмилочкѣ всякаго счастья, и если вы находите что онъ...

Въ это время послышались шажки Людмилы Тимоѳевны.

— Тише, братецъ, Людмила идетъ.

Марья Ивановна проговорила эту фразу шепотомъ и вдобавокъ, хотя съ ошибками и дурнымъ выговоромъ, но пофранцузски. Французскій языкъ почему-то показался доброй старушкѣ въ семъ случаѣ вещью необходимою. Людмила Тимоѳевна, поздоровавшись съ дядей, попеняла ему зачѣмъ давно не бывалъ.

— Никто у насъ не бываетъ, сказала она. — Только мальчикъ Погалевъ заходитъ, но онъ надоѣлъ. А гдѣ Чулковъ, уѣхалъ?

— Нѣтъ, но, ты знаешь, онъ человѣкъ небогатый и у него занятія...

— Ахъ, какъ это скучно!

— Что̀ скучно? Что̀ у него занятія?

— Да, и это скучно, и все, все скучно!—И барышня глянула куда-то въ сторону.

Марья Ивановна сочла минуту удобною чтобы завести разговоръ о „дѣлѣ", и завести, какъ оно и слѣдуетъ заводить такіе разговоры, издалека. Она сдѣлала брату знакъ глазами, но осторожно, чтобы племянница, какъ-нибудь нечаянно взглянувъ на нее, не поняла хитрости. Правду сказать, Мина Иванычъ не только не понялъ, но и не замѣтилъ сестрицына взгляда, да и врядъ ли нашелся бы на свѣтѣ человѣкъ для этого достаточно проницательный. Тѣмъ не менѣе, когда при слѣдующихъ словахъ племянница быстро повернулась и поглядѣла на тетку, добрая старушка страшно сконфузилась и была увѣрена что покраснѣла.

— Ужь лучше бы, братецъ, вы взяли насъ въ де-

ревню, сказала она, и снова, улучшивъ мгновеніе, столь же выразительно подмигнула брату.

Но и въ этотъ разъ братецъ не замѣтилъ сестрицына подмигиванья. Мина Иванычъ, точно не дослышавъ послѣдней рѣчи, заговорилъ съ племянницей совсѣмъ о другомъ. Деликатные переходы при помощи коихъ тётя Маша думала навести разговоръ на Кононова такимъ образомъ погибли къ немалому огорченію старушки. Это, впрочемъ, не помѣшало ей внутренно засуетиться и затормошиться и обмирать со страху что „дѣло" будетъ испорчено, когда Мина Иванычъ черезъ четверть часа, точно вдругъ вспомнивъ (онъ нерѣдко подобнымъ образомъ перемѣнялъ тему разговора), поблагодарилъ племянницу за доставленное знакомство.

— Какое знакомство?

— Съ Кононовымъ. Мнѣ удалось на дняхъ сблизиться съ нимъ.

И старикъ повторилъ обычную похвалу молодому человѣку.

— Вотъ вы хвалите, вставила тётя Маша,—а онъ у насъ тоже пересталъ бывать.

И тетка украдкой взглянула на племянницу.

— Вы вѣрно, дядя, съ нимъ объ ученыхъ вещахъ говорили?

— Да. Онъ теперь занимается...

И старикъ объяснилъ чѣмъ. Тётя Маша строго, но попрежнему незамѣтно, взглянула на брата.

„Ахъ, братецъ, коли сами не умѣютъ, предоставили бы лучше другимъ!" подумала она.

— Да, онъ очень умный человѣкъ, только.... Только, дядя, милый, вы не сердитесь пожалуста!—И Люд-

мила Тимоѳеевна съ ласковою улыбкой въ глазахъ поглядѣла на старика; тотъ улыбнулся въ отвѣтъ, точно хотѣлъ сказать „ну, говори ужь, говори!“—Только, дядя, ужь слишкомъ кажется ученый. Онъ, когда говоритъ съ вами, точно букашку какую-нибудь васъ разсматриваетъ. Право, обидно даже!—И Людмила Тимоѳеевна глянула въ сторону.

— Ты ошибаешься....—И старикъ заговорилъ о „прекрасномъ сердцѣ“.

„Вотъ ужь правду Людочка сказала“, подумала тётя Маша, „эти ученые хорошіе люди, только не умѣютъ дѣло дѣлать. Вотъ хотя бы братецъ Мина Иванычъ“....

III.

Не одна тётя Маша строила планы на счетъ Кононова. Еще двѣ особы, также женскаго пола, питали противъ него замыслы. Вечеръ съ сосиськами, описанный въ четвертой главѣ первой книги настоящей *Исторіи*, какъ извѣстно читателю, не прошелъ безъ послѣдствій. Помнится, я остановился на томъ что Петровна, выслушавъ разказъ блондинки, погрузилась въ глубокую думу; она думала день, думала два и наконецъ надумалась.

— Что̀ жь, возвѣстилъ оракулъ,—человѣкъ онъ хорошій, ужь получше вашего штырмана (читай: г. Худышкина), и главное во̀дкой не занимается, а ужь это, Амалія Ѳедоровна, что ни на есть самое послѣднее занятіе.

Но чтобы вполнѣ уразумѣть значеніе этого оракула, читателю необходимо познакомиться съ Петровной. Порой въ большой и сложной машинѣ и крохотный вин-

тикъ не безъ значенія. Петровна жила по мѣщанскому паспорту, но не иначе себя понимала какъ купчихой. Она утверждала что могла бы жить припѣваючи, но не хочетъ кланяться и унижаться предъ родней. Знай она модныя слова, она говорила бы что живетъ „своимъ трудомъ". Считаться кухаркой она также не желала и была прописана „на квартирѣ". Хотя она готовила кушанья и исполняла у г. Худышкина всякую черную работу, но съ хозяиномъ и Амаліей состояла на дружеской ногѣ и именовала себя компаньйонкой. У Петровны была сестра, жившая съ богатымъ бариномъ,—чѣмъ Петровна не мало гордилась. Она охотно баснословила о красотѣ и богатствѣ своей сестры. Сама же Петровна врядъ ли за красоту попала бы въ кипсекъ; профиль ея напоминалъ новый мѣсяцъ, а ротъ длинную и извилистую трещину. Неизвѣстно, внушала ли она кому и когда нѣжную страсть; сама она выражалась на этотъ счетъ не довольно опредѣлительно. „Смолоду я бойка была", говорила она, „и еслибы хотѣла...." И Петровна превыразительно подмигивала углами длиннаго рта. О ея былой бойкости можно было заключать по необычайной шмыгливости и порывчатости движеній въ почтенный возрастъ сорока съ хвостикомъ. Мысли и чувства урожденной купеческой дочери были столь же, если не больше, порывисты и шмыгливы. Слезы и смѣхъ были у нея необычайно дешевы. Но всѣ эти достоинства затмевались двумя солидными свойствами: необычайною догадливостью и чрезвычайнымъ умѣньемъ гадать на картахъ; вдобавокъ, эти свойства шли всегда рука объ руку. Представлялось ли какое дѣло, Петровна первымъ долгомъ разсуждала о немъ: „такъ ли это?" Задавая вопросъ, она

со словомъ *такъ* никакого предположенія не соединяла; предположеніе долженствовало явиться само собою. Если за вопросомъ ничего не приходило въ голову, то слѣдовалъ отвѣтъ: „нѣтъ, не такъ", и Петровна снова начинала ломать голову. Иногда она мучилась по недѣлямъ, и все выходило „не такъ", но рано или поздно вдохновеніе нисходило, и она отвѣчала себѣ „такъ". Явившееся предположеніе, впрочемъ, не считалось еще непреложнымъ. Чтобы гипотеза стала аксіомой, необходимо было погадать на картахъ. Говорили карты „такъ", сомнѣніе исчезало; говорили карты „не такъ", Петровна снова начинала ломать голову. Понятно что когда почтенной дамѣ желалось чего-нибудь особенно сильно, на карты снисходило то же вдохновеніе что̀ и на нее самое.

Вышеписанный оракулъ былъ добытъ такимъ же путемъ. Амалія Ѳедоровна не сразу раскусила его и услыхавъ о занятіяхъ „штырмана" укоризнено покачала головой. Качаніе было принято за выраженіе недовѣрія и возбудило въ компаньйонкѣ полемическій задоръ. Петровна рѣшилась во что̀ бы то ни стало доказать справедливость своихъ предположеній.

— Да отчего-жь ему (читай: Кононову) и не влюбиться въ васъ? Вы дамочка деликатная и презентабельная, и васъ въ любви содержать всякому лестно.

Амалія Ѳедоровна никакъ не ожидала такого толкованія оракула. Она была польщена, смущена, обрадована, опечалена и испугана. Съ однимъ, а именно что она дамочка деликатная и презентабельная, Амалія Ѳедоровна не могла не согласиться. Но согласившись съ этимъ пунктомъ, можно ли было отвергать

вытекающія изъ него слѣдствія? Смущеніе, радость и испугъ усилились.

— Нѣтъ, вы не должны, Петровна, чуть слышно пролепетала она.

Петровна не дала ей говорить и поспѣшно схватила карты. Увидѣвъ неопровержимое доказательство въ рукахъ Петровны, худенькая блондинка хотѣла-было бѣжать отъ соблазна, но осталась. Видно ей, какъ королевѣ Изабеллѣ,

.... скользить надъ адской бездной
Было страшно, но любезно.

Петровна приступила къ демонстраціи своего мнѣнія. Было брошено на трефоваго короля (Семенъ Иванычъ) и оказалось что сердце бубновой дамы отъ него отвернулось и ему вдобавокъ предстояла печаль по поздней дорогѣ. Было брошено на бубновую даму (Амалія Ѳедоровна) и у нея на сердцѣ оказался пріятный разговоръ съ бубновымъ королемъ, на мысляхъ бубноваго короля интересъ, трефовый же король упалъ въ ноги и опять съ печалью, только теперь печаль предстояла ему по скорой дорогѣ. Петровна выложила бубноваго короля. Блондинка затрепетала. До сихъ поръ, какъ ей казалось, карты говорили правду. Въ минуту гаданія она чувствовала что интересъ бубноваго короля у нея дѣйствительно на мысляхъ, а его пріятный разговоръ у нея на сердцѣ. Что же теперь будетъ? Какъ рѣшится ея судьба? А рѣшится судьба, поди потомъ опровергни это рѣшеніе! Чтобы хотя на время отдалить грядущее грозное рѣшеніе судьбы, Амалія Ѳедоровна заспорила, что Петръ Андреичъ вовсе не бубновый, а червонный король. Компаньйонка поддерживала противное мнѣніе, и хотя блондинка чувство-

вала всю неопровержимость ея доводовъ, тѣмъ не менѣе не сдавалась и грозила даже смѣшать карты. Въ угоду Амаліи Ѳедоровнѣ было гадано на червоннаго, и къ великому удовольствію Петровны ничего не вышло.

— Вотъ какъ не на того короля загадаешь, ничего и не выйдетъ! съ торжествомъ сказала она.—Нѣтъ, Амалія Ѳедоровна,. не спорьте: карты никогда не врутъ.

Загадали па бубноваго. И о, ужасъ! карты подтвердили предыдущее гаданье. Мало что у него на мысляхъ оказалась бубновая дама, а на сердцѣ пріятный съ нею разговоръ, при словахъ: „что̀ будетъ?“ или „чѣмъ кончится?“ (при какихъ именно не могу сказать положительно) выпала такая карта что блондинка, твердо знавшая ея значеніе, вспыхнула, вскрикнула „ахъ!“ и опрометью выбѣжала изъ кухни. Петровна же томно улыбнулась и взявъ карту со стола долго и съ любовью разглядывала ее на свѣтъ, потомъ вздохнула и задумчиво стала тасовать колоду.

Петровна была дама настойчивая и любила проводить свои убѣжденія въ жизнь. Такъ оно было и въ данномъ случаѣ. Она начала чуть не ежедневно доказывать хозяйкѣ что всякая женщина будетъ счастлива, съ Петромъ Андреевичемъ, потому что, первое, онъ человѣкъ съ достаткомъ, стало-быть пріятный, а второе: человѣкъ ученый, стало смирный и простой.

— И повѣрьте, Амалія Ѳедоровна, съ нимъ можно жить припѣваючи. Ужь обѣдъ у насъ кажный день будетъ чудесный, не то что теперь, прости Господи, кофеишку и того порой нѣтъ! И опять: человѣкъ онъ простой, отчета съ васъ спрашивать не будетъ. А ему

все равно не жениться. Диви бы онъ на службѣ состоялъ или хоть учителемъ въ ганмазіи былъ, а то только дома за книжкой сидитъ. Повѣрьте моему, Амалія Ѳедоровна, слову за такого ни одна барышня замужъ не пойдетъ. Вотъ хоть бы сестра моя...

Слѣдовалъ разказъ о богатствѣ сестры, и затѣмъ разговоръ возвращался на прежнее. Трудно рѣшить что̀ именно заставляло Петровну вести такія рѣчи. Правда, говоря о чудесномъ кажный день обѣдѣ, она живо представляла себя участницей въ трапезѣ, но и безъ обѣда, питаясь съ грѣхомъ пополамъ кофеишкой, она не меньше любила свою хозяйку. Она привыкла жить съ нею за „одну семью“ и не отдѣляла своей судьбы отъ судьбы Амаліи Ѳедоровны. Не должно также полагать что хитрая компаньйонка заразилась либеральнымъ взглядомъ на бракъ; напротивъ, порой она высказывала на этотъ счетъ мнѣнія самыя строгія. Напримѣръ, когда въ разговорѣ блондинка замѣтила, что она должна вѣкъ любить Семена Иваныча, Петровна даже прикрикнула на нее: „Да что̀ онъ мужъ вамъ что ли? Вѣнчались вы нѣшто съ нимъ? Такихъ-то какъ онъ много! Вчера былъ, а завтра и нѣтъ его.“ Имѣя такія понятія о святости вѣнца, Петровна весьма строго относилась ко всѣмъ невѣнчаннымъ „баловницамъ“. Изъ общаго правила она исключала только свою сестру, на томъ основаніи что то была ея сестра и жила съ богачемъ, и Амалію Ѳедоровну, по тому резону, что эта была Амалья Ѳедоровна и на придачу Нѣмка. „По ихнему нѣмецкому закону, разсуждала компаньйонка,— она за дядю роднаго и за отца крестнаго замужъ выйти могла. Что̀ жь, все одно грѣхъ. Ей и такъ Господь проститъ.“

Странно дѣйствовали на Амалію Ѳедоровну увѣщанія догадливой гадальщицы. Она имъ, ахъ! не вѣрила, совсѣмъ не вѣрила, но чуть Семенъ Иванычъ со двора, она сейчасъ на кухню, и съ радостнымъ смущеніемъ слушаетъ соблазнительныя рѣчи. Если Петровна долго не заводитъ обычнаго разговора, блондинкѣ не по себѣ и мучительно желается услышать еще разъ что она дамочка деликатная и о всѣхъ послѣдствіяхъ дамской деликатности. Наединѣ она грустила и ждала чего-то и въ чемъ-то раскаивалась: съ жильцомъ вела себя самымъ страннымъ образомъ: старалась избѣгать его, почти не входила въ его комнату, а когда онъ выходилъ со двора, то выглядывала изъ-за двери и находила что онъ *совсѣмъ* особенно-поглядѣлъ на нее.

— Я говорила вамъ, подмигивая ртомъ подтверждала Петровна.

Предъ Семенъ Иванычемъ Амалія Ѳедоровна положительно терялась, безпричинно краснѣла и смущалась, и мрачный художникъ чувствовалъ подступы ревности. Въ послѣднѣе время благодаря „зеленоглазому чудовищу", онъ цѣлую недѣлю примѣрно велъ себя и за долгъ лавочнику нарисовалъ два образа. Амалія Ѳедоровна всю эту недѣлю раскаявалась, читая нѣмецкія молитвы и три раза всплакнула даже.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Кононовъ продолжалъ свои занятія; работа шла успѣшно и время шло незамѣтно. Однажды ночью—на дворѣ свистѣла метель и вѣтеръ злобно врываясь въ

трубу дребежжалъ печными заслонками—онъ засидѣлся долго, пересматривая и передѣлывая замѣтки. Предварительная черновая работа была кончена и можно было хоть завтра же приступить къ отдѣлкѣ или дать время рукописи вылежаться, дать время мыслямъ поуспокоиться и потерять ту острую раздражительность что свойственна имъ въ началѣ труда. Петръ Андреичъ, чего давно съ нимъ не бывало, легъ спать довольный собою и спалъ крѣпко и спокойно.

Солнце разбудило его около десяти часовъ; онъ невольно подбѣжалъ къ окну, и взглянувъ на садишко, куда оно выходило, чуть не вскрикнулъ. Свѣжіе сугробы снѣга сверкали и горѣли; ворона важно расхаживала по крышѣ бесѣдки; воробьи съ громкимъ чириканьемъ дрались на солнцѣ; изъ сосѣднихъ трубъ валилъ дымъ и прямымъ столбомъ не расходясь стоялъ въ воздухѣ; гдѣ-то благовѣстили; съ улицы доносился скрыпъ снѣга подъ полозьями. Хорошо было! Кононовъ рѣшился прогуляться, но по обычаю не торопился привести въ исполненіе своего рѣшенія. Во время чаепитія, онъ подошелъ къ столу, собралъ исписанные листки, кое-что перечелъ, потомъ положилъ бумаги въ столъ, но самъ не отходилъ и не задвигалъ ящика. Онъ простоялъ довольно долго, ни о чемъ не думая, съ какимъ-то смутнымъ чувствомъ жалости на сердцѣ. Наконецъ, съ порывистымъ движеніемъ задвинулъ ящикъ и улыбнулся.

„Опять надулъ себя!“ казалось сказала улыбка.

Но въ то же время молодой человѣкъ почувствовалъ что улыбнулся и проговорилъ мысленно: „опять надулъ себя!“ единственно по привычкѣ. То былъ отзвукъ, воспоминаніе, а не дѣйствительность. Но, странное дѣло,

несмотря на это чувство, мысль пошла по старой дорожкѣ и договорила свою обычную рѣчь:

„Положимъ", думалось молодому человѣку,—„работа и занимала меня, и даже сочувствіе къ ней я встрѣтилъ гдѣ не чаялъ, но къ чему оно? Будь я Англичаниномъ или Нѣмцемъ, или Французомъ—я не тяготился бы ею, я зналъ бы что дѣлать съ нею: она была бы моей лептой въ общую сокровищницу. Она была бы замѣчена, а здѣсь..."

И опять новое бодрое чувство заставило умолкнуть брюжжащую мысль. Но на этотъ разъ чувство было сильнѣе и опредѣленнѣе. Порѣзаное мѣсто зажило, струпъ готовъ свалиться, чуть держится и чувствуешь что подъ нимъ народилась нѣжная свѣжая кожица. Такое сравненіе пришло въ голову Кононову, и онъ почувствовалъ себя выздоравливающимъ, Кононовъ отдавался новому чувству пассивно, не шелъ ему на встрѣчу, но и не противился, не старался ни покорить его, ни ему покориться. Ему точно жаль было сразу покончить съ тѣмъ томительнымъ настроеніемъ въ которомъ онъ жилъ такъ долго. Ему жаль было мечтаній о своей неспособности чему-нибудь отдаться, о невозможности что-нибудь дѣлать. Видно правду говорятъ, что человѣкъ животное привычливое. Можетъ-быть ему жаль было еще мечтаній о женщинѣ, съ кѣмъ онъ могъ бы быть счастливъ, о предстоящей съ нею роковой встрѣчѣ.

„Нѣтъ, сказалъ онъ и почувствовалъ какъ внутренно встряхнулся,—нѣтъ, такъ жить нельзя. И что за мысли приходятъ мнѣ въ голову! Вотъ сейчасъ я подумалъ было что моя работа погибнетъ безслѣдно потому что я Русскій... Право, я начинаю сходить съ ума. Нѣтъ, это не жизнь. Развѣ жизнь въ томъ чтобы разбирать

себя по косточкамъ? Развѣ можно жить не только этимъ, но даже одною умственною работой? Жизнь.... въ чемъ же жизнь?"

На порогѣ, въ видѣ призыва къ жизни, явилась Амалія Ѳедоровна со своимъ обычнымъ „ахъ, да!"

— Что̀ вамъ, Амалья Ѳедоровна? спросилъ Кононовъ, и самъ удивился какъ весело зазвучалъ его голосъ.

— Ахъ, да! повторила блондинка.—А вы собирались со двора? Ну, дѣлать нечего, въ другое время.— И блондинка запечалилась.

— Говорите ужь! Денегъ, что ли, надо?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! вовсе не денегъ, необычайно быстро проговорила блондинка и вдругъ загорѣлась какъ маковъ цвѣтъ.

Румянецъ шелъ къ ея живому личику, и Кононовъ, взглянувъ на нее, замѣтилъ это, и удивился какъ онъ раньше не замѣчалъ что она такая хорошенькая. Онъ невольно улыбнулся, и эта улыбка передалась блондинкѣ, и Кононовъ еще разъ замѣтилъ что она прехорошенькая.

— Чего же вамъ?

— Ахъ, я хотѣла говорить, что Семенъ Иванычъ опять меня ревнуютъ, и много ревнуютъ. И они говорятъ: „какъ я изъ дома уходилъ, ты все въ его комнатѣ сидишь".

— Въ чьей? Когда?

— Ахъ, вы знаете!—И на увѣренія Кононова что онъ ничего не знаетъ:—Ну, они особенно съ того вечера стали, какъ мы съ вами сосиськи кушали.

Кононовъ едва удержался чтобы не вскрикнуть отъ изумленія. Онъ предметъ ревности г. Худышкина! „А

вѣдь она въ самомъ дѣлѣ премиленькая!“ опять почему-то мелькнуло у него въ головѣ.

— Что̀ жь вы хотите, чтобъ я его урезонилъ? спросилъ Кононовъ.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! затрещала блондинка.—Тогда они еще больше будутъ.—Она взглянула на Петра Андреича и точно что̀ увидавъ на его лицѣ, всплеснула руками.—Однако, какой вы хитрый! Я и не думала что вы такой хитрый!

— Чѣмъ же хитрый? изумился Кононовъ.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, вы знаете! И лучше теперь уходите, а я въ другой разъ!

Она глянула ему прямо въ глаза, усмѣхнулась, проговорила: „ахъ, какой хитрый! я теперь узнавала какой вы хитрый!“ и погрозивъ пальцемъ убѣжала изъ комнаты.

Кононовъ только руками развелъ. Маневры Амаліи Ѳедоровны казались ему странными и смѣшными, но ему и въ голову не пришло подумать что̀ они означали. Они не занимали его, какъ въ настоящую минуту не занимала ни ревность Семена Иваныча, да и ничто на свѣтѣ. Радостное и живое чувство что̀ нежданно нѣсколько минутъ назадъ всплеснуло внутри его, усиливалось, и онъ, вопреки своей привычкѣ, не анализовалъ его, не спрашивалъ себя: „откуда оно? надолго ли и чѣмъ кончится?“ Онъ расхаживалъ по комнатѣ, подбѣгалъ къ окну, любовался на снѣгъ и какъ солнышко играло; бралъ первую попавшуюся книгу, развертывалъ ее, начиналъ читать, бросалъ, а на сердцѣ все веселѣй и веселѣй становилось. Кононовъ не прочь былъ подурачиться и пошкольничать. Въ голову лѣзъ всякій вздоръ; то онъ начиналъ увѣрять себя что еще

молодъ и жизнь для него вся впереди, то безсмысленно нѣсколько разъ повторялъ „нѣтъ, это не жизнь“, то начиналъ декламировать про себя стихи.

„Ахъ да!“ припомнилъ онъ, но за восклицаніемъ ничего не припомнилось. „Что̀ такое?“ спрашивала мысль, и въ отвѣтъ вспоминалась блондинка и ея обычное восклицаніе. „Нѣтъ, не то; что̀ же?“ И опять всякій вздоръ лѣзъ въ голову. „Ахъ, да, я хотѣлъ гулять!“ сказалъ громко Кононовъ и началъ спѣшно одѣваться.

Надѣвая сюртукъ, онъ услышалъ какъ въ карманѣ что-зашуршало; онъ вынулъ письмо, прочелъ его и понялъ только что оно писано къ какому-то Ѳедосѣй Ѳедосѣичу, названному разъ, или два вашимъ превосходительствомъ.

„Это вѣрно отъ Слѣпищева рекомендательное“, сказалъ онъ, опуская письмо обратно въ карманъ. „А я вѣдь точно брежу наяву“, пришло ему въ голову и слѣдомъ: „А не съѣздить ли мнѣ нынче къ этому Ѳедосѣичу?“

Дѣйствительно онъ былъ какъ въ бреду. Весело вышелъ онъ на улицу, весело глядѣлъ по сторонамъ, весело сталъ нанимать извощика на Фурштадскую. „Непремѣнно, непремѣнно къ Ѳедосѣичу“, проговорилъ онъ смѣясь, и тотчасъ забылъ про Ѳедосѣича.

Раздраженное вниманіе жадно, но безучастно перескакивало съ предмета на предметъ; присоединявшееся къ этому радостное и свѣжее чувство заставляло Кононова восхищаться всѣмъ на что̀ взглядывалъ глазъ, что̀ слышало ухо. Онъ началъ съ того что восхитился словами извощика „Слава Тѣ, Христе, дорожку послалъ“, затѣмъ бабой съ визгомъ пробѣжавшею какъ разъ подъ

лошадиною мордой, а тамъ голубь лѣниво взлетѣлъ изъ-подъ копытъ, дворникъ картинно оперся на метлу, калитка пронзительно завизжала, городовой ласково бесѣдовалъ съ своимъ пріятелемъ саечникомъ, и морозъ, и солнце, и лица у всѣхъ прохожихъ такія веселыя и радостныя, и самому весело дышится, и дымъ славно вьется, весь пронизанный свѣтлыми лучами! Какъ все хорошо, мило и точно въ первый разъ видится! Когда вниманіе утомлялось пестротой впечатлѣній и раздражительною живостью съ какою они воспринимались, Кононовъ точно заглядывалъ въ себя, но осторожно, украдкой. И ему казалось въ эти мгновенія, что сегодня случится съ нимъ нѣчто особенное, хорошее и непремѣнно неожиданное. И онъ съ напряженнымъ ожиданіемъ глядѣлъ по сторонамъ, словно искалъ, словно думалъ, что вотъ сейчасъ увидитъ это нежданное и хорошее, и опять веселый калейдоскопъ рябилъ предъ глазами, и Кононову необычайно нравилось все, все.

На Фурштадской онъ отыскалъ домъ гдѣ жилъ Ѳедосѣй Ѳедосѣевичъ и быстро вбѣжалъ въ третій этажъ, ни мало не думая зачѣмъ онъ все это дѣлаетъ. На его звонокъ полуотворилась на цѣпи дверь и выглянуло грозное, чухонскаго типа, лицо. „Ты попробуй только пошутить со мной, узнаешь каково шутить съ честною дѣвицей“, казалось говорило это лицо. Кононовъ подалъ свою карточку. Послѣ какихъ-то таинственныхъ шушуканій за полуотворенною дверью, честная чухонская дѣвица сказала: „пошалуста“, и спустила дверь съ цѣпи. Идучи за дѣвицей чрезъ гостиную, Кононову вдругъ пришла дурашная мысль убѣжать и тѣмъ повергнуть въ изумленіе и дѣвицу, и таинственнаго Ѳе-

досѣй Ѳедосѣевича. Но дверь въ кабинетъ отворилась, и движимый тою же жаждой впечатлѣній, нашъ пріятель вошелъ въ кабинетъ и любезно раскланявшись штатскому генералу, подалъ рекомендательное письмо.

Чиновный Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ самъ вышелъ въ люди изъ званія далеко нечиновнаго не только при помощи лба, но и того что̀ полагается человѣку имѣть за этою костью. Онъ важно и углубленно принялся читать письмо. Вообще, въ его движеніяхъ, словахъ и дикціи зрѣлась и слышалась глубокая государственная мудрость, но мудрость эта была, очевидно, не собственнаго изобрѣтенія, а заимствованная. Во всемъ онъ копировалъ какой-то оригиналъ и копировалъ не всегда удачно. Такъ, онъ для чего-то выставлялъ на показъ сухую кисть правой руки; у оригинала дѣйствительно была такая привычка, но у оригинала была мягкая, пухлая и молочно-бѣлая рука, и оригиналъ, любуясь своей рукою, твердо помнилъ что ровно такая же рука была у Сперанскаго и на этомъ основаніи считалъ себя мудрымъ сановникомъ. Говоря, Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ тоже изъ подражанія кому-то удвоивалъ, даже утроивалъ нѣкоторыя согласныя и на нѣкоторыхъ гласныхъ, преимущественно на *а*, вибрировалъ голосомъ. Но и въ этомъ отставалъ отъ оригинала. Тотъ, произнося рѣчи, всегда воображалъ что сидитъ на министерской скамьѣ парламента, и удвоеніе согласныхъ, а равно вибрацію считалъ перломъ парламентскаго краснорѣчія. Зеленовато-сѣрый колоритъ царилъ въ волосахъ, глазахъ и лицѣ копіи съ мудраго сановника. Бесѣдуя съ Кононовымъ, котораго на основаніи Никандрова письма считалъ человѣкомъ литературнымъ, чиновный человѣкъ видимо рисовался.

— Вы жела-а-ете посвятить свои силы службѣ госуда-арственной? краснорѣчиво спросилъ Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ, окончивъ чтеніе письма.

— Точно такъ, ваше превосходительство, отважно солгалъ нашъ пріятель. Ему было весело лгать, и онъ бытъ увѣренъ, что генералъ наговоритъ ему много веселаго.

— А вы знаете что̀ такое служба государственна-ая? строго спросилъ генералъ и не дождавшись отвѣта продолжалъ: — Слу-ужжба госуда-аррственная требу-уетъ угг-лубленія и такъ-сказать погг-лощенія всего челл-ловѣка (правая рука въ знакъ поглощенія сжалась въ кулакъ и на лицѣ явилось такое выраженіе точно генералъ сейчасъ только проглотилъ черезчуръ большой кусокъ). Для не-ее вы дол-лжны за-абыть вв-се и преда-аться ей вв-полнѣ; всякія другія за-анятія при службѣ госсуда-аррственной не мысс-лимы. Готт-овы ли вы посс-вятить себя службѣ госс-уда-аррственной?

Кононовъ отвѣчалъ что готовъ. Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ продолжалъ свою парламентскую рѣчь въ томъ же мудро наставительномъ тонѣ. Нѣсколько секундъ Петръ Андреичъ забавлялся этою рѣчью, какъ раньше перебранкой ломовиковъ на Дворцовомъ мосту, но скоро пересталъ слушать и подъ утомительно-тягучій генеральскій распѣвъ ему, какъ раньше дома, полѣзли въ голову безсвязныя и отчасти вздорныя мысли. А копія съ мясисторукаго сановника между тѣмъ заливалась не хуже пѣвицы подражающей Патти.

— Вы одд-нако лит-тераторъ? такой вопросъ, послѣдовавшій за паузой, пробудилъ снова вниманіе Кононова.

Онъ отвѣчалъ отрицательно, и на замѣчаніе гене-

рала что Никандръ Ильичъ рекомендуетъ его слогъ, объяснилъ происхожденіе Никандрова мнѣнія.

— Дда! глубокомысленно произнесъ Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ и не утерпѣлъ чтобы не высказать соображеній коими хотѣлъ поразить Кононова спеціально какъ литератора, хотя теперь онъ самъ чувствовалъ—это было дѣломъ излишнимъ. Но поди, удержи человѣка чтобъ онъ не высказалъ умнаго, имъ самимъ придуманнаго словца, хотя бы оно было ни къ селу, ни къ городу!

— Д-да! еще глубокомысленнѣе произнесъ генералъ.—Впрочемъ посту-упающему на службу государрственную слѣд-дуетъ оставить....

И генералъ снова сталъ упражняться въ парламентскомъ краснорѣчіи на прежнюю тему.

— А знаете, спросилъ онъ и лицо его вдругъ стало сурово и грозно,—а знаете какъ смотрятъ на лит-тературу *тамъ?*

Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ столь энергически посмотрѣлъ на потолокъ что Кононовъ невольно глянулъ туда же. Тамъ, выше потолка, какъ хорошо было извѣстно чиновному лицу, обиталъ коллежскій совѣтникъ Караваевъ, обычный его партнеръ въ ералашъ, но очевидно не на него онъ мѣтилъ произнося суровое *тамъ.* Генералъ, внушительно сжавъ губы, помолчалъ.

— Неоддо-брительно.

Такимъ словомъ разрѣшилось молчаніе, и слоги этого слова съ трескомъ разсыпались въ воздухѣ, какъ съ силой брошеная пригоршня гороху разсыпается по полу. Оконныя стекла, казалось, прониклись священнымъ трепетомъ и задребежжали.

— Я впрочемъ рѣдд-ко чита-аю, болѣе снисходи-

тельнымъ тономъ сказалъ Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ,—разз-вѣ въ воскресенье фельетонн-чикъ пробѣжишь: неекогда.

И Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ позвонилъ и спросилъ вошедшую Чухонку: принесли ли писаря бумаги. Вниманіе Кононова жадно набросилось на этотъ новый предметъ, и не взирая на то, что чухонская дѣвственница заслуживала разсмотрѣнія, хотя бы по причинѣ безчисленнаго количества вколотыхъ въ платье булавокъ какъ броня защищавшихъ ея грудь, нашъ пріятель съ нѣкоторымъ испугомъ почувствовалъ что живость впечатлѣній, которую онъ испыталъ сегодня, пропадаетъ. „И зачѣмъ я здѣсь? Что̀ мнѣ здѣсь нужно?“ шевельнулось въ его головѣ. Ему припомнилось чувство ожиданія того хорошаго и неожиданнаго что̀ съ нимъ должно случиться сегодня. Не у Ѳедосѣй же Ѳедосѣича исполниться этому ожиданію!

Въ то время какъ нашъ пріятель раздумывалъ такимъ образомъ, Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ продолжалъ разглагольствовать. И жаль что Кононовъ былъ разсѣянъ; онъ узналъ бы многія интересныя вещи. Онъ узналъ бы что три толстѣйшія тетради на столѣ заключаютъ въ себѣ министерскій отчетъ; что существуютъ еще двѣ такія же тетради того же отчета и что это третья уже редакція; узналъ бы онъ также что въ отчетѣ изложены „мысли госсподина миннистра“, то-есть „это такъ только говорится что мысли госсподина миннистра“. Но не узналъ бы онъ чьи именно мысли въ отчетѣ, ибо на счетъ этого тонкаго обстоятельства ихъ превосходительствомъ было хитро умолчано. Можетъ, Кононовъ замѣтилъ бы что такія подробности ему передаются если не какъ литератору, то какъ человѣку близко къ литературѣ стоящему. Но ничего этого не замѣтилъ и не

узналъ нашъ пріятель: онъ спѣшилъ откланяться Ѳедосѣй Ѳедосѣичу.

На прощаньи генералъ попросилъ его въ извѣстный день и часъ зайти въ департаментъ; „мы де вамъ маленькое исс-пы-таніе сдѣлаемъ“, велѣлъ кланяться Никандру Ильичу и увѣрить его и прочая, и прочая, чего Кононовъ совсѣмъ не слышалъ.

II.

Какъ Кононовъ вышелъ на улицу и дохнулъ свѣжимъ воздухомъ, давешнее настроеніе вернулось къ нему. Онъ шелъ быстро, глазѣя по сторонамъ, и опять все вокругъ стало мило и весело; быть-можетъ, это зависѣло отъ того именно, что вниманіе ни на чемъ не сосредоточивалось и безпрерывно мѣняло предметы. И опять какъ только онъ задумывался, ему казалось что непремѣнно, непремѣнно съ нимъ случится сегодня нѣчто хорошее и неожиданное. „Что̀ бы мнѣ такое сдѣлать?“ спрашивалъ онъ себя и дурашливо-веселое расположеніе усиливалось. То его такъ и подмывало дернуть за колокольчикъ у подъѣзда, а самому убѣжать, то откинуть иную шалость, и онъ не безъ труда удерживался отъ соблазна. На Литейной онъ встрѣтилъ г. Хамазова, подлетѣлъ къ нему какъ къ самому искреннему другу и наговорилъ кучу любезностей. Г. Хамазовъ принялъ все это за чистую монету и въ знакъ расположенія разказалъ что „у насъ чортъ знаетъ что̀ дѣлается“. Кононовъ не слушалъ разказа и такимъ образомъ что̀ именно у насъ дѣлается осталось извѣстнымъ только чорту и г. Хамазову.

Кононовъ вышелъ на Невскій. Толпа, бродившая по

проспекту, показалась ему веселою и всѣ лица, даже самыя вицмундирныя, добрыми. Добѣжавъ до Полицейскаго моста, онъ нѣсколько усталъ и съ тѣмъ вмѣстѣ ослабѣла и впечатлительность; домой однако нашъ пріятель не пошелъ, а повернулъ въ обратный путь къ Аничкову мосту. Онъ теперь уже не заглядывался на пеструю толпу и даже прозѣвалъ чудовищныя сани на которыхъ, самъ правя, ѣхалъ самъ графъ РастрясиｰКармановъ. Нашъ пріятель зорко приглядывался: осталась ли въ немъ хоть капля веселья, и есть ли въ немъ надежда на хорошее и неожиданное. „Нѣтъ, видно ничего не случится!“ не безъ грусти твердилъ онъ, и боялся что „бредъ на яву“ скоро совсѣмъ пройдетъ, и старался не думать объ этомъ чтобъ окончательно не разогнать бреда. У Аничкова моста онъ встрѣтилъ Чулкова, обрадовался и веселость вернулась еще разъ. Онъ живо и забавно разказалъ какъ побывалъ у Ѳедосѣй Ѳедосѣича, и Чулковъ подумалъ что „такимъ“ онъ еще не видалъ пріятеля въ нынѣшній пріѣздъ.

— И вотъ вамъ еще примѣръ для коллекціи русскихъ читателей, сказалъ Кононовъ.

— Да, дивны дѣла твои, Господи! отвѣчалъ Чулковъ.—Всѣ-то у насъ жалуются что никто ничего не дѣлаетъ и всѣмъ некогда даже читать! Въ странахъ же дикихъ и не просвѣщенныхъ, люди не только успѣваютъ *все* читать на двухъ, трехъ языкахъ, а глядишь, то банкиръ Исторію Греціи напишетъ, то премьеръ Гомера переведетъ, или романъ сочинитъ....

Чулковъ остановился: онъ почувствовалъ что пріятель его не слушаетъ. Онъ взглянулъ на Кононова и изумился. На лицѣ его было выраженіе сильнаго и въ то же время недовѣрчиваго ожиданія; глаза глядѣли

впередъ и горѣли какою-то боязливою радостью. Чулковъ глянулъ впередъ: навстрѣчу имъ подвигалось молодое женское лицо, и оно дышало тѣмъ же напряженнымъ ожиданіемъ и темно-голубые глаза свѣтились тою же боязливою радостью.

„Кто бы это была?“ спрашивалъ себя Чулковъ. „И какіе чудные каштановые волосы!“

Онъ вглядывался, и не узнавалъ, хотя лицо было всего въ пяти шагахъ. Онъ видѣлъ какъ Кононовъ подошелъ къ ней, какъ оба они быстро, быстро заговорили и пошли рядомъ также быстро, быстро. Чулковъ догадался „кто бы это была“, увидѣвъ подлѣ себя Павлу Тимоѳеевну. Логичная личность была сильно не въ духѣ, отвѣчала односложно и все прибавляла шагу. Чулковъ приписалъ такое обстоятельство тому что его присутствіе всегда раздражаетъ Павлу Тимоѳеевну, и тѣмъ не менѣе трусилъ съ ней рядомъ: нельзя же было выдать пріятеля.

Кононовъ и Людмила Тимоѳеевна тавже быстро и также скоро разговаривали и Павла Тимоѳеевна становилась все мрачнѣе и мрачнѣе; упорно и недоброжелательно смотрѣла она на удалявшую пару, и все прибавляла шагу. И Чулковъ сталъ смотрѣть впередъ, но ему смотрѣлось весело.

„Или у нихъ началось?“ думалось ему. Да, *оно* всегда начинается какъ-то нечаянно и негадано“.

Они подошли къ подѣзду; Кононовъ и Людмила Тимоѳеевна стояли на тротуарѣ и также весело и быстро перебрасывались словами. Павла Тимоѳеевна сухо отвѣчала на поклонъ Кононова (онъ теперь только ее замѣтилъ) и еще суше простилась съ молодыми людьми.

— Ну, этого она намъ никогда не проститъ! смѣясь сказалъ Чулковъ, когда пріятели остались вдвоемъ предъ подъѣздомъ, но Кононовъ не слышалъ.

„Вотъ вѣдь человѣкъ, подумалъ Чулковъ,—стоитъ и смотритъ безсмысленно на вывѣску, а самъ видитъ какъ барышня бѣжитъ по лѣстницѣ. Да, да, несомнѣнно, вотъ ему кажется будто она оглянулась на него съ лѣстничнаго поворота и улыбнулась и онъ самъ улыбнулся. Нѣтъ, Петръ Андреичъ, насъ не обманете: сами по этой дорожкѣ бѣгивали.“ И Чулковъ вздохнулъ.

А Кононову дѣйствительно видѣлось нѣчто подобное, и онъ улыбался.

— У подъѣзда стоять, конечно, очень пріятное дѣло, сказалъ Чулковъ,—но не довольно ли имъ заниматься?

Кононовъ улыбнулся въ отвѣтъ, точно услыхалъ нѣчто весьма пріятное.

— Да, да, пробормоталъ онъ довольно безсмысленно и потомъ опамятовавшись прибавилъ съ особою живостью:—Нѣтъ, нѣтъ, не уходите. Вы мнѣ нужны сегодня. Поѣдемте.... поѣдемте завтракать.

— Могу, отвѣчалъ Чулковъ, и они отправились.

Кононовъ всю дорогу улыбался, а Чулковъ поглядывалъ на него, покачивалъ головою и тоже улыбался.

За завтракомъ Кононовъ былъ разсѣянъ и все просилъ Чулкова разказать что-нибудь. Владиміръ Дмитричъ охотно исполнялъ обязанность *бахаря*.

Кононовъ не слушалъ пріятеля. Въ его головѣ мечты и мысли, подхвативъ какой-нибудь образъ, носились и кружились съ нимъ. Чаще всего они вальсировали съ милою барышней. И странно: вспоминалась она не

такою какъ была сегодня; припоминался разговоръ въ дождливый вечеръ и почему-то особенно часто звучалъ ея вопросъ: „неужели *вы* не понимаете?“ Кононовъ теперь былъ вполнѣ увѣренъ что на *вы* было сдѣлано удареніе; мало того, ему чудилось что теперь, именно сейчасъ вотъ онъ вполнѣ ее понимаетъ, хотя и не помнилъ къ чему относился вопросъ. Порой онъ сомнѣвался было ли то на самомъ дѣлѣ что̀ тенерь является какъ воспоминаніе. „Сказала она что я былъ смѣшонъ въ послѣдній разъ какъ былъ у нихъ, или я это сказалъ?“ спрашивалъ онъ себя. „Да, да“, въ полголоса увѣрялъ онъ себя и про себя добавлялъ: „конечно, было; я помню, я ясно помню, и какъ я могъ забыть?“ Но когда же это было? Очевидно, они могли говорить объ этомъ только сегодня, но почему-то казалось обидно чтобы самая малѣйшая вещь изъ касавшихся Людмилы Тимоѳеевны могла случиться *только сегодня*. „Нѣтъ, увѣрялъ себя Кононовъ,—*все это* было давно, очень давно, я даже не помню когда.“ И ему думалось будто милый образъ всегда, всегда жилъ въ его душѣ и только былъ неясенъ до сегодня, когда какою-то волшебною силой впервые вызванъ на яркій свѣтъ.

Завтракъ давно кончился.—Куда же вы, Чулковъ? очнувшись заговорилъ Кононовъ, хотя пріятель и не думалъ никуда собираться.—Пожалуста, посидите. Вы мнѣ нужны, очень нужны. Мнѣ очень о многомъ надо поговорить съ вами.

Чулковъ сидѣлъ, но Кононовъ не только о многомъ, ни о чемъ не говорилъ.

— Послушайте, Кононовъ, здѣсь скучно. Посмотрите на дворѣ какая прелесть.

— Очень хорошо, особенно кротко согласился Кононовъ,—что̀ жь намъ дѣлать?

— Возьмемте Рудометкинскаго Семена и поѣдемъ прокатиться.

Кононовъ какъ Богъ знаетъ чему обрадовался. Сказано, сдѣлано. Семенъ правилъ на славу, и какъ только переѣхалъ Неву, пустилъ во всю прыть. Разговаривать было не кстати; приходилось только держаться покрѣпче, да ухать на ухабахъ.

— Ой, Семенъ, не переверни, кричалъ Чулковъ.

— Помилуйте, Владиміръ Дмитричъ, будьте покойны.

При пятомъ „будьте покойны", сказанномъ на Черной Рѣчкѣ, сани полетѣли на сторону. Чулковъ перелетѣлъ черезъ Кононова и уткнулся головой въ сугробъ. Петру Андреичу тоже досталось. Оба встали въ снѣгу, точно въ мукѣ, но не ушиблись. Первое что̀ имъ попалось на глаза, былъ Семенъ: онъ стоялъ предъ опрокинутыми санями, неодобрительно покачивая головой и приговаривая: „ахъ, Господи!" Нельзя было не засмѣяться глядя на его сокрушенія, и наши пріятели залились самымъ звонкимъ и беззаботнымъ хохотомъ.

— Вотъ-те и „будьте покойны!" сказалъ Чулковъ и опять оба захохотали.

Семенъ вдругъ озлобился.

— Ахъ онъ, чортъ этакій! началъ онъ кого-то ругать,—вѣдь я кричалъ ему, воронѣ желтоглазой, „держи право". Нѣтъ, претъ!

Желтоглазая ворона давно улетѣла, на что̀ Владиміръ Дмитричъ и обратилъ вниманіе Семена.

— Нѣтъ, стой же ты, проклятый, отъ меня не уйдешь! въ пространство грозился Семенъ подымая сани.—Вотъ я тебя! нагоню анаѳему, да кнутомъ.

Семена пришлось чуть не силой удержать и вообще

онъ успокоился не раньше какъ Чулковъ на него прикрикнулъ. Они поѣхали, но скоро оказалось что правая оглобля „маленько порасхлябамшись“, по выраженію Семена. Рѣшено было завернуть въ первый трактиръ: оно и кстати было; наши пріятели набрали полные калоши снѣгу и ноги начали мерзнуть. Трактирчикъ былъ грязненькій и скверненькій, обстоятельство усилившее веселость молодыхъ людей. Пока они грѣлись, пока Семенъ справлялъ оглоблю и также грѣлся, времени прошло не мало. Какъ они вышли снова садиться и взглянувъ на Семена вспомнили недавнюю кувыркъ-коллегію, то неудержимо расхохотались. Хохотъ возобновлялся ежеминутно при всякомъ удобномъ случаѣ. Вернувшись въ городъ, они не угомонились и приказали Семену проѣхать вдоль Невскаго.

— А вѣдь шестой въ концѣ, пора и обѣдать, замѣтилъ Чулковъ взглянувъ на окно часоваго магазина.

— Въ самомъ дѣлѣ, отозвался Кононовъ. — Развѣ вы хотите ѣсть?

— Признаться, меня порастрясло, но и не хоти я ѣсть, все равно пообѣдалъ бы.

— Это почему?

— Во исполненіе наставленія нѣкотораго благочестиваго купца. „И ты, Владиміръ Дмитричъ, наставлялъ онъ меня, установленной трапезы не рушь; хотя бы семь разъ закусывалъ, а все потрапезуй; ѣсть не ѣшь, а хоть для прилики за трапезой посиди.“ И еще прибавлялъ: „отъ отцовъ трапеза установлена и ты уставъ храни: и будеши здравъ, и бодръ, и веселъ.“

За обѣдомъ услыхавъ какъ Кононовъ велѣлъ заморозить бутылочку, Чулковъ сказалъ:

— Э, да вы, я вижу, не на шутку раскутились.

— Да, выпьемте въ память нынѣшняго дня. Мнѣ сегодня весело, очень весело, я послѣ скажу вамъ отчего (а покуда и самъ хорошенько не знаю, мелькнуло въ головѣ). Да, давно мнѣ не было такъ легко, очень давно.

— А именно?

— Именно?

Кононовъ съ изумленіемъ глянулъ на пріятеля и подумавъ отвѣтилъ:

— Со студентства; года четыре.

— Давнехонько, хотя и не такъ давно какъ будочникъ хорошихъ рубахъ не носилъ.

— Это что̀ еще?

— Слышалъ я какъ будочникъ хвалился лавочнику какія славныя рубахи жена ему сшила. „Давно, говоритъ, давно я такихъ рубахъ не носилъ, даже можетъ съ самаго съ отъ-роду.“

— Вотъ это дѣйствительно давно, расхохотался Кононовъ.

— Послушайте, сказалъ Петръ Андреичъ послѣ обѣда, — еще рано расходиться. Отправимтесь-ка въ оперу, сегодня *Руслана* даютъ: музыка насъ успокоитъ.

Сказано, сдѣлано. Въ четвертомъ дѣйствіи, во время хора цвѣтовъ, Кононову припомнились слова Глинки что цвѣты и колокольчики „забавляютъ *барышню* Людмилу“.

„Да“, раздумался онъ, „настоящіе художники любили жизнь и умѣли видѣть въ ней все милое и хорошее. А теперь мы любое слово превратимъ въ кличку и....“

Но дальше онъ не разсуждалъ; слово „барышня“ возбудило иныя мечты. За чаемъ, послѣ оперы, Кононовъ, помолчавъ довольно долго, сказалъ:

— Ахъ, да, я и забылъ. Я давеча обѣщалъ вамъ сказать отчего мнѣ весело. Теперь я знаю отъ чего. Послѣднее время вы видѣли въ какомъ я былъ настроеніи.... Я.... я точно потерянный ходилъ, а теперь.... теперь я точно нашелъ самого себя. Нѣтъ, довольно всякими пустяками мучать себя!... Буду жить по-своему, не обращая вниманія и ни на кого, и ни на что.... Да, надо жить. Найду себѣ кружокъ простыхъ людей гдѣ можно говорить что въ голову придетъ и.... Такъ вотъ я хотѣлъ сказать вамъ что нашелъ самого себя; оттого мнѣ и весело. Вѣдь это хорошо, да?

— Ужь на что лучше, радостно отозвался Чулковъ.

III.

Людмила Тимоѳеевна, простясь съ Кононовымъ, весело и скоро вбѣжала по лѣстницѣ. Паулина, въ силу инерціи, какъ раньше на улицѣ, продолжала догонять сестру, но подвигалась медленно, запыхалась на каждомъ шагу и сердито фыркала. Она надвигалась какъ грозовая туча, и чуть вошла въ переднюю, разразилась бурей. Все оказалось не въ порядкѣ и больше всѣхъ порядливая Нѣмка. Камерфрау была женщина разсудительная и давно привыкла къ выходкамъ своей фрейлейнъ. „Русскія фрау и фрейлейнъ“, думала она, „онѣ всѣ совсѣмъ“, и Нѣмка слегка пощелкивала себя по лбу указательнымъ и среднимъ пальцами лѣвой руки.

Ея тактика состояла въ томъ чтобъ отмалчиваться; такъ поступила она и сегодня.

Туча прошла дальше и съ громомъ вошла въ свою комнату. И здѣсь нашлось многое за что̀ выговорить горничной, но та успѣшно отмалчивалась. Паулинѣ наконецъ стало совѣстно и она пожелала остаться одна. Она чувствовала что не въ духѣ и понапрасну разбранила горничную; она хотѣла успокоиться, никакъ не могла и злобилась все сильнѣе и сильнѣе. Надо было что-нибудь дѣлать, и Паулина, разорвавъ принесенный пакетъ, принялась разрѣзывать новую книгу. Бумага въ книгѣ оказалась плохою и пришлось разорвать нѣсколько страницъ; далѣе, ножъ оказался никуда не годнымъ и былъ отброшенъ въ сторону; наконецъ и книга оказалась на пятой строчкѣ не логичною и также полетѣла въ сторону. Паулина вскочила и начала бѣгать по комнатѣ. Она ходила быстро и неровно; лицо у нея горѣло и глаза глядѣли какъ-то особенно разсѣянно; просто что̀ твой поэтъ обуреваемый образами! Паулина обдумывала, но обдумать приходилось многое и ей трудно было на чемъ-нибудь остановиться. Когда ей показалось будто она все обдумала какъ слѣдуетъ, она позвонила и приказала просить къ себѣ Людмилу Тимоѳевну.

Не замѣтивъ тучи, барышня не ждала бури: для нея прогулка еще не кончилась; по крайней мѣрѣ, ея мысли все еще прохаживались по Невскому и раскланивались со знакомыми; чаще всѣхъ попадался навстрѣчу Кононовъ. „Сказала я ему или не сказала что онъ въ послѣдній разъ точно ученый букашку разсматривалъ меня?“ съ такою мыслью, весело улыбаясь, вошла она къ старшей сестрѣ.

— Я не знаю, начала Паулина.

Воззваніе вышло по тону рѣзко, даже черезчуръ рѣзко; сама Паулина почувствовала это и невольно остановилась. Людмила Тимоѳевна съ изумленіемъ глянула на сестру.

— Я не знаю, повторила старшая, видимо сдерживая порывъ логичности,—я не знаю, но кажется принято....—И не договоривъ что̀ и гдѣ принято, Паулина съ особою поспѣшностью, какъ бы боясь запамятовать, прибавила:—Можетъ-быть я ошибаюсь; я вообще мало обращаю и никогда не намѣрена обращать вниманія на эти глупости. Но, кажется, по вашимъ же приличіямъ, считается невѣжливымъ не раскланиваться со знакомыми на улицѣ и бросать сестру по срединѣ улицы...

— Онъ тебя просто не замѣтилъ, поспѣшила успокоить сестру Людмила Тимоѳевна, догадавшись наконецъ что̀ ту обезпокоило.—Но потомъ онъ извинился: у подъѣзда. Развѣ ты не помнишь?

— Мнѣ нѣтъ никакого дѣла ни до него, ни до его извиненій, отрѣзала старшая. —Впрочемъ я не удивляюсь что̀ онъ меня не замѣтилъ; меня *кажется* (это слово особенно выдалось) нарочно сговорились не замѣчать, и никому нѣтъ дѣла до того что̀ мнѣ нравится и что̀ мнѣ не нравится....

— Помилуй, сестрица!

— Пожалуста, не оправдывайтесь. Какъ вамъ извѣстно, я ничьей свободы стѣснять не намѣрена и только считаю себя въ правѣ сказать свое мнѣніе, а впрочемъ дѣлайте и поступайте какъ вамъ угодно.... Но съ вашей же точки зрѣнія, по вашимъ же приличіямъ, не вѣжливо бросать сестру одну по срединѣ улицы.

— Съ тобой остался Чулковъ, тихо вставила меньшая.—Она вспомнила свое рѣшеніе обращаться съ сестрою какъ съ милымъ, но капризнымъ ребенкомъ.

— Ахъ, оставьте меня съ вашими Чулковыми! особенно обидчиво прокричала старшая и чуть было не прибавила „и Кононовыми", но по чувству деликатности, хотя и не сознательной, удержалась.—Да, продолжала она умѣреннѣе,—мнѣ до нихъ нѣтъ дѣла, но бросать сестру одну....

И средина улицы снова выѣхала на сцену; Паулина какъ-то особенно упирала на эту средину.

„И вовсе это было не на срединѣ", подумала милая барышня, „и отчего она все преувеличиваетъ и переиначиваетъ?"

Но именно потому что она все преувеличивала, Людмила Тимоѳеевна слушала сестру снисходительно и даже про себя забавлялась такимъ „капризомъ".

— Право, Паулина, ты напрасно сердишься; я можетъ-быть поступила вѣтряно, но вовсе не думала обижать тебя. И если тебѣ показалось обидно, извини меня пожалуста.

Такое смиреніе нѣсколько укротило Павлу Тимоѳеевну.

— Я вовсе не сержусь, милостиво объявила она,— но неужели ты не чувствуешь какъ все это нелогично? Помни, мой другъ, я давно предупреждала тебя: какъ только замѣтила что эта личность начинаетъ ухаживать за тобою.

Людмила Тимоѳеевна вспыхнула.

— Я не понимаю, Паулина, къ чему ты это говоришь.

— Въ такомъ случаѣ не зачѣмъ было просить из-

виненія, обидчиво и быстро проговорила логичная личность, и дальше заговорила еще быстрѣе: казалось слова подгоняли другъ друга.—И если ты только для комедіи просила извиненія, то ты очень хорошо знаешь что я въ этомъ не нуждаюсь, и я прошу избавить меня отъ этого. И къ чему въ такомъ случаѣ притворяться, будто мои мнѣнія сколько-нибудь тебѣ дороги. И сердитесь вы, или не сердитесь, но я сказала и еще скажу, что не вижу ничего хорошаго въ томъ чтобы бросать сестру по срединѣ улицы и бѣжать, да именно бѣжать одной съ полузнакомою, съ почти незнакомою личностью.

— Какъ съ незнакомымъ?

Паулина почувствовала что нѣсколько зарапортовалась и страшно за это обидѣлась на.... сестру.

— Я сказала „съ *почти* незнакомою личностью", язвительно поправила Паулина. — Впрочемъ извините, я и забыла что онъ *вашъ*, вашъ и тети-Машинъ знакомый.

— Онъ такой же мой знакомый, сестра, какъ и твой. Онъ бывалъ у васъ, когда я еще была въ институтѣ.

Все это была правда, неопровержимая правда, но именно потому что была правда, Паулина окончательно вышла изъ себя и не совсѣмъ уже понимала что говорила дальше.

— Какъ мой знакомый? Отчего мой знакомый? вскрикнула она.

И слѣдомъ ей припомнилось что онъ, да, этотъ самый Кононовъ, со своимъ пріятелемъ Чулковымъ никогда не признавали ея необычайныхъ способностей (Паулина считала свои способности по меньшей мѣрѣ

необычайными) и даже изъ-подтишка подсмѣивалась надъ ней. „Да, мнѣ всегда это казалось, подумала она, а теперь.... теперь я вполнѣ увѣрена въ этомъ.“ И Паулинѣ ясно стало не только на что̀ она сердится вотъ уже близь часа, но и то что сердится она вполнѣ логично.

„О, самолюбіе!“ восклицаетъ въ одномъ мѣстѣ Лермонтовскій Печоринъ, „ты рычагъ, которымъ Архимедъ хотѣлъ приподнять земной шаръ.“ Не знаю что̀ бъ онъ воскликнулъ теперь, когда раздутое самолюбіе стало на Руси чуть не повальною болѣзнью. Не знаю также можно ли при помощи самолюбія приподнять шаръ земной, но что оно повернуло на сторону головы девяти десятымъ Россіянъ, въ томъ не можетъ быть сомнѣнія. Девять изъ десяти, при всякомъ удобномъ случаѣ, готовы свысока посмотрѣть на васъ, наставить васъ на путь властно-снисходительнымъ тономъ, преподать вамъ дѣтскій совѣтъ, кольнуть и подставить вамъ ножку. Но попробуйте не то чтобъ отмѣрить одной десятой, даже сотой той же мѣры, а просто слегка остановить совѣтчика, или не упасть когда вамъ благосклонно подставили ножку, и вы узнаете что̀ оно значитъ раздутое россійское самолюбіе. Оно зафыркаетъ, затрещитъ, задребежжитъ и въ итогѣ у васъ однимъ заклятымъ врагомъ больше. Павла Тимоѳеевна не составляла исключенія изъ этихъ девяти десятыхъ.

Самолюбиво-логическія размышленія не заняли и четверти минуты времени, и Паулина съ новымъ жаромъ принялась за прежнее.

— Конечно, онъ мой знакомый и мало ли у меня какіе были знакомые. Онъ мнѣ былъ представленъ, и я очень хорошо помню, что съ перваго же раза ужасно

мнѣ не понравился. Но я не знала что онъ такой навязчивый и не пойметъ что съ нимъ не желаютъ быть знакомы.—Паулина смутно чувствовала что не только говоритъ неправду, путается въ показаніяхъ, но сдержаться не могла.—Впрочемъ, перескочила она,—не тебѣ упрекать меня этимъ знакомствомъ. Я всегда предупреждала и никогда не рекомендовала его твоему вниманію и я не виновата что вы сблизились.

— Я и не упрекаю тебя, сестрица, отвѣчала задѣтая за живое Людмила Тимоѳевна, — ты никого, кромѣ господина Хамазова, не рекомендовала моему вниманію.

— Что̀ такое господинъ Хамазовъ? Онъ, конечно, очень умная личность, но я не понимаю къ чему ты заговорила о немъ. Какъ все это нелогично!

Людмилѣ Тимоѳевнѣ, напротивъ, казалось весьма логичнымъ сказать именно теперь про господина Хамазова.

— Ты меня постоянно увѣряешь, сестра, будто Кононовъ говоритъ мнѣ однѣ пошлыя любезности, но что̀ бы онъ ни говорилъ, онъ никогда не говорилъ такихъ вещей какъ твой Хамазовъ.

— Отчего же онъ *мой*? обидилась старшая.—И что̀ такое особенное онъ могъ говорить тебѣ? Не думаю чтобы ты могла произвести на него какое-нибудь впечатлѣніе.

— О, это была бы слишкомъ большая честь, усмѣхнулась меньшая.

— Однако что̀ онъ могъ говорить тебѣ?

Барышня не сразу нашлась отвѣтомъ: богатство матеріала затруднило ее. Мало ли о чемъ проповѣдывалъ господинъ Хамазовъ въ тотъ вечеръ!

— Напримѣръ.... напримѣръ что всѣ богатые воры и ихъ слѣдуетъ гильйотинировать.

— Не можетъ быть. Ты не поняла его.

Напрасно Людмила Тимоѳевна отвѣчала, что очень хорошо поняла и привела еще нѣкоторые отвѣты изъ Хамазовскаго катехизиса, Паулина не слушала ее. Она была уничтожена. Какъ, господинъ Хамазовъ, эта свѣтлая личность, стоящая на европейской высотѣ по всѣмъ вопросамъ, особенно по женскому, эта личность столь вѣрно цѣнящая ея необычайные таланты и знанія,—и онъ проповѣдуетъ такія нелогичныя вещи! Къ чести Паулины надо сказать, что въ качествѣ Грязьгородской землевладѣлицы она была не расположена къ такимъ радикальностямъ, и я съ особымъ удовольствіемъ отмѣчаю эту крупицу здраваго смысла въ ея заученой головѣ. Тѣмъ не менѣе оскорбленное самолюбіе логичной личности жаждало жертвы, жаждало унизить кого-нибудь, только не господина Хамазова, ибо унизить его значило бы унизить свою проницательность. Кого именно—догадаться не трудно.

— Впрочемъ, я съ тобой не спорю, перебила она объясненія младшей сестры.—Но если онъ и дѣйствительно держится такихъ идей, все-таки онъ въ тысячу разъ лучше всѣхъ вашихъ знакомыхъ, вашихъ и тети-Машиныхъ (вторичнымъ сопоставленіемъ съ теткой Паулина особенно думала кольнуть сестру), лучше всѣхъ вашихъ Чулковыхъ и...—Деликатность окончательно оставила Паулину и она послѣ чуточной паузы съ язвительнымъ подчеркиваніемъ докричала:—И вашихъ Кононовыхъ!...

О, взгляни она въ эту минуту въ зеркало! Боже, какъ некрасиво было ея перекошенное и блѣдное отъ

злости лицо, какимъ нехорошимъ огнемъ горѣли ея глаза. Людмила Тимоѳеевна не рада была что неосторожно упомянула о господинѣ Хамазовѣ и ни словомъ не отвѣтила сестрѣ. Куда! она вся дрожала и съ испугомъ смотрѣла на Паулину, не шутя опасаясь чтобы съ той чего не случилось.

— И вы можете сближаться *съ нимъ* сколько угодно, не унималась Паулина,—и влюбляться въ него, и выходить за него замужъ, и вообще дѣлать что̀ вамъ угодно, и я не думаю стѣснять вашей свободы, но все-таки скажу что онъ пошлая личность, пошлая, пошлая, пошлая!

Крикливый голосъ звенѣлъ по всему дому, и тетя Маша, въ непритворномъ страхѣ за Людочку, вбѣжала въ комнату. Людмила Тимоѳеевна, какъ увидѣла тетку, бросилась къ ней, и слезы въ два ручья брызнули по ея блѣдному лицу. Старушка поспѣшила увести рыдающую племянницу, и несмотря на всю свою тихость не удержалась чтобы не сказать Паулинѣ.

— Полюбуйтесь, полюбуйтесь, сударыня, что вы надѣлали.

За дверьми Марья Ивановна сама подивилась такой храбрости. Паулина, оставшись одна, долго и сосредоточенно смотрѣла на ножку стула, потомъ вдругъ вскочила, подбѣжала къ двери, изо всѣхъ силъ хлопнула ею, заперлась на ключъ и ключъ спрятала въ карманъ.

Тетя Маша, наскоро разспросивъ и утѣшивъ Людочку, стала поспѣшно собираться съ двора, объявивъ что ей непремѣнно надо навѣстить одну знакомую: завтра де или даже нынче вечеромъ уѣзжаетъ.

— Нѣтъ, приговаривала она, сидя въ саняхъ, —

довольно ей командовать надъ нами. Она вѣрно и въ самомъ дѣлѣ думаетъ что игуменьей надъ нами поставлена. Нѣтъ, я все, все разкажу братцу Минѣ Иванычу и не позволю тиранствовать надъ Людочкой.

Сестрица такъ поспѣшно вбѣжала къ братцу и такъ быстро и не складно стала повѣствовать о случившемся что старикъ перепугался было. Наконецъ-то, послѣ разспросовъ и перепросовъ, Мина Иванычъ понялъ что племянницы поссорились изъ-за Кононова и младшая плакала.

— Вы ужь, братецъ, не давайте насъ въ обиду. Она и въ самомъ дѣлѣ игуменьей себя воображаетъ.

— Будьте покойны, сестрица. Только вы поѣзжайте домой и успокойте Людмилу, а я пріѣду къ обѣду, будто ничего не зная, и переговорю съ Павлой.

Такъ онъ и сдѣлалъ, но переговорить съ Павлой Тимоѳеевной ему не удалось. Она къ обѣду не вышла и даже отозвалась изъ своего заключенія только послѣ третьяго зова камерфрау, при чемъ объявила что разстроена и ѣсть ничего не можетъ. Нѣмкѣ однако удалось убѣдить фрейлейнъ подкрѣпить себя, и Паулина съ великою жадностью скушала тарелку бульйона и цѣлую булку, но отъ дальнѣйшей ѣды самоотверженно отказалась. За обѣдомъ тетя Маша вздумала было посудачить объ утрешнемъ, но братецъ укорительно поглядѣлъ на нее и перемѣнилъ разговоръ. Послѣ обѣда и немалыхъ переговоровъ веденныхъ при помощи Нѣмки, Мина Иванычъ былъ наконецъ допущенъ къ Паулинѣ. Старикъ имѣлъ въ виду, не касаясь сегодняшней ссоры, поговорить со старшею племянницей объ ея отношеніяхъ къ младшей. Паулина, какъ только услыхала о желаніи старика видѣться съ нею, начала твердить про

себя: „успѣли, успѣли ужь нажаловаться“, и кромѣ этой фразы ничего не приходило ей въ голову. Едва вошелъ дядя, она принялась на разные лады повторять что ей ни до кого дѣла нѣтъ, и что она ничьей свободы стѣснять не намѣрена. Старикъ послушалъ, послушалъ, рѣшилъ что „съ Павлой не столкуешь“, далъ ей время выговориться и ушелъ ни на шагъ не подвинувъ дѣла. Паулина по его уходѣ схватилась руками за виски и принялась жалобиться на судьбу.

— О, за что̀, за что̀ я осуждена жить съ такими злыми, грубыми и пустыми личностями! причитывала она.—И зачѣмъ я обязана страдать и мучиться изъ-за нихъ! О!

И Паулина чувствовала себя такой „бѣдняжкой“ и не прочь была порюмить, но.... но слезныя железки не выдѣляли солоноватой жидкости и злые глаза оставались сухи.

Мина Иванычъ весь вечеръ проболталъ съ младшею племянницей и очень мило шутилъ надъ учеными, памятуя ея отзывъ о Кононовѣ. Марья Ивановна сгорала отъ нетерпѣнія узнать что̀ сказала „игуменья“, но опасалась вопросомъ разсердить братца. Наконецъ, когда старикъ уходилъ, улучивъ минутку, въ дверяхъ прихожей, она боязливо шепнула ему:

— Что̀ жь, братецъ?

— Ничего, сестрица, ничего, усмѣхнулся въ отвѣтъ Мина Иванычъ,—дастъ Богъ, все уладится.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

Богъ далъ, все уладилось; и какъ оно уладилось никто хорошенько не зналъ, но уладилось къ общему, кромѣ Паулины Тимоѳевны, удовольствію.

Примѣрно, дѣло было такъ. Черезъ день или два Кононову ужасно захотѣлось видѣть Людмилу Тимоѳевну, но онъ почему-то не захотѣлъ сознаться себѣ въ этомъ, а принялся увѣрять себя что давно не былъ у Воробьевыхъ, что это не хорошо и неприлично даже, и что вдобавокъ ему не дурно еще разъ извиниться предъ Павлой Тимоѳевной въ невольной невѣжливости. По неизвѣстной причинѣ, ему показалось будто одному идти къ нимъ неловко, и онъ захватилъ съ собою Чулкова. Чрезъ три дня онъ нашелъ предлогъ побывать тамъ одинъ. Вѣроятно заниматься пріискиваніемъ предлоговъ показалось ему дѣломъ пріятнымъ и полезнымъ, по крайней мѣрѣ онъ началъ цѣлые дни проводить въ такихъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, грамматическихъ упражненіяхъ, и вѣроятно достигъ бы значительныхъ успѣховъ, не окажись эти упражненія въ скоромъ времени совершенно излишними. Предлоги являлись сами собою. Какъ-то Чулковъ придумалъ отправиться всѣмъ вмѣстѣ въ театръ; на завтра пришелся четвергъ, а на послѣзавтра Мина Иванычъ вздумалъ праздновать день своего рожденія, пригласилъ нашихъ молодыхъ людей въ качествѣ гостей, а Людмилу Тимоѳевну быть за хозяйку, и она оказалась премилою хозяйкой.

Черезъ двѣ или немного больше недѣли, дядя, тетка, племянница и наши молодые люди, всѣ почувствовали

себя *своими*, а своимъ странно было бы не видѣться какъ можно чаще и не жить собща. По выраженію Паулины, сестра въ это время только и дѣлала что летала. Дѣйствительно, оказалось что Людмила Тимоѳевна многаго, очень многаго не видала: пошелъ осмотръ картинныхъ галлерей, музеевъ, выставокъ и т. д. Но *своимъ* больше всего любилось сиживать въ свободные вечера въ уютной столовой гдѣ „тётя Маша чай разливала". Тутъ, подъ шумокъ самовара, беззаботнѣе болталось, способнѣе читалось, веселѣе смѣялось. Изъ постороннихъ, въ „маленькій комитетъ" допускался только мальчикъ Погалевъ. И по вечерамъ, когда онъ бывалъ, дозволялись всякія дурачества и шалости. Молодые просто на головахъ ходили, а старые, глядя на нихъ, утѣшались. Однажды М. Поль былъ особенно въ духѣ и увлекъ самого Мину Иваныча играть въ жмурки. Что̀ было хохоту!

Людмила Тимоѳевна и Петръ Андреичъ сближались исподволь и незамѣтно, и сближались на хорошей почвѣ. Милую барышню занимало все что̀ любилъ молодой человѣкъ и она быстро и понятливо проникалась его взглядами, какъ только любящія женщины умѣютъ дѣлать, но при этомъ не теряла своеобычности. Чулковъ, замѣчая такое обстоятельство, отъ души радовался.

„Славная жена изъ нея выйдетъ, думалось ему.— Да, важно, очень важно чтобъ у жены съ мужемъ были общіе, повыше обиходныхъ, интересы. Не тогда она ему будетъ „помощникомъ", когда сама на тряпки зарабатывать станетъ, а когда пойметъ его умъ, его дѣятельность и въ *его* дѣлѣ будетъ въ силахъ подать добрый совѣтъ."

Но Чулковъ увлекался. Не только до свадьбы было далеко, но ни Кононову, ни Людмилѣ Тимоѳеевнѣ и въ голову еще не приходило что они любятъ, даже просто влюблены другъ въ друга. Это не значитъ, впрочемъ, чтобъ Эроту въ ихъ компаніи дѣлать было нечего. Нѣтъ, онъ просто заглазѣвшись на нихъ прикурнулъ въ укромномъ уголку и сладко подремывалъ.

Вода, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ охладиться не замерзая на много градусовъ ниже точки своего замерзанія, но для этого требуется чтобъ она была въ полномъ покоѣ. Чуть толчокъ, и вся жидкость мигомъ превратится въ твердый кусокъ. Любовь бываетъ порой похожа на такую воду; она не слышна, не видна, но пустой случай, бѣглое слово,—и она вдругъ скажется съ неудержимою силой. Правда, вода при такомъ замерзаніи разрываетъ сосудъ въ чемъ заключена, но развѣ любовь не разбиваетъ полныхъ ею сердецъ?

Кононовъ теперь не любовался Людмилой Тимоѳеевной какъ чѣмъ-то для него постороннимъ, не смотрѣлъ на нее, какъ ученый, на интересный субъектъ. Онъ жилъ движеніями ея души; дышалъ ея свѣжестью. Разказывала ли она какъ порой видится во снѣ будто одѣта по-бальному, и много народу въ ярко освѣщенной залѣ, и самой весело, и хочется, страшно хочется шибко, шибко пробѣжать вдоль всей комнаты, и вдругъ, какъ совсѣмъ ужь рѣшилась пробѣжать, почувствуешь что на ногахъ нѣтъ ни чулковъ, ни башмаковъ,—онъ наяву переживалъ все это, и желаніе пробѣжать, и смущеніе что на ногахъ нѣтъ чулковъ. Одинъ разказъ Людмилы Тимоѳеевны особенно нравился Кононову.

— Я, знаете, очень конфузлива отъ природы, раз-

казывала она.—Теперь я, слава Богу, справляюсь съ собою, а прежде, въ институтѣ, просто ужасно было. Сконфужусь, и непремѣнно разсмѣюсь; чувствую что глупо смѣюсь, а удержаться никакъ не могу. Въ Великомъ Посту меня всегда назначали пѣть предъ алтаремъ; знаете, это антиѳоны называется. И бывало, какъ выходить, я сама не своя; краснѣю, блѣднѣю и чувствую: сейчасъ, вотъ сейчасъ разхохочусь. Боже мой, что̀ дѣлать? Бранишь, бывало, себя, усовѣщиваешь, уговариваешь что смѣяться не прилично, а въ церкви и въ такую минуту грѣхъ большой. Нѣтъ, ничто не помогаетъ. И я, бывало, начну стращать себя, придумаю что-нибудь самое, самое страшное: будто дядя умеръ, или съ сестрой большое несчастіе случилось. И когда настращаешь себя хорошенько, вся, вся, всѣмъ седцемъ издрогнешь и замрешь, — тогда только забудешь что тебѣ сейчасъ выходить пѣть. И выйдешь спокойно, и поешь особенно какъ-то, съ чувствомъ... нѣтъ, не съ чувствомъ, а... а благоговѣйно, какъ батюшка говорилъ.

И Кононовъ, слушая, переживалъ не только всѣ моменты разказа, но ему казалось: онъ видитъ какъ дрожала ея молодая душа и какъ этотъ трепетъ разрѣшался благоговѣйнымъ чувствомъ. Думая о Людмилѣ Тимоѳеевнѣ, онъ всегда вспоминалъ именно этотъ разказъ и ему такъ мучительно хотѣлось снова его слушать, чтобъ опять дрожать и замирать сердцемъ вмѣстѣ съ ея душою. Но онъ ни за что̀ не рѣшился бы просить ее повторить разказъ; ему казалось не хорошимъ, чуть не преступнымъ, произвольно выказывать тотъ душевый мотивъ что̀ звучалъ въ ея словахъ. Когда же она сама наводила рѣчь на это (можетъ-быть, она смутно

чувствовала какъ оно дорого ему), Петръ Андреичъ бывалъ безмѣрно счастливъ.

Людмила Тимоѳеевна въ свою очередь просила его разказывать. Онъ охотно толковалъ о Полѣновѣ и Васильѣ Васильевичѣ. Полѣновъ ей нравился, но Василья Васильича она любила.

— Онъ такой славный, говорила она,—и прямой. Сердце у него прямое, не лукавое. Какъ бы желала я его видѣть.

Чулковъ, любуясь влюбленною парочкой, часто весело и незлобиво шутилъ надъ ними. Разъ онъ самымъ серіознымъ тономъ принялся увѣрять Людмилу Тимоѳеевну будто у Кононова заграничный паспортъ въ карманѣ, и что онъ скоро уѣзжаетъ на-всегда изъ Россіи, чтобы въ Италіи заняться изученіемъ искусства. Противъ ожиданія Чулкова, извѣстіе это ни мало ни растревожило милой барышни. Быть-можетъ оно показалось ей ужь слишкомъ несбыточнымъ; она только улыб нулась и спросила Кононова, правда ли это? Тотъ со смѣхомъ отвѣчалъ что правда и подумалъ: „откуда онъ (Чулковъ) взялъ это? или я когда-нибудь бредилъ подобными глупостями?“

Мина Иванычъ почему-то принялъ такое намѣреніе молодаго человѣка за непреложное, и одобривъ планъ путешествія съ научною цѣлію, началъ съ жаромъ толковать что имѣть при этомъ тайную мысль никогда не возвратиться въ отечество значитъ не любить родины, и поступить хуже чѣмъ такъ-называемые наши политическіе эмигранты. Старикъ не видѣлъ что Чулковъ подкрѣплялъ его доводы энергическими жестами и переглядывался съ Людмилой Тимоѳеевной. При одномъ черезчуръ энергическомъ жестѣ оба вдругъ расхохота-

лись и Кононовъ завторилъ имъ. Старикъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на Чулкова.

— Чего ты? спросилъ онъ.

— Ахъ, дѣдушка, вы насъ съ Людмилой Тимоѳеевной спросили бы, отпустимъ ли мы его?

— Не знаю какъ вы, Владиміръ Дмитричъ, а я держусь мнѣнія сестры и не посягаю ни на чью свободу, отвѣчала барышня и вскочивъ выбѣжала изъ комнаты.

Старикъ посмотрѣлъ вслѣдъ племянницѣ, помолчалъ, точно соображая, и вдругъ разсмѣялся такъ заразительно что засмѣялись и наши пріятели и вернувшаяся Людмила Тимоѳеевна. И долго не умолкалъ смѣхъ, и каждый смѣялся *своему смѣху*.

Въ отместку за шутки Чулкова, Петръ Андреичъ и Людмила Тимоѳеевна подсмѣивались надъ нимъ. Людмила Тимоѳеевна часто выражала желаніе видѣть Чулкова влюбленнымъ.

— О, онъ должно-быть очень хорошъ влюбленнымъ! поддакивалъ Кононовъ.

— Напротивъ, вовсе нехорошъ, отвѣчалъ однажды Чулковъ.—Кто во хмѣлю, какъ я, хорошъ, въ любви всегда дуренъ. Видите, милая барышня, любовь весьма на хмѣль похожа. Хорошо такъ влюбленнымъ быть, чтобы въ головѣ чуточку шумѣло, какъ послѣ бокала, другаго шампанскаго, но трудно на этомъ градусѣ удержаться, а перехватишь—бѣда. Но со мной хуже штука случилась: я какъ-то ошибкой вмѣсто шампанскаго два бокала *fine champagne* хватилъ. А надо вамъ знать, эта штука прескверно на нервы дѣйствуетъ. И совсѣмъ я расклеился: придешь къ предмету и чувствуешь что необозримо глупъ и вдобавокъ нервы шалятъ. Захо-

чешь улыбнуться, а вмѣсто того уголъ рта самымъ противнымъ образомъ задергается. Мнѣ-то больно, а предмету смѣшно. Съ тѣхъ поръ я влюбляться — баста.

— А вы женились бы, Владиміръ Дмитричъ, вставила тетя Маша,—и тогда успокоились бы.

— Не догадался, простодушно отвѣчалъ Чулковъ.

— Онъ вѣрно думаетъ что и женитьба на хмѣль похожа, сказала Людмила Тимоѳеевна.

— Нѣтъ, милая барышня, женитьба болѣе спокойному заобѣденному винопитію подобна. Только надо чтобы вино по вкусу вышло; пріятно, слова нѣтъ, подкрѣпляться благоразумнымъ бордо или утѣшаться солиднымъ портеромъ, но не дай Богъ такое попадется что глотокъ, то рожа на сторону. И это цѣлый-то вѣкъ!

Съ этого разговора, у Людмилы Тимоѳеевны явилась новая затѣя: женить Чулкова. Кононовъ поддерживалъ ее въ этомъ благомъ намѣреніи. Самъ Чулковъ просилъ найти невѣсту. Поочередно перебрали всѣхъ знакомыхъ барышень, и всѣ были забракованы Владиміромъ Дмитричемъ. Наконецъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, онъ пришелъ угрюмый и объявилъ что какъ ему ни горько и ни стыдно, но онъ узнаетъ „любви примѣты“ въ своемъ сердцѣ.

— Нарочно говоритъ! замѣтила Людмила Тимоѳеевна.

Но Чулковъ сталъ увѣрять что вовсе не шутитъ и увѣрялъ такъ искренно, что заинтриговалъ всѣхъ. Стали спрашивать кто же эта счастливица овладѣвшая его сердцемъ; онъ долго не хотѣлъ открыть, и наконецъ объявилъ:

— Любовь Петровна Мучицина.

Любовь Петровна была небогатая дворянская дѣвица и пріятельница тёти Маши; она обладала черезчуръ черными и черезчуръ выразительными глазами и была въ такихъ лѣтахъ, когда дѣвицы становятся особенно склонны къ сентиментамъ. Одно время, вслѣдствіе постоянныхъ насмѣшекъ Паулины, она не бывала вовсе въ домѣ, и теперь снова появилась. Никто не ожидалъ что Чулковъ назоветъ именно ее, а потому никто и не заподозрилъ шутки.

— Что̀ же.... что̀ же вы нашли въ ней? съ запинкою произнесла Людмила Тимоѳеевна.

— Она мнѣ вся нравится, отвѣчалъ Чулковъ, — но главное фамилія у нея прекрасная: такая хозяйственная.

Всѣ разсмѣялись, и шутка пошла въ ходъ. При первомъ же посѣщеніи Любови Петровны, барышня шепнула ей о неравнодушіи Чулкова, а Владиміръ Дмитричъ особенно тонкою фистулой началъ говорить съ ней о самыхъ возвышенныхъ предметахъ. Такой тонкій намекъ на чувства былъ по достоинству оцѣненъ дѣвицей Мучициной, и она всячески стала поощрять ухаживанія Владиміра Дмитрича. При свиданіяхъ съ избранникомъ ея сердца, она, подобно Смольгольскому барону, и хладѣла, и горѣла, и дрожала, а возвратясь домой съ жаромъ начинала заниматься математикой, или говоря безъ поэтической метафоричности, весьма тщательно и осторожно, боясь ошибиться на мѣсяцъ, даже на день, подводила итогъ своимъ годамъ и по теоріи вѣроятностей высчитывала возрастъ Чулкова. Къ несказанному удовольствію дѣвицы, по ея разчету она оказывалась въ такомъ возрастѣ когда можно еще на-

дѣяться понравиться мущинѣ; по тѣмъ же разчетамъ обнаруживались примѣры счастливыхъ браковъ между супругами когда разница въ лѣтахъ доходила даже до пятнадцати. „А между нами, утѣшалась дѣвица, разница всего на пять, или много, много на семь лѣтъ.“ Но какъ ни разчитывала дѣвица, не могла добиться положительно кто кого старше на семь лѣтъ: она ли Чулкова, онъ ли ея.

II.

Павла Тимоѳевна окончательно уединилась и затворилась въ своей кельѣ. Она повидимому заложила уши и закрыла глаза на все что̀ дѣлается въ домѣ, но только повидимому. Въ душѣ она болѣла и страдала. Когда до ея комнаты доносился изъ столовой веселый смѣхъ, Паулина воздыхала и размышляла о суетѣ міра сего. Всякій разъ какъ она узнавала что сестра „опять куда-то улетѣла“ (она очень хорошо знала куда именно, но облюбовала въ послѣднее время неопредѣленность выраженій во всемъ что̀ касалось сестры), Паулина предавалась скорби. „Вѣдь и съ ихъ точки зрѣнія можно бы дѣльнѣе употреблять время“, думала она. А время употреблялось такъ не дѣльно, что скоро пришлось уничтожить четверги. Случилось что два четверга кряду ни тѣти Маши, ни Людмилы Тимоѳевны не было дома. „Говорятъ, *онѣ* хозяйки хорошія, сердилась Паулина,— а вотъ чай разлить некому.“ Къ тому же, собранія устроенныя ради цѣлей чисто-педагогическихъ теперь оказывались совершенно излишними. „Я для *нея же* хлопотала, надумалась Паулина, и не виновата что мной пренебрегаютъ.“ И вотъ въ одинъ прекрасный четвергъ посѣтителямъ было объявлено что чет-

верги впредь до возобновленія прекращаются. Изъ четверговыхъ посѣтителей вѣрными Паулинѣ Тимоѳеевнѣ остались только куцая пріятельница и господинъ Хамазовъ.

Замѣчено было что Іоанникій Іосифовичъ началъ усерднѣе чѣмъ прежде посѣщать Воробьевыхъ. Онъ не разъ порывался втереться въ „маленькій комитетъ“, но безъ успѣха. Замѣтилъ ли онъ сухость тона, или то было слѣдствіемъ его тонкаго разчета, но онъ сталъ появляться въ столовой на самое короткое время. Однако какъ ни кратко было это время, акцизный чиновникъ успѣвалъ каждый разъ сказать какую-нибудь мудрую сентенцію и уходя нестерпимо таращилъ на Людмилу Тимоѳеевну свои рачьи глаза, а остальныхъ обводилъ язвительною улыбкой. Въ этой улыбкѣ, по мнѣнію г. Хамазова, ясно выражалась извѣстная читателю пародія на слова Печорина. Никто не только не проникалъ смысла язвительной улыбки, но даже не замѣчалъ самой улыбки. Мальчикъ Погалевъ, когда господинъ Хамазовъ являлся при немъ, приходилъ въ ужасное негодованіе и однажды предложилъ чудесное средство „какъ навсегда выкурить противнаго Нѣжинца“. Чудесное средство состояло въ томъ чтобы на всѣ рѣчи Нѣжинца отвѣчать *да*, или *нѣтъ*, и притомъ *да* когда слѣдуетъ сказать *нѣтъ*, и наоборотъ.

— У насъ былъ воспитанникъ, пояснялъ онъ, — который любилъ подслушивать и потомъ переносить. Мы съ нимъ эту штуку продѣлали, и отлично вышло.

Несмотря на свидѣтельство столь удачнаго опыта, проектъ Погалева, къ немалому его огорченію, былъ отвергнутъ.

Господинъ Хамазовъ, уходя изъ столовой, не уходилъ изъ дому. Онъ направлялся въ келью Паулины.

Она, чтобы доказать сестрѣ что господинъ Хамазовъ, несмотря на сомнительную логичность нѣкоторыхъ его мнѣній, все-таки выше многихъ пошлыхъ личностей, оказывала особую благосклонность къ Іоанникію Іосифовичу тѣмъ охотнѣе, что на счетъ спорнаго пункта онъ представилъ весьма удовлетворительныя объясненія.

— Людмила Тимоѳеевна не совсѣмъ точно поняла меня, сказалъ онъ.—Я вѣроятно только указалъ ей на существованіе подобнаго мнѣнія, которое у насъ (господинъ Хамазовъ презрительно улыбнулся), при общей неразвитости, не пользуется еще правомъ гражданства, но въ Западной Европѣ составляетъ такъ-сказать суть воззрѣній всѣхъ истинно-просвѣщенныхъ и либеральныхъ передовыхъ дѣятелей. И я удивляюсь, Паулина Тимоѳеевна, что при вашемъ широкомъ взглядѣ на вещи и при вашихъ обширныхъ познаніяхъ (Паулина благосклонно улыбнулась), это мнѣніе не одобряется вами. Впрочемъ, не скрою, я держусь (на лицѣ Паулины появилась гримаса, и господинъ Хамазовъ поспѣшилъ оговориться), или вѣрнѣе держался одно время этого мнѣнія. Положимъ оно ошибочно, и я даже убѣдился окончательно въ его ошибочности, но лучше ошибаться съ Прудономъ и другими новаторами, чѣмъ быть правымъ съ какимъ-нибудь доморощеннымъ гнильемъ.

Господинъ Хамазовъ остался очень доволенъ произнесенною галиматьей и мимоходнымъ сравненіемъ своей особы съ Прудономъ. О, господа Хамазовы мелко не плаваютъ: вытвердивъ фразу „la propriété c'est le vol“

и разумѣется не понимая ея смысла, они норовятъ прямо въ Прудоны, да и то на первое только время, до открытія болѣе выгодной вакансіи!

„А я умно задумалъ сблизиться со старшею сестрицей, подумывалъ порой Іоанникій Іосифовичъ, — эта статья—важнецъ. Воронье пугало (читай: Мина Иванычъ) не вѣчно же будетъ торчать въ Питерѣ, уберется когда-нибудь на свой огородъ, и тогда....“

Но тутъ, отъ избытка самыхъ сладостныхъ чувствъ, Іоанникій умолкалъ и закрывалъ свои пружинные глаза.

III.

Не всѣмъ суждено жить *своею* жизнью; многіе довольствуются отраженною. Такъ Кононовъ и Людмила Тимоѳеевна жили своею жизнью, а Амфилохій Рудометткинъ, Амалія и Петровна довольствовались ея отраженіемъ.

Амфилохій по нѣкоторымъ словамъ своей ученицы заключилъ что тонкачъ Кононовъ ей весьма не противенъ, и слѣпая ревность забушевала, какъ Новгородское вѣче, въ его груди. Онъ чаще и чаще думалъ о своей талантливой ученицѣ, и въ думахъ называлъ ее „свѣтлою, прекрасною и возвышенною“. Обращалась ли мысль вслѣдъ за этимъ къ самому Амфилохію, онъ величалъ себя „пьяною свиньей которой и думать-то не слѣдъ о такой дѣвушкѣ“. Амфилохію мучительно хотѣлось узнать выйдетъ ли его ученица за тонкача или нѣтъ. Сколько онъ ни соображалъ объ этомъ деликатномъ предметѣ, ни къ какому рѣшительному заключенію не приходилъ, а посему заблагоразсудилъ разузнать о немъ хитростью, и одного только не зналъ: въ чемъ сія хитрость состоять должна.

Господинъ Худышкинъ, за сто верстъ чуявшій предстоявшую выпивку, заходя для умныхъ, необходимыхъ для артиста, бесѣдъ къ Чулкову, по своей общительности сблизился съ Рудометомъ и даже выпилъ съ нимъ на *ты*.

И вотъ случилось такъ: Семенъ Иванычъ тосковалъ цѣлый день, и весь день его куда-то тянуло, но онъ сидѣлъ дома, потому что не зналъ куда именно его тянетъ и главное по неимѣнію наличныхъ. Около шести часовъ, повинуясь влеченію сердца, онъ вышелъ прогуляться и на свѣжемъ воздухѣ благая мысль осѣнила его. „Пойду-ка я къ Рудомету; хотя сегодня и не первое число, но....“ И Семенъ Иванычъ прибавилъ шагу, боясь опоздать. Амфилохій, размышлявшій на досугѣ все о томъ же и снова о томъ же, мрачно и сурово встрѣтилъ художника. Семенъ Иванычъ, поболтавъ съ полчасика, съ грустью подумалъ что необманное предчувствіе сегодня надуло его и взялся было за шляпу, какъ вдругъ Амфилохій вспомнилъ что Кононовъ живетъ на квартирѣ у этого самаго Худышкина, а стало если жилецъ что̀ задумалъ, то квартирохозяину должно быть оно извѣстно досконально. И слѣдомъ Рудометкинъ понялъ въ чемъ должна состоять „хитрость“.

— Куда жь ты, Худышъ? посидѣлъ бы, а потомъ поѣхали бы.

Семенъ Иванычъ счелъ долгомъ покочевряжиться.

— Нѣтъ, братъ Рудометъ, некогда: работы пропасть.

— Развѣ ночью можно рисовать?

— Образа, случается, и при свѣчахъ малюемъ.

— Э, да полно, чортъ! Оставайся!

— А что̀, чортъ, развѣ и въ самомъ дѣлѣ остаться?

Семенъ Иванычъ остался и вскорѣ они закатились. Послѣ изрядныхъ возліяній, въ тотъ мрачный часъ когда Гамлетъ готовъ былъ пить живую кровь, мрачный Амфилохій, до того не рѣшавшійся заговорить о дѣлѣ, вдругъ ощутилъ въ груди геройство чрезмѣрное.

— А вѣдь твой жилецъ женится, брякнулъ онъ.

Художникъ чуть было не отрезвѣлъ съ испугу. Какъ, жилецъ женится, съѣдетъ съ квартиры и лишитъ его, Худышкина, вѣрнаго дохода!

— Врешь, рѣшительно и настойчиво крикнулъ онъ, точно рѣшительностью и настойчивостью могъ измѣнить велѣнія судьбы.

Рудометкинъ почувствовалъ что перехватилъ.

— То-есть, поправился онъ,—я не говорю что онъ женится, а онъ ухаживаетъ, и я даже боюсь что не женится. Эти развиватели никогда не женятся.

— Развѣ онъ развиватель?

— Еще какой! Развѣ ты не замѣчалъ?

Господинъ Худышкинъ не только не замѣчалъ что Кононовъ развиватель, но даже не понималъ хорошенько что оно такое „развиватель" значитъ, но сознаться въ этомъ не пожелалъ, а потому неопредѣленно спросилъ:

— Какой такой развиватель?

— Какъ и всѣ они, неопредѣленно же отвѣчалъ Амфилохій.

— А именно?

— А именно они тѣмъ и занимаются что ухаживаютъ, а потомъ...—Рудометкинъ запнулся:—а потомъ какъ возмутятъ душу дѣвушки... Словомъ, какъ наскучитъ—броситъ.

— Ну, сознайся, Рудомётка, съ укоризной заго-

ворилъ художникъ,—что совралъ. Я, братъ, Кононова лучше тебя знаю; онъ язва, правда, но чтобы такое, да еще надъ благородною барышней сдѣлалъ, ввѣкъ не повѣрю.

О, Боже, въ какомъ низкомъ и превратномъ смыслѣ понялъ художникъ слова учителя! Амфилохій сгорѣлъ отъ стыда, и ему стало горько и обидно.

— Ахъ ты, мазунъ ехидный! обозлился онъ на господина Худышкина.—Развѣ я въ такомъ смыслѣ? Я въ духовномъ. Вѣдь я по-русски, кажется, тебѣ сказывалъ что они словами возмущаютъ душу. Душу, понимаешь?

Господинъ Худышкинъ не понималъ, но отвѣчалъ утвердительно.

— Понимаешь, они заставятъ дѣвушку влюбиться въ себя, а потомъ бросятъ: страдай, молъ, несчастная! А любить какъ... какъ...—Рудометкинъ затруднился сравненіемъ.—Ну словомъ, любить какъ мы съ тобой, они не умѣютъ.

— А ты развѣ былъ влюбленъ? вытаращивъ глаза на Амфилохія, спросилъ художникъ.

— Я-то? Я-то не былъ влюбленъ? съ чувствомъ ударяя себя въ грудь, проговорилъ Рудометкинъ.

— Въ кого-же? полюбопытствовалъ художникъ.

— Она, братъ, не знатная была, простая, но душа, душа!

— Душа главное, согласился художникъ.

И Амфилохій разказалъ цѣлую исторію: *она* была горничная, но понятлива необыкновенно; *онъ* обучилъ ее грамотѣ и даже по-французски (въ скобкахъ: Амфилохій самъ едва брелъ по-французски); *она* любила его, и *онъ*, какъ честный человѣкъ, хотѣлъ жениться

и даже день свадьбы былъ назначенъ. Словомъ, исторія была удивительная, но еще удивительнѣе что хотя во всей исторіи и слова правды не было, Рудометкинъ разказывалъ ее съ необычайнымъ чувствомъ, даже съ паѳосомъ. О, не думайте чтобъ это было только слѣдствіемъ выпивки! Нѣтъ, чувство было непритворное: Амфилохій, самъ того не сознавая, открывалъ въ эту минуту свою душу художнику.

— Отчего жь ты не женился, когда день свадьбы, какъ говоришь, былъ назначенъ?

— Она... умерла!

Господинъ Худышкинъ почему-то заинтересовался узнать когда именно это было.

— Когда?—Требовалось сказать дату, и Амфилохій отвѣчалъ первое что̀ въ голову пришло:—Въ холерный годъ, когда въ послѣдній разъ холера была.

— Отъ холеры! съ непритворнымъ ужасомъ вскричалъ художникъ, и даже слегка поблѣднѣлъ.

— Дуракъ! прогремѣлъ въ отвѣтъ Амфилохій:— смерть отъ холеры почему-то показалась ему въ высшей степени оскорбительною для памяти любимой дѣвушки. Онъ помолчалъ и прибавилъ:—Нѣтъ, отъ чахотки.

И онъ сталъ описывать *ея* предсмертныя страданія, и опять непритворное чувство зазвучало въ его словахъ. О, не ея смерть, не смерть понятливой горничной съ душою описывалъ онъ: ему казалось что самъ онъ, Амфилохій, умираетъ отъ любви къ „возвышенной, свѣтлой и прекрасной". Но какъ раньше сочиняя повѣсть любви, такъ и теперь умирая чахоткой, Амфилохій даже и въ мысляхъ не назвалъ по имени ее, настоящую *ее*. И эту черту стыдливой деликатности я

съ особымъ удовольствіемъ отмѣчаю въ пьяномъ Рудометѣ.

Разказъ о смерти отъ чахотки въ соединеніи съ ужасомъ отъ холеры произвели непріятное впечатлѣніе на чувствительную душу художника, вообще не расположеннаго къ „страшнымъ вещамъ“ и боявшагося смертнаго часа.

— Постой, однако, перебилъ онъ изліянія Амфилохія,—ты что-то началъ про Кононова да не кончилъ. Что̀ же, женится онъ?

— Женится.

— На комъ?

Назвать ее, и гдѣ жь, въ кабакѣ,—нѣтъ, Амфилохій скорѣй убилъ бы себя.

— Что̀ жь молчишь?.. Э, совралъ, братъ Рудометка! Постращать меня хотѣлъ что жилецъ съѣдетъ.

— Спроси Чулкова, онъ скажетъ тебѣ на комъ, съ трудомъ проговорилъ Амфилохій.

Ссылаясь на Чулкова, онъ покорился необходимости: иначе, казалось ему, никогда не разрѣшатся его мучительныя сомнѣнія. Такая ссылка успокоила художника.

— Ладно, спрошу, отвѣчалъ онъ.

— Разузнай, разузнай ты мнѣ, залепеталъ Амфилохій.—И если разузнаешь, требуй чего хочешь, я все исполню... Но если онъ да не женится! пробурчалъ онъ немного погодя.

Амфилохій не договорилъ и грузно стукнулъ по столу кулакомъ. Художникъ не слышалъ восклицанія Рудометкина и не замѣтилъ энергіи его жеста: онъ соображалъ чего бы потребовать съ Амфилохія.

— Слушай, Рудометка, сказалъ онъ надумавшись.—

Я тебѣ все досконально разузнаю, только уговоръ дороже денегъ: коли Кононовъ женится, ты ко мнѣ на квартиру переѣдешь.

— Согласенъ, отвѣчалъ Рудометкинъ и быстро вставъ, вышелъ изъ комнаты.

Художникъ ждалъ пять, семь, десять, двѣнадцать минутъ, наконецъ за четверть, а Рудометкинъ не возвращался. „Что̀ онъ тамъ?“ спохватился Семенъ Иванычъ и обратился къ половому. Въ отвѣтъ онъ услышалъ что Амфилохій Григорьичъ расплатились за буфетомъ и уѣхали.

„Ахъ чортъ! подумалъ художникъ,—а я было надумался задатокъ съ него за квартиру взять. И тащись теперь на Васильевскій пѣшкомъ!“

— А что̀ обратился онъ къ половому, Амфилохій Григорьичъ не говорили что если я спрошу чего, на ихъ счетъ записать?

— Никакъ нѣтъ-съ, ухмыльнулся половой.

— Экой непредупредительный! измыслилъ вслухъ Семенъ Иванычъ и вздохнувъ поплелся домой.

Амфилохій, сѣвши на сани, далъ Семону адресъ куда везти, но лихачъ, услышавъ что сѣдокъ нѣсколько разъ проговорилъ: „А если нѣтъ, убью“, и опасаясь уголовья, свезъ его прямо домой.

IV.

На другой день хитрая Петровна и легкомысленная Амалія, въ ожиданіи пробужденія Семена Иваныча, бесѣдовали о излюбленномъ предметѣ. Амалія, по обычаю, всемѣрно отрицала что Кононовъ влюбленъ въ нее, и чѣмъ больше отрицала, тѣмъ сильнѣе увѣрялась въ справедливости Петровниныхъ доводовъ.

— Да сами же вы вчера говорили, что онъ ласковѣй сталъ! воскликнула компаньйонка.

Хозяйка не отрицала.

— Ну, и я вамъ скажу что точно ласковѣй сталъ, подтвердила отъ своего имени компаньйонка.

И это отрицать нельзя было.

— А потомъ вы же говорили что веселымъ нашъ Петръ Андреичъ сдѣлался. А ужь когда человѣкъ веселымъ и ласковымъ становится, значитъ влюбимшись. И вы Амалія Ѳедоровна, не спорьте: самыя вѣрныя эти примѣты, вѣрнѣй ихъ нѣту.

Блондинка и не думала спорить.

— А кромѣ какъ въ васъ, въ кого же ему?

Амалія Ѳедоровна вскочила и замахала руками.

— Нѣтъ, измыслила она послѣ нѣкотораго молчанія,—вотъ вы, Петровна, все говорите что онъ скажетъ мнѣ, а онъ до сихъ поръ ничего не говорилъ.

— Нельзя же, Амалія Ѳедоровна, сразу. И повѣрьте, въ этомъ никакой пріятности нѣтъ. Онъ мущина политичный и всю эту маханику понимаетъ. А секретъ этотъ, что въ скоротечности пріятности нѣтъ, мнѣ актриска одна открыла, а ужь ихъ на этотъ счетъ взять. Самыя что ни есть по этому предмету дамы чувствительныя. Вотъ и онъ подумаетъ, подумаетъ, надумается и объяснитъ.

— Ахъ! томно вздохнула Амалія.

Въ эту минуту послышалось чиханье господина Худышкина. Художникъ, проснувшись, трижды чихнулъ и почелъ это за хорошій для здоровья признакъ и за таковое же для исполненья желанья предзнаменованье. А желанье Семенъ Иваныча могло заключаться только въ скорѣйшемъ къ нему на квартиру переѣздѣ Амфи-

лохія, ибо онъ проснувшись немедленно вспомнилъ о вчерашнемъ. И Семенъ Иванычъ замечтался было о томъ каково Рудометка будетъ справлять новоселье, какъ въ полуотворенную дверь глянула Амалія Ѳедоровна.

— Чего еще? окрысился художникъ съ неудовольствіемъ отрываясь отъ мечтаній.

— Чаю...

— Да, чаю, тѣмъ же недовольнымъ тономъ продолжалъ Семенъ Иванычъ.—Вы прости Господи, только и знаете что ѣсть да пить, а того не думаете легко ли мнѣ денежки достаются. Ну, что̀ сегодня дѣлала?—И не дождавшись отвѣта смущенной блондинки:—Самъ скажу: все утро прокофейничали да протрещали съ этою дурой Петровной, а нѣтъ того чтобы мнѣ помогать на хлѣбъ зарабатывать.

— Ты знаешь...

— *Я*-то знаю, вотъ вы ничего не знаете! торжественно и грозно перебилъ россійскій Рафаэль.

— Мы, самъ знаешь, работаемъ, но когда негдѣ доставать...

— Надо поискать, столь же грозно продолжалъ художникъ.—Ну да гдѣ вамъ! Вы съ Петровной вѣчно вчерашняго дня ищите. Впрочемъ Богъ съ вами, внезапно смилостивился Семенъ Иванычъ,—я за васъ подумалъ, я вамъ работу нашелъ, не прозѣвайте только. Приданое шить требуется, богатое: Кононовъ женится.

У Амаліи Ѳедоровны руки, какъ мертвыя, ударились о полы.

— Что̀, аль не по вкусу пришлось? съ грубымъ смѣхомъ воскликнулъ любовникъ.—Думали: сосиськами

кормитъ, такъ и души въ васъ не чаетъ? Нѣтъ-съ, почище васъ нашелъ, на графинѣ женится.

Почему Семену Иванычу вздумалось приврать о графинѣ, онъ самъ не зналъ; быть-можетъ, мечта о переѣздѣ Рудомета и соединенномъ съ нимъ графинѣ водки была причиной такого невольнаго каламбура. Какъ бы то ни было, привирка о графинѣ успокоительно подѣйствовала на блондинку: если она и предпочтена, то не простой смертной.

— Нѣтъ, отвѣчала она,—ты говоришь, онъ женится, а кто же намъ дастъ приданое шить?

Столь простое препятствіе не приходило въ художникову голову, и онъ задумался.

— Ты вотъ что̀, наставительно началъ онъ,—не вздумай *самого* спрашивать. Еще разсердится, пожалуй; я вѣдь по секрету узналъ. А ты Чулкова разспроси да осторожненько, чтобы дѣла не испортить. Онъ васъ и отрекомендуетъ. Слышишь: осторожно? Ну да я на тебя надѣюсь: ты у меня умница. Ну, ступай же, да чайку...

— Нашъ Кононовъ на графинѣ женился, Семенъ Иванычъ по секрету узнавали, объявила хозяйка компаньйонкѣ, входя въ кухню.

— Какъ женился? Да куда жь онъ жену-то дѣвалъ?

Хитрая компаньйонка, пораженная вѣстью, не догадалась что ошибка во времени произошла вслѣдствіе душевнаго волненія хозяйки.

— Будетъ жениться, поправилась Амалія.

— Когда?

И не дождавшись отвѣта, Петровна быстро накинула пеструю шаль на голову, точно опасаясь что безъ

таковой предосторожности взбудораженныя извѣстіемъ мысли разлетятся во всѣ стороны черезъ черепныя поры, и слѣдомъ шмыгнула въ двери. Куда она спѣшила, компаньйонка сама не знала и опамятовалась только у мелочной лавочки.

— А жилецъ-то нашъ, про котораго я еще вамъ разказывала, объявила она вбѣгая въ лавочку, — женится вѣдь, какже. Самъ-то изъ студентовъ, а графиню подцѣпилъ.

— Такъ-съ, невозмутимо отвѣчалъ лавочникъ, кладя на кости тридцать три съ четью копѣйки.

— Помилуйте! опротестовала лавочникову невозмутимость Петровна.—Гдѣ жь это слыхано чтобы студентъ да на графинѣ! И притомъ поврежденіе въ умѣ имѣетъ.

— Такъ-съ, отвѣчалъ лавочникъ сбрасывая съ костей двѣ копѣйки.

— Какже, какже! И все отчего? Въ книги зачитывался. Шутка ли всю Библію сначала какъ слѣдъ, а потомъ на изворотъ, отъ доски до доски прочелъ: не мудрено что и повредился.

— Что̀ мудренаго! попрежнему безмятежно отвѣчалъ лавочникъ и обратясь къ вошедшей горничной отпустилъ ей восьмушку чаю и затѣмъ уже снова обратился къ Петровнѣ:—А впрочемъ бракъ дѣло священное и даже Богу угодное, объявилъ онъ.

И купецъ, отложивъ счеты въ сторону, не безъ умиленія поглядѣлъ на образъ и воздохнулъ.

V.

Время шло да шло; до Святокъ оставалось примѣрно двѣ недѣли. Тетя Маша сумерничала со своею пріятель-

ницей дѣвицей Мучицыной. Бесѣда эта, какъ многія ей подобныя, происходила въ тети-Машиной комнатѣ, при чемъ тетя сиживала на любимомъ своемъ мѣстѣ — на большомъ, окованномъ жестью и покрытомъ стариннымъ ковромъ сундукѣ, стоявшемъ въ углу около печки. Сундукъ этотъ былъ личнымъ врагомъ Павлы Тимоѳеевны, она „видѣть его не могла“ и много разъ просила тетку выбросить эту старую „дрянь“. Марья Ивановна ни за что̀ не соглашалась: сундукъ былъ давно въ семьѣ и вдобавокъ ей нравился. Чуть ли не эта гонимая цивилизованною личностью мебель послужила яблокомъ раздора между теткой и племянницей, и вполнѣ достовѣрно что была она долгое время источникомъ немалыхъ огорченій и даже слезъ для тети Маши. Быть-можетъ потому-то и былъ сундукъ для нея таково дорогъ и любезенъ.

— Ужь давнымъ-давно я замѣчала, повѣствовала тетя Маша,—что между ними что-то такое начинается, и очень хорошо все это видѣла. А Петра Андреича, вотъ не повѣрите, Любовь Петровна, я съ перваго взгляда полюбила. Коли хорошій человѣкъ, такъ этого ужь не скроешь и сейчасъ это видно. А понравился онъ мнѣ тѣмъ что не въ нонѣшнихъ, Богъ съ ними! Съ нами, старухами („Какіе же еще кромѣ тебя здѣсь старухи?“ не преминула подумать Mlle Мучицина) разговаривать не брезгуетъ и почтительнымъ быть умѣетъ. Вѣдь за это больше и не взлюбила его наша игуменья.— Павлѣ Тимофевнѣ теперь отъ тети Маши иного званія какъ игуменья не было. — Ну, и сами знаете, Любовь Петровна, глаза у него...—Тутъ слѣдовало уже извѣстное читателю описаніе достоинствъ Кононова.—Братецъ Мина Иванычъ, по своей учености, конечно ничего этого

не замѣчалъ, и вотъ какъ-то разъ приходитъ и начинаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ Петра Андреича намъ съ Людочкой расхваливать. Я помалчиваю себѣ, да какъ на Лидочку взгляну, просто насилу удержаться могу, смѣшокъ меня разбираетъ. Братецъ и до сихъ поръ думаетъ, что я ничего не знала и всего этого давно не замѣчала.

Тетя Маша явно преувеличивала и свою проницательность и свое „во всемъ этомъ" значеніе, но вовсе не изъ желанія потщеславиться предъ Любовью Петровной. Далеко нѣтъ. Доброй старушкѣ казалось что все оно точно такъ происходило какъ она сказывала; болѣе, она не шутя огорчилась бы, начни кто-нибудь увѣрять ее въ противномъ. Такое невинное самообольщеніе было потребностью ея любящаго сердца; она просто не могла выдѣлить себя изъ „всего этого" и не за то обидѣлась бы на возстановителя истины, что онъ заподозрилъ бы ее въ ложныхъ показаніяхъ, а за сомнѣніе будто такое важное въ семьѣ дѣло случилось безъ ея вѣдѣнія и полнаго сочувствія. Такое невинное самообольщеніе вдобавокъ возвышало и укрѣпляло ея сердце. Конечно, тетя Маша всегда готова была *все* сдѣлать для Людочки, но случись теперь нужда въ ея самопожертвованіи, добрая старушка испытала бы особое радующее и счастливящее чувство.

— Онъ однако формальнаго предложенія еще не дѣлалъ, съ подавленнымъ вздохомъ отвѣчала дѣвица Мучицына, разумѣя подъ *нимъ* Владиміра Дмитрича.

— Что̀ вы, Любовь Петровна, какъ вамъ не грѣхъ это говорить! съ жаромъ укоряла ее старушка.—Развѣ можно такъ скоро? Пусть познакомятся, узнаютъ другъ друга. А то насмотрѣлась я на нонѣшнія свадьбы ско-

роспѣлыя: сегодня познакомились, завтра повѣнчались, а черезъ недѣлю, гляди, и разъѣхались. Нѣтъ, устройся у нихъ скоро, я, вотъ ей-Богу, сама воспротивилась бы и братца Мину Иваныча противиться наставила бы.

Тетя Маша невинно лукавила. Не только она не воспротивилась бы, а еще меньше стала бы наставлять Мину Иваныча, куда! Она спала и видѣла что предложеніе сдѣлано, и Лидочка съ Петромъ Андреичемъ объявлены невѣстой и женихомъ. А лукавила она потому что ея сердцу казалось непозволительнымъ даже чуточное осужденіе (а таковое, по ея мнѣнію, заключалось въ словахъ пріятельницы) любимыхъ и любящихся существъ. Черноокая дѣва охотно соглашалась съ доводами старушки: они объясняли ей почему Чулковъ до сихъ поръ не заикался о формальномъ предложеніи.

— А вѣдь по настоящему, продолжала Марья Ивановна,—мой интересъ чтобъ оно поскорѣй устроилось.

— Вамъ-то что̀ же? съ удивленіемъ спрашивала Любовь Петровна, и съ немалымъ сердцемъ въ самомъ оскорбленномъ тонѣ про себя думала: „Скажите, и она туда же! Для меня оно важнѣе, да и то соглашаюсь ждать.“

— Я тогда къ братцу или къ Людочкѣ переѣхала бы, а то мочи моей нѣтъ. Къ игуменьѣ-то нашей подступу нѣтъ; какъ братецъ Мина Иванычъ образумилъ ее, чуть ли не злѣе еще стала. Спросишь: не хочешь ли бифстексу къ завтраку, а она фыркаетъ: „ничего“, говоритъ, „не знаю, дѣлайте по-своему, ничьей я свободы не стѣсняю.“ Затвердила, прости Господи, эту свободу какъ сорока Якова.

Коснувшись отношеній къ старшей племянницѣ, ста-

рушка касалась своей слабой струны и не могла удержаться чтобы въ сотый разъ не разказать объ обидахъ отъ Павлы и чѣмъ эта ей обязана. О, еслибы Павла Тимоѳевна разъ въ недѣлю или дважды въ мѣсяцъ, но съ непритворною лаской, хотя бы о сущихъ пустякахъ говорила съ ней, никогда такія рѣчи и въ голову тети Маши не приходили бы! Любовь Петровна, памятуя ею самой отъ Павлы Тимоѳевны понесенныя оскорбленія, всегда терпѣливо и сочувственно выслушивала эти жалобы, а разъ или два, по той же причинѣ что̀ заставила Жида удавиться, всплакнула даже, но отнюдь не по поводу воспоминаній, а такъ просто, отъ полноты чувствъ.

„О, еслибы знали люди о чемъ я плачу!“ твердила про себя Mlle Мучицына въ то время какъ слезы лились изъ ея слишкомъ выразительныхъ и черезчуръ черныхъ очей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Господинъ Хамазовъ, возлежа на ложѣ во всемъ великолѣпіи восточнаго наряда, совершалъ кейфъ, то-есть, попросту, попивая кофе немилосердно палилъ папиросы, валяясь на диванѣ въ халатѣ и туфляхъ. Я дозволилъ себѣ нѣсколько возвышенный тонъ вовсе не потому, какъ многіе могутъ подумать, что узорный халатъ господина Хамазова былъ необычайно хорошъ и не потому даже что былъ онъ вдобавокъ подаркомъ, gage d'amour, первой развитой имъ дамы, вышившей своими нѣжными ручками туфли красовавшіяся на ногахъ акцизнаго Наполеона. Совсѣмъ нѣтъ. Потому я

на торжественный ладъ настроилъ лиру свою, что самъ господинъ Хамазовъ былъ необычайно хорошъ въ халатѣ. Таково, по крайности, было мнѣніе близко знавшихъ его дамъ. Сказанія ходившія по этому поводу отзывались отчасти баснословіемъ. Именно утверждалось, что кто Іоанникія въ халатѣ не видалъ, тотъ вовсе его не видалъ; къ этому присовокуплялось, что всякая смертная, будь она стриженая или долговолосая, удостоившаяся лицезрѣть господина Хамазова въ семъ одѣяніи, неминуемо и страстно въ него влюбится. Куцая пріятельница Паулины Тимоѳеевны, кромѣ того (разумѣется, въ интимной бесѣдѣ) утверждала будто всѣ многочисленныя побѣды Іоанникія Іосифовича были одержаны именно въ этомъ халатѣ.

Итакъ, Іоанникій валялся на диванѣ. Онъ попеременно щипалъ то правую, то лѣвую сторону верхней губы и судя по этой примѣтѣ находился въ перемѣнчивомъ расположеніи духа, причемъ въ его прогрессивной головѣ пріятныя мечты смѣнялись непріятными. Быть-можетъ, такому обстоятельству то способствовало что наканунѣ приходилось 14ое декабря, а Іоанникій имѣлъ привычку, по собственному выраженію, „справлять день пяти мучениковъ“.

Какъ бы то ни было, о чемъ бы въ послѣднее время господинъ Хамазовъ ни раздумывался, о своихъ ли служебныхъ успѣхахъ, или о благахъ человѣчества, мысль его въ концѣ концовъ неминуемо сворачивала на Людмилу Тимоѳеевну.

„Хорошенькая жена *плюсъ* двадцать тысячъ c'est joli“, въ такомъ видѣ формулировалъ онъ свои мечты о милой барышнѣ если предварительно размышлялъ о выгодахъ службы по акцизу. „Почему именно двадцать

тысячъ?“ допрашивалъ онъ себя порою, „можетъ-быть больше и гораздо больше, вдвое больше“. Но по неизвѣстнымъ самому господину Хамазову причинамъ цифра 20.000 постоянно приходила ему въ голову.

Формула нѣсколько измѣнялась когда мечтѣ о хорошенькой женѣ предшествовали размышленія о благѣ человѣчества, а именно бывала такова: „Двадцать тысячъ *плюсъ* Америка c'est даже très joli: умирать не надо“. Слѣдуетъ замѣтить что Іоанникій Іосифовичъ не только отъ нечего-дѣлать мечталъ, но въ дружескихъ бесѣдахъ отъ нечего-говорить не рѣдко выражалъ желаніе переселиться въ Америку.

— Намъ, людямъ новымъ, проповѣдывалъ онъ,— въ Россіи да и вообще въ Старомъ Свѣтѣ дѣлать нечего: почва въ теченіи долгихъ вѣковъ слишкомъ испорчена и насквозь роялизмомъ прогнила, но въ Америкѣ!... О, въ Америкѣ *я* показалъ бы на что способенъ, и мои идеи не погибли бы даромъ.

Господинъ Хамазовъ не шутя былъ увѣренъ что только онъ въ Америку, его сейчасъ же въ президенты выберутъ, а тамъ ужь дорога открытая.

Сегодня господинъ Хамазовъ предварительно удостоилъ человѣчество размышлять о его благѣ, а потому стремился въ Америку: за каковыя стремленія и поощрялся правый усъ. Но сегодня же онъ съ особою ясностью усматривалъ что какъ разъ на дорогѣ въ Новый Свѣтъ, въ видѣ неминуемой мели или неизбѣжнаго рифа, торчитъ Кононовъ. И за такую прозорливость шибко доставалось лѣвому усу.

„Нѣтъ“, съ зубовнымъ скрежетомъ, почти вслухъ возгласилъ господинъ Хамазовъ, „нѣтъ, я этого не позволю. Не такой я, чортъ возьми, человѣкъ чтобъ

уступать всякой швали. Я и то, по лѣни, запустилъ дѣла. Но чортъ же зналъ что она такъ скоро врѣжется въ этого Іерихонца (подъ Іерихонцами разумѣлись всѣ несогласники съ ученіемъ, долженствовавшіе погибнуть отъ трубы будущаго Навина, Іоанникія тожь.)

Господинъ Хамазовъ прошелся по комнатѣ, со злобой отшвырнулъ ногой валявшійся на полу окурокъ, точно то былъ не окурокъ, а самъ неминуемый рифъ, и подойдя къ окну задумчиво вытаращилъ глаза на трубы супротивнаго дома.

„Да", продолжалъ онъ, „надо показать *ей* чѣмъ эти господчики попахиваютъ. Понятно, никто иной, *онъ* натолковалъ ей что я соціалистъ, коммунистъ и прочая! (Что̀ разумѣлъ господинъ Хамазовъ подъ *прочая* осталось неизвѣстно). Конечно, онъ: самой гдѣ бы догадаться! Я сколькихъ барынь на своемъ вѣку развилъ, да онѣ черезъ два года развѣ узнавали что держатся коммунистическихъ идей! А этимъ Іерихонцамъ сейчасъ кличку придумать надо. И нѣтъ ничего на свѣтѣ вреднѣе всякихъ кличекъ: онѣ только публику отъ насъ отпугиваютъ. Отцы-іезуиты давно это поняли и умѣютъ скрывать свою принадлежность къ ордену. Такъ и *намъ* поступать слѣдуетъ... Впрочемъ, на сегодня благо человѣчества можно и по боку; теперь надо придумать какъ бы этого буржуазишку проучить. Впрочемъ, за поводомъ ходить далеко не къ чему. Онъ меня предъ ней коммунистомъ ославилъ, и сего достаточно. Брависсимо, предлогъ найденъ!"

Господинъ Хамазовъ до того былъ своимъ монологомъ доволенъ что чуть самому себѣ не зааплодировалъ, и перешелъ къ зеркалу. Подрапировавшись халатомъ и полюбовавшись своею физіономіей, Іоанникій порыви-

стымъ движеніемъ засучилъ правый рукавъ и сталъ разсматривать въ зеркало же мускулы, заставляя ихъ сокращаться и растягиваться, и повидимому остался весьма доволенъ такимъ осмотромъ. Далѣе, онъ взялъ щетку въ руку, отступилъ шага на два, согнулъ руку, точно держалъ не щетку, а пистолетъ, прищурился на правый глазъ, сдѣлалъ пальцами движеніе точно спуская курокъ, прищелкнулъ языкомъ, издалъ звукъ „пафъ" и закрылъ глаза. Простоявъ малое время съ закрытыми глазами и нѣсколько назадъ откинувъ туловище, онъ медленно и широко открылъ очи, приподнялся на цыпочки, словно желая разглядѣть лежавшаго за сугробомъ противника, положилъ щетку, самодовольно отвернулся отъ зеркала и пошелъ къ дивану.

Дуэль съ Кононовымъ была рѣшена.

„А страсть какъ эти бабенки *героевъ* любятъ", подумалъ онъ ложась на диванъ и съ особымъ удовольствіемъ, по совершеніи въ столь короткое время столь многихъ и великихъ подвиговъ, закуривая папиросу. „И только бы Іерихонецъ не струсилъ, въ чемъ я впрочемъ не сомнѣваюсь, наша Людмилочка отвернется отъ него."

Господинъ Хамазовъ, въ качествѣ радикала, явно отвергалъ дуэль, этотъ „грубый остатокъ средневѣковаго варварства". Господинъ же Хамазовъ, какъ простой смертный, въ тайнѣ допускалъ въ извѣстныхъ случаяхъ дуэль какъ средство „въ высшей степени практическое". Но не думайте что онъ былъ бретеромъ. Нѣтъ, Іоанникій болѣе воображеніемъ одобрялъ дуэль, въ жизни никогда не дрался и всего разъ посылалъ картель да и то неудачно. Именно, когда перворазвитая имъ барынька, одновременно почувствовавъ оскудѣніе финансовъ и ощутивъ угрызенія совѣсти, возврати-

лась на путь истины и вернулась къ мужу, Іоанникій, долго не могшій переварить такого афронта, задумалъ убить мужа. Онъ обвинялъ его въ употребленіи *подлыхъ* средствъ для возвращенія себѣ жены. Подлыя, по мнѣнію господина Хамазова, средства состояли въ томъ что мужъ писалъ женѣ нѣсколько писемъ гдѣ предлагалъ полное забвеніе и прощеніе и затѣмъ, по прощеніи, „наущалъ" жену отсылать нераспечатанными письма господина Хамазова. Къ великому сокрушенію Іоанникія, его же секунданты не нашли въ таковыхъ поступкахъ мужа никакого повода къ дуэли.

„Я все сдѣлалъ", утѣшился въ тѣ поры господинъ Хамазовъ, „чтобы доказать ей что ея благовѣрный не только дрянь, но и трусъ, и если она все-таки желаетъ жить съ нимъ—плевать я на нее хотѣлъ."

О, господинъ Хамазовъ постоянно пекся о другихъ, и никогда о себѣ!

„Кому бы", раздумывалъ акцизный радикалъ, „поручить это дѣло? Надо человѣка потолковѣе, а то опять напутаютъ и дадутъ возможность увернуться."

И только-что господинъ Хамазовъ сталъ мысленно перебирать знакомыхъ, какъ въ комнату ввалился старшій Погалевъ.

„Voilà mon homme" рѣшилъ Іоанникій Іосифовичъ и вслухъ: — А у меня къ вамъ, Степанъ Николаичъ, просьба великая.

— Къ вашимъ услугамъ, любезно отвѣчалъ Степанъ Николаевичъ.

II.

Иному читателю, быть-можетъ, покажется страннымъ появленіе старшаго Погалева у человѣка обозвав-

шаго его „донощикомъ“; но если это случится, то будетъ только знакомъ что читателю неизвѣстенъ тотъ типъ россійскихъ либераловъ, куда принадлежалъ Степанъ Николаичъ. Отличительная ихъ черта—необычайное рыхлодушіе; они не выдерживаютъ ни малѣйшаго посторонняго напора и либо сжимаются въ какую угодно напирателю форму, либо разсыпаются въ порошокъ, а предъ тѣмъ кто умѣетъ ловко польстить ихъ коньку даже мелкимъ бѣсомъ разсыпаются. Имъ нравится всякая таинственность, туманная расплывчатость, неясность и запутанность; все таковыми свойствами отличающееся, по ихъ словамъ, они вполнѣ понимаютъ. Всему опредѣленному и ярко обозначенному они враги непримиримые. У нихъ нѣтъ ясныхъ желаній и мыслей; взамѣнъ этого они переполнены либеральными поползновеніями. Нѣтъ, даже не либеральными. Какъ ни запутана наша политическая терминологія, все-таки слово „либеральный“ для нихъ слишкомъ опредѣленно. Не либеральными, а либеральненькими поползновеньицами они начинены. Они вѣчно вздыхаютъ о необходимости либеральныхъ мѣръ, но ни одну мѣру въ свѣтѣ не назовутъ вполнѣ либеральною. „Эпанципація крестьянъ, разсуждаютъ они, конечно въ нѣкоторомъ отношеніи можетъ быть названа мѣрой либеральною, но къ сожалѣнію она вызвана необходимостью.“ По-ихнему, либеральныя мѣры слѣдуетъ принимать безо всякой необходимости, а такъ изъ любви къ чистому, вполнѣ независимому отъ житейскихъ дрязгъ, либерализму. Въ глубинѣ души они, кажется, побаиваются-таки что-либо признать либеральнымъ: ихъ воздыханія лишатся букета.

Лично Погалевъ былъ человѣкъ добрый и не глу-

ный, но имѣлъ несчастіе правильно судить о предметѣ спустя болѣе или менѣе долгое время послѣ того какъ это требовалось и страдалъ тщательно скрываемою и вполнѣ платоническою ненавистью къ правительству, не къ русскому — Боже избави такой опредѣленности! — а такъ, къ правительству вообще. Его идеаломъ было жить и дѣйствовать противъ правительства, и онъ по мѣрѣ силъ исполнялъ это; не думайте однако чтобъ онъ дѣлалъ вещи предосудительныя; напротивъ, дѣянія его достойны всякой хвалы. Напримѣръ, по добротѣ сердечной, онъ подарилъ своимъ крестьянамъ земельный надѣлъ, и въ глубинѣ душевной утѣшался: такой де подарокъ „противенъ видамъ правительства". Какъ человѣкъ неглупый, онъ былъ дѣльнымъ и исправнымъ чиновникомъ, но и тутъ нашелъ утѣшеніе: по его мыслямъ какъ-то выходило что имѣть исправныхъ и дѣльныхъ чиновниковъ, *собственно де говоря*, противно видамъ правительства.

Примиреніе Погалева съ господиномъ Хамазовымъ послѣдовало при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Погалевъ не раньше какъ на другое утро почувствовалъ всю горечь обиды, и при первой же встрѣчѣ рѣшился высказать все это акцизнику, но Іоанникій обошелъ его (и не такихъ людей онъ обходилъ!). Заключивъ по выраженію лица о нерасположеніи Погалева, онъ первый подошелъ къ нему, дружески-неряшливымъ тономъ побранилъ себя за излишнюю горячность и въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ распространился о „джентельменской сдержанности" Степана Николаевича. Степанъ Николаевичъ не замедлилъ разрыхлѣть, и съ чувствомъ пожалъ руку обидчика.

„Хотя мы во многомъ и не сходимся, но все же

оба мы противъ правительства", утѣшилъ онъ себя и съ радостью принялъ предложеніе Хамазова „забѣгать къ нему чтобы поспорить о томъ и семъ."

И сегодня Погалевъ забѣжалъ къ Іоанникію для той же цѣли.

— Не знаю какъ благодарить васъ, подхватилъ Іоанникій Погалевское „къ вашимъ услугамъ",—за ваше расположеніе ко мнѣ и за вашу готовность помочь мнѣ въ дѣлѣ которое со стороны можетъ показаться пустяшнымъ, но для меня чрезвычайно важно.

Погалевъ почувствовалъ себя связаннымъ словомъ исполнить нѣчто, и ничего серіознаго въ семъ „нѣчто" не подозрѣвая сталъ внимательно слушалъ изліянія господина Хамазова.

Іоанникій принялся развивать мысли выраженныя въ давешнихъ монологахъ, присочиняя фабулу. Вотъ что̀, по его разказу, случилось. Онъ любилъ дѣвушку безумно, страстно; она совсѣмъ другихъ убѣжденій и „даже многія изъ ея мыслей, какъ со вздохомъ объявилъ Іоанникій, заставляли кровью обливаться его сердце". Но что̀ дѣлать? Напрасно разсудокъ боролся противъ страсти. Дѣвушка, видя его любовь, стала отвѣчать ему; по крайней мѣрѣ *всѣ* замѣчали что она особенно къ нему внимательна. Онъ могъ уже надѣяться на увѣнчаніе своихъ пламенныхъ желаній, какъ въ домъ втерся, помимо воли старшихъ членовъ семьи, молодой человѣкъ. Этотъ человѣкъ, средствами для сколько-нибудь порядочнаго человѣка непозволительными (въ чемъ они состояли господинъ Хамазовъ ради краткости опустилъ), обольстилъ сердце дѣвушки, мало того, оклеветалъ предъ нею „политически, нравственно и лично" болѣе счастливаго соперника. Господинъ Хамазовъ не

хочетъ чернить этого человѣка, хотя и знаетъ про него вещи возмутительныя; онъ предоставляетъ нравственному чувству Погалева назвать достойнымъ именемъ человѣка дѣйствовавшаго положимъ, подъ вліяніемъ страсти, но средствами подлыми. Послѣднее слово точно нечаянно вырвалось изъ груди г. Хамазова; онъ извинился за него и вздохнулъ.

Несмотря на спутанность, неясность и противорѣчія разказа, а можетъ-быть именно благодаря этимъ качествамъ, повѣсть о любви акцизнаго Наполеона III весьма понравилась Погалеву.

— Поступокъ этого молодаго человѣка, поспѣшилъ онъ выразить свое негодованіе,—неблагороденъ и вполнѣ достоинъ того имени которое вы, по деликатности, взяли назадъ. И повѣрьте, я вполнѣ цѣню деликатность вашего чувства.

Г. Хамазовъ съ чувствомъ пожалъ руку цѣнителя своихъ деликатныхъ чувствъ.

— Итакъ, началъ онъ, глядя внизъ и въ сторону,— вы поѣдете и сдѣлаете ему вызовъ отъ моего имени.

— Дуэль!! закричалъ удивленный Погалевъ, и про себя: „О, чортъ возьми! вотъ такъ влопался; а я думалъ, онъ просто ищетъ моего сочувствія.“

— Вы изъявили готовность помочь мнѣ и дали слово....

— О, конечно, конечно! пролепеталъ бѣдный Погалевъ и подумалъ: „да съ кѣмъ же онъ драться-то хочетъ? что жъ я не спросилъ?“

И онъ освѣдомился объ имени противника; Іоаннинъ назвалъ Кононова.

— Но позвольте, снова опамятовался Степанъ Николаичъ.— Для дуэли предлогъ нуженъ, а у васъ?...

— Но вы сами нашли его поступки....

— Согласенъ, но нуженъ такъ-сказать ближайшій....

Господинъ Хамазовъ возразилъ что это „рутина“, но Погалевъ нашелся и отвѣтилъ что „и сама дуэль вообще вещь отсталая“. Іоанникій согласился, но драться тѣмъ не менѣе считалъ необходимымъ. По меньшей мѣрѣ съ часъ переливали они изъ пустаго въ порожнее, и обратно. Наконецъ, послѣ долгихъ отнѣкиваній радикала, либералъ настоялъ что будетъ написано къ Кононову письмо гдѣ изложатся всѣ его поступки; Кононову предложено будетъ извиниться, и въ случаѣ отказа—вызовъ. Сказавъ что завтра въ десять часовъ онъ заѣдетъ за письмомъ, Погалевъ откланялся.

Дорогой онъ не мало бранилъ себя что ввязался въ такое дѣло. „И какъ устраиваются дуэли“, размышлялъ онъ, „не знаю, но навѣрно какъ-нибудь иначе. И я-то, мирный гражданинъ, и вдругъ! Въ такихъ дѣлахъ къ гвардейцамъ или по крайности къ путейскимъ штабъ-офицерамъ обращаться слѣдуетъ“, наставлялъ онъ отсутствующаго господина Хамазова. Степанъ Николаичъ не раньше успокоился какъ надумавшись что теперь все дѣло въ его рукахъ, а стало онъ можетъ разстроить дуэль, и тѣмъ послужить либеральнымъ идеямъ.

III.

Кононовъ съ Чулковымъ долго засидѣлись у Воробьевыхъ. На обратномъ пути Петръ Андреичъ сталъ уговаривать пріятеля ѣхать ночевать къ себѣ.

— Ближній свѣтъ, на Васильевскій тащиться! замѣтилъ Чулковъ.

— Ахъ, Боже мой! *мнѣ* надо, возразилъ Кононовъ

такимъ тономъ: „какъ де вамъ не стыдно не ѣхать когда *мнѣ* нужно.“

„Открыться хочетъ“, подумалъ Владиміръ Дмитричъ, и тотчасъ же согласился на пріятелеву просьбу.

Откровенія, вопреки ожиданію Чулкова, не послѣдовало: хотя пріятели проболтали о разныхъ разностяхъ до бѣла свѣта. На другой день, проснувшись не рано, они безмятежно наслаждались чаепитіемъ, какъ раздался звонокъ. Кононовъ въ это утро былъ въ особомъ, сосредоточенномъ и въ то же время разсѣянномъ расположеніи духа. Казалось, одна дума, одно чувство хотѣли поглотить всего человѣка и онъ радовался такому поглощенію, всячески стремился къ нему, но чуть отдастся завѣтной думѣ какъ тысячи тысячъ мелкихъ полумыслей и соображеній нападутъ на нее, начнутъ ее толкать, тормошить, щипать и всячески отвлекать отъ нее человѣка. На языкѣ у Петра Андреича вертѣлись какія-то, какъ ему представлялось, давно и зрѣло обдуманныя, но въ то же время доселѣ ему чуждыя слова, и выговориться этимъ словамъ мѣшаютъ тѣ же несносныя мелочи. Такъ и теперь: только онъ открылъ ротъ, только собрался окончательно сказать завѣтное слово,—чортъ принесъ кого-то. Кононовъ распорядился было никого не принимать, но Петровна доложила что пришелъ „баринъ, изъ себя ражій, и по самонужнѣющему дѣлу непремѣнно желаетъ ихъ видѣть“. Приказавъ просить обождать, Кононовъ сталъ торопливо и сердито одѣваться, намѣреваясь какъ можно скорѣе сбыть докучнаго гостя. Посѣтитель—читатель догадался что то былъ Погалевъ и потому мнѣ не зачѣмъ называть его—между тѣмъ откашливался и про себя репетировалъ роль

секунданта. Онъ думалъ было по дорогѣ заѣхать къ знакомому путейцу посовѣтоваться, но побоялся преждевременной огласки, и своимъ умомъ дошелъ что секундантъ долженъ имѣть видъ нѣсколько офиціальный, сюртукъ до верху застегнутый и рѣчь витіеватую и даже отчасти торжественную.

Кононовъ не сразу узналъ Погалева, и когда тотъ назвалъ себя по имени, обрадовался ему какъ родному.

— Очень радъ, очень радъ, заговорилъ онъ,—пожалуста садитесь. Я вѣдь очень хорошо знаю вашего братца. Какже, M. Paul! Что̀ за милый мальчикъ! Мы всѣ такъ любимъ его.

И Кононову вспомнился длинный рядъ вечеровъ, и всѣ участники, и онъ еще разъ объявилъ Погалеву: молъ очень радъ васъ видѣть, и въ пятый, кажется, разъ крѣпко прекрѣпко пожалъ ему руку.

— Я къ вамъ по дѣлу.

— Чѣмъ могу быть полезенъ? Говорите, очень радъ.

— Дѣло, началъ было Степанъ Николаичъ, но вспомнивъ что просто и прямо сказать въ чемъ дѣло будетъ не довольно офиціально, вставъ разстегнулъ до верху застегнутый сюртукъ, вынулъ письмо, съ поклономъ подалъ его Кононову, снова застегнулся на всѣ пуговицы и затѣмъ только сѣлъ.

— Отъ кого это? спросилъ Кононовъ вертя письмо въ рукахъ.

— Отъ Іоанникія Іосифовича Хамазова торжественно объявилъ секундантъ.—И я беру на себя смѣлость просить васъ прочесть его какъ можно внимательнѣе.

Кононовъ весьма невнимательно пробѣжалъ письмо и ничего не понялъ. „Глупости какія-то“, рѣшилъ онъ.

— Изволили прочесть?

— Прочелъ, какже! беззаботно отвѣчалъ Кононовъ.

— И что̀ скажете?

— Что̀ скажу?—Сказать рѣшительно было нечего.—Вы пожалуста, съ ласковою просьбой обратился онъ къ Погалеву,—пожалуста объясните мнѣ на словахъ: что̀ угодно вамъ или, быть-можетъ, господину Хамазову?

— Господинъ Хамазовъ требуетъ удовлетворенія.

— Удовлетворенія? за что̀?

— Онъ считаетъ себя глубоко оскорбленнымъ вами.

— Мы, кажется, съ нимъ не ссорились; я не помню даже говорилъ ли съ нимъ хотя разъ долѣе пяти минутъ.

— Можно оскорбить человѣка заочно, и даже не зная его лично.

— Да? съ изумленіемъ поднявъ брови спросилъ Кононовъ, точно впервые въ жизни услышалъ такое глубокомысленное изреченіе.

— И вамъ, смѣю думать, лучше другихъ извѣстно въ чемъ заключается съ вашей стороны такое заочное оскорбленіе относительно господина Хамазова, возвѣстилъ секундантъ и улыбнулся тою казенною улыбкой какая является на устахъ у танцовщицъ всякій разъ какъ онѣ присѣдаютъ окончивъ „колѣно“.

Кононовъ окончательно ничего не понималъ.

— Что̀ же собственно угодно господину Хамазову? переспросилъ онъ.

— Чтобъ вы извинились предъ нимъ или....

— Или?

— Или.... — Погалевъ, какъ раньше, не могъ усидѣть.—Или проговорилъ онъ стоя и самымъ торжественнымъ тономъ,—или я буду поставленъ въ печальную необходимость исполнить непріятную обязанность посредника и передать вамъ вызовъ....

— Дуэль! громко сказалъ Кононовъ, и слѣдомъ предъ нимъ мелькнули пружинные глаза господина Хамазова: онъ въ нихъ цѣлится, а они прыгаютъ съ мѣста на мѣсто. Такая картина до того забавила нашего пріятеля что онъ чуть не расхохотался.

„Онъ точно радъ вызову“, поспѣшилъ заключить сообразительный либералъ.

— Итакъ... началъ онъ.

— Ахъ да! Что̀ жь въ такомъ случаѣ надо дѣлать, я право не знаю.

— Въ такомъ случаѣ, вы потрудитесь прислать, если возможно сегодня же къ пяти часамъ пополудни, вашего секунданта по слѣдующему адресу.

— Непремѣнно пришлю, улыбаясь отвѣтилъ Кононовъ и подумалъ: „Вотъ и чудесно! Чулковъ и отправится: это по его части, а я боялся что мнѣ самому надо что-то дѣлать.“

Степанъ Николаевичъ всталъ, совершилъ обрядъ разстегиванія, вынулъ карточку, съ поклономъ вручилъ ее Кононову и совершилъ обрядъ застегиванія. Петръ Андреевичъ съ празднымъ любопытствомъ сталъ разсматривать полученный кусокъ веленевой бумаги, намѣреваясь спросить секунданта гдѣ онъ заказывалъ такія изящныя карточки.

— Честь имѣю кланяться, возгласилъ Погалевъ.

— До свиданья, до свиданья, провожая гостя до

передней, заговорилъ хозяинъ.—Сдѣлайте одолженіе заходите, я всегда очень радъ и кланяйтесь отъ меня вашему братцу, если раньше моего увидите.

Но вдругъ Кононову пришло въ голову что съ секундантомъ такъ, кажется, любезничать неловко, и онъ, смѣясь надъ своею неловкостью, махнулъ рукой и побѣжалъ къ Чулкову. Тотъ слышалъ слово „дуэль“ и съ нетерпѣніемъ ждалъ: чѣмъ кончились переговоры.

— Ну что̀? встрѣтилъ онъ Кононова.

— Виноватъ, я давно хотѣлъ вамъ сказать, но все мѣшали. Погодите немного, я только соберусь съ мыслями....

— Я васъ спрашиваю: зачѣмъ Погалевъ пріѣзжалъ? Какая еще дуэль?

— А, вы объ этомъ! усмѣхнулся Кононовъ.—Впрочемъ я забылъ: вѣдь это по вашей части; вамъ надо отправиться въ пять часовъ.

— Прекрасно, я отправляюсь, только надо же мнѣ знать куда и зачѣмъ.

— Вотъ вамъ адресъ.

— А зачѣмъ, по-вашему, мнѣ знать не требуется?

— Узнаете, все *тамъ* узнаете.

— Скажите, по крайности, кто и за что̀ васъ вызываетъ?

Владиміръ Дмитричъ начиналъ сердиться.

— Все этотъ Хамазовъ. И право не знаю что̀ ему отъ меня нужно.

— Опомнитесь хоть на минуту, Кононовъ! закричалъ Чулковъ, потерявъ всякое терпѣніе.—Вѣдь дѣло идетъ о вашей жизни.

— О жизни?

Кононовъ взглянулъ на пріятеля, и хотя онъ долго и упорно глядѣлъ на него, Чулкову подумалось: „не на меня онъ теперь глядитъ, да и съ вопросомъ-то обратился не ко мнѣ же, а къ своему самому внутреннему, самому потайному *я*.“ Кононовъ улыбнулся. „Жизнь? *моя* жизнь зависитъ отъ этого? Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть!“ — такъ истолковалъ себѣ Чулковъ эту улыбку.

— Все это пустяки, говорилъ Кононовъ,—и пустяками окончится. Вы сами увидите. Впрочемъ, вотъ вамъ письмо, читайте, только пожалуста скорѣе. Мнѣ некогда; мнѣ надо, мнѣ очень надо сказать.... переговорить.... сказать вамъ....

Чулковъ прочелъ письмо и ничего не понялъ. При вторичномъ чтеніи, онъ не безъ труда усмотрѣлъ нѣчто похожее на смыслъ въ слѣдующихъ словахъ: „И я надѣюсь что вы, какъ благородный человѣкъ (выраженіе „какъ благородный человѣкъ“ было вставлено по особому и усильному настоянію Погалева), дадите мнѣ должное удовлетвореніе за извѣстные поступки ваши въ извѣстномъ вамъ домѣ“.

— Что̀ за домъ? что̀ за поступки? спросилъ онъ, обративъ вниманіе Кононова на это мѣсто письма.

— Вѣдь я говорилъ же вамъ что все это глупости и я ничего не знаю. Но довольно, довольно! обиженно и капризно, по-дѣтски капризно закричалъ онъ, замѣтивъ движеніе Чулкова. — Слушайте, слушайте что̀ я вамъ скажу.

Чулковъ приготовился слушать, но Кононовъ вдругъ круто повернулся на каблукахъ и быстро, быстро мелкими шажками побѣжалъ въ противоположный уголъ;

потомъ вернулся, остановился предъ пріятелемъ, совсѣмъ было собрался говорить, но взмахнулъ рукою и перебирая пальцами по воздуху, точно играя на невидимомъ и накось къ отвѣсу стоящемъ фортепіано, улыбнулся, попрежнему повернулся на каблукахъ и направился въ тотъ же уголъ. Вернувшись вторично, онъ близко, близко подошелъ къ Чулкову, взялъ его двумя пальцами немного пониже плеча, слегка ущипнулъ даже, и прямо глядя ему въ глаза проговорилъ явственно и раздѣльно, но словно бы укоряющимъ тономъ:

— А что̀ вы, Владиміръ Дмитричъ, скажете, если я вдругъ возьму да и женюсь?

— Наконецъ-то! радостно закричалъ Чулковъ, вскакивая со стула и бросаясь цѣловать пріятеля. — Такъ вы рѣшились? Ну, и слава Богу.

— Такъ вы рады, рады? съ наивнымъ любопытствомъ спрашивалъ Кононовъ, цѣлуя пріятеля.

„Теперь я его понимаю“, подумалъ Чулковъ. „Предъ *этимъ* все пустяки и глупости. И права пословица: женихъ безъ ума.“

Въ эту минуту зазвенѣлъ звонокъ.

— Опять! съ досадой сказалъ Чулковъ.

— О, они навѣрно сговорились мѣшать намъ! сказалъ Кононовъ, точно ни мало не сомнѣвался въ существованіи такого сговора.—А что̀, не дуэль ли опять? со смѣхомъ прибавилъ онъ.—Однако велѣть не принимать.

Было уже поздно: кто-то вошелъ въ сосѣднюю комнату.

IV.

Въ то время какъ Кононовъ явственно и раздѣльно говорилъ Чулкову о своей женидьбѣ, въ сосѣдней комнатѣ происходило слѣдующее. Амалія Ѳедоровна, вставши на стулъ, снимала юпку съ гвоздика, вбитаго въ двери, по другую сторону которой на стулѣ сидѣлъ Чулковъ. Блондинка и не желая слышать не могла не услыхать словъ Кононова, и они произвели на нее потрясающее дѣйствіе. Она чуть не чубурахнулась со стула, и какъ была, неодѣтая, высоко держа юпку надъ головой, опрометью понеслась въ кухню. По дорогѣ она сшибла было съ ногъ Петровну, летѣвшую отпирать двери, и онѣ порядочно таки стукнулись лбами. Не чувствуя боли, съ силой отпихнувъ компаньйонку, Амалія ринулась дальше; въ кухнѣ она упала на табуретку и сидѣла вытаращивъ глаза, тяжело дыша, ровно версты двѣ во всю прыть пробѣжала и съ напряженіемъ держала юпку въ рукахъ, точно ее у нея отнимали.

Надо сказать что за отсутствіемъ какого-либо подтвержденія, извѣстіе Семенъ Иваныча на счетъ Кононовской женитьбы было обѣими дамами почтено за ложное. Петровна размышляла, гадала на картахъ, и изрекала:

— Вретъ онъ, все вретъ; съ ревности да съ водки ему приставляется; глядите сами: вотъ она ревнивая карта, а вотъ и пьяная.

Изреченіе оракура подтверждалось еще тѣмъ что Чулковъ, на кого сослался Семенъ Иванычъ, до вчерашняго дня не являлся и дамы даже рѣшили: совсѣмъ де онъ уѣхалъ.

— Что̀ это вы какъ оглашенная бѣжали? Глядите, какую шишку себѣ набили, сказала компаньйонка и пощупала свой лобъ.

— Ахъ, отвѣчала блондинка, — Семенъ Иванычъ правду говорили: онъ женится, сейчасъ самъ Чулкову говорилъ, я слыхала; своими ушами слыхала.

И Амалія Ѳедоровна, выразительности ради, потыкала указательнымъ пальцемъ въ мочку праваго уха.

— А что̀ жь я-то вамъ говорила? затараторила Петровна. — Такъ ему и на картахъ выходило: все на сердце бубновая дама ложилась. И вотъ голову свою прозакладую, на блондинкѣ молоденькой онъ женится. И опять Семенъ Иванычу печаль предстояла. И какъ же не печаль, жилецъ такой, самыя вѣрныя деньги, все равно что у тебя въ карманѣ, и вдругъ переѣдетъ. И какъ еще вѣрно-то! съ особою живостью затрещала компаньйонка. — Печаль-то по поздней дорогѣ, а онъ, какъ впервò̀й-то узналъ, поздно вернумшись былъ. И опять печаль по скорой дорогѣ. Ужь чего скорѣе, какъ вы нынче бѣжали-то, точно на пожаръ фараоны летятъ. И вотъ вы, Амалія Ѳедоровна, всегда спорите, а карты никогда не врутъ, только понимать ихъ надо умѣючи.

Амалія Ѳедоровна не слушала; она сидѣла опустивъ голову и сосредоточенно глядя на руки безъ милосердія комкала юпку.

— Да что̀ это вы въ самомъ дѣлѣ, срамница этакая, чего вы юпку-то комкаете. Глядите, не надѣванная вѣдь.

И Петровна принялась вырывать юпку; Амалія Ѳедоровна точно отъ сна пробудилась, тяжело воздохнула, и заплакала горькими, прегорькими слезами.

V.

Кононовъ глянулъ въ двери, и закричалъ во все горло, точно Владиміръ Дмитричъ не подлѣ стоялъ, а былъ за пять комнатъ:

— Чулковъ! идите сюда. Вѣдь это Никандръ Ильичъ, *самъ* Никандръ Ильичъ.

Редакторъ былъ встрѣченъ какъ самый дорогой и любезный гость, чѣмъ и остался весьма доволенъ.

— Очень радъ, Петръ Андреичъ, сказалъ онъ,— что нахожу васъ такимъ бодрымъ и веселымъ. Я вѣдь по дѣлу, и даже признаться сказать имѣю намѣреніе побраниться съ вами немного. Скажите, ради Бога, что̀ вы это со мною дѣлаете?

— Какъ что̀ дѣлаю?

— Развѣ вы не получали моихъ писемъ которыми, въ послѣднее время, я просто бомбардировалъ васъ?

Кононовъ вспомнилъ что ему подавали какія-то письма и онъ читалъ ихъ, но о чемъ они были, хоть убейте, не помнилъ.

— Получалъ, какже, получалъ.

— И что̀ же?

— Да я, видите, все собирался, отвѣтилъ онъ на удачу.

— Собирались? И прекрасно. Сейчасъ же и поѣдемте къ Ѳедосѣй Ѳедосѣичу, который уже съ нетерпѣніемъ ждетъ васъ.

— Какой Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ? Ахъ, Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ!

И Кононовъ взглянулъ на Чулкова. „Что жь онъ

не смѣется?“ подумалось ему. „Какой странный! развѣ онъ не помнитъ какъ смѣялась Людмила Тимоѳевна, когда я разказывалъ про Ѳедосѣй Ѳедосѣича.“

— Дѣло въ томъ, продолжалъ Никандръ Ильичъ,— что Ѳедосѣй Ѳедосѣичъ, который въ восторгѣ отъ васъ, даже говорилъ уже про васъ съ министромъ, который....

— Ахъ, какой онъ милый!

То было восклицаніе Людмилы Тимоѳевны послѣ разказа о штатскомъ генералѣ, и Кононовъ, вспомнивъ, невольно повторилъ его. Редакторъ подозрительно взглянулъ на молодаго человѣка: онъ не понималъ какъ такое, что̀ бы тамъ ни говорили, все же довольно высокопоставленное лицо могло быть *милымъ*.

— Дѣло въ томъ, продолжалъ редакторъ,—что имъ въ министерствѣ нуженъ молодой человѣкъ который владѣлъ бы уже слогомъ, а я именно рекомендовалъ вашъ слогъ который такъ уважаю. И повторяю....

— А Богъ съ ними и со слогомъ! перебилъ Кононовъ и махнувъ рукой, отвернулся отъ редактора.

— Помилуйте! Да въ какое положеніе вы меня-то ставите? возопилъ редакторъ.

— А вамъ что̀? спросилъ Чулковъ.

— Какъ что̀? Помилосердуйте, господа, какъ вы странно разсуждаете! Нельзя же шутить съ такими лицами, мало ли что̀ можетъ случиться! И даже по журналу, они вездѣ могутъ слово замолвить! Ахъ!

Редакторъ былъ въ полномъ отчаяніи, и Кононовъ съ сочувствіемъ посмотрѣлъ на него, но не зналъ чѣмъ утѣшить, и взглянулъ на Чулкова какъ бы говоря: „Что жь вы молчите? Вѣдь это тоже по вашей части.“

— Что̀ я скажу ему теперь! Ахъ, Господи! воздыхалъ и сокрушался редакторъ.

— Но вы раньше объясняли же ему какъ-нибудь почему Кононовъ не является? нашелся Чулковъ.

— Раньше?.. Извините, Петръ Андреичъ, я позволилъ себѣ сказать что вы заболѣли и серіозно больны...

— Боленъ? вотъ и прекрасно! весело подхватилъ Кононовъ.—А теперь... теперь скажите что умеръ.

И наши пріятели звонко захохотали.

„Что̀ за странные люди!“ подумалъ редакторъ. „Всѣ мы, конечно, смолоду либералами были, и надъ генералами смѣялись, но нельзя же на практикѣ пренебрегать...“

— А что̀ вашъ журналъ? немного погодя освѣдомился Кононовъ.

— О, журналъ теперь окончательно поставленъ на ноги и четыре тысячи подписчиковъ, по меньшей мѣрѣ, обезпечены.

— Какимъ это образомъ!

— Знаете, сотрудники у меня все отличные, и на послѣднемъ собраніи которое было у насъ, рѣшено по всѣмъ вопросамъ высказаться въ самомъ радикальномъ смыслѣ. И я согласенъ. Знаете, этотъ казенный либерализмъ надоѣлъ ужь публикѣ, которая у насъ, какъ еще Гоголь прекрасно выразился, ничего прѣснаго не любитъ. Да, мы теперь совсѣмъ красные, а вы, господа, еще отъ участія тогда отказались, боялись что я ретроградъ.

И редакторъ укоризненно покачалъ головою.

— Я отъ переводовъ не отказывался, вставилъ пользуясь случаемъ, Чулковъ.

— Охъ, батюшка, не напоминайте мнѣ про переводъ! Вотъ онъ гдѣ у меня, проклятый, сидитъ.—И

редакторъ съ озлобленіемъ ткнулъ себя во второй шейный позвонокъ.

— Что̀ такое?

— Madame Головастикова, на бѣду мою, задумала по-англійски учиться, и всего на все два мѣсяца какъ учится, а потребовала перевода: вѣдь онѣ всѣ теперь на самостоятельномъ трудѣ помѣшаны, и отъ переводчицъ просто уже отбою нѣтъ. Охъ, во что̀ мнѣ однѣ корректуры обойдутся! А отказать, сами знаете, нельзя было.

Пріятели ничего не знали.

— Ахъ, господа, да я вижу вы совсѣмъ не слѣдите за развитіемъ литературнаго движенія! Какъ же вамъ не стыдно! сказалъ редакторъ такимъ тономъ точно наши пріятели совершили тяжкое преступленіе.— Вѣдь объ этомъ вовсѣхъ газетахъ объявлено.

— О чемъ?

— Головастиковъ у меня редакторъ критическаго отдѣла, съ явнымъ намѣреніемъ поразить молодыхъ людей возгласилъ Никандръ.—Но вы пожалуй не читали даже его статьи которую онъ уже помѣстилъ въ послѣднемъ номерѣ *Соревнователя*?

Оказалось что нѣтъ, и Никандръ разразился цѣлымъ потокомъ укоровъ.

— Помилуйте, въ заключеніе объявилъ онъ,— вѣдь онъ доказалъ, положительно доказалъ что всѣ наши такъ-называемые великіе поэты въ сущности были только генералы и камеръ-юнкера̀. Во всей литературѣ теперь гвалтъ. Еще бы: идея совершенно новая! И даже,—таинственнымъ шепотомъ и боязливо озираясь по сторонамъ добавилъ Никандръ Ильичъ,—и даже, какъ я узналъ изъ вполнѣ достовѣрныхъ источниковъ. объ этой статьѣ во дворцѣ спрашивали.

Почему красному редактору потребовалось о дворцѣ приврать, онъ и самъ не вѣдалъ.

Никандръ просидѣлъ и проболталъ ужасно долго, и по меньшей мѣрѣ раза три принимался уговаривать Кононова ѣхать сейчасъ же къ Ѳедосѣй Ѳедосѣичу. Надоѣлъ онъ нашимъ пріятелямъ нестерпимо, и они наконецъ заговорили между собой особо. Никандръ догадался что онъ лишній, и объявилъ что онъ охотно посидѣлъ бы еще съ полчаса, да рѣшительно некогда, убрался по добру по здорову.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I.

Погалевъ находился въ ужасномъ волненіи. Хотя свиданіе съ секундантомъ Кононова было имъ самимъ назначено въ пять, Степанъ Николаичъ съ половины четвертаго сталъ съ безпокойствомъ поглядывать па часы. Въ три четверти четвертаго онъ приказалъ зажечь всѣ лампы какія только имѣлись налицо, а самъ занялся приведеніемъ въ порядокъ гостиной, то-есть началъ передвигать съ мѣста на мѣсто мебель, не оставивъ въ покоѣ ни единага стульчика. За симъ послѣдовало куреніе комнатъ, но слуга поусердствовалъ, и чтобъ уничтожить запахъ Степанъ Николаичъ принялся самолично прыскать духами и не раньше успокоился какъ истребивъ цѣлую стклянку. Пробило половину пятаго, и онъ съ ужасомъ вспомнилъ что не приготовилъ какъ слѣдуетъ вступительной рѣчи, на ея же миротворное дѣйствіе весьма разчитывалъ. Еще съ вечера набросалъ онъ на бумагѣ „мысли о поединкахъ“ и

теперь, просматривая неписанное, кое-что не безъ чувства довольства прочелъ вслухъ. Безъ четверти пять явился второй секундантъ г. Хамазова, князь Бросокъ-Ашметкинъ; съ его появленіемъ Погалевъ окончательно заволновался и буквально ежеминутно справлялся съ часами. Въ четверть шестаго („наконецъ-то", взохнулъ хозяинъ) пріѣхалъ Чулковъ.

Степанъ Николаичъ учинилъ ему торжественную встрѣчу и усадилъ на диванъ, водворивъ князя въ креслѣ справа и помѣстивъ свою особу въ креслѣ слѣва.

— Господа! началъ хозяинъ, предварительно откашлившись и раза два взглянувъ въ бумажку,—раньше чѣмъ мы приступимъ къ спеціальному сужденію о дѣлѣ для котораго собрались здѣсь, позвольте поблагодарить васъ за честь которую вы мнѣ оказали, избравъ мѣстомъ совѣщанія мою квартиру.

Чулковъ круто повернулся на диванѣ.

— Я сейчасъ, конфиденціально шепнулъ ему Погалевъ и офиціально продолжалъ:—Смѣю думать, господа, что всѣ здѣсь присутствующіе согласны съ мнѣніемъ раздѣляемымъ лучшими европейскими авторитетами, а именно что поединки, какъ и прочіе виды суда Божьяго, давно отжили свой вѣкъ и теперь составляютъ, такъ-сказать, никому не принадлежащее и никому не нужное наслѣдство средневѣковаго варварства, годное развѣ для историческихъ музеевъ.

Степанъ Николаичъ безъ устали промеледилъ въ томъ же родѣ минутъ двадцать добрыхъ. Чулковъ разъ пять принимался кашлять и изъявлять иные знаки нетерпѣнія но либеральный ораторъ неунимался, и проговоривъ каждый разъ конфиденціальное „я сейчасъ", продолжалъ тянуть офиціальную канитель.

— Позвольте, прервалъ наконецъ Чулковъ,—къ чему о томъ разпространяться въ чемъ, по вашимъ же словамъ, мы всѣ согласны.

— Но я надѣюсь, насупившись и нѣсколько отставивъ нижнюю губу, пробурчалъ Погалевъ,—что вы не будете во что̀ бы то ни стало настаивать на поединкѣ, и даже наша прямая обязанность какъ секундантовъ....

— Я тоже, хгы, согласенъ; дуэль—совершеннѣйшій вздоръ...

И князь въ свою очередь пустился-было въ разглагольствованія объ отсталости дуэли.

— Ваша рѣчь впереди, рѣзко прервалъ его Чулковъ, и къ Погалеву:—Наша обязанность какъ секундантовъ, насколько я понимаю, состоитъ вопервыхъ въ томъ чтобы рѣшить: есть ли достаточный поводъ къ дуэли...

— Я о словахъ не спорю, поспѣшно вставилъ Погалевъ, опасаясь чтобы приготовленная фраза не пропала безслѣдно,—хотя не могу не замѣтить что вы изволили выразить ту же мысль что̀ я имѣлъ раньше въ виду.

— Прекрасно. Господинъ Хамазовъ въ своемъ письмѣ утверждаетъ будто господинъ Кононовъ совершилъ въ извѣстномъ домѣ извѣстные—надо пологать для господина Хамазова оскорбительные—поступки и требуетъ за это удовлетворенія. Потрудитесь вкратцѣ изложить въ чемъ именно состояли эти поступки, гдѣ совершены и видите ли вы въ нихъ, по совѣсти, достаточный поводъ къ дуэли.

Погалевъ замялся.

— Я полагалъ что все это лучше всѣхъ извѣстно господину Кононову....

— Лучше, или нѣтъ извѣстно это господину Кононову, для насъ троихъ рѣшительно все равно; мы о томъ только можемъ судить что̀ намъ извѣстно.

— Хгы, вы правы.

Чулковъ повторилъ вопросъ. Погалевъ еще помялся и наконецъ, путаясь и заикаясь, передалъ слышанную вчера отъ Іоанникія исторію.

— Господинъ Хамазовъ объяснилъ ли вамъ гдѣ и когда это случилось?

— Я счелъ неделикатнымъ разспрашивать; притомъ, повторяю, я былъ увѣренъ что господинъ Кононовъ....

— Я настойчиво прошу васъ оставить господина Кононова въ покоѣ....

— Хгы, Чулковъ, не горячитесь, перебилъ потомокъ Гедемина. — Я, кажется, могу объяснить вамъ все. Хгы, хгы. — Князь подумалъ. — Вы вѣдь, хгы, знаете: Хамазовъ ужасный волокита и даже, хгы, Донъ-Жуанъ, и у него пропасть этихъ, хгы, какъ онъ выражается, амуретныхъ исторьетокъ. Хгы, хгы. И онъ, хгы, волочился.... Ну да, хгы, вы ее знаете.... Воробьева Люд....

— Поручалъ ли господинъ Хамазовъ вашему сіятельству объяснить это? съ особою сдержанностію и сильно чеканя спросилъ Чулковъ.

— Хгы, нѣтъ. Это, хгы, мои посильныя соображенія....

— Въ такомъ случаѣ, я просилъ бы ваше сіятельство избрать другой предметъ для вашихъ посильныхъ соображеній; между порядочными людьми не принято легкомысленно припутывать имена женщинъ къ исторіямъ.... довольно грязнаго свойства.

— Хгы, вы правы, согласился Гедеминовичъ. — И я, хгы, люблю, хгы, когда такъ прямо и рѣзко!

— И такъ, въ чемъ собственно состояло оскорбленіе господина Хамазова вамъ неизвѣстно? обратился Владиміръ Дмитричъ къ Погалеву.

— Кромѣ того что̀ я имѣлъ честь объяснить вамъ.

— Но вы, по крайней мѣрѣ, увѣрены что господинъ Хамазовъ передалъ вамъ дѣйствительные факты, а не произведеніе фантазіи.

— Вы забываете что господинъ Хамазовъ мой довѣритель и смѣю замѣтить вамъ что я по моимъ убѣжденіямъ, которымъ имѣю привычку никогда и ни для кого не измѣнять, не принялъ бы на себя обязанности секунданта со стороны человѣка каждому слову котораго не вѣрилъ бы безусловно.

Чулкову, въ теченіи переговоровъ, нѣсколько разъ въ достаточной степени приходилось испытывать терпѣніе, послѣднія же слова Погалева, надменно-обидчивый тонъ какимъ они были произнесены и главное фраза объ „убѣжденіяхъ“ — взорвали Владиміра Дмитрича.

„Погоди же ты, безусловный!“ выбранилъ онъ про себя Погалева и вслухъ: — Вашъ теперешній довѣритель, какъ вы изволите величать его, мѣсяца два назадъ, при двадцати незнавшихъ васъ лицахъ, назвалъ васъ шпіономъ и доносчикомъ, что̀ же вы и тогда безусловно вѣрили каждому его слову?

Погалевъ вскочилъ, какъ ужаленный, и съ шумомъ двинулъ кресломъ.

— Господа, господа! Вы, хгы, и одной еще дуэли порядочно, хгы, не устроили, а затѣваете другую.

Князь прокричалъ это съ такимъ наивнымъ со-

крушеніемъ что оба секунданта не удержались отъ улыбки.

— Извините, сказалъ Чулковъ,—мнѣ не слѣдовало напоминать.... И съ вашего позволенія, я беру назадъ свое слово.

— Помилуйте, несвязно но съ чувствомъ проговорилъ Погалевъ, протягивая Чулкову руку, — я вполнѣ понимаю васъ и даже....

Онъ не договорилъ. Дѣло было такое: либералъ только теперь вполнѣ ясно и отчетливо сообразилъ что ему, ни въ какомъ случаѣ, не слѣдовало послѣ того вечера сближаться съ Іоанникіемъ Іосифовичемъ.

— Каково бы ни было ваше, господа, мнѣніе, началъ Чулковъ, когда все и всѣ пришли въ порядокъ,— я остаюсь при своемъ, и утверждаю что все разказанное господиномъ Хамазовымъ о яко бы ему нанесенныхъ оскорбленіяхъ есть наглая ложь. Вы можете, и я даже прошу васъ, передать ему мое мнѣніе, ни мало не смягчая выраженій.

— Браво, Чулковъ! Хгы, браво! съ непритворнымъ восторгомъ закричалъ Гедеминовичъ. — Хамазова, хгы, давно слѣдуетъ проучить. А то онъ, какъ Наполеонъ, все о сраженіяхъ мечтаетъ. А наукой, хгы, доказано что Наполеонъ и Тамерланъ, хгы, были просто разбойники.

Чулковъ и Погалевъ закусили губу чтобъ не прыснуть со смѣху.

— Послушайте, Владиміръ Дмитричъ, сказалъ Погалевъ отводя Чулкова нѣсколько въ сторону.—Я просто скажу Хамазову что мы не нашли достаточныхъ причинъ для поединка, а вашихъ словъ ужь позвольте не передавать. Право, что̀ вамъ за охота!...

— Въ самомъ дѣлѣ, Чулковъ, хгы, плюньте на него!

— Я согласенъ, если только онъ не припутаетъ имени.... Вы понимаете?

Погалевъ отвѣчалъ что понимаетъ и разсыпался въ похвалахъ благоразумію Чулкова.

— Всегда можно устроить дѣло миромъ, когда за него возьмутся разумные люди, изрекъ онъ въ заключеніе.

— Хгы, я согласенъ, сказалъ князь принимая комплиментъ на свой счетъ.

— Прощайте однако, господа: я спѣшу къ Кононову.

— Постойте, Чулковъ, мнѣ надо, хгы, сказать вамъ....

— Некогда, князь, послышалось въ отвѣтъ изъ передней.

— Я, хгы, на лѣстницѣ.—И князь пустился въ догонку.—Я, хгы, не сержусь на васъ, кричалъ онъ прыгая черезъ двѣ ступеньки,—хотя вы меня и выругали.

Чулковъ остановился.

— Какъ выругалъ? Когда? Извините, пожалуста.

— Хгы, ничего; вы назвали меня вашимъ сіятельствомъ, а это, хгы, въ нашъ вѣкъ хуже всякаго ругательства.

Мимоходомъ сказать, ходилъ слухъ что князь составилъ какое-то *Политическое завѣщаніе*, въ коемъ приказывалъ похоронить себя какъ „частнаго гражданина", и на памятникѣ не выставлять титула. Завѣщаніе было, впрочемъ, подписано: к н я з ь Бросокъ-Ашметкинъ.

— Вѣдь вы согласны, хгы, не отставалъ князь,— что это ругательство. И неправда ли такъ, хгы, лучше?

— Что̀ лучше?

Что геральдическаго льва
Демократическимъ копытомъ
Теперь лягаетъ и оселъ?

— Хгы, остроумно. Кто это сказалъ?

— Былъ такой писатель, Александръ Сергѣичъ Пушкинъ, можетъ-быть изволили слышать? рѣзко сказалъ Чулковъ, желая избавиться отъ князя и забывъ любовь Гедеминовича къ рѣзкости.

— Хгы, этотъ человѣкъ обо всемъ думалъ, съ непритворнымъ изумленіемъ сказалъ князь.—И знаете, хгы, Чулковъ, ваша логика меня поражаетъ, и когда я васъ слушаю, я вамъ вѣрю, хгы, и даже сдѣлался бы вашимъ поклонникомъ, еслибъ....

— Еслибъ? спросилъ Чулковъ, поспѣшно спасаясь на перваго попавшагося извощика.

— Еслибъ, докричалъ вслѣдъ ему князь,—ваши мнѣнія были больше распространены въ обществѣ!

II.

Чулковъ спѣшно разказалъ Кононову о бывшемъ у Погалева, опустивъ эпизодъ касавшійся Людмилы Тимоѳевны.

— Я вѣдь говорилъ что все пустяки, отвѣчалъ Петръ Андреичъ.—Но садитесь; теперь намъ никто не помѣшаетъ; я не велѣлъ принимать.

Чулковъ сѣлъ.

— Такъ вы рады, одобряете?

Чулковъ понялъ чему онъ радъ.

— И знаете что̀ меня заставило рѣшиться? продолжалъ Кононовъ, не дождавшись отвѣта.—Видите, я испытываю особое, небывалое во мнѣ чувство... Я... я покоенъ... Не наружно, и не душевно даже покоенъ, а тамъ оно, это чувство, глубоко, глубоко, въ самой сердечной глубинѣ... И это спокойствіе, а главное что оно тамъ, глубоко, и заставило меня рѣшиться.

— Но вы еще не говорили?

Чулковъ не сказалъ кому и о чемъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, не перебивайте, а слушайте, покойно слушайте... Я былъ прежде влюбленъ... ну помните въ На.... въ *кузину* Настю, съ особымъ удареніемъ на кузинѣ сказалъ Кононовъ и улыбнулся такой славною улыбкой.—Тогда... тогда я мучался, страдалъ... Нѣтъ, то не любовь была... Въ любви, въ настоящей любви нѣтъ страданій; она тихая... нѣтъ, я не то... Да! тогда мнѣ хотѣлось, мучительно хотѣлось сказать: „я люблю васъ", а теперь эта фраза мнѣ кажется пошлою... А вотъ мы пойдемъ какъ-нибудь гулять, или вдвоемъ останемся... Я знаю, я по глазамъ ея узнаю время ли.... И я просто скажу тогда: „хотите быть моей женой?" Да? вѣдь такъ лучше?

— Отлично.

— Не перебивайте... И что̀ еще? Да!... Теперь все тихо во мнѣ и естественно, а тогда нехорошее что-то творилось, не нормальное.... То не любовь была, а.... а, какъ говорится, стихъ находилъ...

Кононовъ замолчалъ, и на мигъ въ немъ замерли всѣ мысли и чувства... „А что̀ если ты и теперь себя обманываешъ? если и теперь только стихъ нашелъ?" быстро мелькнуло у него въ головѣ. Онъ поспѣшно, но

украдкой глянулъ на Чулкова; онъ чувствовалъ какъ страшно поблѣднѣлъ и испугался не замѣтилъ ли пріятель. Но Кононовъ напрасно боялся, Чулковъ ничечо не замѣтилъ: въ такія страшныя мгновенія не лицо блѣднѣетъ, а душа.

— Давно я пьянъ не былъ, а на вашей свадьбѣ непремѣнно напьюсь, весело сказалъ Владиміръ Дмитричъ и слегка хлопнулъ пріятеля по плечу.

Кононовъ вздрогнулъ, и чуть не вскрикнулъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ забылъ, совсѣмъ забылъ страшную мысль, точно она никогда не приходила въ голову.

III.

По уходѣ Чулкова и князя, Погалевъ сталъ собираться къ Іоанникію Іосифовичу. И дома, и потомъ дорогою, онъ составлялъ приличную обстоятельствамъ рѣчь, но въ ушахъ звучала совсѣмъ иная рѣчь, рѣчь къ самому себѣ, полная упрековъ за необдуманность поступковъ, нравственное разгильдяйство и неряшливость.

— Ну что̀? Время и мѣсто? полушутя, полусеріозно освѣдомился акцизный Наполеонъ.

— Черезъ полчаса, въ Булонскомъ лѣсу, сострилъ Погалевъ и вдругъ почувствовалъ къ своему довѣрителю презрѣніе чрезмѣрное: чѣмъ-то халуйскимъ, именно халуйскимъ понесло отъ господина Хамазова.

— Я васъ не для шутки, кажется, посылалъ, тономъ начальническаго выговора произнесъ Іоанникій.

— А вышло противное, и противная сторона.... Погалевъ невольно остановился; „и исторія-то противная!“ подумалъ онъ, и нечаянный каламбуръ развесе-

лилъ его, и чувство презрѣнія усилилось.—Словомъ, находятъ что вы все выдумали: никто и никогда и не думалъ оскорблять васъ.

— Не думалъ? Кто это говоритъ? Кононовъ?

— Нѣтъ, Чулковъ.

— Чулковъ? Это провинціальная?...—Вечеръ у Паулины Воробьевой живо припомнился г. Хамазову.— Ему что̀ за дѣло?

— Онъ секундантъ Кононова, да коли ужь на то пошло, размахался Погалевъ,—и я сомнѣваюсь.

— Грр, и вы! заскрежеталъ Іоанникій и забѣгалъ какъ мышь захлопнутая въ мышеловкѣ.

— Что̀ жь вы скажете? небрежно спросилъ Погалевъ, слегка пристукивая правою ногой.

— О чемъ?

Іоанникій очень хорошо зналъ о чемъ, но выигрывалъ время.

— Понятно о чемъ, о поводахъ къ дуэли, съ тѣмъ же пристукиваньемъ на какой-то веселый мотивъ полупропѣлъ Степанъ Николаичъ.

Іоанникій опять по-мышиному забѣгалъ.

— О дуэли? спросилъ онъ останавливаясь.—Мнѣ не къ чему теперь увѣрять васъ, что я правъ; дуэль все равно не могла состоятся. Съ такими господами не дерутся. Я сегодня разузналъ кое-что про вашего Кононова.

— Что *ты* узналъ? вдругъ вспыхнулъ отъ ожиданія новой лжи Погалевъ.

— Онъ шпіонъ, пристально глядя въ глаза секунданту, вполнѣ твердымъ голосомъ проговорилъ радикалъ.

Погалевъ почувствовалъ свою давнишнюю обиду во

сто разъ сильнѣе, чѣмъ въ минуту когда она была нанесена.

— Врешь, негодяй! заоралъ онъ, стукнувъ по столу, и вставъ, выпрямился во весь свой огромный ростъ, и направился къ г. Хамазову.

— Вы кажется дебошъ учинить намѣрены? иронически спросилъ Іоанникій благоразумно ретируясь за кресло.

— Дебошъ? безсмысленно, не помня себя отъ злости переспросилъ Погалевъ.—Да, дебошъ. Вотъ видишь изразецъ. Онъ круто повернулся и подошелъ къ печкѣ.—Гляди, и тебѣ то же будетъ.

Степанъ Николаичъ со всей силы хватилъ кулакомъ, и выбитый изъ гнѣзда изразецъ полетѣлъ на полъ.

— Балаганнаго Геркулеса разыграть пожелали? огрызался радикалъ изъ-за баррикады.

— Я покажу тебѣ Геркулеса. — И Погалевъ направился къ Хамазову. — Садись и пиши что ты все навралъ.

— Но....

— Садись и пиши, не то убью!

— Но это будетъ актъ насилія надъ моею свободною волей, опротестовалъ гражданинъ направляясь къ письменному столу.

— Тьфу, дрянь! плюнулъ Погалевъ и отошелъ отъ соблазна къ печкѣ. — И говорить-то съ тобою, не только о тебя руки марать, не стòитъ. Слушай же ухомъ: если ты хоть слово пикнешь, будетъ тебѣ то же чтò и.... *ему*.

Погалевъ ткнулъ пальцемъ въ выбитое мѣсто и быстро вышелъ. Хамазовъ оставшись одинъ пощу-

палъ выбоину, точно освѣдомляясь больно ли ей, поднялъ нѣсколько осколковъ и задумчиво поглядѣлъ на нихъ.

— Будетъ же имъ отъ меня! крикнулъ онъ и хватилъ осколками о полъ.

Погалевъ тѣмъ временемъ быстро сбѣжалъ съ лѣстницы; у входной двери онъ остановился съ разбѣгу и ударивъ о полы руками во все горло расхохотался. Ему припомнилось какъ дядя конокрада училъ. У дяди на двухъ недѣляхъ двѣ тройки пропали, и онъ по лѣни махнулъ бы рукой, не пропади съ тѣмъ вмѣстѣ его любимица, каурая пристяжная. Объявлять становому— время терять, и дядя самъ пустился на поиски. Разузналъ онъ что „лошади безпремѣнно у Яшки Лисуна, больше негдѣ имъ быть", и полетѣлъ.

— Ну и деревня же, разказывалъ дядя, — всякая избенка мошенникомъ смотритъ, у мальчишекъ грудныхъ и у тѣхъ глаза плутяги. Я прямо къ Яшкѣ. Услыхалъ онъ колокольчикъ, выбѣжалъ на крыльцо. Борода у него славная, какъ огонь красная, и самъ мужичина здоровенный,—ну да Погалевымъ слава Богу силы не занимать стать. „Лошадьми, спрашиваю, сказывали торгуешь?" — „По времени бываетъ, не пренебрегаемъ." — „Ладно, говорю, а самоварчикъ можно?" — „Съ нашимъ издавольствіемъ." Ужь по этому издавольствію увидѣлъ я что прожига-мужикъ, на всѣхъ ярмаркахъ перебывалъ. „Веди". И только онъ въ сѣнцы, я за нимъ, да лѣвою его царапъ-съ за бороду, а правою.... Признаться сказать, я какъ собирался: „въ такое разбойное мѣсто ѣдешь", подумалъ, и нагайку захватилъ, а она здоровенная у меня, знаете.... Бью его, самъ себя не помню, а лѣвою бороду забираю да за-

бираю. „Убью, кричу, до-смерти коли лошадей не отдашь.“ Что̀ жь, черезъ два часа пригналъ лошадей, только пристяжной не вернулъ. А жаль, добрая лошадка была: изъ-за нея больше и старался.

Этотъ-то случай припомнился Степану Николаичу.

— Такъ ихъ, анаѳемъ, учить надо: добромъ не проймешь, повторилъ онъ вслухъ заключительныя слова дядина разказа и снова расхохотался.

IV.

Утромъ въ Рождественскій сочельникъ весь маленькій комитетъ совершенно случайно оказался въ сборѣ.

— А что̀, господа, спросилъ Мина Иванычъ,—будетъ у насъ сегодня елка?

Всѣ переглянулись.

— Надо устроить, нерѣшительно сказала Людмила Тимоѳеевна взглянувъ на Кононова.

— Устроимъ, непремѣнно устроимъ! подхватилъ Поль. — Только надо чтобъ смѣшная елка была. И на вопросъ что̀ за смѣшная елка, пояснилъ: — Чтобы всѣмъ смѣшные подарки были.

Мысль понравилась и дѣло закипѣло. Стали распредѣлять кому куда отправиться, кому что̀ купить. Минѣ Иванычу поручено было распорядиться покупкой елки; тетю Машу упросили съѣздить пригласить кое-кого изъ знакомыхъ.

— Только немного, сказала Людмила Тимоѳеевна.

— И чтобы Mlle Мучицына непремѣнно была; я ей подарокъ придумаю, заявилъ меньшой Погалевъ.—Чуръ, господа, я.

— И отлично. Вы съ Чулковымъ и берите на себя подарки, распорядилась милая барышня.

— А вы сложа ручки будете сидѣть? упрекнулъ Владиміръ Дмитричъ.

— Нѣтъ, мы съ Петромъ Андреичемъ отправимся за покупками. Свѣчи, фрукты, конфеты и мало ли что.

— А кто же фонарики? обезпокоился Поль.

— Мы и фонарики.

— Нѣтъ, вы не сумѣете, а я знаю гдѣ хорошіе и очень дешево.

— Прекрасно, и свѣчи кстати купите.

— Ахъ, вы ничего не знаете! Свѣчи совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ. Свѣчи—вы.

И милый мальчикъ заспорилъ было съ милою барышней.

— Фонарики—вы, свѣчи—мы, рѣшилъ Кононовъ.

— Ладно. Не забыть бы еще чего-нибудь? заботливо спросила Людмила Тимоѳеевна.

— Намъ съ мсьё Полемъ подарки купить не забудьте, напомнилъ Чулковъ.

— Ахъ, да! Что жь, господа, все? Можно и отправляться?

— Съ Богомъ.

— Людмила, не забудь.... и тетя Маша надавала ей пропасть хозяйственныхъ порученій. — Не забудешь?

— Не забуду, тетя, не забуду.

— Да еще.... и новыя порученія посыпались какъ изъ рога изобилія.—Помнишь?

— Помню, помню.

— Ну, гдѣ помнить! Ужь вы, Петръ Андреичъ,

попамятуйте, а то она.... И старушка съ улыбкой покачала головой.

Наконецъ, все было условлено, и всѣ отправились.

— Что̀ же мы Mlle Людмилѣ и Кононову придумаемъ?

— Портреты другъ друга.

— Нѣтъ, серіозно возразилъ Поль,—неловко. Надо смѣшное. Не лучше ли Mlle Людмилѣ портретъ Хамазова?

— По нѣкоторымъ причинамъ не совѣтую.

— Ахъ, Господи! опять неудача, сокрушался милый мальчикъ.—Ахъ, знаете, еслибъ учителя, я его только разъ видѣлъ, но онъ.... подходящій.

— Рудометкина?

— Это у него фамилія такая? И Поль заглянулъ въ глаза Чулкову чтобъ убѣдиться что тотъ не сочиняетъ.— Можно достать его портретъ?

— Я живу съ нимъ.

— Что̀ вы!—Поль не больше удивился бы, скажи Чулковъ что живетъ въ одной клѣткѣ съ бегемотомъ.— Хорошо, еслибъ его живаго можно привести.

— Не пойдетъ, онъ дикій.

— Дикій? Ахъ, Владиміръ Дмитричъ, что̀ жь вы меня съ нимъ не познакомите! Вы знаете какъ я люблю дикихъ.... И такъ рѣшено?

— Рѣшено.

Они все закупили, какъ Поль вспомнилъ что для Кононова никакого подарка не придумано.

— Я куплю ему гравюру: *Фабій Кунктаторъ*, сказалъ Чулковъ.

— Кунктаторъ? Это изъ римской исторіи?

— Да.

— И смѣшно будетъ?

Чулковъ отвѣчалъ утвердительно, и меньшой Погалевъ успокоился.

Людмила Тимоѳевна ѣхала съ Кононовымъ.

— Какъ думаете, что̀ *намъ* подарятъ? спросила она.

— Не знаю. И чрезъ секунду:—Ахъ, догадываюсь.

— И я. Что̀, по-вашему?

— Портр....

Людмила Тимоѳевна не дала договорить.

— Ну да, вамъ мой, мнѣ вашъ, быстро проговорила она и еще быстрые поднесла муфту къ лицу.— Ахъ, поглядите, разнощикъ упустилъ цѣлую связку шаровъ. Бѣдный!

— А вотъ мы купимъ у него другую.... для мсьё Поля.

— Хорошо, только ему надо купить разныхъ костюмовъ. Знаете, изъ тонкой бумаги, еще когда разрываешь шнурокъ, хлопаетъ. Онъ нарядится и будетъ очень милъ.

— А Чулкова мы и забыли, сказалъ Кононовъ, когда они заѣхали за фруктами.

— Нѣтъ, я помню. Что̀ по-вашему?

— Развѣ портретъ Mlle Мучицыной?

— Нѣтъ, это не остроумно. А мы лучше возьмемъ фунтъ муки и надпишемъ „хозяйственная“.

— Только не простой, картофельной.

— Непремѣнно картофельной.

И обоимъ стало очень смѣшно.

— А мы знаемъ что̀ вы намъ подарите, сказала барышня Чулкову за обѣдомъ.

— Не ошибитесь.

— А вы мсьё Поль приготовили для Любови Петровны?

— Нѣтъ, я послѣ обѣда съѣзжу.

Поль поѣхалъ, и проѣздилъ довольно долго. Вернувшись, несмотря ни на какія просьбы Людмилы Тимоѳевны, онъ не выдавалъ своего секрета; ей же почему-то ужасно хотѣлось узнать и она приказала Кононову и Чулкову непремѣнно отыскать подарокъ, но всѣ поиски оказались тщетны; спросили мсьё Поля гдѣ же подарокъ, думая застать его въ расплохъ.

— Ахъ, я забылъ его по дорогѣ у товарища, но еще успѣю съѣздить.

Такъ секретъ мсьё Поля и остался секретомъ.

V.

Тетя Маша и няня Людмилы Тимоѳевны, только-что поднявшаяся послѣ шестинедѣльной тяжкой болѣзни, сумерничали на завѣтномъ сундукѣ, у жарко натопленной печи.

— И сама я объяснить, Карповна, не могу, неторопливымъ и сосредоточеннымъ шепотомъ говорила Марья Ивановна, — а вотъ чуется моему сердцу, и вотъ что̀ ты хочешь, а чуется: нынче у нихъ рѣшится.

— Дай-то, Господи! крестясь и такимъ же неторопливымъ и сосредоточеннымъ шепотомъ отвѣчала Карповна, — и вотъ что̀, матушка Марья Ивановна, вамъ скажу: сердцу вѣрить надо, вѣщунъ оно.... И я ужотко къ вамъ въ гостиную свои старыя кости притащу. Надо мнѣ его хорошенько поглядѣть, надо, а то я путемъ его и не видала.

Тетя Маша начала хвалить Петра Андреича, а няня

воздыхать послѣ каждой похвалы. И затѣмъ тетя Маша заговорила о чемъ ея сердце чуетъ, а няня перекрестилась въ отвѣтъ и изъявила желаніе поглядѣть его и т. д. И много разъ повторили онѣ одно и то же, и разговоръ не наскучалъ имъ, а все милѣе и милѣе становился, и все сильнѣе и сильнѣе хотѣлось имъ хотя разокъ еще повторить тѣ же простыя рѣчи.

Добрыя старыя сердца! Говорятъ, выводитесь вы на Руси, но Богъ милостивъ и не попуститъ оскудѣть святой Своей землѣ добрыми старыми сердцами.

Какъ стали убирать и зажигать елку, Людмила Тимоѳевна пошла приглашать сестру, но у Паулины „еще съ утра“ ужасно болѣла голова. Правду сказать, всѣ въ тайнѣ рады были этой мнимой головной боли.

Но вотъ все готово, гости собрались, елка горитъ, двери отворены и Поль вбѣгаетъ первый, требуетъ своего подарка, проситъ Mlle Мучицыну разорвать шнурокъ, веревочка хлопаетъ, дѣва вскрикиваетъ и мсьё Поль бѣжитъ переодѣваться. Черезъ минуту онъ является жокеемъ, хватаетъ шары и носится съ ними вокругъ елки. Вокругъ веселые разговоры.

— А мы ошиблись, шепчетъ мимоходомъ Кононову Людмила Тимоѳевна.

— Да, отвѣчаетъ онъ со вздохомъ и съ грустнымъ вниманіемъ и начинаетъ разсматривать большой палецъ лѣвой ноги Фабія Кунктатора.

— Владиміръ Дмитричъ, что̀ вамъ подарили? подлетаетъ къ Чулкову Mlle Мучицына. — Онъ показываетъ.—Что̀ означаетъ надпись „хозяйственная“?

— Я люблю сельское хозяйство, находится Чулковъ.

— А что̀ же въ серединѣ?

— Мука!

— Мучица, надъ самымъ ухомъ нѣжной дѣвы говоритъ точно выросшій изъ-подъ земли меньшой Погалевъ.

Дѣва обѣщаетъ нарвать ему уши, но Поль уже далеко и схвативъ за руку Mlle Людмилу бѣжитъ съ нею.

— Берите, берите, говоритъ онъ, вытаскивая изрядную кардонку изъ-за завѣтнаго тети-Машинаго сундука.

— Что̀ такое?

— Нѣтъ, пожалуста, пожалуста не смотрите.

И онъ снова хватаетъ за руку барышню и летитъ какъ угорѣлый.

— Подарокъ Mlle Мучицыной! кричитъ онъ вбѣгая въ гостиную.

Всѣ становятся въ кружокъ. Наконецъ-то кардонка открыта и на свѣтъ Божій появляется большая кукла въ вѣнчальномъ уборѣ. Всѣмъ бросаются въ глаза черезчуръ черные глаза куклы. Дѣва не знаетъ улыбнуться ей или заплакать.

— Взгляните на сердце, говоритъ Поль.

Дѣва взглядываетъ, ахаетъ, роняетъ куклу и чуть не падаетъ въ обморокъ. На сердцѣ пришпилено колечко на Владимірской лентѣ.

За елкой послѣдовали танцы, и веселье разгоралось, разгоралось, пока не дошло вершины и не хватило черезъ край въ новой выходкѣ Поля. Онъ попросилъ Любовь Петровну на минутку подержать шары, и когда та заговорилась съ Чулковымъ, подкравшись, поджогъ шаръ. Произошелъ взрывъ и съ дѣвой сдѣлалась истерика. На Поля всѣ напустились.

— Le defaut d'éducation et de sensibilité se reconait à l'oublie des convenances, отводя мальчика въ сторону суровымъ голосомъ сказалъ Мина Иванычъ и слѣдомъ вспомнилъ что эту самую фразу, и такимъ точно тономъ, и точно также отводя его въ сторону, сказалъ ему много, много лѣтъ назадъ Французъ-гувернеръ.

Съ этой минуты все затихать стало. Всѣ разбились на кучки; у дверей гостиной появилась няня, и—тихій ангелъ пролетѣлъ.

— Что̀, дитятко, умаялось? спросилъ Чулковъ подходя къ Полю, забившемуся въ уголокъ.

— Ахъ, Владиміръ Дмитричъ, еслибы вы знали какъ мнѣ грустно!

— Что̀ такъ?

— Владиміръ Дмитричъ, будьте другомъ, упросите брата, чтобъ онъ взялъ меня на лѣто въ свою деревню.

Имѣніе старшаго Погалева было по сосѣдству съ усадьбой Мины Иваныча, гдѣ Mlle Людмила думала провести лѣто.

— Скажите зачѣмъ, упрошу.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! почти со слезами закричалъ мальчикъ и бросился вонъ изъ комнаты.

Бѣдняжка! онъ впервые испытывалъ мученья любви и ревности.

Чулковъ подошелъ къ Минѣ Иванычу.

— А что̀, дѣдушка, сказалъ онъ указывая глазами на парочку,—кажется, нынче....

— Не говори подъ руку! съ суевѣрнымъ страхомъ перебилъ старикъ и судорожно замахалъ рукою.

„Я просто помечтать хотѣлъ“, думалъ отходя Владиміръ Дмитричъ. „Вотъ, молъ, и у меня свой уголъ

будетъ: на старости лѣтъ пойду въ гувернеры къ ихъ дѣтямъ.... Или примѣта такая есть? Когда въ домѣ ждутъ рожденія ребенка не хорошо говорить объ этомъ", припомнилось ему повѣрье. „Или и въ подобныхъ случаяхъ?..."

Чулковъ не додумалъ, и самъ почувствовалъ нѣчто въ родѣ суевѣрнаго страха.

— Я забыла сказать вамъ, говорила въ это время Людмила Тимоѳеевна Кононову.—Кузина Настя на дняхъ пріѣдетъ изъ Москвы, тетя письмо получила.

— Настасья Григорьевна?

Ей показалось будто онъ весь вздрогнулъ при этомъ имени, и она невольно, съ порывистымъ движеніемъ схватила его за руки повыше локтей и поднявшись на цыпочки глубоко заглянула ему въ глаза.

„Нѣтъ, нѣтъ, отвѣтили глаза,—не бойся. Это прошло, давно прошло."

И когда въ эту ночь, Людмила Тимоѳеевна легла въ постель, ей припомнился старинный про Кононова вопросъ: „какой же онъ?" Она прислушалась, точно ожидая отвѣта. И глубоко въ сердцѣ, словно на ушко прошепталось: „Онъ мой".

Книга третья.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Въ Большомъ Театрѣ давали *Донъ-Жуана*. Тетя Маша, Людмила Тимоѳевна и Кононовъ были въ ложѣ третьяго яруса; Мина Иванычъ хотѣлъ ѣхать съ ними, но запоздалъ. Въ коротенькомъ антрактѣ послѣ первой картины, легонько постучали въ двери.

— Вотъ и Мина Иванычъ, сказалъ Кононовъ, и всталъ-было чтобы впустить старика, какъ дверь отворилась снаружи и вошла дама.

Кивнувъ Кононову какъ старому знакомому, дама прошла въ переднюю часть ложи и заговорила съ Людмилой Тимоѳевной. Петръ Андреичъ замѣтилъ только что она высокаго роста, очень стройна, и что на ней богатое свѣтло-сиреневое платье.

„Это должно-быть сосѣдка по имѣнью что̀ я раза два встрѣчалъ у нихъ“, подумалъ онъ.

Послѣ знаменитаго тріо, наклонясь къ Людмилѣ Тимоѳевнѣ, онъ сталъ толковать о музыкѣ.

— А вы все такой же эстетикъ какъ были? спросилъ его чей-то звучный голосъ.

Онъ тотчасъ узналъ голосъ, но въ первое мгновенье

не могъ бы сказать кто именно говоритъ. Ему казалось, голосъ звучитъ откуда-то сверху, и онъ приподнялъ голову. Дама привставъ передавала бинокль тетѣ Машѣ, и сверху смотрѣла на него. Первое что̀ увидѣлъ Кононовъ были влажные темно-синіе, почти черные глаза, и онъ про себя назвалъ даму по имени. Ничего не отвѣтивъ на ея слова, онъ продолжалъ съ Людмилой Тимоѳеевной прерванный разговоръ. Даму звали Настасьей Григорьевной.

— Мсье Кононовъ, будьте добры, проводите меня въ бель-этажъ, сказала дама послѣ перваго акта.

Она встала, наклонилась къ Людмилѣ Тимоѳеевнѣ и что-то шепнула ей. То было весьма обыкновенное, слегка пошлое замѣчаніе на счетъ Кононова; милая барышня вспыхнула, но не отъ словъ, а отъ тона какимъ они были сказаны.

Кононовъ подалъ Настасьѣ Григорьевнѣ руку и они пошли.

— Я никакъ не ожидала встрѣтить васъ.... такимъ! заговорила дама. — Вы почти семейный человѣкъ! гдѣ же ваши былыя мечты, стремленія, надежды? Видно, на свѣтѣ все измѣняется, и право, кажется, не къ лучшему; капля поэзіи тонетъ въ морѣ мелочныхъ дрязгъ. И бѣднаго Ленскаго, помните, обыкновенный ждалъ удѣлъ:

Разстался бъ съ музами, женился,
Въ деревнѣ счастливъ и рогатъ,
Носилъ бы стеганый халатъ,
Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ....

Да, все измѣняется, нѣтъ не измѣняется, а.... пошлѣетъ, на нашу бѣду. Я впрочемъ говорю про себя, про то что̀ испытала.... Вы, не правда ли, вовсе не расположены видѣть все въ черномъ свѣтѣ?

Кононовъ не отвѣчалъ.

— Да, продолжала дама,—я вовсе не такимъ думала васъ встрѣтить. Я все ждала что вы сдѣлаетесь поэтомъ, романистомъ, драматургомъ.... словомъ, чѣмъ-нибудь въ этомъ родѣ.... Вы помните?... Ахъ, славный то былъ вечеръ.... впрочемъ тогда было много славныхъ вечеровъ.... Я живо помню, вы декламировали изъ Пушкина:

Желаю славы я, чтобъ именемъ моимъ
Твой слухъ былъ пораженъ всечастно, чтобъ ты мною
Окружена была; чтобъ громкою молвою
Все, все вокругъ тебя звучало обо мнѣ....

Видите, я осталась вашей прилежною ученицей.... А вамъ никогда не приходитъ на мысль то время?

Кононовъ попрежнему молчалъ. Они шли по фойэ.

— А мнѣ, съ бо́льшимъ жаромъ продолжала она,— хотѣлось бы вспомнить, хорошенько вспомнить.... и поговорить о прошломъ (она точно искала слова).... о миломъ прошломъ. Виновата,—точно съ трудомъ отрываясь отъ предмета разговора и подавляя вздохъ сказала она,— мы кажется прошли на правую сторону, а мнѣ надо съ лѣвой.... Видите, я попрежнему увлекаюсь.... Помните, вы всегда упрекали меня....

Они снова перешли фойэ. Кононовъ издали замѣтилъ Мину Иваныча (тотъ разговаривалъ съ какой-то пожилою дамой) и ему почему-то ужасно не захотѣлось чтобы старикъ увидѣлъ его подъ руку съ Настасьей Григорьевной.

— И вы сильно влюблены? спросила она, какъ они вошли въ корридоръ, и точно услыхавъ положительный отвѣтъ:—Я очень рада и, помните, давно собиралась васъ женить.... Я очень люблю ее, она мнѣ

нравится.—И настойчивѣе, точно Кононовъ не соглашался:—Нѣтъ, право, она премилая и, кажется, не глупенькая.... Но позвольте, не ошибиться бы намъ опять.—Она посмотрѣла въ лорнетъ.—Пятый нумеръ? Благодарю васъ....

— Прикажете подождать васъ?

Она улыбнулась. „Я знаю: ты подождешь, и будешь ждать долго, долго.... сколько мнѣ хочется", такая мысль, казалось, притаилась за улыбкой.

— Нѣтъ, нѣтъ, точно съ испугомъ проговорила Настасья Григорьевна, бѣгите, бѣгите: я не смѣю задерживать васъ.

И кивнувъ головой также какъ при входѣ въ ложу, она исчезла. Онъ съ полминуты простоялъ предъ затворенною дверью.

Смутное чувство, то чувство что̀ минуту назадъ заставило его желать остаться незамѣченнымъ Миной Иванычемъ, владѣло Кононовымъ. Онъ не помнилъ хорошенько что̀ говорила Настасья Григорьевна; въ памяти мелькали только „помните", „кажется", „право" и другія словечки, брошенныя словно нечаянно, въ силу капризной привычки, но оттѣнявшія, порой извращавшія прямой смыслъ рѣчи. Она произносила ихъ съ особою небрежностью, и потому-то они выдавались и обращали на себя невольное вниманіе. Но если Кононовъ не помнилъ *что* говорила Настасья Григорьевна, онъ отлично хорошо помнилъ *какъ* она говорила. И на него, какъ раньше на Людмилу Тимоѳеевну, произвелъ впечатлѣніе не смыслъ, а тонъ ея рѣчей. Казалось, въ ея голосѣ звучали невѣріе и насмѣшка, и надъ своими словами, и надъ тѣмъ о чемъ былъ разговоръ; по этой основѣ, какъ быстрый утокъ, мелькали изрѣдка сердечныя, за-

душевныя нотки. Въ ея рѣчи слышалась смѣсь беззавѣтной откровенности съ наивною скрытностью; точно она постоянно подразумѣвала: „мнѣ, молъ, нечего скрывать и я могла бы жить въ стеклянномъ домѣ“ и въ то же время торопливо опускала занавѣски отъ всякаго чуть-чуть любопытнаго глаза. Эта смѣсь противоположностей, это неясное различіе *праваго* отъ *лѣваго* быть-можетъ и заставляли смущаться влюбленную пару, хотя ни Кононовъ, ни Людмила Тимоѳевна не утруждали себя анализомъ спутаннаго тона кузининыхъ рѣчей. Какъ для нихъ, для большинства рѣчи Настасьи Григорьевны являлись какъ бы прикрытыми легкою дымкой и многіе въ этомъ прикрытіи находили особую прелесть. Есть лица что̀ кажутся въ тысячу разъ краше подъ легкою вуалью: цвѣтъ кожи у такихъ лицъ нездоровый.

Войдя въ ложу и заговоривъ съ Людмилой Тимоѳевной, Кононовъ забылъ о встрѣчѣ что̀ еще недавно мечталась ему роковою. Скоро явился Мина Иванычъ; племянница спросила его видѣлъ ли онъ кузину Настю, старикъ отвѣчалъ что видѣлъ сейчасъ въ ложѣ у Б—ыхъ гдѣ она осталась на второй актъ.

— Вотъ она, шепнула тетя Маша.

Милая барышня взглянула на указанную ложу. Настасья Григорьевна сидѣла рядомъ съ весьма красивою, но, какъ показалось Людмилѣ Тимоѳеевнѣ, подкрашенною дамой. Кузина что-то съ усмѣшкой говорила красавицѣ, а та съ особымъ вниманіемъ лорнировала барышню. Людмилѣ Тимоѳеевнѣ подумалось что онѣ говорятъ *про нихъ*, въ ея ушахъ зазвучалъ тонъ кузининыхъ рѣчей, и она съ непріятнымъ чувствомъ отвернулась и съ дѣланнымъ вниманіемъ стала глядѣть въ другую сторону.

II.

Кононовъ ни разу, даже мелькомъ, не вспомнилъ про кузину Настю до новой встрѣчи у Воробьевыхъ. При его входѣ она весело болтала съ Людмилой Тимоѳеевной; не прошло и двухъ минутъ какъ она усиленно начала прощаться, точно ее удерживали и ей самой очень хотѣлось остаться, но никакъ нельзя было.

— Мнѣ, право, некогда и такъ жаль, говорила она. — Впрочемъ я, знаете, боюсь помѣшать.... Ахъ, адресъ магазина? Я съ вами сама стала разсѣянна какъ влюбленная.

Людмила Тимоѳеевна пошла за адресомъ.

— А вы, Петръ Андреичъ, такъ и не намѣрены посѣтить меня?... Впрочемъ вамъ, вѣроятно, некогда.... О прошломъ вспоминаешь когда скучно или.... жаль.

Кононовъ молчалъ какъ въ театрѣ.

— Или вы боитесь? быстрымъ шепотомъ проговорила она при входѣ Людмилы Тимоѳеевны, и обратилась къ ней:—Адресъ? Спасибо, кузина.... Прощай же. Я знаю что лишняя.—Она поцѣловала барышню.—До свиданія, Петръ Андреичъ. Вы конечно забудете о моей просьбѣ. И пожалуста забудьте. Кузина, попроси чтобъ онъ забылъ.

И Настасья Григорьевна уѣхала.

— О чемъ она просила васъ?

— Право не помню.

Кононовъ дѣйствительно не помнилъ, но ему легко было бы припомнить. И замѣть онъ каково капризно повела губкой Людмила Тимоѳеевна, онъ можетъ постарался бы припомнить.

— Она изъ тѣхъ женщинъ, продолжалъ Петръ Андреичъ, — что̀ малѣйшія свои слова считаютъ чѣмъ-то священнымъ, какимъ-то молитвословіемъ.

Барышня улыбнулась, и улыбка механически передалась Кононову, но то не была улыбка какими они привыкли обмѣниваться въ знакъ, что понимаютъ другъ друга и слова излишни.

Словцо Настасьи Григорьевны „или вы боитесь?“ какъ легкая заноза нѣтъ-нѣтъ да и безпокоило Кононова. Его мысль возвращалась къ нему и обхаживала его со всѣхъ сторонъ какъ осторожная рыбка лакомую привадку.

„Что̀ она хотѣла сказать этимъ? Кого я боюсь?.. Ужь не ея ли?.. Однако, Настасья Григорьевна, какого вы о себѣ высокаго мнѣнія!“ Такія слова твердилъ онъ про себя всякій разъ, и слѣдомъ приходилъ къ заключенію что надо посѣтить „прекрасную даму“; разумѣется не того ради чтобы показать что онъ ея не боится, а такъ, ради приличія.

Черезъ недѣлю, или около, Петръ Андреичъ спѣшилъ къ Воробьевымъ. Какъ всегда, онъ немилосердо торопилъ извощика. По понятнымъ причинамъ, онъ въ послѣднее время утвердился во мнѣніи что на Васильевскомъ стоятъ плохіе извощики и несносно долго тащатся на Николаевскую; въ обратный путь, ему всегда попадались чуть не лихачи. Только онъ свернулъ въ Николаевскую, какъ замѣтилъ что на встрѣчу шибко ѣдутъ парныя сани, и въ саняхъ дама въ розовой шляпкѣ. Поровнявшись дама окликнула его. Досадуя на задержку, онъ оглянулся и думалъ отдѣлаться поклономъ, но дама что-то говорила и движеніемъ головы подзывала его къ себѣ. Онъ остановилъ извощика и подошелъ къ парнымъ санямъ.

— Вы напрасно спѣшите, — заговорила Настасья Григорьевна.—Кузины нѣтъ дома. Онѣ поѣхали встрѣчать или провожать кого-то, я хорошенько не поняла. Знаете, эта Нѣмка у нихъ ужасно безтолковая...

Наканунѣ Людмила Тимофевна просила его пріѣхать пораньше, чтобъ отправиться вмѣстѣ. Она нѣсколько разъ повторила „не проспите же“, и неожиданное извѣстіе сообщенное Настасьей Григорьевной показалось Кононову невѣроятнымъ.

— Вы такъ странно смотрите на меня, точно не вѣрите. Поѣзжайте, узнайте!

Она улыбаясь всѣмъ лицомъ глядѣла на него; Кононовъ все еще недоумѣвалъ.

— Ахъ, эти влюбленные! Самая простая вещь кажется имъ странною. Она обѣщала быть дома и не сдержала слова? О, это въ самомъ дѣлѣ ужасно! Но я понимаю васъ: не знать куда дѣваться до пяти часовъ! Я забыла сказать, онѣ вернутся къ обѣду... Сжалиться надъ вами? Садитесь, я ѣду мотать деньги, и вы незамѣтно убьете время.

„Вотъ кстати и отдѣлаюсь отъ нея“, подумалъ Кононовъ.

— Отпустите же извощика, смѣясь какъ на ребенка прикрикнула Настасья Григорьевна.

Началось рысканье по магазинамъ, отъ модистки къ ювелиру, отъ ювелира къ фотографу, изъ Англійскаго магазина въ Ліонскій, и еще въ десять мѣстъ. Настасья Григорьевна вездѣ выбирала, покупала, постоянно совѣтовалась съ Кононовымъ и болтала безъ умолку.

— А, знаете, сказала она во время переѣзда изъ одного магазина въ другой,—васъ ужасно трудно за-

нимать. Вы, кажется, и двухъ словъ мнѣ не отвѣтили. Влюбленные самые несносные больные, и въ другой разъ я не возьмусь быть вашей garde-malade.

„Въ самомъ дѣлѣ я молчу какъ дуракъ“, подумалъ нашъ пріятель, и рѣшился отвѣчать... изъ вѣжливости, но затруднялся въ выраженіяхъ, не находилъ словъ, и было послѣднее чуть ли не горше прежняго молчанія. Порой, ему страннымъ казалось съ какой стати онъ разъѣзжаетъ съ женщиной ему чужой, и вдобавокъ вовсе не интересной.

„Неужели, спрашивалъ онъ самого себя въ такія минуты,—это та самая Настасья Григорьевна по комъ я такъ долго убивался? И *я* мечталъ о ней и чуть ли не подозрѣвалъ между нами какой-то таинственной связи!“ Онъ внутренно усмѣхался и начиналъ приглядываться: нѣтъ ли въ этой Настасьѣ Григорьевнѣ чертъ напоминающихъ ту, прежнюю, полузабытую, но все-таки дорогую дѣвушку и не только не оказывалось тѣхъ чертъ, но онъ не могъ вспомнить ни одной черты даже былой Настасьи Григорьевны. Но эта, что̀ за женщина? Она казалась ему пустою, легкомысленною и вѣтряною дамочкой, впрочемъ довольно живою и остроумною. „Съ нею весело поболтать часокъ, другой, но... но для этого самому надо быть въ веселомъ расположеніи...“ А такого расположенія въ наличности не оказывалось.

— Вы зайдете?—спросила Настасья Григорьевна у подъѣзда гостинницы.

Кононовъ взглянулъ на часы.

— Не бойтесь еще четвертый часъ. Безъ четверти пять я васъ отпущу. Помните, я ваша сидѣлка и не пропущу время дать лѣкарство.

Они поднялись во второй этажъ. Настасья Гри-

горьевна извинилась и пошла переодѣваться. Оставшись одинъ, Петръ Андреичъ сталъ внимательно осматривать комнату, точно желая опознаться гдѣ онъ, потомъ взялъ альбомъ и отъ дѣлать нечего началъ разсматривать портреты. Онъ напалъ на свою карточку; мечтательный юноша въ студенческомъ мундирѣ гордо и стремительно поднявъ голову смотрѣлъ вдаль и улыбался полу-презрительно, полу-дѣтски.

„Такъ вотъ какимъ я былъ во время оно", подумалъ Кононовъ и невольно улыбнулся.

Онъ перевернулъ еще нѣсколько карточекъ и остановившись на одной долго и пристально смотрѣлъ на нее. То былъ портретъ Настасьи Григорьевны во время оно. Она стояла, точно только-что пришла съ гулянья, съ круглою шляпой въ рукахъ, веселая, довольная, готовая беззаботно разсмѣяться. Глаза смотрѣли ясно и весело, и слегка улыбались.

„Морская волна", прошепталъ Петръ Андреичъ.

Онъ любилъ сравнивать ея глаза съ морскою волной. Зеленоватые, они казались, смотря по освѣщенію и расположенію ея духа, то голубыми, свѣтлыми, прозрачными, то темно-синими, почти черными какъ омутъ. И онъ вспомнилъ какой она была. Онъ еще разъ взглянулъ на портретъ и узналъ платье, галстучекъ, прическу. Ему было пріятно вспомнить все это. Слѣдомъ онъ припомнилъ, какъ снимался этотъ портретъ. Да, онъ былъ съ нею въ фотографіи, она не хотѣла сниматься при немъ, увѣряя, что онъ мѣшаетъ, смѣшитъ; ему не хотѣлось уходить и онъ предлагалъ стать въ сторонѣ, откуда его не будетъ видно, спрятаться за декорацію, подъ стулъ наконецъ.

— Уйдите же, капризно закричала она, топнувъ ножкой и шляпа нетерпѣливо захлопала по платью.

И теперь въ его ушахъ звучали эти рѣзкія, въ другихъ устахъ непріятныя бы ноты и въ глазахъ замелькало: точно шляпа на портретѣ забила о платье. Въ это время послышался шорохъ, дверь отворилась и Петръ Андреичъ съ безсознательною поспѣшностью, точно боясь, что она застанетъ его за *этимъ*, закрылъ и отодвинулъ отъ себя альбомъ.

— Ну вотъ спасибо что зашли,—сказала она, подавая руку.

Онъ взглянулъ на нее и ему показалось, что сейчасъ только онъ увидалъ ее въ первый разъ послѣ долгой разлуки. Голосъ, движеніе, съ какимъ она подала руку, улыбка, прическа какъ на портретѣ, тысячи неуловимыхъ, но знакомыхъ и милыхъ мелочей напоминали прежнюю Настасью Григорьевну. Она усѣлась подлѣ въ позѣ какъ много разъ сиживала прежде.

— А вы отъ скуки разсматривали альбомъ? спросила она. — Нашли свою карточку? Не правда ли, трудно узнать, вы совсѣмъ перемѣнились. Да? А мою карточку видѣли? Что̀, я перемѣнилась? Лучше или хуже?.. А помните какъ снимался портретъ?

Кононовъ отвѣчалъ *да* и разказалъ что̀ сейчасъ припомнилъ. У нея память была свѣжѣе: подробности являлись за подробностями. Онъ въ свою очередь вспоминалъ, поправлялъ и дополнялъ ее. Теперь онъ не затруднялся въ выраженіяхъ; онъ находилъ слова, онъ нашелъ тонъ какимъ говорить съ нею. Настасья Григорьевна слушала съ боязливою надеждой глядя на него и вдругъ лицо ея загорѣлось свѣтлою радостью. Ее мучило, что онъ все утро говорилъ съ ней точно нехотя, какимъ-то заученнымъ тономъ. Она боялась, что онъ никогда ужь не заговоритъ съ нею попреж-

нему, что онъ забылъ какъ говорить съ нею. Настасья Григорьевна встрепенулась, повеселѣла, похорошѣла, поумнѣла. А воспоминаніямъ и конца края не видѣлось!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Настасья Григорьевна Н. выросла на полной свободѣ. Отца она не помнила. Мать ея, по имени Настасья Петровна, была изъ купчихъ. Купецъ овдовѣлъ когда дочери минуло шесть лѣтъ; не зная что дѣлать съ дѣвочкой, онъ пошелъ за совѣтомъ ко вдовой генеральшѣ, которую почему-то считалъ благодѣтельницей. Когда-то онъ пользовался совѣтами генерала и находилъ ихъ для себя пользительными; можетъ-быть поэтому, притомъ же въ бабьемъ дѣлѣ, онъ и обратился къ матушкѣ-генеральшѣ. Генеральша посовѣтовала отдать дочку въ пансіонъ, находя что „время нынче не такое чтобы дѣтей не учить". Отъ пансіона купецъ и руками и ногами.

— Не такіе наши капиталы, матушка, чтобы дочекъ въ пенціонахъ обучатъ, объяснилъ онъ.

Генеральша, считавшая всѣхъ безъ исключенія купцовъ чуть не милліонщиками, такому резону не повѣрила. Побранивъ купца за предразсудки, генеральша предложила взять дѣвочку къ себѣ на воспитаніе, но купецъ нашелъ что это не порядокъ. Благодѣтельница обѣщалась подумать и надумалась облагодѣтельствовать старую дѣву изъ Нѣмокъ. Купецъ взять въ домъ Нѣмку согласился, ибо о Нѣмцахъ вообще былъ мнѣнія уважительнаго. Хозяинъ и гувернантка сошлись какъ нельзя

лучше; онъ уважалъ ее за экономничанье, она его за разсудительность. Воспитаніе дочери перешло въ полное завѣдываніе гувернантки и купецъ въ него не мѣшался, только фортепіано купить ни за что не согласился. „Не къ чему ей“, кратко объяснилъ родитель. За симъ, онъ ограничивался выраженіемъ отеческой нѣжности, состоявшей въ шитьѣ обновъ къ праздникамъ дочери и воспитательницѣ, въ покупкѣ ложи о святкахъ и на масленой и въ наймѣ, въ складчину съ пріятелемъ, рыдвана на Петергофское гулянье. Когда Настасья Петровна достигла нѣжнаго возраста шестнадцати лѣтъ, родитель, почувствовавъ ослабленіе зрѣнія, оставилъ дѣла и рѣшился жить на спокоѣ. Черезъ годъ у него сдѣлалась темная вода; онъ одряхлѣлъ, опустился и нравомъ сталъ суровъ и несносенъ. Ничѣмъ угодить на него нельзя было и шесть дней въ недѣлю онъ только и дѣлалъ что ворчалъ. Для успокоенія духа родительскаго, дочка обязана была читать ему *Минеи*, причемъ ей постоянно доставалось за невнятное и невразумительное чтеніе. Настасья Петровна переносила всѣ капризы старика съ ангельскимъ терпѣніемъ. Она обладала всѣми отрицательными добродѣтелями, была тиха, скромна, покорна и сентиментальна. Старикъ проскрипѣлъ цѣлыхъ пять лѣтъ и все это время Настасья Петровна киснула весьма покойно, наслаждаясь дружбой бывшей гувернантки и чтеніемъ французскихъ романовъ въ немѣцкомъ переводѣ. Старикъ, чувствуя, что Настасьюшкѣ скучно въ дѣвкахъ сидѣть, придумалъ отпускать ее разъ въ двѣ недѣли въ нѣмецкій театръ, находя что тамъ публика починнѣе. Къ этому развлеченію присоединилось еженедѣльное, по воскресеньямъ, посѣщеніе генеральши. Настасья Петровна не пропу-

скала ни одного воскресенья, зная, что воспитательницѣ доставляетъ великое удовольствіе побренчать на разстроенныхъ генеральшиныхъ фортепіано. Гостей къ нимъ ходило мало; ворчливый старикъ не терпѣлъ ни малѣйшаго возраженія, особенно насчетъ всего, что онъ нѣкогда своими собственными глазами видѣлъ, и поссорился изъ-за этого не съ однимъ пріятелемъ. О томъ, чтобы дочку пристроить, онъ и слышать не хотѣлъ.

— Не заживусь, успѣетъ еще дѣтей народить, говаривалъ онъ.

Сама Настасья Петровна, подъ вліяніемъ романовъ, смутно мечтала о любви; случалось, въ театрѣ или на улицѣ, она замѣчала красиваго мужчину и ей приходило въ голову: „хорошо если бы я ему понравилась", но тутъ же, съ трепетаніемъ сердца, она чувствовала, что самой влюбиться—на это у нея характеру не хватитъ.

Предъ смертію родитель послалъ за благодѣтельницей.

— Плохъ я, матушка, плохъ, отвѣтилъ онъ генеральшѣ на спросъ, какъ себя чувствуетъ.

Генеральша благочестиво замѣтила, что Господь милостивъ.

— Гдѣ ужь! Завтра соборовaться думаю. Для того и за тобой, матушка, послалъ. Какъ еще генералъ твой покойный благодѣтелемъ мнѣ былъ, и ты, матушка, совѣтами своими меня, глупаго, не оставляла, то и до конца облагодѣтельствуй.

Благодѣяніе долженствовало въ томъ состоять чтобы по смерти взять къ себѣ дочку жить.

— Завѣщаніе у меня, все какъ слѣдъ, по формѣ сдѣлано, продолжалъ купецъ,—и Настѣ, слава Создателю, чужаго хлѣба, по смерти моей, ѣсть не придется.

Генеральша быстро сообразила, что взять къ себѣ въ домъ богатую невѣсту—дѣло небезвыгодное; ей рисовалась болѣе просторная квартира, лишнее блюдо за обѣдомъ и даже кингъ-чарльзъ, предметъ ея давнишнихъ и пламенныхъ желаній, но на собачкѣ генеральша изловила себя въ грѣховныхъ помыслахъ, прошептала: „не введи насъ во искушеніе“ и быстро перекрестилась подъ шалью.

— И еще, матушка, продолжалъ купецъ,— прими ты за Каролину Карловну мой до земли поклонъ. Истинно вмѣсто матери для Настасьи была, и воля моя, чтобы безотлучно при ней и впредь состояла. А пошлетъ Господь Настасьѣ жениха хорошаго, и ты, матушка, благословишь ее, то и тогда бы ей второй своей матери не забывать.

Добрая Каролина Карловна прослезилась и нашла всѣ распоряженія умирающаго весьма разсудительными.

II.

Траурный годъ протянулся также вяло и скучно какъ и предыдущіе пять. Разница состояла въ томъ что по истеченіи шести недѣль Королина Карловна начала ежедневно бренчать на фортепіано, теперь уже настроенномъ, благодаря генеральшиной благосклонности, да еще Настасьѣ Петровнѣ вмѣсто раза въ недѣлю по меньшей мѣрѣ ежедневно приходилось выслушивать разказъ о томъ какъ генеральша въ юности была на балу у австрійскаго посланника. Какъ вышелъ срокъ траура, генеральша намекнула воспитательницѣ молъ не дурно бы разсѣять молодую дѣвушку, и слѣдомъ началась ѣздня по театрамъ, гуляньмъ, на балы Благороднаго Собранія,

всюду гдѣ собирается публика. Генеральша давно, въ виду скудости пенсіона, отказавшаяся отъ всякихъ удовольствій, охотно взялась, по ея выраженію, ознакомить Настасью Петровну съ развлеченіями свѣтской жизни. И ей ли, строгой блюстительницѣ приличій, наставительницѣ въ этомъ отношеніи порученной ей сироты, ей ли было отпускать Настасью Петровну куда-либо безъ себя. Разсчетливая Королина Карловна была не прочь отъ чрезвычайныхъ расходовъ, но съ тѣмъ, чтобъ они вели къ должной цѣли, то есть къ скорѣйшему, по возможности, замужеству Настасьи Петровны.

Бывшая гувернантка по часту и по долгу толковала объ этомъ съ генеральшей, и генеральша всякій разъ отвѣчала что она денно-нощно думаетъ какъ бы пристроить Анастази, но что великій ей предъ покойникомъ грѣхъ будетъ коли мужъ попадется непутящій. Послѣ каждой бесѣды генеральша чувствовала приступъ хроническаго недуга, заключавшагося въ страхѣ переѣзда на тѣсную квартиру и житья на пенсію. Генеральша знала что бѣды не избыть, но по возможности отдаляла ее. Она притворялась что ищетъ жениховъ и немилосердо браковала всѣхъ отысканныхъ Каролиной Карловной. Вторая мать не унывала и прилагала всѣ старанія отыскать такого жениха что̀ не только генеральша, но самъ комаръ не могъ бы подъ него носа подточить. Таковой наконецъ былъ обрѣтенъ въ лицѣ надворнаго совѣтника Стефанова. Сей Стефановъ былъ вдовъ, бездѣтенъ, изъ себя мущина видный, по разговору умный и солидный, служилъ въ Синодѣ, звалъ себя Стефановымъ и обижался когда его называли Степановымъ. Словомъ, женихъ былъ подходящій.

Кстати замѣтить, первая жена его была Анна Ивановна Кущина и потому-то Настасья Григорьевна считалась кузиной Воробьевыхъ, хотя въ сущности приходилась имъ седьмой водой на киселѣ.

Генеральшѣ женихъ услужилъ, подаривъ, по совѣту Каролины Карловны, въ день ея именинъ давно жданную собачку; невѣстѣ также онъ понравился, а главное воспитательница убѣдила ее что лучшаго мужа ей не найти, да и г. Стефановъ держалъ себя какъ наилучшій мужъ въ мірѣ. Женихъ сомнѣвался только насчетъ одного пункта, а именно полученія въ приданое Каролины Карловны, но узнавъ что такова предсмертная воля родительская, весьма краснорѣчиво изъяснился о благословеніи отчемъ утверждающимъ домы чадъ; въ послѣдствіи убѣдившись что жена плохая хозяйка, а Каролина Карловна отличная, онъ не только пришелъ къ заключенію что Нѣмка свой хлѣбъ заслуживаетъ, но и отличилъ ее особымъ расположеніемъ.

Свадьба была сыграна на славу, и по истеченіи положеннаго мудрою природой девятимѣсячнаго срока, юная супруга порадовала счастливаго мужа рожденіемъ сына. Мальчикъ, впрочемъ, жилъ всего полгода; но черезъ полтора года супруга поправилась и родила дочь, нареченную въ честь матери Настасьей. Мужемъ своимъ Настасья Петровна была весьма довольна; онъ былъ человѣкъ крутой и властный, и живя за нимъ, она не только забывала что̀ такое воля, но даже разучилась имѣть на полвершка изъ ряду выходящія желанія. И за это именно она боготворила мужа. Она совсѣмъ было расположилась весь вѣкъ свѣковать такимъ побытомъ, какъ г. Стефановъ на пятое лѣто законнаго сожительства скоропостижно скончался. На-

стасья Петровна неминуемо погибла бы не будь подъ рукой Каролины Карловны.

Оправившись отъ горя, Настасья Петровна сумѣла только почувствовать себя горькою вдовицей и прибѣдниться. Генеральша предлагала ей поселиться опять вмѣстѣ, обѣщая найти еще лучшаго мужа, но Настасья Петровна только отвѣчала „гдѣ ужь мнѣ теперь!“ Она выражала постоянное желаніе жить поскромнѣе и гдѣ-нибудь подальше, и Каролина Карловна надумала купить небольшой домъ въ дальней части города. Подходящій домъ отыскался въ тихой и глухой улицѣ Петербургской Стороны. Домикъ былъ чистенькій, свѣтленькій и уютный; при немъ было два флигелька и садикъ. Флигельки рѣшено было отдавать людямъ скромнымъ и смирнымъ, преимущественно вдовамъ. Скоро владѣніе Настасьи Петровны стало извѣстно въ околодкѣ подъ именемъ „вдовьяго дома“.

III.

Настасья Григорьевна стала помнить себя въ этомъ вдовьемъ домѣ. Мамаша и Каролина Карловна души въ ней не чаяли и баловали ее страшно; дѣвочка же росла капризная, божевольная и рѣзвая. „Вся въ покойника“, утѣшалась мамаша. Дочь въ покойника семилѣткой ни въ грошъ не ставила ни мамашу, ни Каролину, а съ двѣнадцати сдѣлалась главнымъ лицомъ въ домѣ: старшія безъ ея совѣта ничего не дѣлали.

Шалости Насти порой огорчали мамашу. Надо сказать что со времени житья у генеральши, Настасья Петровна была помѣшана на свѣтскости. Хорошій тонъ, изящныя манеры, знаніе приличій, все, чего она сама,

какъ ни билась, добиться не могла, преслѣдовали ее. Случалось, она по цѣлымъ днямъ мучалась надъ рѣшеніемъ вопроса прилично или нѣтъ то или другое, путаясь и сбиваясь въ плохо-вытверженномъ генеральшиномъ кодексѣ, какъ юный правовѣдъ, попавъ съ оника въ товарищи прокурора, въ сводѣ законовъ гражданскихъ и уголовныхъ.

Девяти лѣтъ Настя сдружилась съ гимназистомъ, двѣнадцатилѣтнимъ толстопузымъ и неуклюжимъ мальчикомъ. Во вдовьемъ домѣ какъ нарочно, кромѣ Насти, дѣвочекъ не было. Гимназистъ въ одно прекрасное утро сообщилъ Настѣ о великомъ своемъ открытіи, а именно что одну изъ досокъ забора, отдѣлявшаго садикъ вдовьяго дома отъ запущеннаго барскаго сада, куда дѣвочкѣ давно хотѣлось забраться, можно слегка отодвинуть.

— Покажи-ка, сказала Настя.

Гимназистъ понатужился и оттащилъ доску настолько, что Настя могла просунуть голову. Заглянувъ въ садъ она закричала отъ восторга.

— Вотъ бы пролѣзть! шепнула она, разгорѣвшимися глазенками глядя на пузастаго друга.

— Еслибъ топоръ, я снялъ бы доску, похвасталъ гимназистъ.

За топоромъ дѣло не стало, дѣвочка живо спроворила его, заговоривъ кухарку. Гимназистъ со всеусердіемъ принялся за работу; Настя, подъ видомъ помоганья, кричала, толкала и всячески мѣшала ему; а у самой глазенки разгорались все пуще и пуще.

— Нѣтъ нельзя, обливаясь потомъ объявилъ гимназистъ.

Дѣвочка не знала никакого нельзя; она стала тру-

нить надъ гимназистомъ и раздразнила его до слезъ безпрерывно повторяя: „какой же ты послѣ этого мальчикъ“. Гимназистъ усиленно работалъ головой, придумывая какъ бы продѣлать лазейку.

— Вотъ еслибы подставить полѣно какое-нибудь, чтобы руками я могъ хорошенько ухватиться, я бы выломалъ ее.

Полѣно было добыто, и оба, схватившись дружно за доску, тащили ее изо всѣхъ силъ, но доска не поддавалась. За такимъ дѣломъ засталъ ихъ дворникъ.

— Это что̀ еще, барышня, затѣяли? спросилъ онъ.

— Да видишь, Платонъ, доска, доска, твердила дѣвочка, все силясь сломать ее.

— Что жь доска? спросилъ увлеченный ея жаромъ Платонъ и въ свою очередь взялся за доску и дернулъ.

Полусгнившая доска сломалась.

— Экія шалости вѣдь! проворчалъ Платонъ. — И топоръ откуда-то добыли. Ахъ, Господи! Долго ли до грѣха.

Онъ еще поворчалъ, вставилъ сломанную доску, поднялъ топоръ и побрелъ по своему дѣлу. Дѣтямъ это только и требовалось. По уходѣ дворника, они легко отняли доску, и Настя первая перелѣзла въ садъ; гимназистъ слегка застрялъ между досками, неловко повернулся, свалился въ крапиву и жестоко пожогъ себѣ руки и лицо, но жаловаться не смѣлъ.

Настя была уже далеко и кричала мальчику чтобъ онъ шелъ посмотрѣть какая прелесть. Въ саду было тихо, пустынно и влажно; дорожки заросли; на деревьяхъ виднѣлись сухія вороньи и галочьи гнѣзда; кусты перепутались и связались цѣпкими ползучими растеніями; терновнику и бурьяну была полная воля.

Дѣвочка восхищалась, забиралась въ кусты, толкала въ терновникъ гимназиста, хохотала, кричала, валялась по травѣ и визжала отъ восторга. Незамѣтно они вышли на полянку, откуда былъ видѣнъ домъ. Дѣти заспорили. Настѣ хотѣлось пройти къ дому, гимназистъ увѣрялъ что неловко, увидятъ еще пожалуй, а онъ въ формѣ.

— Коли ты трусишь, я и одна пойду, объявила Настя.

Гимназистъ все пытаясь уговорить робко шелъ за нею; она безпрерывно оглядывалась и все твердила: „трусъ, трусъ, трусъ, а я пойду". Откуда ни возьмись, на нихъ бросились двѣ громадныя собаки. Гимназистъ далъ драла, крича чтобъ она бѣжала за нимъ, но дѣвочка смѣло выдержала лай, пока не сбѣжались люди и дѣти. Ее обступили и во всѣ глаза, какъ чудо, разглядывали незнакомую, неизвѣстно какъ попавшую въ садъ барышню. Вышелъ самъ управляющій, старичокъ въ военномъ мундирѣ, и сталъ разспрашивать кто она и какъ попала въ садъ. Она разказала все откровенно; управляющій много смѣялся, пригласилъ ее къ себѣ въ домъ и накормилъ сластями. Бойкая дѣвочка понравилась ему и онъ самъ вызвался проводить домой, „только не черезъ садъ", съ хитрою улыбкой сказалъ онъ и подмигнулъ Настѣ. Дѣвочкѣ это подмигиванье такъ понравилось, что она рѣшила подружиться со старикомъ. По дорогѣ домой она нарочно начала расхваливать садъ; старикъ понялъ въ чемъ дѣло и пригласилъ ее приходить когда вздумаетъ.

— У насъ и дѣтей кстати много, прибавилъ онъ.

— Дѣвочки, или мальчики?

— Больше мальчики.

— Я дѣвочекъ не люблю.

— Вотъ такъ бравая барышня! Ну, а гимназистъ-то нашъ что̀, по здорову ли удралъ? смѣясь припомнилъ онъ.

— Онъ трусъ, серіозно отвѣчала Настя.

— Бравая барышня, бравая.

Настасья Петровна ахнула, взглянувъ на дочку. Бравая барышня и не знала что волосы у нея растрепались, бѣлое платьице было выпачкано въ травѣ и разорвано. Управляющій успокоилъ мамашу, въ смѣшномъ видѣ разказавъ все приключеніе и простеръ свою любезность до того что обѣщалъ сдѣлать въ заборѣ калитку.

— А то гимназистъ у насъ опять застрянетъ, шепнулъ онъ Настѣ.

Съ этого дня начались мученія мамаши. Настя каждый день съ утра отправлялась къ управляющему; тамъ подъ ея команду поступило около дюжины мальчишекъ, и она, къ великому удовольствію отставнаго военнаго, руководившаго маневрами, отлично муштровала ихъ. Шумъ и крики долетавшіе изъ сосѣдняго сада приводили въ ужасъ Настасью Петровну. Не имѣя воли не отпускать дѣвочку, она плакалась воспитательницѣ, но Каролина Карловна, давно потерявъ надежду справляться съ Настей, въ утѣшеніе себѣ и родительницѣ придумала что съ Настей надо обращаться по особой системѣ. Въ чемъ эта особая система состояла, Каролина Карловна сама не вѣдала.

Однажды послѣ жаркаго сраженія между „казаками и разбойниками“ Настя вернулась домой съ изрядною шишкой на лбу. Доведенная до отчаянья мамаша рѣшилась показать свою власть.

— Ну, объявила она дочкѣ,—съ завтрашняго дня, ты и думать забудь о садѣ. Я тебя не пущу.

— Попробуй! отвѣчала дѣвочка.

— Вотъ увидишь; я и ключъ-то отъ калитки въ колодезь велю забросить.

— А я въ ворота уйду.

— Попробуй!

И обмѣнявшись угрозами, онѣ мирно разошлись. Былъ отданъ строгій приказъ сторожить и не выпускать барышню за ворота. Два дни Настя проскучала, на третій была смирною, послушною и примѣрною дѣвочкой, а на четвертый „попробовала". Ее хватились черезъ часъ, бросились къ управляющему, обыскали весь садъ—нигдѣ нѣтъ.

— Найдется, утѣшалъ старый служака. — Бравая барышня, не пропадетъ.

За такія утѣшенія ему пришлось выслушать цѣлый ворохъ упрековъ. Черезъ три часа Настя, какъ ни въ чемъ не бывало, явилась домой.

— Гдѣ ты это пропадала?

— Съ мальчиками по Невѣ каталась. Ахъ, мамаша, какъ весело!

Настасья Петровна поблѣднѣла.

— Я и завтра пойду. Они меня звали.

— Настасья Петровна расплакалась и стала умолять дочку не погубить ее и себя.

— Ты думаешь я утону? Никогда! Вотъ завтра увидишь.

И дѣвочка убѣжала въ садъ.

Нѣсколько дней мамаша ходила ни жива, ни мертва, опасаясь побѣга дочери, но Настя вела себя нельзя лучше и очень прилежно училась. Мамаша не выдержала и сама стала уговаривать дочку идти играть къ управляющему.

— Нѣтъ, довольно, отвѣчала дѣвочка и поглядѣвъ на мать прибавила:—Никуда больше не пойду.

— Я говорила, съ ней нужна совсѣмъ особая система, торжествовала Каролина Карловна.

За все что̀ ни дѣлала Настя, она принималась съ увлеченіемъ и скоро бросала; на нее постоянно, какъ говорится, находило, и воспитательницамъ ради утѣшенія часто приходилось прибѣгать къ „особой системѣ". Одна изъ ея затѣй чуть не кончилась трагически. Дѣвочкѣ въ то время шелъ четырнадцатый годъ.

У нихъ жила прачка, и у прачки былъ сынъ Сидорка, запачкурка и плакса, по общему приговору, препротивный мальчишка. Настя какъ-то подняла его на дворѣ, какъ подымаютъ на улицѣ собаченокъ, и притащила въ комнаты. Сколько мать ни протестовала, Сидорка былъ водворенъ въ домѣ. Настя обмывала и обшивала его, и собиралась учить. Сидорка продолжалъ пачкаться и ревѣть по двадцати разъ на день.

— И охота тебѣ, качая головою говаривала мамаша, заслышавъ ревъ.

— Ахъ, мамаша, онъ такой любезный!

И это нечаянно сказанное слово „любезный" заставило Настю еще сильнѣе полюбить Сидорку.

Разъ барышня осталась вдвоемъ со своимъ любезнымъ, въ домѣ никого не было, даже прислуга разбрелась. Любезный рюмилъ пуще обыкновеннаго; дѣвочка была не въ духѣ и раздражительна.

— Да замолчишь ли, кричала она.

Но ни крикъ, ни дранье за уши, ни становленье на колѣни, ни иныя педагогическія мѣры не помогали; Сидорка былъ неистощимъ въ слезахъ. Настя наконецъ вышла изъ себя.

— Погоди жь ты, сказала она, и схвативъ за руку потащила его на кухню.

Чѣмъ она хотѣла постращать его, она сама не знала. Въ кухнѣ ей на глаза попался ножъ.

— Постой, пореви еще, я тебя зарѣжу. Видишь, ножъ.

Мальчишка не унимался. Настя схватила ножъ и начала его точить о плиту; сверканье и свистъ лезвея странно увлекали дѣвочку. Она точила, не спуская глазъ съ ножа, и рука нервно подрагивала. Ей чудилось вотъ-вотъ она подбѣжитъ къ Сидоркѣ, схватитъ его... и что̀ жь дальше?.. Она зажмурила глаза, чтобы не видѣть что̀ дальше, и все точила, точила. Рука стала понемногу уставать, въ закрытыхъ глазахъ точно искорки сыпались, дышалось тяжело. Она боялась открыть глаза и боялась уронить ножъ. Она чувствовала что надо что-нибудь сдѣлать и встряхнула головой. Ей стало легче; она повернула голову отъ ножа и съ усиліемъ открыла глаза. Сидорка забившись въ уголъ и разинувъ ротъ, полуиспуганными, полулюбопытными еще мокрыми глазенками смотрѣлъ на ножъ. Настя вскрикнула ножъ выпалъ изъ руки, она схватила любезнаго на руки и потащила въ гостиную, тамъ усадила его на диванъ и сунула ему въ руку гостинецъ, а сама убѣжала въ свою комнату, упала на полъ и разрыдалась. На слѣдующее утро Сидорка былъ изгнанъ изъ барскихъ покоевъ, а черезъ три дня прачкѣ отказано отъ дому. Настасья Петровна только много лѣтъ спустя узнала за что̀ любезный попалъ не въ милость.

Училась Настя буквально чему, какъ и когда хотѣлось. По французски напримѣръ выучилась скоро и бойко болтать отъ жилицы-француженки, отысканной

запасливой Каролиной Карловной. По-нѣмецки же, несмотря на просьбы матери и огорченіе Каролины Карловны, учиться не захотѣла. Каролина Карловна сначала прикармливала ее гостинцами, потомъ надумалась разказывать ей интересныя дѣтскія исторіи, вычитанчитанныя изъ Гофмана и Нирица, не забывая всякій разъ поманить дѣвочку: молъ выучишься по-нѣмецки, сама будешь эти исторійки читать, но дѣвочка исправно кушала гостинцы, съ удовольствіемъ слушала разказы а учиться все-таки не училась. Разъ мать долго приставала къ ней почему да почему не хочетъ она учиться.

— Нѣмцы всѣ колбасники, а я колбасницей быть не хочу, отвѣчала дѣвочка.

— Ну, отъ тебя я такой глупости не ожидала.

Дѣвочка и сама чувствовала что причина придумана глупая, но все-таки стояла на своемъ. Каролина Карловна надоумилась какъ-то подѣйствовать на нее жалостью.

— Она отъ того не учится что не любитъ меня, сказала она.

— Не правда, я очень люблю тебя.

И дѣвочка бросилась обнимать добрую Нѣмку. Она дѣйствительно очень любила ее, и этой любви не мало способствовало то обстоятельство что у старой дѣвы была необычайно тоненькая косичка, которую она вдобавокъ довольно смѣшно завертывала на гребешокъ. Распустить косичку, выдернуть гребешокъ или запрятать его, были любимыми шалостями дѣвочки. Я потому упоминаю объ этомъ что во многихъ увлеченіяхъ Настасьи Григорьевны, обстоятельства не выше косички играли не малую роль.

Что было съ нѣмецкимъ языкомъ, то было и съ остальными предметами. Нравился учитель Настѣ, она занималась; переставалъ нравиться, бросала и всѣми правдами и неправдами выживала учителя. Самаго дѣльнаго изъ своихъ учителей она за что-то не взлюбила и потребовала чтобъ ему отказали. Просьба ея не была уважена и дѣвочка начала всячески надоѣдать учителю; видя что его ничто не беретъ, она придумала насыпать ему въ табатерку перцу. Учитель потребовалъ чтобы дѣвочку наказали, чего конечно не исполнили, и онъ отсталъ. Учителя ариѳметики и чистописанія Настя обожала. Онъ былъ маленькій, тоненькій, чистенькій, опрятненькій, всегда на мѣсто клалъ тетрадочку и линеечку, все называлъ уменьшительными именами и безъ яблочка или конфетки на урокъ не являлся. Дѣвочка кокетничала съ нимъ и строила ему глазки, отчего учитель начиналъ говорить утъ-діэзомъ. Все это забавляло ее и въ награду она училась прилежно.

Настя подвигалась къ шестнадцати годамъ, какъ во вдовьемъ домѣ произошелъ переворотъ. Виновникомъ его былъ кузенъ, пріѣхавшій изъ провинціи въ университетъ. Онъ въ первое же свиданіе принялся толковать кузинѣ о необходимости и важности образованія и серіозныхъ умственныхъ занятій, и говорилъ съ такимъ жаромъ что Настя увлеклась и принявшись по своему обычаю круто за дѣло, каждый день твердила матери что пора же ей наконецъ учиться серіозно. Воспитательницы переполошились: неужели же онѣ поступали не какъ слѣдовало? Неужели ученье шло не серіозно? Господи! во всякомъ случаѣ онѣ давали что могли и какъ умѣли, и готовы были сдѣлать все что отъ нихъ зависитъ.

Слѣдствіемъ переполоха были продажа вдовьяго дома, переѣздъ на Васильевскій и приглашеніе полдюжины „серіозныхъ“ учителей по рекомендаціи кузена. Самъ кузенъ былъ такъ добръ что взялся руководить всѣмъ дѣломъ и нѣкоторыми предметами лично заниматься съ кузиной. Черезъ три мѣсяца руководитель страстно влюбился въ руководимую, въ чемъ не замедлилъ открыться на урокѣ алгебры вмѣсто объясненія уравненія первой степени. Кузина смутилась и съ радостнымъ любопытствомъ слушала признаніе, все ниже и ниже опуская голову и закусывая губы. Такъ вотъ она какая любовь! Ужь вовсе не похожа на улыбки, глазки и тоненькій голосокъ учителя дарившаго яблочки и конфеточки. Кузинѣ становилось особенно весело и она боялась разсмѣяться. Цѣлые два дни послѣ того, къ немалому недоумѣнію мамаши и Каролины Карловны, дѣвушка только и дѣлала что какою-то усиленно твердою и смѣлою походкой расхаживала по комнатамъ, украдкой поглядывая въ зеркало и посмѣиваясь про себя затаеннымъ смѣхомъ. Настасья Григорьевна чувствовала въ себѣ странную, дотолѣ ей невѣдомую силу.

У кузена были товарищи, и скоро у Настасьи Петровны стала ежедневно труба нетолченая молодежи. Настасья Григорьевна сжилась со студенческимъ кружкомъ, развернулась, оживляла всѣхъ и царила надъ всѣми. Мимоходомъ схватывая мысли и свѣдѣнія, она принимала горячее участіе во всѣхъ спорахъ и разговорахъ; „серіозные“ учителя стали не нужны. Всѣ члены кружка поочередно и даже совмѣстно влюблялись въ нее, и она „увлекалась“ то тѣмъ, то другимъ на болѣе или менѣе короткое время. Мамаша сначала мечтала что между студентами выищется хорошій женихъ,

потомъ стала опасаться не влюбилась бы дочка въ неподходящаго, еще немного погодя начала путать кто именно въ данную минуту влюбленъ въ дочку и кѣмъ сама дочка занята, и въ заключеніе махнула на все рукой.

IV.

Кононову встрѣча съ Настасьей Григорьевной всегда казалась поэтическою.

Была ранняя весна, деревья распустились съ заячье ухо, въ церквахъ еще пѣли „Христосъ Воскресе". Хоронили однокурсника Кононова, милаго юношу, сердечно веселаго, всѣми любимаго, изъ тѣхъ свѣтлыхъ и полныхъ жизни красавцевъ чей видъ заставляетъ людей въ лѣтахъ невольно подумать: „а и мы были молоды". Приготовляясь къ выпускному экзамену, онъ засидѣлся долго у окна и схватилъ горячку. Всѣ жалѣли о немъ. Говорили что покойный былъ безнадежно влюбленъ въ Настасью Григорьевну. Кононовъ увидѣлъ ее на кладбище, когда гробъ несли изъ церкви въ могилу. Она шла тихо, задумчиво опустивъ голову. Любила ли она его? Быть-можетъ, да; быть-можетъ, нѣтъ; но она знала что онъ ее любилъ и теперь, провожая въ могилу, быть можетъ груститъ что не могла любить его, или сожалѣетъ что не была хотя бы притворно нѣжна съ нимъ не сумѣла заставить его обмануться, на мигъ повѣрить счастью. Такія и тому подобныя мечты приходили въ голову нашему пріятелю, и онъ, въ то время охотно писавшій стихи, вдохновился образомъ дѣвушки задумчиво идущей за гробомъ.

Стихи чрезъ товарищей дошли до Настасьи Григорьевны. Она пожелала познакомиться съ авторомъ;

Кононовъ, несмотря на восторженные отзывы товарищей, до тѣхъ поръ по какому-то упорству не желавшій видѣть эту „замѣчательную, необыкновенную“ дѣвушку, обрадовался случаю узнать ее покороче. Настасья Григорьевна была къ нему внимательна: она еще не видала людей пишущихъ стихи. Не прошло и двухъ недѣль послѣ знакомства, какъ Настасья Петровна съ дочерью уѣхали въ деревню къ Павлѣ Тимоѳеевнѣ. Онѣ познакомились чрезъ кузена. Тетѣ Машѣ дѣвушка полюбилась; она находила что Настя не только похожа на покойнаго свояка, но что глаза у нея двѣ капли воды какъ у покойной сестры Анюты. Въ силу этого, она не только звала, но въ глубинѣ души считала ее своею племянницей; съ этого-то лѣта Настасья Григорьевна попала въ кузины Воробьевымъ.

Времени до отъѣзда впрочемъ оказалось вполнѣ достаточно: Кононовъ успѣлъ влюбиться въ бѣлокурую, съ золотистымъ отливомъ, дѣвушку, влюбиться слегка, настолько чтобы мечтать о ней все лѣто и писать въ честь ея сонеты. Къ возвращенью Настасьи Григорьевны избранныхъ сонетовъ накопилась цѣлая тетрадка, которая и была поднесена по принадлежности. Сонеты приняты благосклонно; они были пріятною и неожиданною новостью, и вниманіе Настасьи Григорьевны къ Петру Андреевичу удвоилось. Сонеты продолжались и становились все теплѣе и теплѣе, въ нихъ заговаривало чувство. Молодые люди просиживали цѣлые вечера, читая и толкуя Пушкина и другихъ поэтовъ, и дѣвушка начала восхищаться стихами (раньше она не долюбливала ихъ). Кончилось тѣмъ что Кононовъ въ одинъ прекрасный вечеръ почувствовалъ себя по уши влюбленнымъ и не скрывалъ уже этого отъ себя.

Видѣть ее, говорить съ нею, думать и мечтать о ней — иного занятія онъ не зналъ. И Настасья Григорьевна увлеклась сильнѣе чѣмъ то бывало. „Не надолго“, утверждали опытные скептики.

Кононовъ сравнивалъ ея глаза съ морскою волной; онъ могъ бы сравнить съ волною ея душу. Вглядитесь, какъ волна набѣгаетъ на берегъ, какъ она то ластится, разстилаясь съ тихимъ журчаньемъ, то стремительно обдаетъ его мелкими, холодными брызгами; а уходитъ, то тихо, будто нехотя, увлекаемая какою-то враждебною силой, то убѣгаетъ капризно, точно поддразнивая и маня за собою, то отпрыгиваетъ, словно вырываясь изъ объятій, холодная и оскорбленная. Вглядитесь въ эти и тысячи иныхъ оттѣнковъ прибоя и вамъ быть-можетъ покажется, какъ то не разъ мерещилось мнѣ, есть молъ въ ней, въ волнѣ, что-то лукавое. Лукавство наивное, безсознательное, неумышленное составляло основу характера Настасьи Григорьевны; она лукавила не потому что хотѣла, а потому что не могла не лукавить; она лукавила увлекаясь и отдаляясь, увѣряя и разувѣряя себя и въ то же время искренно не желая ни увѣриться, ни разувѣриться. Настойчивая и упорная воля то и дѣло капризничала; она была сильна, могуча и ненадежна, и гульлива, какъ волна. Умъ у нея былъ такой же своенравный и капризный; любилась ей мысль, она сразу схватывала ее со всѣми тонкими оттѣнками, безотчетно развивая и сообщая ей поэтическій образъ. Нѣтъ, она проходила мимо, „не удостоивая взглядомъ“. Она не спѣшила своимъ мнѣніемъ; она чуралась холодной ясности и рѣзкой обозначенности мысли. Ея душа любила сумерничать. Чего Кононовъ никогда не замѣ-

чалъ, у нея не было вкуса; она такъ мило, съ такимъ увлеченіемъ восхищалась съ его голоса! Не то чтобы Настасья Григорьевна была способна изподтишка восхищаться посредственностью и только страха ради насмѣшки, или легкой гримасы, не выказывала этого; нѣтъ, но въ глубинѣ красота не трогала ея, она чувствовала поэзію только черезъ отраженіе. Искусство не существовало для нея помимо личнаго чувства; въ ея восторгѣ всегда была крупица самовосхищенія.

Настасья Григорьевна была съ Кононовымъ ближе чѣмъ съ кѣмъ бы то ни было; приливы нѣжности смѣнялись небольшими „увлеченіями"; но она всегда сознавалась ему кѣмъ и на много ли увлеклась. Она пріучила его смотрѣть на эти причуды съ полуболью, съ полуусмѣшкой. Она знала его, или вѣрнѣе умѣла возбуждать въ немъ любыя чувства, приводить полуулыбкой, полусловомъ въ какое ей хотѣлось настроеніе. Но когда она мучила его, ей самой было больно, мучительно и сладостно-больно. Быть-можетъ потому-то ей было бы жаль навсегда потерять его. Она точно приберегала и припрятывала его. Такъ ребенокъ-лакомка бережетъ вкусный, самый вкусный гостинецъ; онъ спрячетъ его подальше и бродитъ вокругъ да около, посматривая однимъ глазкомъ на мѣсто, гдѣ лежитъ завѣтный кусочекъ и мысленно ѣстъ его, и наслаждается. Соблазнъ беретъ, ребенокъ подходитъ, бережно вынимаетъ гостинецъ, смотритъ-любуется, подноситъ ко рту, пробуетъ языкомъ, слегка притискиваетъ зубенками и опять прячетъ. „Нѣтъ, думаетъ, лучше послѣ".

Несмотря на напряженіе любви, на дикіе приливы страсти (порой онъ не шутя боялся что обниметъ и поцѣлуетъ ее), Кононовъ не могъ выговорить рѣши-

тельнаго слова. Что̀ удерживало его? Онъ боялся ея отказа, боялся и согласія. Онъ боялся что ея отказъ, случайное капризное „нѣтъ“, навсегда разрушитъ его надежды; еще больше боялся онъ такого же капризнаго „да“. Чтобъ она совсѣмъ не любила его, тому онъ не вѣрилъ, не хотѣлъ вѣрить, и онъ ждалъ когда она полюбитъ вполнѣ, безповоротно. Онъ былъ увѣренъ что тотчасъ же, мгновенно почувствуетъ это. Время шло, вода утекала, а между ними все было попрежнему. Положеніе молодаго человѣка стало наконецъ невыносимо; сомнѣнія, надежды, опять сомнѣнія и опять надежды измучили его. Требовался какой-нибудь выходъ.

„Разлука, одна разлука, мечталось ему, инаго выхода нѣтъ. Если она любитъ меня, любовь скажется въ разлукѣ. И я... быть-можетъ и я тяну лямку только по привычкѣ. Словомъ, разлука разъяснитъ все“.

И Кононовъ отправился за границу.

Она сама вызвалась писать ему. Поселясь въ мирномъ нѣмецкомъ городкѣ, онъ все испытывалъ и допытывалъ себя да бѣгалъ на почту съ письмами и за письмами. Переписка кипѣла, но прошелъ мѣсяцъ и письма изъ Россіи стали запаздывать все больше и больше, и наконецъ вовсе прекратились. Кононовъ ждалъ недѣлю, другую, писалъ черезъ день, умоляя „прислать хоть строчку“, наконецъ не выдержалъ и адресовался къ Каролинѣ Карловнѣ. Старая дѣва поспѣшила отвѣтомъ. Она писала что Настасья Григорьевна здорова, много ему кланяется и проситъ извинить за неаккуратность. Она извѣщала что у нихъ все по-старому, бываютъ все тѣ же знакомые, кромѣ одного, молодаго еще, человѣка. Она довольно подроб-

но расхваливала новаго знакомаго, вскользь упоминала, что онъ очень богатъ и еще туманнѣе намекала что Настасья Григорьевна какъ будто занята имъ. „Но вы знаете ея непостоянство“, слѣдомъ прибавляла она. Больше въ письмѣ ничего не стояло и безпокоиться было, повидимому, не изъ чего. Но тонъ письма показался Кононову подозрительнымъ; оно точно подготавливало его къ чему-то; за этимъ письмомъ можно было ждать черезъ недѣлю другое, еще болѣе подготовительное, и въ заключеніе его извѣстятъ о „совершившемся фактѣ“. Нѣтъ, чѣмъ ждать и мучиться, лучше узнать все самому, увидѣть все своими глазами.

И на другой же день Кононовъ выѣхалъ обратно въ Россію. Онъ пріѣхалъ прямо къ Семену Иванычу, и Амалія Ѳедоровна съ первыхъ же словъ объявила что шьетъ часть приданаго для Настасьи Григорьевны, что та выходитъ за страшнаго богача.

Кононовъ въ тотъ же вечеръ рано, съ шести часовъ, забрался къ Настасьѣ Петровнѣ. Старухи сидѣли за шитьемъ; его появленіе произвело на нихъ странное впечатлѣніе, онѣ переглянулись, точно опасаясь что онъ сейчасъ же затѣетъ скандалъ. Послѣ обычныхъ спросовъ и разспросовъ, Каролина Карловна завела остроумно рѣчь о возможности скорыхъ и большихъ перемѣнъ въ ихъ домѣ.

— Какже, я слышалъ, коротко прервалъ Кононовъ.

— Отъ кого? не утерпѣла, спросила Каролина Карловна.

Петръ Андреичъ сказалъ.

Старухи перекинулись удивленными взглядами и ожиданіе скандала усилилось. Кононовъ заговорилъ о пустякахъ. Чрезъ часъ, старательно скрывая волненіе,

онъ освѣдомился на счетъ Настасьи Григорьевны. Ему отвѣтили что ее нѣтъ дома; онъ не повѣрилъ, и рѣшился просидѣть со старухами до невозможности. „Выйдетъ же наконецъ“, съ сердцемъ думалъ онъ. Чрезъ два часа явилась Настасья Григорьевна.

— А Андрей Яковлевичъ? встрѣтила ее мать.

— Я завезла его на какое-то собраніе, по дѣламъ. Онъ, впрочемъ, можетъ-быть заѣдетъ, только позже. Я позволила ему до половины двѣнадцатаго. Это не поздно, maman?... Ахъ maman, какъ мы славно катались!... Что̀ за лошади!...

Старуха закашлялась.

— А ты и не замѣтила, Настя, стараго своего пріятеля? сладкимъ голосомъ вставила Каролина Карловна.

Настасья Григорьевна оглянулась, увидѣла Кононова, слегка поморщилась, точно подумала „этотъ зачѣмъ еще здѣсь?“ и съ улыбкой обратилась къ нему:

— Что-жь вы такъ скоро вернулись? Или не понравилось?... Вы вѣдь, кажется, хотѣли остаться тамъ полгода?

И не дождавшись отвѣта стала разказывать матери какія матеріи видѣла въ магазинѣ и какой подарокъ готовитъ ей Андрей Яковлевичъ.

„Хвастать чужимъ, покуда еще чужимъ богатствомъ — какая пошлость!“ злобно подумалъ Кононовъ.

Женщины продолжали свой разговоръ, ровно Петра Андреича не было въ комнатѣ; Настасья Григорьевна изрѣдка оглядывалась на него, точно освѣдомляясь: „а вы-молъ все еще здѣсь? И не замѣчаете что лишній?“ Раза два она обращалась къ нему съ вопросами на что̀ нечего было отвѣтить; впрочемъ, ей и не требовалось отвѣта. Кононовъ терпѣливо выжидалъ. Наконецъ На-

стасья Григорьевна, догадавшись что онъ не уйдетъ не переговоривъ съ нею, ловко удалила старухъ. Онъ подошелъ къ ней, взялъ ее за руку, хотѣлъ говорить, и... и не могъ. Она дружески пожала ему руку, съ упрекомъ какъ на провинившагося ребенка поглядѣла на него, покачала головой и съ разстановкой проговорила:

— Не хорошо, Петръ Андреичъ, право не хорошо.

Онъ пролепеталъ нѣсколько словъ, невнятныхъ, безсвязныхъ, почти безсмысленныхъ, и опять замолчалъ; рыданья душили его.

— Полноте, мы останемся попрежнему друзьями, испуганно проговорила она.

Онъ взглянулъ на нее и замѣтилъ улыбку, ту улыбку что по его толкованію казалось говорила: „Отрадны мнѣ твои страданья“.

V.

Чрезъ нѣсколько дней онъ получилъ отъ Настасьи Петровны приглашеніе пожаловать на бракосочетаніе ея любезнѣйшей дочери. Онъ пошелъ по той же причинѣ, почему спѣшилъ изъ-за границы. На коротенькомъ вечерѣ послѣ вѣнчанья онъ усиленно слѣдилъ за молодыми и замѣтилъ одно: Настасья Григорьевна старательно и не совсѣмъ удачно хлопотала, чтобы показать мужа съ наилучшей стороны. Въ этомъ была доля правды, но Кононовъ ошибался, думая, что у Андрея Яковлевича одне достоинство—богатство.

Андрей Яковлевичъ познакомился съ Настасьей Григорьевной тотчасъ по отъѣздѣ Кононова. Дѣвушка съ перваго же раза произвела на него довольно сильное впечатлѣніе, и онъ намекнулъ ей объ этомъ. Онъ на-

чалъ бывать у нихъ и не стѣсняясь ухаживалъ. Его ухаживанья не походили на столь знакомыя ей студенческія ухаживанья; онъ велъ себя какъ человѣкъ имѣющій въ виду весьма опредѣленную цѣль. Ясно было, онъ хочетъ жениться, и потому что время такое пришло, и потому что невѣста подходитъ подъ его вкусы.

Настасьѣ Григорьевнѣ понравилась простота его обращенія, ясность и здравость его взглядовъ, отсутствіе нѣсколько понадоѣвшей ей мечтательности, покойные глаза, ровность характера, слегка покровительственный тонъ и снисходительная улыбка, его коляска и вороныя лошади. Притомъ же Андрей Яковлевичъ умѣлъ услужить и угодить ей, развлечь ее, и все это безъ навязчивости, безъ надоѣданія. Убѣдившись что согласіе вѣроятнѣе отказа, Андрей Яковлевичъ обратился съ предложеніемъ къ Настасьѣ Петровнѣ. Мамаша была обрадована, осчастливлена, и проговорила обычную фразу о нестѣсненіи дочерней воли.

— Я поговорю съ нею.... только.... только не сегодня, конфузливо прибавила она.

Женихъ нѣсколько изумился, но на завтра все объяснилось. Настасья Петровна обратилась къ Каролинѣ Карловнѣ за совѣтомъ и по долгомъ разсужденіи старухи рѣшили что лучше Андрею Яковлевичу самому переговорить съ Настей, а то, чего добраго, на нее найдетъ капризъ и она откажетъ такому достойнѣйшему человѣку. Каролина Карловна взялась передать это жениху. Въ разговорѣ съ нимъ она особенно упирала на самостоятельность характера Настасьи Григорьевны. Женихъ въ этой самостоятельности никакой бѣды не видѣлъ, и въ тотъ же день сдѣлалъ предложеніе лично Настасьѣ Григорьевнѣ и сдѣлалъ умно и толково, какъ

дѣлалъ все на свѣтѣ. Настасья Григорьевна вспыхнула и просила дать время посовѣтоваться съ maman. (Съ этого дня она перестала звать Настасью Петровну мамашей и величала ее maman). Еще чрезъ день Андрей Яковлевичъ и Настасья Григорьевна были объявлены женихомъ и невѣстой. Дѣвушка была въ какомъ-то тревожно-торжественномъ настроеніи, три дня увѣряла себя что Андрей Яковлевичъ именно такой мужъ какой ей надобенъ, а на четвертой перестала думать о замужествѣ, какъ о дѣлѣ вполнѣ рѣшеномъ.

Кононовъ почти не ходилъ къ молодымъ, за то чуть не каждый день посѣщалъ старухъ. Ему пріятно было сидѣть въ комнатахъ, гдѣ всякій уголъ, любая мебель были ему знакомы и дороги; въ этихъ комнатахъ онъ становился покойнѣй: въ нихъ онъ жилъ прошлымъ; дома же, наединѣ, онъ не могъ оторваться отъ скорбнаго настоящаго. Со старухами онъ подружился, началъ поигрывать съ ними по маленькой въ преферансъ, толковать о дороговизнѣ. „Чтобы вылѣчиться, надо на время поглупѣть, толковалъ онъ самому себѣ, — а со старухами я живо добьюсь этого“. И точно, черезъ мѣсяцъ онъ до того себя довелъ что сталъ непритворно удивляться какъ дешево куплена та или иная вещь и какая нынче пошла дерзкая прислуга. Посѣщенія молодыхъ, ихъ медовое счастіе сначала щекотливо раздражали его, но понемногу онъ свыкся съ своимъ несчастіемъ, твердя, что локтя не укусишь. Болѣе, онъ незамѣтно сблизился съ Андреемъ Яковлевичемъ, сталъ звать его про себя „славнымъ человѣкомъ“, началъ бывать у нихъ, и полгода не прошло, какъ онъ не ощущалъ ни малѣйшей злобы или ревности при видѣ счастливыхъ супруговъ.

„Лѣченіе удалось“, радовался онъ про себя.

Разъ въ воскресенье онъ пошелъ по обычаю поиграть со старухами въ картишки. Настасья Григорьевна пріѣхала безъ мужа; *татап* что-то раскисла, партія не составилась, и молодые люди остались съ глазу на глазъ въ первый разъ послѣ свадьбы. Былъ ли то капризъ, желаніе испытать насколько еще она властна надъ нимъ, или невольное увлеченіе старинною привычкой, только Настасья Григорьевна кокетничала на пропалую. Въ этотъ вечеръ она, кажется, перепробовала всѣ лады, не оставила въ покоѣ ни одной струны его сердца. Нѣсколько разъ она приглашала его къ себѣ въ среду обѣдать и на прощаньи съ особою усмѣшкой и съ видомъ будто не желаетъ и боится что *татап* и Каролина Карловна услышатъ, шепнула:

— Глядите же, въ среду вы *у меня*.

Кононовъ провелъ безсонную ночь. Все замершее, застывшее всколыхнулось и забурлило; поднялись и засуетились всѣ осадки и подонки. Онъ не спрашивалъ себя, что̀ значитъ ея нежданная нѣжность, ея кокетство. Онъ зналъ одно: никогда еще не любилъ онъ сильнѣе. Чувство просилось наружу, хотѣлось разказать самому все прошлое. Понедѣльникъ и вторникъ Кононовъ писалъ и переписывалъ свою исповѣдь. Настала среда. Съ рукописью въ карманѣ, съ надеждой что удастся незамѣтно передать ее Настасьѣ Григорьевнѣ, онъ отправился обѣдать. Андрея Яковлевича не было дома, не было даже въ Петербургѣ. Они отобѣдали вдвоемъ, весело смѣясь и шутя. Настасья Григорьевна была такою же какъ въ воскресенье. Вечеромъ, точно зная что рукопись въ карманѣ не даетъ Кононову покоя, она спросила не написалъ ли онъ

чего, не прочтетъ ли. Началось чтеніе. То была небольшая поэма, родъ монолога, гдѣ разказывалась вся исторія любви со встрѣчи на кладбище до „возврата нѣжности“. Съ первыхъ же строкъ Настасья Григорьевна насторожилась. Въ стихахъ звучала непритворная тоска, тихо лились они, слезы надорваннаго сердца. Она знала, онъ любитъ ее, но такой силы, такого напряженія страсти не подозрѣвала. Изумленными глазами, едва переводя дыханіе, слушала она. Будь эта поэма вымысломъ, относись она къ другой, Настасья Григорьевна и тогда—она чувствовала—не могла бы оторваться отъ нея.

„Но вѣдь это *я*, вѣдь это *меня* онъ такъ любитъ“, звучало въ ея головѣ.

Онъ кончилъ, весь дрожа отъ волненія, усталый разбитый. Она молчала. Чѣмъ, какими словами могла она отвѣтить на такую любовь! Кононовъ не говоря ни слова залпомъ выкурилъ двѣ папиросы, всталъ и прошелся по комнатѣ. Онъ также искалъ словъ и почувствовалъ, что ихъ больше нѣтъ.

„Сказать ей? что̀ скажу? Больше сказать нечего, и я.... я.... ничего не чувствую къ ней“, проговорилъ онъ про себя.

Онъ еще прошелся. Да, съ нимъ произошло нѣчто странное. Ни любви, ни мученій, ни желаній не было. Наболѣвшее мѣсто точно онѣмѣло, или отпало.

„Вѣрно, нѣчто подобное чувствуешь, когда отрѣжутъ руку или ногу“, пришло ему въ голову. „Чего-то нѣтъ, и не жаль что нѣтъ: благо кончились несносныя мученія“.

Онъ взялся за шляпу.

— Останьтесь, едва слышно прошептала она.

Остаться? зачѣмъ? Чтобы заставить ее заговорить, вымучить отъ нея слово „люблю“, когда самъ ничего не чувствуешь? Нѣтъ, это было бы низко, гадко, безчестно. Онъ пошелъ къ дверямъ.

— Останьтесь, повторила она.

Онъ на мгновеніе остановился, и когда она еще разъ повторила свое слово, его уже не было въ комнатѣ.

VI.

Черезъ мѣсяцъ Андрей Яковлевичъ переѣхалъ на житье въ Москву, и Кононовъ совсѣмъ потерялъ изъ виду Настасью Григорьевну.

Въ Москвѣ она попала въ одинъ изъ кружковъ, какихъ не мало въ бѣлокаменной. Въ нихъ, въ этихъ кружкахъ, говоря словами поэта,

Не породивъ еще прямаго просвѣщенья,
Избытокъ породилъ бездѣйственную лѣнь.

но къ людямъ обремененнымъ скукой бездѣйствія не низошли тѣ искусства что̀, по дальнѣйшимъ словамъ поэта, воспламенили нѣкогда людей къ возвышеннымъ трудамъ,

И праздность упражнять роскошно научили.

Кто тому виной, искусство или *эти* люди—судить не намъ. Какъ бы то ни было, въ такихъ кружкахъ живутъ припѣваючи, не заботясь не только о завтрашнемъ, но ни о сегодняшнемъ, ни о вчерашнемъ. Все подлаживается чтобы жизнь шла весело, легко и плавно. Въ этихъ кружкахъ въ почетѣ все легкое: легкое вино, легкія рѣчи, легкая музыка, легкія чувства и... нравы.

Тамъ все обходится мирно и тихо безо всякихъ трагедій, какъ оно и подобаетъ между людьми благовоспитанными. Любовь даетъ наслажденія и не приводитъ къ страданіямъ. Все дѣло кончается тѣмъ что въ одно прекрасное утро вы узнаете что вчерашняя законная госпожа Иванова сочеталась законнымъ бракомъ съ господиномъ Петровымъ, а самъ господинъ Ивановъ сочетался законнымъ же бракомъ со вчерашнею законною супругой господина Степанова. Эта привольная, богатая, полудѣловая, полукутежная, полураспущенная, получинная жизнь полюбилась Настасьѣ Григорьевнѣ. Ее баловали, за ней ухаживали, но черезъ годъ она устала никѣмъ не увлекалась и уединилась. Послѣдній ухаживатель сталъ всюду благовѣстить, что они съ мужемъ влюблены въ другъ друга „неисправимо и неизлѣчимо“.

Настасья Григорьевна скучала. Отъ нечего дѣлать она стала вспоминать свою дѣвичью волю. Та жизнь была иная. Въ той жизни цѣнились умъ, талантъ, въ ней было свое приволье, свое богатство, своя роскошь и причуды, свой комфортъ. Въ томъ что̀ окружало ее, все было грубѣе, пошлѣе, подъ часъ черезъ чуръ матеріально. Собственно говоря, она не прочь была бы соединить то и другое. Но на нѣтъ, по пословицѣ, и суда нѣтъ. Вспоминая о прошломъ, она, понятно, чаще всего останавливалась на Кононовѣ. Были отысканы заброшенные было сонеты и послѣдняя забытая имъ на столѣ поэма. Когда становилось невыносимо скучно, она перечитывала ихъ. У Англичанъ извѣстный оттѣнокъ любви зовется *fancy*, мечтой, фантазіей. Это слово вполнѣ прилагалось къ тому что̀ испытывала скучающая молодая женщина. Она мечтала, влюбилась въ свою

мечту, жила этой любовью. Ей думалось что какъ-нибудь она нечаянно встрѣтитъ Кононова, и эта встрѣча будетъ продолженіемъ послѣдняго свиданія. Онъ не уйдетъ послѣ ея „останьтесь“.

О, зачѣмъ онъ ушелъ тогда! Быть можетъ, онъ хотѣлъ посмѣяться, отомстить, или... или... и самыя несбыточныя предположенія лѣзли ей въ голову. Кононовъ нигдѣ не встрѣчался, и она ждала что услышитъ о немъ, что его имя громко пронесется, будетъ у всѣхъ на устахъ. Порой, беря въ руки новую книжку журнала, ей казалось она видитъ его имя на обложкѣ и не сомнѣвалась что появилось именно то произведеніе которое прославитъ его. Но ничего подобнаго не случалось, а Настасья Григорьевна все скучала и скучала. Мужъ замѣтилъ это, не зналъ что̀ дѣлать, предлагалъ ей разсѣяться, проѣхаться за границу. Она только морщилась отъ его утѣшеній. Чтобъ убить несносное время, она припоминала какія книги любилъ Кононовъ, перечла ихъ, и размечталась еще больше.

О, хотя бы слово о немъ! Что̀ онъ, живъ, умеръ, забылъ ее, или нѣтъ? Быть можетъ, женился, обрюзгъ, началъ толстѣть и служитъ гдѣ-нибудь столоначальникомъ... Проѣздъ Мины Иваныча черезъ Москву надоумилъ ее. Она возобновила переписку съ тетей Машей и во второмъ же письмѣ спросила не бываетъ ли у нихъ Кононовъ, увѣряя что его разыскиваетъ какая-то старушка. Тетя Маша отвѣчала что бываетъ очень рѣдко, и она не знаетъ его адреса. Черезъ нѣкоторое время она написала что Кононовъ ближе съ ними познакомился, и если нужно еще старушкѣ, то она узнаетъ адресъ. Это извѣстіе взбудоражило Настасью Григорьевну. Ей хотѣлось его видѣть, и она боялась

холодной встрѣчи: она собиралась каждый день объявить мужу что поѣдетъ со скуки въ Петербургъ, не рѣшалась и нервничала. Дѣло шло до того что модный докторъ чуть не угостилъ ее начинавшимъ входить въ моду kali bromatum. Мужъ терялся въ догадкахъ и возобновилъ предложеніе насчетъ за-границы.

— Нѣтъ, я безъ тебя не поѣду, отвѣчала нѣжная супруга.

Черезъ день она надумалась.

— Знаешь, Андрей, отпусти меня въ Питеръ. Тетя Маша въ каждомъ письмѣ зоветъ. Авось моя хандра пройдетъ.

— Съ Богомъ, матушка, съ Богомъ, смѣясь отвѣчалъ мужъ,—авось порастрясешься. Вся твоя хандра отъ того что засидѣлась.

— А у нихъ, кажется, свадьба какъ нарочно готовится.

Она сама не знала съ чего эта „свадьба“ пришла ей въ голову, и вдругъ испугалась своихъ словъ, смутилась, поблѣднѣла и безпокойно взглянула на мужа. Ей припомнилось что Людмила теперь, пожалуй, невѣста.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, Настасья Григорьевна легко вывѣдала что̀ знать требовалось отъ тети Маши. Любви Кононова она не повѣрила: „увлекся со скуки“, утѣшилась она. Людмила Тимоѳеевна ей все еще казалась дѣвочкой, какой она знала ее въ институтѣ. Скажи ей Кононовъ что̀ говорилъ Чулкову о своей любви, она назвала бы ее про себя „поэзіей“. Она хотѣла увидѣть его въ первый разъ вмѣстѣ съ нею и для этого напросилась въ ложу. Своей болтовней она думала вывѣдать есть ли въ предположеніяхъ тети что-нибудь се-

ріозное. Молчаніе Кононова поразило ее; при второй встрѣчѣ она заспѣшила, смутно боясь увѣриться въ томъ чему не хотѣлось вѣрить. И... возложила надежду на случай.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Ударило половину котораго-то часа. Кононовъ безпокойно и торопливо взглянулъ на часы.

— Половина пятаго? спросила Настасья Григорьевна.—Не бойтесь, времени еще много. Вы отсюда успѣете въ десять минутъ.

Пробило половину не пятаго, а шестаго.

— Въ самомъ дѣлѣ? Какъ мы съ вами заболтались... „увлеклись!“ съ веселымъ разсыпчатымъ смѣхомъ прибавила она. — Что̀ жь, вы все-таки пойдете? Или...

Она взглянула на него, потомъ быстро замигала рѣсницами и широко раскрыла глаза. Ей вмѣстѣ съ тѣмъ припомнилось что онъ всегда восхищался такимъ движеніемъ глазъ, находя, что *у нея* оно мило и граціозно, и она продолжала веселѣе:

— Или... или, знаете, пообѣдаемте, какъ въ старину, вмѣстѣ. Право, что̀ одинъ день? Для стараго дружка и сережка изъ ушка. Такъ, кажется?

Она снова взглянула на него: она видѣла, онъ не прочь остаться, но не утерпѣла и сознательно продѣлала тотъ же кунштикъ глазами.

— Останетесь? Ну, вотъ еще разъ спасибо.

И съ торопливою живостью стала распоряжаться на счетъ обѣда.

— Кузина заставила васъ сегодня напрасно прогуляться, и вы не придете... И, конечно, немного подуетесь другъ на друга: милые бранятся, только тѣшатся.

Кононовъ не только пообѣдалъ, остался на вечеръ. „Съ разу отдѣлаюсь“, два или три раза утѣшилъ онъ себя.

Чѣмъ дальше двигался вечеръ, тѣмъ интимнѣе становились воспоминанія. Она хотѣла знать какъ онъ поживалъ безъ нея и разказывала о своей московской жизни. Разказъ шелъ не ровно, съ перерывами; она путалась, уходила въ сторону, останавливалась, въ промежуткахъ вывѣдывала помнилъ ли онъ ее хоть малость, дѣлая вопросы мимоходомъ, отрывочно, неувѣренно, почти робко. Съ каждымъ его полупризнаніемъ, съ каждымъ словомъ намекавшимъ что онъ не забывалъ про нее, она становилась откровеннѣе и нѣжнѣе. Разгораясь все больше и больше, она заговорила о своей скукѣ, о мечтахъ, о томъ что̀ дѣлала въ тоскливое время; проговорилась для чего ѣхала въ Петербургъ. Она сравнивала себя съ Татьяной, прочитала ея послѣдній монологъ къ Онѣгину, искусно оттѣняя болѣе подходящія мѣста и, разумѣется, съ выпускомъ двухъ послѣднихъ строкъ.

— Еще одинъ такой вечеръ и я... уѣду счастливая, сказала она на прощаньи. — И въ самомъ дѣлѣ, Петръ Андреичъ... И знаете, пусть это будетъ какъ на афишахъ пишутъ: по желанію публики во второй и самый послѣдній разъ.

— Причемъ предполагается что публика вовсе не желаетъ?

— Ну, на этотъ разъ, авось, она пожелаетъ, смѣясь отвѣтила Настасья Григорьевна.

Кононовъ вышелъ опьяненный ея рѣчами.

„Она любитъ, любитъ меня“, звучало въ ушахъ, и весь сегодняшній день пробѣгалъ предъ глазами; онъ останавливался на подробностяхъ, на неуловимыхъ мелочахъ, на улыбкѣ, едва замѣтномъ вздохѣ, полудвиженіи при томъ или иномъ словѣ. Онъ старался припомнить при какомъ словѣ, въ какой именно моментъ онъ понялъ что она его любитъ. У него начинало сосать сердце, точно піявка хорошо принялась; ему было и томно, и сладостно.

Всю ночь онъ полубредилъ, полудремалъ, безпрестанно просыпаясь, вспоминая что-нибудь, засыпая и продолжая воспоминаніе во снѣ.

Онъ проснулся въ тревожномъ состояніи духа и сталъ торопливо перебирать вчерашній день, какъ школьникъ предъ самымъ вызовомъ учителя твердитъ урокъ.

„Да! какже я попалъ къ ней?“

Онъ вспомнилъ встрѣчу на Николаевской, куда и зачѣмъ спѣшилъ, вспыхнулъ и внутренно съежился, чувствуя себя виноватымъ, желая уничтожиться, провалиться сквозь землю. Онъ, казалось, стыдился стѣнъ. Послѣдовала реакція, онъ встряхнулся, прибодрился, взглянулъ на все дѣло иными глазами. Чего онъ обезпокоился? Развѣ случилось что-нибудь особенное, страшное, непоправимое? Что онъ запоздалъ къ обѣду заболтавшись съ хорошенькою женщиной — въ самомъ дѣлѣ какая бѣда! Пусть она кокетничала, намекала, полупризналась, положимъ, вполнѣ призналась что любитъ его; пусть даже онъ самъ слегка увлекся. О, Боже! какой молодой человѣкъ отвѣтилъ бы пуритански-чопорною холодностью на признаніе нѣкогда любимой женщины. Вещь очень понятная: это просто льститъ само-

любію. Но тутъ и конецъ. Дѣло вовсе не въ ней, а въ немъ самомъ.

Не промѣняетъ же онъ счастья всей жизни на прихоть, и не ей, не этой женщинѣ, опутать его! Развѣ онъ не ушелъ отъ нея въ тотъ вечеръ когда она молила его остаться, когда легко было добиться всего, будь малѣйшее желаніе?

— И если тогда, поднявъ голову и гордо усмѣхаясь проговорилъ онъ,—и если тогда, безумно влюбленный, я устоялъ, то теперь... Теперь, я, слава, Богу, въ здравомъ умѣ и твердой памяти.

Довольный, очасти даже черезчуръ довольный своими мыслями, онъ не хотѣлъ больше думать объ этомъ. „Кончено", прошепталъ онъ.

Торжествовать было рано. Онъ сѣлъ на диванъ, полузакинувъ голову, безпечно смотря на дымъ папиросы, забавляясь какъ онъ стелется и волнуется въ солнечномъ столбѣ. Усталая воля спѣшила отдохнуть. Не занятая мысль бродила, волновалась и переливалась какъ папиросный дымъ. Не замѣтно для самого себя Петръ Андреичъ отдался мечтѣ и... забродили старыя дрожжи. Онъ видѣлъ, онъ слышалъ ее, онъ упивался ея признаніемъ, сознаніемъ что она его любитъ. Вотъ смотрятъ на него ея большіе глаза; онъ чего-то ждетъ... А, наконецъ-то! рѣсницы быстро быстро замелькали. „Какъ мило, какъ мило!" прошепталъ онъ. О, теперь бы ей пожелать чего-нибудь. Развѣ она не знаетъ, когда она такъ *дѣлаетъ глазами*, онъ самъ не свой, онъ не думая согласится что̀ бы она ни сказала. „Да, продолжалъ онъ, — да, мнѣ нужна именно такая женщина. Она можетъ сдѣлать со мною все, все... При ней у меня нѣтъ воли; она въ силахъ обезволить меня...

И онъ нѣсколько разъ повторилъ: „обезволить, обезволить“.— Что-то скажетъ, что̀ прикажетъ она? Мнѣ нужно, чтобы меня терзали, кололи, язвили; иначе я засну... И эти силы, что̀ глухо бушуютъ во мнѣ, рвутся куда-то и безсильны какъ скованныя!.. О, она разорветъ цѣпь, она укажетъ подвигъ, она какъ сказочная царевна задастъ задачу по силамъ, выше силъ, и я все-таки исполню ее...“

Кононовъ очнулся. Онъ ужаснулся своихъ мечтаній, цинизму своей мысли. Онъ вскочилъ и сталъ ходить, рѣзко махая рукой и сильно, до боли, нажимая ногти о ладонь. Онъ не зналъ что̀ съ собою дѣлать; онъ могъ только негодовать, бранить себя. Но онъ зналъ, чего онъ не долженъ дѣлать; такимъ, каковъ онъ теперь онъ не смѣетъ видѣть Людмилу Тимоѳеевну. Не потому ли что ему будетъ стыдно, нѣтъ! О, еслибы требовалось только казнить и терзать себя, онъ и не задумался бы. Нѣтъ, его слова, взгляды, самое его появленіе послѣ такихъ мыслей будутъ оскорбленіемъ ея чистой души.

Петръ Андреичъ быстро подошелъ къ столу и написалъ Людмилѣ Тимоѳеевнѣ записку что не совсѣмъ здоровъ и сегодня не будетъ у нихъ, выразивъ сожалѣніе, что вчера не засталъ ее дома. „А, можетъ быть, и завтра не поздоровится“, прибавилъ онъ на всякій случай. Позвавъ Петровну, онъ приказалъ ей отправить записку съ дворникомъ, или съ кѣмъ бы то ни было, но только поскорѣе, сейчасъ, сію минуту.

— И пусть туда на извощикѣ ѣдетъ, добавилъ онъ.

Къ чему такая спѣшка, онъ не зналъ. Дѣло въ томъ, что ему лично необходимо было какъ можно скорѣе на что-нибудь рѣшиться.

Записка отправлена и онъ опять наединѣ съ самимъ собою. И тянется день безпокойно, мучительно, безотрадно. Онъ то бранилъ и наставлялъ самого себя, то забывался, мечта и воспоминанія забирали его. А воспоминаній была такая гибель, и самыхъ разнообразныхъ, какихъ душѣ угодно; смѣшныхъ, забавныхъ, трогательныхъ, чувствительныхъ, скорбныхъ! О, Кононовъ много разъ язвительно смѣялся надъ людьми за неумѣнье понять истинно хорошее, простое и безхитростное, за вѣчное увлеченье расшитою блестками шумихой, внѣшнимъ, ничтожнымъ богатствомъ, а теперь самъ ради той же пестрой, богатой подробностями вереницы воспоминаній, забывалъ о томъ что̀ по его же словамъ было глубоко, глубоко, въ самой сердечной глубинѣ. Точно маленькая звѣздочка предъ солнцемъ, Людмила Тимоѳеевна исчезала предъ Настасьей Григорьевной. Звѣзды днемъ видны въ глубокомъ колодцѣ, и загляни Кононовъ въ душевную глубь, онъ можетъ-быть и увидѣлъ бы свою милую звѣздочку. Но какъ было заглянуть когда все замутилось и затуманилось?

Къ вечеру онъ успокоился, или вѣрнѣй усталъ отъ безплодной переборки одного и того же. Назавтра онъ чувствовалъ себя разбитымъ и больнымъ, и нравственно и физически.

II.

Прочитавъ записку, Людмила Тимоѳеевна задумалась.

„Неужели онъ дуется что меня не было дома? спросила она самое себя.—Неужели ему весело затѣять мимолетную ссору и его могутъ занимать такія мелочи? Нѣтъ, между нами недолжно бы... Или я одна?

Нѣтъ, все это пустыя мысли. Отчего ему не можетъ нездоровиться, какъ ей вчера случилось выѣхать? Но зачѣмъ же въ такомъ случаѣ въ запискѣ упоминать о вчерашнемъ, зачѣмъ прибавлять: „а можетъ-быть и завтра?“ Но тутъ Людмила Тимоѳеевна замѣтила что сама начинаетъ перетряхивать соръ. „Я придираюсь, я точно не вѣрю ему“, упрекала она себя. „Нѣтъ, нѣтъ, между нами этого не можетъ быть“...

На другой день она не шутя обезпокоилась о его здоровьи и весь день ходила опустивъ голову. Тетя замѣтила и догадалась въ чемъ дѣло.

— Хочешь, я пошлю узнать о здоровьи? Хочешь, я сама съѣзжу?

— Нѣтъ, тетя, нѣтъ: онъ писалъ что не придетъ сегодня. Подождемъ, если и завтра....

Назавтра Кононовъ явился въ обычное время. Людмила Тимоѳеевна украдкою, но зорко поглядѣла на него.

„Нѣтъ, я выдумывала на него: онъ какъ всегда. Онъ въ самомъ дѣлѣ былъ боленъ“, подумала она.

Съ первыхъ же словъ Кононовъ замѣтилъ что ему не по себѣ, не такъ ловко съ нею какъ всегда. И слѣдомъ на него напала какая-то безпричинная возбужденность. Ему хотѣлось болтать, болтать весело и громко, хотѣлось заставить ее смѣяться. Онъ принялся что-то разказывать, догадался что оно вовсе не смѣшно, остановился и точно вспомнивъ почти закричалъ:

— Ахъ, да! Я и забылъ! Вѣдь со мной намедни цѣлое приключеніе.... Я ѣхалъ къ вамъ, какъ вдругъ....

И онъ съ чрезмѣрною живостью сталъ повѣствовать какъ Настасья Григорьевна „похитила“ его. Слово „похитила“ вѣроятно понравилось ему, и онъ нѣ-

сколько разъ съ значительною игривостью на разные лады повторилъ его.

— И мы летали съ нею, летали, и потомъ она болтала, болтала! Право, не мудрено что я два дня проболѣлъ.

Людмила Тимоѳевна усмѣхнулась.

— И я еще счастливо отдѣлался, прибавилъ онъ точно пришпоренный ея улыбкой.

Но тутъ ему кольнуло въ сердце: онъ почувствовалъ что лжетъ. „Или вовсе не слѣдовало говорить, или слѣдовало сказать всю правду“, мелькнуло въ головѣ. Какая гадость! Мало того что онъ лгалъ, онъ точно умышленно забавлялъ Людмилу Тимоѳевну насчетъ кузины. Но разболтавшійся языкъ продолжалъ вертѣться въ силу инерціи, и Кононовъ продолжалъ забавлять Людмилу Тимоѳевну, въ то же время смутно соображая что намедни онъ былъ искреннѣе. „*Тамъ* я, покрайности, не лгалъ“, успѣлъ онъ шепнуть себѣ. Ему стало непереносно продолжать вранье, и онъ искалъ о чемъ бы заговорить.

— Да! А васъ въ самомъ дѣлѣ не было... то-есть въ которомъ часу вы вернулись?

— Мы запоздали. Мы сѣли за столъ почти въ семь.

— Ахъ, я успѣлъ бы!

Это восклицаніе вырвалось изъ души; то было единственное искреннее слово за весь день. Людмила Тимоѳевна вспыхнула. И она могла хотя минуту обвинять его въ желаніи завязать мелочную ссору! Искренность восклицанія отозвалась въ ея сердцѣ. Она готова была расцѣловать его, она любовно глядѣла на него; та́къ глядѣла, какъ онъ ждалъ что она поглядитъ,

чтобы сказать завѣтное, великое слово. Но ему ли было замѣтить этотъ взглядъ! Восклицаніе было искренне, и въ то же время онъ лгалъ. Развѣ ему непремѣнно надо было поспѣть къ обѣду, развѣ онъ остался противъ воли, и отчего онъ, если сейчасъ сказалъ правду, во весь долгій вечеръ не поспѣшилъ куда будто бы рвался всѣмъ сердцемъ?

„Проклятіе!“ со злобой на себя подумалъ онъ.

Петръ Андреичъ не въ силахъ былъ больше забавлять Людмилу Тимоѳеевну, и обрадовался какъ Богъ знаетъ чему приходу Мины Иваныча. Онъ нарочно завязалъ съ нимъ разговоръ объ археологіи, зная что старикъ не скоро съѣдетъ со своего конька. Наконецъ-то объявили, что кушанье подано.

За обѣдомъ Петръ Андреичъ былъ грустенъ, разсѣянъ, почти ничего не ѣлъ и жаловался на страшную головную боль. Въ концѣ обѣда Людмилѣ Тимоѳеевнѣ подали записку.

— Ахъ, это отъ кузины! Ложа во французскій театръ. Мы уговорились... мнѣ такъ хотѣлось видѣть эту піесу: вы ее хвалили.

И взглянувъ на Кононова, она точно устыдилась своей радости: вѣдь онъ боленъ, вѣдь онъ, еслибъ и хотѣлъ, не можетъ ѣхать съ нами.

— Я провожу васъ, отозвался Мина Иванычъ.—А вы, Петръ Андреичъ, не запускайте и...

И старикъ подалъ Кононову полезный медицинскій совѣтъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, поберегите себя, съ заботливымъ безпокойствомъ сказала Людмила Тимоѳеевна. — Вы вѣрно тогда простудились.

Кононова опять точно въ сердце кольнуло. Онъ

зналъ что и не думалъ простужаться и выходило точно нарочно прибѣднился. Чтобы какъ-нибудь повернуть разговоръ, чтобы не видать этой незаслуженной заботливости, онъ спросилъ:

— А Настасья Григорьевна развѣ сама не поѣдетъ что прислала ложу?

— Нѣтъ, поѣдетъ, но она всегда запаздываетъ, смѣясь отвѣчала Людмила Тимоѳевна.

„А, *имъ* хотѣлось видѣть мое смущеніе, злобно подумалъ Кононовъ,—хотѣлось узнать, какое впечатлѣніе произвело ихъ признаніе, и вдобавокъ поставить меня между двухъ огней! Оно забавно, и... хитро придумано. Хорошо же!“

Угроза не имѣла никакого смысла, онъ чувствовалъ это и злился сильнѣе.

Когда дамы ушли переодѣваться, Кононовъ, угрюмый и нахмуренный, забился въ темный уголъ. „Надо покончить дѣло сегодня же“. А покончить дѣло, по его, значило нынче вечеромъ зайти къ Настасьѣ Григорьевнѣ. Странный человѣкъ! Шуточный разговоръ при прощаніи онъ принималъ за серіозное обѣщаніе и чувствовалъ себя точно связаннымъ даннымъ словомъ. Не сдержать слова нехорошо, а въ настоящемъ случаѣ было бы трусостью; да, трусостью и предъ собой, и предъ Настасьею Григорьевной и вдобавокъ... оскорбленіемъ, особенно послѣ всего что̀ было, Людмилы Тимоѳевны.

„И благо ея не будетъ дома, я и зайду. Мнѣ что̀ за дѣло: хочешь видѣть, сиди и жди“.

Онъ окончательно запутался; за немногіе часы его мысль пріучилась лгать безо всякой причины, только бы не оставаться наединѣ съ самой собой.

— Пора, тетя, право пора, мы и такъ опоздали, заговорила Людмила Тимоѳевна, входя въ комнату.

Они вышли вмѣстѣ. Она еще разъ просила его поберечься, сама поправила ему cache-nez, перестегнула пальто. Во всѣхъ этихъ движеніяхъ было столько нѣжности, столько любовной внимательности, что Кононовъ былъ тронутъ. Садясь въ карету, она повторила просьбу поберечь себя и ея глаза такъ свѣтло, такъ лучисто смотрѣли на него. Кононовъ почувствовалъ, что у него выступили слезы.

„Фу ты! разнервничался не хуже какой-нибудь бабы“, сказалъ онъ, спѣшно отходя отъ кареты.

Не то чтобъ онъ стыдился своей чувствительности: ему не хотѣлось еще разъ сознаться что онъ не стòитъ ни такой... ни какой заботы. Онъ невольно сталъ думать о другомъ, о первомъ чтò пришло въ голову. А чтò могло придти въ голову, какъ не предстоящій визитъ?

„Еще рано, пожалуй захватишь дома и *онѣ* пожелаютъ остаться!“ съ усиленною злобой подумалъ онъ, и сталъ мечтать, какъ не застанетъ Настасьи Григорьевны дома, какъ оставитъ карточку, съ надписью „по желанію публики“, какъ все это выйдетъ остроумно и какъ завтра *онѣ* будутъ жалѣть что перехитрили поѣхавъ въ театръ.

Всѣми этими пустяками Петръ Андреичъ остался отмѣнно доволенъ. Таково-то разрѣшилась его угроза „хорошо же!“ Отъ нечего дѣлать онъ пошелъ бродить, выбирая гдѣ меньше народу: видъ толпы, онъ чувствовалъ, раздражитъ и разсердитъ его. Сколько онъ ни ходилъ, времени оставалось ужасно много. Вспомнивъ, что плохо обѣдалъ, онъ зашелъ въ первый попавшійся

ресторанъ. Сидя въ ожиданіи заказанной порціи и постукивая ради сокращенія времени ножомъ о тарелку, онъ услышалъ что кто-то веселымъ и умягченнымъ голосомъ зоветъ его по фамиліи.

— Неужели не узнаете? говорилъ господинъ, очевидно усердно полоскавшій зубы послѣ хорошаго обѣда.

И господинъ назвалъ себя. Оказалось, университетскій товарищъ.

— Да что̀, присаживайтесь-ка къ намъ, тряхнемъ стариной, продолжалъ товарищъ и не дождавшись согласія Кононова, приказалъ перенести его приборъ „на нашъ столъ“.

„Ахъ, чортъ тебя дери“, подумалъ Кононовъ, и прибавилъ: „А, впрочемъ, не все ли равно?“

За „нашимъ“ столомъ сидѣлъ среднихъ лѣтъ помѣщикъ, представленный немедленно Кононову; человѣкъ, впрочемъ, безобидный: онъ только и дѣлалъ что попивалъ маленькими глоточками зельтерскую воду, да отпыхивался. Товарищъ болталъ за всѣхъ, вспоминая чего не было, говоря о дружбѣ, молодости и университетѣ, и проболталъ съ часъ добрый.

— „А что̀, въ память старинной дружбы, не велѣть-ли редерерцу? спросилъ онъ, подмигивая любителю зельтерской воды.

Но Кононовъ наотрѣзъ отказался, объявивъ что ему положительно вредно всякое шампанское.

— Ну, красненькаго-то выпьете, безаппелляціоннымъ тономъ возгласилъ товарищъ.—Оно повредить не можетъ, и здѣсь отличное. Люблю я этотъ трактирчикъ, съ чувствомъ, въ порывѣ откровенности, прибавилъ онъ.

Чтобъ отвязаться, Кононовъ выпилъ стаканъ бур-

гонскаго. Товарищъ наконецъ спохватился, изъявилъ сожалѣніе, что нельзя остаться: „мы де въ оперу, а провинціаламъ это въ диковину“, спросилъ адресъ Кононова, пообѣщалъ непремѣнно, непремѣнно побывать, тотчасъ же забылъ адресъ и убрался.

Кононовъ отъ выпитаго вина и болтовни чувствовалъ какую-то тягость во всемъ тѣлѣ, былъ недоволенъ собою, и выругалъ товарища:

„Что двѣ лекціи подлѣ тебя на скамьѣ когда-то просидѣлъ, такъ считаетъ себя въ правѣ вывѣдать всю подноготную“.

Взглянувъ на часы, Петръ Андреичъ замѣтилъ что у него нервно дрожатъ руки, и злоба усилилась.

„Рано еще, чуть не съ зубовнымъ скрежетомъ пробормоталъ онъ. — А *онѣ* поди одѣваются да прибираются. Окончательно поразить думаютъ“.

Стыдясь безпричинной, нервно-бабьей злости, онъ сердито заказалъ чаю и потребовалъ газету. Онъ читалъ долго и усиленно, ничего не понимая, не замѣчая что давно уже мимо его похаживаетъ пожилой человѣкъ, покашливая, заглядывая въ газету, пофыркивая носомъ и выражая иные знаки нетерпѣнія.

— Позвольте послѣ васъ, сказалъ онъ наконецъ голосомъ вызывающимъ на ссору.

— Ахъ, сколько угодно! отвѣчалъ Кононовъ, отдавая газету.

Еще разъ взглянувъ на часы, онъ увидѣлъ что уже десять минутъ десятаго. „Пора“, прошепталъ онъ, и съ радостнымъ чувствомъ что скоро совсѣмъ, совсѣмъ отдѣлается отъ всякихъ недоразумѣній, лжи и безпокойствъ, торопливо полетѣлъ въ гостиницу.

III.

Въ корридорѣ гостиницы его кто-то назвалъ по имени и отчеству. Кононовъ узналъ горничную Настасьи Григорьевны и почему-то удивился какъ она знаетъ его имя и отчество.

— Идите скорѣе, интимно-торопливымъ тономъ продолжала горничная, едва поспѣвая за Петромъ Андреичемъ,—барыня просто измучились безъ васъ. Повѣрите, прокатиться выѣхать боятся, все думаютъ, вы безъ нихъ придете. Мы даже адресъ вашъ хотѣли узнать, да коммиссіонеръ здѣсь такой глупый, изъ Чухонъ что ли, все перепуталъ и принесъ какого-то Петра Антипыча... Куда же вы? Мимо прошли.

И отворяя дверь, она слегка дотронулась до его руки, точно намѣрѣваясь задержать въ случаѣ попытки къ побѣгу.

Настасья Григорьевна сидѣла въ гостиной и обхвативъ голову руками что-то читала. Она была въ бѣломъ пеньюарѣ, блѣдна, съ глазами какъ послѣ безсонницы, съ головой повязанною бѣлымъ фуляромъ. Эта повязка придавала ей особое выраженіе; лицо у нея было такое доброе, простое, русское, деревенское.

— Что̀ съ вами? вы больны?

Она слабо подала ему руку и молча указала на кресло.

— А я думалъ вы въ театрѣ, растерявшись проговорился Кононовъ.

— И потому зашли? Спасибо.

Ни искры веселости или насмѣшки въ голосѣ! Она съ трудомъ приподняла голову и съ такою тоскливою улыбкой, такими печальными глазами поглядѣла на него.

Они просидѣли молча. Кононовъ не зналъ что̀ дѣлать, что̀ сказать.

— Я, кажется, помѣшалъ вамъ? неловко началъ онъ,—вы читали... кажется, письмо?

Настасья Григорьевна черезъ силу приподнялась отъ спинки креселъ и взявъ бумагу со стола, передала ему.

— Вотъ все что̀ мнѣ осталось, точно въ сторону прошептала она, и Кононову показалось будто она сморгнула слезу.

Кононовъ машинально развернулъ рукопись. То были его стихи. Онъ заглянулъ въ бумагу съ неловкимъ чувствомъ автора которому попалось въ руки ребяческое, можетъ-быть сильно неудачное, произведеніе. Настасья Григорьевна замѣтила это выраженіе неловкости, и приписала его недовольству ея какъ бы навязчивымъ напоминаніемъ.

„Онъ ни капли не любитъ меня", подумала она, встала и въ сильномъ волненіи заходила по комнатѣ. Кононовъ не читалъ, а пробѣгалъ свою послѣднюю поэму. Онъ самъ не зналъ чему волнуется, о чемъ тоскуетъ, и руки опять нервно задрожали какъ раньше, когда смотрѣлъ на часы. Она остановилась, замѣтила перемѣну въ его лицѣ.

— Ребячество, не правда ли? Случайная возбужденность нервъ, чувствъ на минуту... А...

Она еще что-то хотѣла сказать, но точно вовремя опомнилась, сѣла и закрыла лицо руками. Кононовъ смотрѣлъ на нее съ такимъ же тоскливымъ и тревожнымъ чувствомъ какъ на свою поэму. И ему стало такъ жаль ее, и... себя!

— Оставимъ это, заговорила она.—Я дѣлаю глу-

пости... Къ чему разстраивать себя, васъ... Я не должна... Я сама не знаю что̀ говорю.

— Успокойтесь.

Онъ подошелъ къ ней, взялъ за руку и еще разъ попросилъ „успокоиться", тоже не вполнѣ зная что̀ говорить. Она тихо освободила руку, слегка отвела его рукой, и опять закрыла лицо. Стройные, блѣдные, худенькіе пальчики нервно дрожали. Кононовъ растерялся; взялся рукой за лобъ, провелъ по волосамъ, и отошелъ къ окну, твердя, что это пройдетъ, что она успокоится. Слѣдующая минута показалась ему за полчаса.

Она отняла руку отъ лица и сухими, почти злобными глазами поглядѣла на него.

— Зачѣмъ вы пришли? что̀ вамъ надо? нервнымъ, сухимъ, запекшимся голосомъ начала она. — Вѣдь вы думали... знали что меня нѣтъ дома, что я въ театрѣ... Зачѣмъ же вы остаетесь?.. Ступайте, я не держу васъ... Чего вы еще не знаете? въ чемъ еще я не призналась вамъ?.. Я все сказала, все... Ну да, я люблю васъ... Вы это хотѣли слышать?.. Что̀ же, извольте, я повторю еще, и еще, сто, тысячу разъ... Ну, да, да, да! съ какимъ-то злобнымъ отчаяніемъ, еще нервнѣе заговорила она.—Да, я люблю васъ, безумно страстно... я для васъ пріѣхала сюдба... я для васъ... Но не надо мнѣ ни вашихъ сожалѣній, ни сочувствій, ни вашихъ грустныхъ взглядовъ... Оставьте меня... ступайте... уйдите...

Она говорила еще и еще, повторяя тѣ же слова, и все настойчивѣе, и настойчивѣе.

— Что̀ жь, довольны? Отомстили? за все?.. Я первая, первая говорю вамъ что люблю... Вы никогда, ни-

когда не хотѣли сказать... Что̀ жь, дождались... Уходите же, уходите...

И съ конвульсивнымъ движеніемъ, сорвавъ съ головы платокъ, она отбросила его отъ себя, схватилась руками за грудь, точно ее душило, и она хотѣла разорвать платье и—зарыдала. Кононовъ бросился къ ней, взялъ ее за руку, жалъ ее, не зналъ что̀ дѣлать и помнилъ одно, что ему безконечно жаль ее.

— Ради Бога, ради Бога, твердилъ онъ.

— Воды, прошептала она.

Онъ бросился наливать, расплескалъ половину стакана пока подошелъ къ ней и чтобы ловчѣе было напоить ее, опустился подлѣ кресла на колѣни.

— Ради Бога, ради Бога, не переставая твердилъ онъ.

Она выпила, вздохнула, тяжело отвела голову въ сторону, точно не хотѣла видѣть его, потомъ склонилась къ нему, обхватила его голову руками, глянула прямо въ глаза.

— Уйди же, уйди, милый! прошептала она.—Прощай!

И крѣпко стиснувъ ему голову, она поцѣловала его въ уста. Дрожь пробѣжала у него по всему тѣлу, охватила его. Онъ ничего не помнилъ, не хотѣлъ помнить, и только чувствовалъ что она отнимаетъ свои губы, что сейчасъ, сейчасъ онѣ перестанутъ касаться его губъ. „О, ни за что̀!“ И онъ невольно потянулъ голову вслѣдъ за ея губами, и опять поцѣлуй. У него закружилась голова; въ глазахъ завертѣлся чей-то образъ. Не называя, онъ узналъ его. „Когда тонешь“, мелькнуло было въ сознаніи; но онъ не додумалъ и только почувствовалъ конецъ мысли. „Когда тонешь, говорятъ въ

одинъ мигъ вспоминаешь всю жизнь"—вотъ что̀ хотѣло мелькнуть въ угасавшемъ сознаніи.

— И ты любишь, любишь меня, хоть немного, хоть каплю? спрашивалъ чей-то голосъ.

— Да, да, я люблю, я всегда любилъ. Тебя, одну тебя. Въ ней, во всемъ что̀ любилъ. Тебя, одну тебя, говорилъ онъ, и не зналъ, никогда не узналъ что̀ такія слова говорились имъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

„Я не говорилъ ей о любви, я не дѣлалъ ей предложенія, я ни чѣмъ относительно ея не связанъ".

Такова была первая вполнѣ опредѣленная мысль Кононова, на другой день послѣ описаннаго въ предыдущей главѣ. И это думалось о Людмилѣ Тимоѳевнѣ, точно все дѣло у нихъ шло о томъ чтобъ ему сдѣлать офиціальное предложеніе, а ей отвѣтить такимъ же офиціальнымъ „да" или „нѣтъ". И Кононовъ, еще вчера утромъ столь чуткій къ малѣйшей лжи, не чувствовалъ фальши своихъ словъ. Таково ужь устроенъ человѣкъ: нѣтъ ему оправданія внутри, онъ прибѣгаетъ ко внѣшней формальной правдѣ. „Предъ лицомъ де закона я не виновенъ".

Кононовъ взглянулъ на часы и его точно ужалило. Было два часа. Онъ встревожился, чуть не ужаснулся; ему казалось что уже поздно, что онъ не застанетъ, никогда не увидитъ ее. И спѣшно одѣвшись, онъ полетѣлъ къ Настасьѣ Григорьевнѣ.

— Барыня еще въ постели, стыдливо встрѣтила его

горничная, повидимому сторожившая его приходъ. —Пожалуйте, я имъ сейчасъ доложу.

Полный смутной тревоги, Кононовъ опустился въ то кресло гдѣ вчера засталъ Настасью Григорьевну, и сѣлъ также какъ она вчера, обхвативъ голову руками. Онъ ничего не думалъ; онъ ждалъ — чего именно, о томъ не хотѣлось ни знать, ниже мечтать. Онъ обернулся на шорохъ. Настасья Григорьевна была кокетливо одѣта, но блѣдна, съ безсонными глазами. Глядя разсѣянно и полуопустивъ глаза, она молча подошла къ нему. Онъ всталъ, и также молча и полуопустивъ глаза, поцѣловалъ у нея руку. Она отошла и сѣла въ кресло напротивъ. Казалось, она обдумывала что-то.

— Вчера... сказала она.

Онъ съ укоромъ взглянулъ на нее; она почувствовала его взглядъ, поняла за что̀ укоряетъ, и въ ея глазахъ чуть-чуть промелькнула улыбка, но лицо попрежнему было блѣдно и серіозно.

— Вчера... снова проговорила она и остановилась. Сдѣлавъ надъ собою усиліе, точно шепнувъ себѣ: „Надо же, непремѣнно надо сказать, и сейчасъ же“, она начала быстро, словно боялась остановиться, или что онъ прерветъ ее:—Вчера... Вы не виноваты. Ни я... Нѣтъ, я больше виновата. Мнѣ слѣдовало совладать съ собою, не принимать...

Точно страшась что она еще разъ скажетъ ему холодное *вы*, онъ перебилъ ее:

— Зачѣмъ... зачѣмъ *ты* говоришь мнѣ это?

Она вся всколыхнулась и лицо загорѣлось.

— Милый! невольно, почти крикомъ сказала она и замѣтивъ что онъ готовъ кинуться къ ней: — Постой, постой, не подходи... Дай мнѣ сказать все, все... Да,

медленно проговорила она, нажимая ладонями лобъ точно хотѣла расправить пришедшія въ безпорядокъ мысли, и помолчавъ секунду продолжала:—Ты знаешь, ты давно знаешь какая я легкомысленная, вѣтреная, непостоянная.... Не прерывай меня.... Ты не все еще знаешь, есть вещи въ чемъ я никому не сознавалась, отъ всѣхъ скрывала.... Ты знаешь, за мной ухаживали, въ меня влюблялись, признавались въ любви.... И я.... стыдно сказать, я лукавила, увѣряла себя что человѣкъ мнѣ нравится, что я сама къ нему неравнодушна, и все для того чтобы добиться.... ненужнаго признанія.... И я всякій разъ радовалась какъ Богъ знаетъ чему, меня это забавляло, пріятно раздражало.... Я точно больной *gourmand* не могла удержаться отъ лакомаго куска. Ты одинъ не хотѣлъ сказать прямо, въ глаза мнѣ... И когда слово вырвалось нечаянно.... въ стихахъ, ты ушелъ.... И можетъ-быть, — проговорила она тихимъ и задумчивымъ шепотомъ, точно невольно и безсознательно выговаривая тайную мысль,—и можетъ-быть за это-то я и полюбила тебя. Но не вѣрь, не вѣрь мнѣ, — торопливо прибавила она,—я сама боюсь повѣрить себѣ....

Онъ не въ силахъ былъ сдержаться и бросился къ ней; она встала и протянула руку, не то подавая ему, не то желая не допустить его до себя и отошла въ сторону.

— Я не все еще сказала... Ты можешь еще забыть, заставить себя думать что мы чужіе другъ другу.... Я долго думала и передумывала... Я не хочу,... Я много зла тебѣ сдѣлала и не хочу опять....

— Ради Бога!

— Ты можешь, ты имѣешь право бросить меня.

Онъ былъ уже подлѣ и хотѣлъ заставить ее молчать поцѣлуемъ, но она ухитрилась-таки увернуться на мгновеніе и прошептала:

— И не боишься что я разлюблю тебя?

Видно ей мало было увѣреній, поцѣлуевъ, объятій; ей хотѣлось еще разъ узнать что̀ уже знала; хотѣлось услышать отъ него тѣ слова что, она предчувствовала, онъ скажетъ несомнѣнно.

— И ты, съ ревнивымъ и радостнымъ чувствомъ близко глядя ему въ глаза шептала она, — и ты не будешь жалѣть?.. Нѣтъ, не то... и ты не говорилъ ей что любишь? Не сватался? Не цѣловалъ ее?

Онъ ничего не помнилъ и не понималъ, кромѣ того что на всѣ ея вопросы надо отрицательно качать головою; онъ чувствовалъ ея горячее дыханіе на своемъ лицѣ и губы его беззвучно лепетали „нѣтъ“.

— Но ты любишь?... Ты любилъ ее?

И точно боясь прямаго отвѣта на этотъ вопросъ, она лицомъ прижалась къ его груди и почувствовала что онъ крѣпче, ближе къ себѣ прижалъ ее. И она засмѣялась какимъ-то затаеннымъ смѣхомъ, а изъ глазъ тихими и свѣтлыми ручьями лились слезы. Кононовъ не видѣлъ слезъ, но затаенный смѣхъ отзывался во всемъ существѣ его и щекоталъ сердце.

О чемъ она плакала? О чемъ смѣялась?

II.

Три дня спустя, Людмила Тимоѳеевна получила письмо отъ Кононова. Полуофиціально, торопливо и небрежно извѣщалъ онъ что по непредвидѣннымъ и важнымъ обстоятельствамъ ему необходимо на нѣкоторое

время отлучиться въ Орловскую губернію; въ концѣ письма выражалось холодное сожалѣніе что рѣшительно не было времени зайти проститься.

Людмила Тимоѳевна читала и не понимала. Въ послѣдній разъ, онъ былъ разсѣянъ, разстроенъ, жаловался на головную боль, раньше былъ два дня боленъ—и все это было притворство! У него было какое-то дѣло, важное, неотложное, и онъ даже не намекнулъ о немъ, не счелъ за нужное предупредить ее о возможности скораго отъѣзда! Неужели?...

Рука съ письмомъ опустилась, глаза неопредѣленно глядѣли впередъ, она сидѣла вытянувъ шейку и слегка наклонивъ на сторону голову, точно прислушивалась, а въ головѣ не переставая вертѣлись тѣ же мысли, обрываясь на томъ же недоговоренномъ вопросѣ.

— Что̀ съ тобой, Людочка? спросила вошедшая тетка.

Людмила Тимоѳевна молча подала ей письмо. Старушка прочла и тоже ничего не поняла, но она чувствовала что надо во что̀ бы то ни стало прибрать какія-нибудь объясненія и утѣшенія. И тетя Маша пошла расписывать какія спѣшныя и нежданныя дѣла бываютъ у мущинъ вообще, какъ самъ Людочкинъ отецъ однажды собрался всего въ два часа въ дальнюю дорогу, не дождавшись даже пріѣзда жены изъ гостей отъ сосѣдей, и т. п. Послѣднее обстоятельство, то-есть уѣздъ не простясь съ женою, тетя Маша присочинила даже. Чѣмъ дальше говорила старушка, и чѣмъ сильнѣйшія доказательства приводила она, тѣмъ больше замѣчала что племянница не только не успокоивается, а напротивъ волнуется все больше и больше.

Тетя запнулась, чуть не расплакалась, и чтобы

скрыть волненіе начала вертѣть въ рукахъ и разсматривать со всѣхъ сторонъ конвертъ.

— Ахъ, Людочка, погляди-ка, радостно закричала она, точно сдѣлала не вѣсть какое открытіе, и показала пальцемъ на штемпель.

— Что̀, тетя?

— Видишь что̀ на штемпелѣ: Любань. Значитъ спѣшное ужь было дѣло, коли письма до отъѣзда написать не успѣлъ, а изъ Любани послалъ. Вѣдь тамъ первая большая остановка. Вотъ видишь! Гдѣ ужь тутъ было заѣхать проститься!

Людмила Тимоѳеевна посмотрѣла на штемпель, и лицо ея на минуту просвѣтлѣло.

Письмо было написано по настоянію Настасьи Григорьевны и почти подъ ея диктовку, но Кононовъ и не подозрѣвалъ чтобъ остроумная осторожность страстно-влюбленной дамы простиралась до отправки письма изъ Любани. Сама Настасья Григорьевна дня черезъ два послѣ письма заѣзжала на минуточку къ Воробьевымъ. Для визита былъ избранъ день субботній и время около семи часовъ вечера, когдо была вѣроятность не застать дома ни тети Маши, ни кузины Людмилы. Сей мудрый разсчетъ кузина Настя основала на томъ, что сама не любила и не умѣла молиться, поэтому она заключила что тетка съ племянницей, безъ сомнѣнія огорченныя внезапнымъ отъѣздомъ Кононова, отправятся ко всенощной. Разчетъ оказался вѣрнымъ, и Настасья Григорьевна, не боясь покраснѣть, могла разказать Паулинѣ, что мужъ прислалъ ей телеграмму о болѣзни, что она такъ, такъ спѣшитъ въ Москву и даже попроситъ *разцѣловать* за нее „милую кузину“ и пожелать ей *всякаго* счастія. Настасья Григорьевна дѣйствительно

на другой день, во времени отхода поѣзда, выѣхала изъ гостинницы.

Людмила Тимоѳеевна покойно ждала новаго письма отъ Кононова, но прошло двѣ недѣли, а письма не было. Воображеніе тети Маши все это время работало самымъ усиленнымъ образомъ. Петръ Андреичъ могъ проѣхать мимо Москвы не останавливаясь, письмо завалялось на почтѣ и получится завтра; далѣе, прибирались плохое состояніе дорогъ, глухая деревня, откуда только разъ въ двѣ недѣли посылается въ городъ, потеря письма деревенскимъ рохлей; словомъ, Марья Ивановна была неистощима и тѣмъ неистощимѣе, что повидимому племянница слушала ее внимательно и становилась съ каждымъ днемъ покойнѣе.

На дѣлѣ, бѣдная дѣвушка мучилась и тосковала, крѣпясь чрезъ великую силу чтобы не выдать своихъ страданій. Она думала и передумывала о своихъ отношеніяхъ къ Петру Андреичу; она старалась увѣрить себя что онъ никогда сильно не любилъ ее, а просто она нравилась ему, да и то слегка, но чѣмъ больше увѣряла она себя въ этомъ, тѣмъ сильнѣе чувствовала непреложность его любви. На мгновенье такое чувство освѣжало ее, но слѣдомъ являлся неразрѣшимый вопросъ: зачѣмъ же, зачѣмъ въ такомъ случаѣ, онъ уѣхалъ не простясь, зачѣмъ не пишетъ? И ея мысль точно упиралась въ высокую стѣну: заглянуть черезъ, какъ ни желалось, не было возможности, и не слышно было за этою стѣной ни звука, ни шороха, ни малаго признака жизни. Вскорѣ мысли ея приняли иное, странное направленіе. Разъ по утру, она машинально взяла газету, и глаза ея случайно упали на слова „Орловская губернія“. Она судорожно принялась читать. Сообщалось

о несчастіи, какъ потонуло нѣсколько саней при переѣздѣ чрезъ какую-то рѣчку. Людмила Тимоѳеевна уже видѣла имя Кононова въ числѣ погибшихъ, но нѣтъ, слава Богу, его не было. Но развѣ онъ не могъ погибнуть подобнымъ образомъ? не могъ простудиться и лежать теперь гдѣ-нибудь въ горячкѣ, одинъ, безпомощный, безъ сознанія, или въ тоскѣ что ея нѣтъ подлѣ, что некому даже извѣстить ее? И не имѣть возможности помочь! И умри онъ, кто извѣститъ ее, какъ ей будетъ увѣриться живъ онъ, или нѣтъ? Тревожно-тоскующая мечта рисовала его уже во гробѣ, блѣднаго, исхудалаго, со страшными закрытыми на вѣкъ и все еще будто зрячими глазами! Она смотритъ на него сухими глазами, и какъ ни сжимается и ни тоскуетъ сердце, какъ ни давитъ грудь, не выжать имъ ни слезинки!

„О какъ страшно *такъ* потерять любимаго человѣка, твердила она,—и вѣчно мучиться, и никогда не узнать правды!“

Ни луча надежды въ эти двѣ долгія недѣли! И, правду сказать, она боялась обманчиваго луча; она замѣчала что дядя съ теткой о чемъ-то промежь себя шепчутся, но не любопытствовала узнать о чемъ, говоря про себя „будь какое-нибудь извѣстіе, они сказали бы“. И все гуще и гуще закутывалась она въ свои печальныя мечты.

III.

Въ одно утро Людмила Тимоѳеевна проснулась съ легкимъ сердцемъ. Она видѣла во снѣ что Кононовъ вернулся веселый, счастливый, разказывалъ, и очень

смѣшно, про свои дорожныя приключенія и удивлялся отчего его письма не доходили: вѣдь онъ писалъ каждый день! Людмила Тимоѳевна ухватилась за этотъ сонъ какъ утопающій за соломинку. Припомнивъ что Чулковъ не былъ у нихъ все это время, она убѣдила себя что оба пріятеля уѣхали вмѣстѣ и что стало быть Амфилохій Григорьичъ знаетъ ихъ адресъ и вѣроятно, даже навѣрно получалъ письма. По счастію, урокъ приходился въ тотъ же день.

Въ концѣ урока она спросила Рудометкина, не знаетъ ли онъ отчего Чулковъ давно у нихъ не былъ?

— Онъ имѣлъ несчастіе отчасти простудиться и по совѣту доктора принужденъ нѣкоторое время оставаться такъ сказать подъ домашнимъ арестомъ, неторопливо и отчасти кудревато отвѣчалъ Амфилохій, какъ всегда говаривалъ съ барышнями изъ опасенія бухнуть невзначай неподходящее слово.

— То-то его не видно, какъ можно хладнокровнѣе отвѣчала Людмила Тимоѳевна и почувствовала какъ упало сердце. — А Кононовъ, — боязливо глядя на учителя прибавила она, — не былъ у васъ вчера? Онъ хотѣлъ зайти.

Людмила Тимоѳевна сама не знала почему не прямо спросила о Кононовѣ, и почему вопросъ вылился въ этой, а не въ иной формѣ, но произнося его, она вся встрепенулась, лицо загорѣлось ожиданіемъ, и она подумала что ловче и умнѣе и нельзя было спросить. „Онъ отвѣтитъ *былъ*, или скажетъ что его ждали вчера да не пріѣхалъ“, мелькнуло въ ея головѣ. Отъ Амфилохія не укрылась ея тревога; и онъ сумрачно потупился.

— Не былъ, отвѣтилъ онъ, и немедленно рѣшилъ

про себя что вѣрно „тонкачъ“ натворилъ фокусовъ. — Впрочемъ,—кашлянувъ проговорилъ онъ,—я вчера весь день не находился дома и быть-можетъ въ мое отсутствіе г. Кононовъ навѣстилъ больнаго товарища.

— А, вообще, онъ давно у васъ не бывалъ? по инерціи продолжая ту же игру, спросила Людмила Тимоѳеевна.

— Кажется, довольно продолжительное время; впрочемъ, если вамъ требуется, я могу собрать свѣдѣнія.

— Нѣтъ, къ чему же, а впрочемъ спросите... то-есть попросите Чулкова чтобъ онъ зашелъ къ намъ, и поскорѣе, сегодня или завтра, запуталась милая барышня.

Амфилохій уже не сомнѣвался что „тонкачъ“ наподличалъ, и ему такъ стало жаль бѣдную обманутую дѣвушку. Чтобы скрыть смущеніе, онъ неистово началъ вощить кулакомъ правую скулу, что̀ всегда дѣлалъ въ затруднительныхъ случаяхъ жизни.

„Подлецъ, подлецъ! твердилъ учитель, сходя съ лѣстницы.—Заставить дѣвушку влюбиться въ себя, обѣщать жениться (въ этомъ Амфилохій не сомнѣвался, получивъ, согласно уговору, отъ г. Худышкина подслушанное Амаліей свѣдѣніе), и обмануть... Но что̀ же онъ надѣлалъ?“

Что̀ бы онъ ни надѣлалъ, Амфилохію, въ сущности, было все равно. Онъ зналъ одно: попадись ему сейчасъ тонкачъ, онъ не говоря ни слова, бросился бы на него и задушилъ.

„Собакѣ, и собачья смерть, уже почти вслухъ говорилъ онъ, сильно размахивая руками.—И лучше убить эту гадину: *она* меньше будетъ страдать.“

Рудометкинъ не замѣтилъ что вслѣдствіе его чрезчуръ энергическихъ жестовъ, прохожій, съ плоскимъ ящикомъ подъ мышкой принужденъ былъ соскочить съ тротуара.

— Да это ты, чортъ! Чего толкаешься, чуть не свалилъ! раздался чей-то голосъ, и Рудометкинъ почувствовалъ что его кто-то схватилъ за руку.

— А я, братъ, при помощи животворной кисти, на память грядущимъ вѣкамъ, ляпалъ на полотнѣ образину негоціанта изъ Мяснаго ряда.

По этимъ словамъ Рудометкинъ смутно догадался что встрѣтилъ художника. Семенъ Иванычъ говорилъ самымъ веселымъ тономъ и глядѣлъ на учителя какъ собака на кусокъ мяса въ рукахъ хозяина; для довершенія сходства, г. Худышкинъ, приподнявшись на цыпки, вертѣлъ всѣмъ корпусомъ. Рудометкинъ потеръ лобъ чтобы помочь памяти: о чемъ-то, чудилось ему, слѣдовало спросить художника.

— Гдѣ Кононовъ? рявкнулъ онъ вдругъ страшнымъ голосомъ.

— Какъ гдѣ! Онъ, братъ, недѣли съ двѣ какъ изъ Питера уѣхалъ.

— Отчего жь ты не извѣстилъ меня?

— Я, братецъ, думалъ ты знаешь. Развѣ онъ къ Чулкову не заѣзжалъ? Да притомъ онъ квартиру за собой оставилъ, торопливо извинялся Семенъ Иванычъ, подпрыгивая на цыпочкахъ.

Матеріализмъ художника, думающаго о квартирѣ, когда погибаетъ „чистая и возвышенная“, ужаснулъ Амфилохія.

— Прощай, сказалъ онъ, и не пожавъ даже руки художнику, сѣлъ на извощика да и былъ таковъ.

Семенъ Иванычъ остался въ недоумѣніи, стараясь вспомнить что̀ такое хорошее хотѣлъ онъ сказать Рудометкѣ, да тотъ перебилъ съ этимъ дьяволомъ Кононовымъ; вспомнилъ наконецъ, облизнулся точно отвѣдавъ свѣжаго пива, опомнился, сплюнулъ съ досады и побрелъ своею дорогой.

IV.

Рудометъ прямо домой. Чулковъ лежалъ на диванѣ и читалъ книгу. Поздоровавшись, Амфилохій началъ похаживать вокругъ да около, ухмыляясь, немилосердо наващивая кулакомъ скулу и черезъ два шага сильно пристукивая о полъ каблукомъ. Такіе маневры были наконецъ по достоинству оцѣнены сожителемъ.

— Что̀ съ тобой? спросилъ онъ.

— Со мной-то ничего, а вотъ твой иностранецъ!..

— Какой иностранецъ?

— Другъ-то вашъ любезный, г. Кононовъ, тонкачъ тожь...

— Говори толкомъ.

Рудометкинъ разказалъ что̀ слышалъ отъ Людмилы Тимоѳеевны и отъ художника. Изъ сопоставленія обоихъ источниковъ выходила чушь невѣроятная. Оказывалось что Кононовъ, находясь двѣ недѣли внѣ Петербурга, на дняхъ говорилъ Людмилѣ Тимоѳеевнѣ о томъ что вчера зайдетъ къ нему, Чулкову.

— Ты пьянъ что ли? освѣдомился Чулковъ.

Амфилохій страшно обидѣлся.

— За что̀ купилъ, за то и продаю, сказалъ онъ, выразивъ предварительно свое негодованіе.—Да ты все не вѣришь? Ну, съѣзди самъ на Васильевскій...

Чулковъ сталъ спѣшно одѣваться, стараясь какъ-нибудь согласить противорѣчивыя извѣстія, разумѣется ничего не согласилъ и отправился на Васильевскій единственно потому что послѣдній совѣтъ Амфилохія засѣлъ у него въ головѣ.

Его встрѣтила Амалія Ѳедоровна; едва онъ заикнулся дома ли Кононовъ, какъ блондинка перебила его:

— Ахъ, Петръ Андреичъ уже двѣ недѣли какъ уѣзжали! Развѣ вы не знавали?

— Не оставилъ ли онъ мнѣ письма, записки или просто не велѣлъ ли чего сказать?

— Нѣтъ, ничего.

— Все равно, я зайду. Комнаты не заперты?

Онъ вошелъ въ комнаты Кононова и бродилъ разглядывая стѣны и мебели, точно онѣ могли сказать ему гдѣ пріятель. Онъ до того простеръ любознательность что поднялъ съ пола лоскутокъ бумажки, но и лоскутокъ остался безмолвенъ. Чулковъ все въ надеждѣ найти письмо къ себѣ, по разсѣянности не посланное Кононовымъ, пошарилъ на столѣ, и думалъ уже заглянуть въ корзину для рваныхъ бумагъ, какъ въ дверяхъ показалась блондинка.

— А Петръ Андреичъ вѣрно жениться поѣхали? освѣдомилась она.

— Жениться! Что̀ за вздоръ! И не думалъ онъ жениться. Кто вамъ сказалъ? съ сердцемъ пробурчалъ Чулковъ, недоумѣвая откуда Амалія могла узнать о женитьбѣ.

Блондинка почувствовала обиду, вспыхнула, но не созналась что сама подслушала, и подъ вліяніемъ досаднаго чувства возвѣстила что она, впрочемъ, очень рада отъѣзду Петра Андреича.

— Это почему?

— Ахъ, Семенъ Иванычъ сильно ревновали.

— Кого и къ кому?

Амалія ничего не отвѣтила, и только гордо усмѣхнулась: „ты молъ думалъ я такая что и влюбиться въ меня нельзя, такъ вотъ же на, погляди, какова я есть“.

„Часъ отъ часу не легче“, подумалъ Чулковъ, и вслухъ:—Въ кого же онъ влюбленъ-то былъ? ужь не въ васъ ли?

И онъ пристально, прямо въ глаза, глянулъ на блондинку; та не выдержала и смутилась. „Вретъ“, рѣшилъ Владиміръ Дмитричъ.

— А они вовсе и не уѣзжали, продолжала блондинка.

— Кто?

— Петръ Андреичъ. Вотъ и Петровна знаетъ.

И Амалія выбѣжала изъ комнаты. Чулковъ и руками развелъ. „Уѣхалъ, не уѣхалъ, влюбленъ, ревнуетъ — чортъ знаетъ что!“ Владиміръ Дмитричъ со злости даже плюнулъ. Явилась Петровна, и подтвердила что точно Петръ Андреичъ не уѣхалъ.

— Оно точно, объясняла она, — я сама извощика на Московскую машину нанимала, только я выносила имъ сакъ-баяжъ; и тутъ подлѣ самыхъ саней стояла, а они къ извощику наклонимшись, и приказали. И вотъ только память у меня рѣшетчатая, а только не на машину, а либо къ Синему, либо къ Красному мосту.

— А не могъ онъ по дорогѣ заѣхать къ кому-нибудь?

— Нѣтъ, не спорьте, Владиміръ Дмитричъ, и время самое немашинное, и они не по-дорожному одѣм-

шись были. И даже сейчасъ у меня съ машины артельщикъ знакомый, и я у жены его крестила...

Петровну сбить было невозможно: она гадала, и Кононову выпала не дальняя, а ближняя дорога. Расходившаяся купеческая дочка наболтала съ три короба и столько наприбирала въ пользу своего мнѣнія самыхъ разнообразныхъ и неопровержимыхъ резоновъ что Чулковъ пощупалъ себя за голову, желая убѣдиться на плечахъ ли она у него или отлучилась куда-нибудь по своему дѣлу. Къ довершенію сумбура, вернувшійся Семенъ Иванычъ объявилъ что знакомый ему чиновникъ, котораго онъ сейчасъ встрѣтилъ на углу, видѣлъ третьяго дни Кононова, на Невскомъ ли, въ театрѣ ли, но только подъ ручку съ брюнеткой въ собольей шубкѣ. Чулковъ, боясь спятить, убѣжалъ.

„И стоило ѣздить въ сумашедшій домъ за справками, бранилъ онъ себя,—разумѣется, Людмила Тимоѳеевна все знаетъ“.

Но когда для него обнаружилось что и Людмила Тимоѳеевна ничего не знаетъ, Владиміръ Дмитричъ растерялся. Всѣ добытыя свѣдѣнія торчкомъ, какъ засохшія въ камень кочки проселочной дороги, стояли въ его головѣ и мысль спотыкаясь о нихъ только мозолилась и тупѣла. Почему-то мысль натыкалась чаще всего на прогулку Кононова подъ ручку съ брюнеткой въ собольей шубкѣ и въ этомъ извѣстіи искала ключа къ развязкѣ, и Чулковъ, не обдумавъ что дѣлаетъ, началъ вслухъ высказывать наклевывавшіяся предположенія.

— Надо мнѣ къ Настасьѣ Григорьевнѣ, началъ онъ и замѣтивъ что милая барышня насторожилась, прибавилъ:—встрѣтилъ какъ-то, просила зайти.

— Она уѣхала, отвѣчала Людмила Тимоѳевна.

— Давно?

Милая барышня вспомнила что ея отъѣздъ почти совпалъ съ отъѣздомъ Кононова, и вдругъ страшно поблѣднѣла.

— Я сейчасъ спрошу тетю, едва слышно сказала она и вышла.

Чулковъ увидѣлъ что натворилъ бѣды, сболтнувъ сдуру первое что̀ въ голову пришло. Но слѣдомъ онъ почувствовалъ неловкость въ груди, и никто бы уже не разувѣрилъ его въ непреложной истинѣ нечаяннаго соображенія.

Людмила Тимоѳевна шатаясь вошла въ тетину комнату и опустилась на завѣтный сундукъ.

— Что̀ съ тобой? боязливо подбѣгая къ племянницѣ спросила старушка.

— Идите.... тамъ Чулковъ.... ему надо....

Старушка поглядѣла на племянницу, и догадавшись что отъ нея теперь слова не добьешься, покачала головой и почти бѣгомъ направилась въ гостиную.

— Что̀ еще такое? въ дверяхъ крикнула она.

— Ничего, ничего, спѣшно и весело отвѣчалъ Чулковъ.—Я просто забылъ въ какой гостиницѣ остановилась Настасья Григорьевна.

— Да она двѣ недѣли....

Старушка не договорила; ей пришло въ голову то же что за нѣсколько минутъ Людмилѣ Тимоѳевнѣ, въ глазахъ мелькнула блѣдная и шатающаяся фигура племянницы, и она едва слышно пролепетала:

— Да неужто онъ съ ней?...

Чулковъ сталъ увѣрять что ему ей-Богу просто хотѣлось повидать Настасью Григорьевну. Тетя Маша

подозрительно на него поглядѣла. „Ой, лжешь“, говорили ея глаза.

— А только если между ними заварилось что̀, сказала она, — такъ вы, Владиміръ Дмитричъ, отъ меня-то, старухи, не таитесь. Онъ вамъ конечно пріятель, да Людочку-то хоть каплю пожалѣйте. Все жь предупредить надо будетъ....

Чулкову еще разъ пришлось побожиться что онъ ничего не знаетъ, и можно даже положительно сказать что ничего *такого* и не случилось, и дать клятвенное обѣщаніе сообщить обо всемъ что̀ узнаетъ.

— А вы, Марья Ивановна, попросилъ онъ на прощанье, — выдумайте какой-нибудь для Людмилы Тимоѳеевны предлогъ зачѣмъ мнѣ Настасья Григорьевна понадобилась. А то отъ глупаго слова не приключилось бы бѣды.

V.

Браня себя на чемъ свѣтъ стоитъ, Чулковъ поспѣшилъ въ гостиницу гдѣ остановилась Настасья Григорьевна. Тамъ, постепенно возвышаясь отъ швейцара до хозяина, онъ требовалъ сообщить ему адресъ Настасьи Григорьевны. Всѣ въ голосъ отвѣчали что она давно уѣхала въ Москву.

— Не можетъ быть, увѣрялъ онъ хозяина,—вы вѣроятно смѣшиваете: не уѣхала, а переѣхала. Я именно изъ Москвы получилъ телеграмму и очень важную. Вы ее смѣшиваете съ кѣмъ-нибудь другимъ.

— О, мсьё, отвѣчалъ хозяинъ, — я очень хорошо помню эту даму, какъ помню всѣхъ моихъ постояльцевъ, но очень хорошо.... Эта дама.... это прекрасная

и богатая дама, у нея чудные голубые глаза и великолѣпный золотистый шиньйонъ, но великолѣпный.... Скажутъ: Венера!...

— Все это такъ; но телеграмма....

— Если мсьё угодно, я покажу мсьё книгу гостиницы, и онъ увидитъ котораго числа уѣхала эта дама. Быть-можетъ, для мсьё это будетъ небезполезно....

Чулковъ пожелалъ поглядѣть книгу, и увидѣлъ котораго числа эта прекрасная дама уѣхала въ Москву, и остался при убѣжденіи что она и не думала уѣзжать. Выйдя изъ гостиницы, онъ пошелъ бродить чтобъ обдумать какимъ бы образомъ разузнать обо всемъ досконально. На бѣду пропасть знакомыхъ останавливали его чуть не на каждомъ шагу. Чтобъ избыть такой докуки, онъ свернулъ на канавку, и шелъ опустивъ голову, въ нее же ничего путнаго не лѣзло.

„Не могла же она любовника къ мужу въ гости повезти“, твердилъ про себя Чулковъ.

Очнувшись, онъ замѣтилъ что подходитъ къ мосту.

„Красный это, или Каменный? я всегда смѣшиваю“, подумалъ онъ, и припомнилъ показаніе Петровны. „У кого бы спросить?“ продолжалъ онъ, поглядывая по сторонамъ.

Дома черезъ три отъ него, у подъѣзда, облокотясь о стѣну, зажмуривъ глаза и оскаливъ зубы, грѣлся на солнышкѣ бѣлобрысый парень.

„Вотъ дуракъ, на солнцѣ зубы грѣетъ“, подумалъ Чулковъ и сталъ переходить улицу по направленію къ парню. „Берегись!“ раздалось надъ самымъ его ухомъ, и мимо лихо прошмыгнулъ извощикъ. Хотя сѣдокъ смотрѣлъ въ другую сторону, и воротникъ его пальто былъ поднятъ, Чулковъ узналъ въ немъ Кононова. Онъ остол-

бенѣлъ, хотѣлъ крикнуть, не смогъ, и бросился за санями. Сани остановились у подъѣзда съ бѣлобрысымъ парнемъ, и сѣдокъ, выпрыгнувъ изъ нихъ, быстро скрылся за дверьми.

— Но вѣдь это Кононовъ, Кононовъ, почти кричалъ Чулковъ добѣжавъ до подъѣзда и съ досады колотя себя по ляшкѣ кулакомъ.

Бѣлобрысаго парня при имени Кононова вдругъ отбросило отъ стѣны, точно кто пинка ему сзади далъ; онъ встряхнулъ головой, открылъ глаза и очевидно не вполнѣ еще прочухавшись, пробормоталъ:

— Такъ точно, они-съ.

— А вы почемъ знаете? съ изумленіемъ спросилъ Владиміръ Дмитричъ.

— Помилуйте, какъ намъ не знать, мы даже довольно хорошо ихъ знаемъ. Да вотъ Павелъ-извощикъ, они на немъ больше ѣздятъ....

Чулковъ рѣшился воспользоваться словоохотливостью парня.

— Такъ значитъ онъ сюда переѣхалъ! А я забылъ номеръ дома, да часъ битый ищу, сказалъ онъ.

— Нѣтъ-съ, они не здѣсь, а подалѣе, по ту сторону канавки-съ. Вотъ домъ, розовой краской крашенъ, еще вывѣска булочническая. Только булочникъ и не переѣзжалъ сюда, а такъ для красы вывѣска навѣшена, объяснялъ парень.—Такъ за этимъ домомъ вторыя вороты.

„Значитъ, она здѣсь!“ подумалъ Чулковъ, и продолжалъ вывѣдывать:—Благодарствуйте, любезный. И досада жь что онъ не услышалъ какъ я его звалъ!

— А вамъ очень ихъ требуется?

— Да, отвѣчалъ Чулковъ, тѣмъ же досадливымъ

тономъ,—знать бы къ кому онъ пошелъ! Можетъ знакомый, самъ зашелъ бы.

Зубастый малый замялся.

— Э, я и забылъ: вѣдь тутъ Настасья Григорьевна живетъ! будто вспомнилъ Владиміръ Дмитричъ и быстро сунулъ парню въ руку мелочь.

— Такъ точно, быстрымъ шепотомъ отвѣтилъ малый, кашлянувъ въ кулакъ, и забралъ деньги изъ руки въ ротъ.

Первымъ движеніемъ Чулкова было спросить въ которомъ этажѣ живетъ Настасья Григорьевна, нагрянуть на нихъ какъ снѣгъ на голову и отдѣлать что̀ называется на обѣ корки. Но тотчасъ же онъ сообразилъ что это было бы черезъ-чуръ по донъ-кихотски, даже глупо и главное ни къ чему путному не поведетъ. Надо было однако какъ-нибудь избыть волненіе; Чулкову не терпѣлось, хотѣлось кому-нибудь сообщить объ открытіи, посовѣтоваться и главное хорошенько выбранить Настасью Григорьевну. Онъ вспомнилъ о Минѣ Иванычѣ.

— Хороши вы, набросился онъ съ оника на старика, — человѣкъ Богъ знаетъ гдѣ пропадаетъ, а вы хоть бы слово мнѣ! И надо было мнѣ захворать!

Мина Иванычъ началъ было извиняться.

— Ну да что̀ тутъ! перебилъ его Владиміръ Дмитричъ.—Дѣло кончено, разгадка найдена.

— Вернулся? съ живостію подхватилъ старикъ.

— Да, вернулся, только какъ Хлестаковъ былъ генераломъ, съ другой стороны. Вернулся.... къ Настасьѣ Григорьевнѣ.

— Amor reccurens, безмысленно пролепеталъ старикъ, механически вспомнивъ давнишнюю шутку Чулкова.

И они стали толковать о событіи.

— А все она, она! кричалъ Чулковъ.—И сюда нарочно затѣмъ пріѣхала.

— И онъ хорошъ! Промѣнять Людмилу, и на кого! горячился старикъ.

— Тоже, подите, совладайте съ такимъ чортомъ какъ Настасья Григорьевна. Святые постники и тѣ подъ часъ соблазнялись, а мы вѣдь мясное ѣдимъ!

— Не оправдывай ты мнѣ его!

И оба, уже не слушая другъ друга, закричали еще громче. Чулковъ, уступая что и Кононовъ не безгрѣшенъ, валилъ всю вину на Настасью Григорьевну. Старикъ относился къ нему какъ строгій отецъ къ страстно-любимому сыну: и малая вина кажется ему огромною.

— Постойте, однако, дѣдушка, сказалъ черезъ полчаса нѣсколько успокоившійся Чулковъ,—чуръ Людмилѣ Тимоѳеевнѣ ни гугу.

— Я-то не скажу, да что̀ толку!

— Э, перемелится, мука будетъ. А Кононова я отъ дьяволицы вырву....

— Гм, отвѣчалъ старикъ,—что̀ жь онъ, опять солжетъ Людмилѣ что ѣздилъ куда-то?

— Полноте!

— Нѣтъ, не полноте! Это въ комедіи весело смотрѣть какъ отъ мужа женины грѣшки хоронятъ, а въ жизни.... Не сознается—солжетъ, и мескинно солжетъ, а сознается....

— Простятъ.

— Нѣтъ, этого простить нельзя. Тутъ двойная, тройная подлость!

И старикъ опять разгорячился, и вскорѣ съ обѣихъ

сторонъ снова загремѣла тяжелая артиллерія. Они до того дошли что стали говорить другъ другу колкости, и крупныя колкости, но ни одинъ не обижался, ниже обращалъ вниманіе на слова другаго. Оба смутно чувствовали что въ этихъ обоюдныхъ колкостяхъ выливается накипѣвшая горечь.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Г. Хамазовъ страдалъ, страдалъ непритворно, и велики и разнообразны были страданія его. Онъ страдалъ не зная какъ привести въ исполненіе угрозу въ лицѣ изразцовыхъ осколковъ обращенную къ старшему Погалеву, Кононову и Чулкову; онъ страдалъ отъ любви, страдалъ оттого что носу не смѣлъ показать къ Воробьевымъ страха ради „провинціальной бестіи"; страдалъ отъ невѣдѣнія что̀ въ ономъ домѣ дѣлается и отъ мысли каково гибельно все это можетъ отразиться на судьбахъ Россіи и Америки. Наконецъ онъ страдалъ отъ знанія что на нашей нн къ чорту не годной планетѣ обязаны страдать всѣ честные и благородные протестанты противъ общественныхъ безобразій. Какъ Паулина Тимоѳевна всѣ свои мысли и поступки считала логичными, Іоанникій считалъ всѣ свои честными и благородными. Самообожаніе и полнѣйшее отсутствіе наималѣйшей крупицы критическаго къ себѣ отношенія— черта общая той породѣ что̀ новыми писателями зовется новыми людьми.

Итакъ акцизный Наполеонъ страдалъ, худѣлъ, блѣднѣлъ, желтѣлъ, и началъ даже зеленѣть. Онъ ни-

гдѣ не показывался, и Богъ знаетъ чѣмъ бы все кончилось, не надумайся извѣстная уже читателю куцая дама навѣстить страдающаго дѣятеля.

— Что̀ съ тобой, Жонасъ? Ты боленъ? съ испугомъ проговорила она, взглянувъ на его лицо.

Іоанникій, ради красоты слога прозванный Жонасомъ, вскочилъ и чуть, подобно Гоголевскому почтмейстеру, не хватилъ себя по лбу. Онъ выпялилъ на нее глаза, хотѣлъ что-то сказать, промычалъ, а въ головѣ твердилось: „И какъ я раньше не догадался, болванъ, какъ не догадался раньше!“

— Да что̀ съ тобой, Жонасъ? продолжала куцая, взявъ его за руку.—Или я лишняя?

— Нѣтъ, Клавдинька, нѣтъ; садись, миленькая; ты мнѣ можешь сослужить службу...

Клавдинька, куцая дама тожь, усѣлась на диванъ съ ногами, но предварительно, для ясности послѣдующаго, нѣсколько словъ о ней самой. Клавдинька принадлежала къ тѣмъ женщинамъ о коихъ безъ малаго двѣ тысячи лѣтъ назадъ сказано что онѣ, „водимыя разными похотями, всегда учатся и никогда не могутъ дойти до познанія истины“. Сущностью ея характера было необузданное любопытство и зудливое желаніе дѣлиться со встрѣчнымъ и поперечнымъ добытыми свѣдѣніями. Въ вѣкъ менѣе просвѣщенный и въ уѣздной глуши, она, сплетничая направо и налѣво, ежедневно ссорилась бы и мирилась съ мужемъ, ежегодно обманывала бы его и въ заключеніе, сбѣжавъ съ проѣзжимъ поручикомъ, почувствовала бы себя счастливою. Въ нашъ просвѣщенный вѣкъ и въ столицѣ, она устремила свое любопытство на идеи, хотя по дорогѣ не пренебрегала свѣдѣніями изъ домашней жизни знакомыхъ

и полузнакомыхъ и, перевирая тѣ и другія, разглашала на всѣхъ перекресткахъ; съ мужемъ она не бранилась, ибо на шестой мѣсяцъ замужества бросила его, и была тѣмъ не менѣе счастлива. Такимъ образомъ сплетня уѣздная и семейная замѣнилась сплетней столичною и такъ-сказать научною; что же касается проѣзжаго поручика, то злые языки увѣряли будто и въ этомъ отношеніи Клавдинька ничего не потеряла и между прочимъ чувствовала нѣкогда нѣжность къ г. Хамазову. Правда. одно время они жили въ двухъ сообщавшихся номерахъ, но заключать изъ этого я ничего не намѣренъ, ибо прочелъ въ весьма компетентномъ журналѣ что новыя женщины могутъ жить съ новыми мущинами по три года въ одной и той же комнатѣ и при этомъ только де до крайности развращенное воображеніе въ состояніи предположить между ними иныя отношенія, кромѣ отношеній между братомъ и сестрою. За симъ, куцая была дама препочтенная, жила своимъ трудомъ, получая противъ воли, по судейскому приговору, вспоможеніе отъ брошеннаго мужа, и кормила сынишку-гимназиста, подававшаго большія надежды быть исключеннымъ задолго до окончанія курса наукъ. Клавдинька была отчасти дама литературная, ибо нѣкій писака избралъ ее героиней своей повѣсти, привравъ, ради драматическаго интереса и вящаго торжества идей, будто мужъ требовалъ ее черезъ полицію и она два года скрывалась, служа на фермѣ въ коровницахъ. Но довольно о куцей дамѣ; пусть она сама разговариваетъ съ господиномъ Хамазовымъ.

— Говори, Жонасъ; ты знаешь какъ я тебѣ предана.

Жонасъ разказалъ исторію своей любви и злополучный исходъ остроумно затѣянной дуэли. Клавдинька все время разказа просто пожирала его глазами.

— Одному я удивляюсь, со вздохомъ сказала она,— она, конечно не дурна, но такъ не развита...

— А, ты не понимаешь страсти! заоралъ на нее Хамазовъ.

— Я? взвизгнула Клавдинька, и съ испуга или изъ желанія доказать что весьма даже понимаетъ страсть до того заворошилась на диванѣ, что чуть не очутилась на полу.

— Нѣтъ, не понимаешь! декламировалъ Іоанникій, страшно вращая глазами и сильно жестикулируя.— Понимаешь, я ради страсти готовъ на все, на клевету, обманъ, подлогъ, даже... на преступленіе!

— О, какъ счастлива та, кого ты полюбишь!

— И развѣ я дѣлаю не благое дѣло вырывая ее изъ удушающей среды, отъ дуры-сестры, сплетницы-тетки, мерзавца-дяди? Понимаешь, она будетъ наша, наша! Развѣ это не заслуга съ моей стороны предъ обществомъ, предъ...

Господинъ Хамазовъ остановился боясь зарапортоваться, но напрасно: чѣмъ больше онъ мололъ, тѣмъ сильнѣе, по мнѣнію Клавдиньки, доказывалъ свою страстность.

— О, я не знаю что́ готовъ сдѣлать чтобъ отбить ее отъ этого буржуазишки. Послушай, Claudine, навѣрно есть же за нимъ какія-нибудь страстишки; узнай объ этомъ, ты сумѣешь разузнать. Что-нибудь да есть: либо онъ пьетъ, либо картишки, либо... либо любовишкой занимается. Ты не повѣришь, эти Іерихонцы сладострастны какъ обезьяны.

Клавдинька, вѣроятно изъ скромности, опустила глаза.

— Ты не воображаешь какъ такія мелочи будутъ важны въ глазахъ не только стариковъ, но и этой набитой Паулины, продолжалъ господинъ Хамазовъ. — Словомъ, ты видишь до чего довела меня страсть.

— О, я ещо вчера увѣряла эту Пуганчикову что въ тебѣ бездна энергіи!

— А она сомнѣвается? Дура!.. Но впрочемъ чортъ съ нею! Итакъ, ты обязана помочь мнѣ. Ты должна слѣдить что̀ тамъ дѣлается, и разузнать, разузнать про Іерихонца...

Слѣдствіемъ этого пылкаго разговора то было, что Іоанникій Іосифовичъ узналъ своевременно объ исчезновеніи Кононова. Несмотря на всѣ старанія куцей, онъ не придавалъ этому обстоятельству большаго значенія.

— Повѣрь мнѣ, надумался онъ,—Іерихонецъ получилъ большое наслѣдство и оттого не пишетъ что сразу хочетъ поразить.

Узнавъ что и „провинціальная бестія“ также не является къ Воробьевымъ, г. Хамазовъ рѣшился навѣстить Паулину. Надо было видѣть какъ онъ вошелъ въ подъѣздъ. Онъ съежился, ссутулился и, бѣгло глянувъ по сторонамъ, бочкомъ скользнулъ въ двери, точно боясь что его схватятъ за шиворотъ.

Посѣщая попрежнему Паулину (для нея онъ сплелъ цѣлую исторію о своей тяжкой болѣзни съ намекомъ на нѣжныя причины) г. Хамазовъ мало однако подвигался къ цѣли. Людмила Тимоѳевна видимо избѣгала его; разъ или два онъ засталъ ее въ гостиной и думалъ-было

вступить въ бесѣду, но милая барышня, проговоривъ „сестра въ своей комнатѣ“, немедленно удалялась. Акцизный Наполеонъ ждалъ, и ждалъ не напрасно. Судьба въ видѣ куцей дамы неутомимо хлопотала за него. И вотъ однажды утромъ г. Хамазовъ получилъ записочку извѣщавшую что Клавдинька *такое* (курсивъ въ подлинникѣ) узнала про Іерихонца, что Жонасъ и предположить не можетъ. Самъ Жонасъ приглашался въ тотъ же день вечеромъ потолковать о *такомъ*.

— Нѣтъ, съ досадой сказалъ Іоанникій,—сколько ихъ ни развивай, а все бабами останутся. Ну что̀ бы таинственность-то по боку, да и написать прямо въ чемъ дѣло. И вздоръ, объ закладъ побьюсь.

II.

Жизнь любовниковъ текла сытовою рѣкой въ кисельныхъ берегахъ, быстро, ровно и по гладкому дну. Прошлое отодвинулось или глубоко затонуло; будущее, казалось, и брежжиться не смѣло.

Страсть, думается, коренится въ воображеніи и питается мечтою. Заполонивая мысль и чувство, она держитъ ихъ въ очарованномъ кругѣ заставляя любоваться все тѣмъ же образомъ, облекая его все въ новыя и новыя краски. И мнится околдованному человѣку будто кромѣ этого образа ничего нѣтъ на свѣтѣ, и что онъ наполняетъ всю его душу. Мнится до тѣхъ поръ пока не освободится заполоненая мысль и не разорветъ волшебнаго круга, и не останется отъ страсти ничего, кромѣ послѣ-угарнаго чувства. Сказанное, по крайней мѣрѣ, вполнѣ прилагалось къ Кононову. Его мечта носилась вокругъ Настасьи Григорьевны, боясь перелетѣть

зачурованную грань. Какъ матка, она отлетала отъ гнѣзда только затѣмъ чтобы добыть корму птенчикамъ, и спѣшно возвращалась назадъ. Онъ задумывался порой, но ничего не обдумывалъ. На случайный вопросъ: „Что жь дальше?“ онъ махалъ мысленно рукою, какъ человѣкъ занятый на докучающаго ему пустяками. Въ тѣ немногія минуты когда онъ былъ одинъ, случалось, начинало припоминаться прошлое, но неясно, слабо, въ видѣ какого-то туманнаго пятна, разглядывать которое ему не было охоты. Поглощенный страстью, обезволенный, онъ чувствовалъ себя счастливцемъ.

И Настасья Григорьевна была счастлива и чувствовала бы себя еще лучше, не будь... не будь маленькой зацѣпки. Въ силу ли женской заботливости или по инымъ причинамъ, она въ тайнѣ и не безъ страха сознавалась что ихъ жизнь черезъ-чуръ сосредоточена и замкнута и что это не поведетъ къ добру. Не за себя боялась она; она охотно и чистосердечно поклялась бы что лучшаго ничего не желаетъ: она опасалась за Кононова. Такая жизнь можетъ утомить, прискучить. Въ состояніи ли она замѣнить ему все? А что̀ если въ одну скверную минуту окажется что они обо всемъ переговорили, до малѣйшей мелочи узнали другъ друга, и онъ, замѣтивъ что она повторяется, невольно начнетъ вспоминать о другой, сравнивать ее съ этою другой? Настасья Григорьевна горько предчувствовала что при такихъ обстоятельствахъ сравненіе окажется не въ ея пользу.

А жизнь поневолѣ была замкнута: надо было хорониться и прятаться ото всѣхъ; почему именно, Настасья Григорьевна не удостоивала думать. Днемъ они не смѣли показаться на улицу, и Настасья Гри-

горьевна неутомимо придумывала какъ бы разнообразить вечернія развленія. Тутъ-то и пришлось влюбленной дамѣ испытать не мало мелочныхъ страховъ и тревогъ. Первое придуманное ею развлеченіе было поѣздки въ театръ, разумѣется въ литерную ложу, откуда ихъ было не видно. Пріѣздъ въ театръ не представлялъ ни малѣйшихъ затрудненій; Настасья Григорьевна имѣла привычку опаздывать и необыкновенно быстро подыматься по лѣстницамъ. Но уѣзжать изъ театра... уѣзжать было нѣсколько затруднительно. Не всегда давался заключительный водевиль, въ серединѣ котораго весьма удобно было соскучиться; не всегда благовидно было почувствовать утомленіе предъ финаломъ оперы; дождаться же конца разъѣзда, и тогда выйти,—такая предосторожность однажды чуть-чуть не кончилась трагически.

— Что̀ же, идемъ, сказалъ Кононовъ.

— Погоди немного, внизу теперь толкотня, давка, сквозной вѣтеръ, отвѣчала заботливая дама.

Онъ подождалъ, но по разчету Настасьи Григорьевны, не достаточно долго, и повторилъ приглашеніе. По счастію, у нея сапожки стали давить ногу и потребовалось снять и снова надѣть ихъ. Кононовъ нетерпѣливо помогалъ, и она замѣтила это... Ей не хотѣлось испытывать дальше его терпѣніе, но идти когда разъѣздъ еще не кончился.... Надо же было ей украдкой заглянуть въ залу, и покажись ей въ ложѣ Людмила Тимоѳеевна! Бѣдная дама очутилась между двухъ огней. Съ одной стороны, изъ-за вздора могла начаться ссора, и Богъ знаетъ чѣмъ она кончится; съ другой, она могла столкнуться на подъѣздѣ лицомъ къ лицу съ соперницей. Настасья Григорьевна рѣшилась дѣйствовать какъ говорится „на уру“; они пошли и,

слава Богу, не встрѣтили ни знакомаго, ни полузнакомаго.

Съ этого вечера, Настасья Григорьевна тщательно избѣгала спектаклей безъ водевилей въ концѣ, и оперъ финалы которыхъ нравились Петру Андреичу.

Но не все же огорченія и заботы. Была славная лунная ночь, съ легкимъ морозцемъ. Они сидѣли у окна и обоимъ сразу пришла въ голову одна и та же мысль: прокатиться на тройкѣ за городъ. Поѣздка удалась нельзя лучше. Всю дорогу туда и за ужиномъ, Кононовъ былъ веселъ, радошенъ, болталъ, дурачился и казалось никогда еще не любилъ такъ Настасьи Григорьевны. Тройка борзо неслась въ обратный путь; встрѣчные предметы, принимая въ невѣрномъ мѣсячномъ свѣтѣ фантастическіе облики, мелькали мимо, точно проваливаясь въ пропасть. Копоновъ притихъ. Были ли его нервы особенно возбуждены въ этотъ вечеръ, чувствовалъ ли онъ съ особою живостью полноту жизни, упоенье достигшею вершины страстью, или то былъ мимолетный бредъ нападающій порою на человѣка среди расходившагося въ сердцѣ веселья, только Кононовъ вскрикнулъ и прижался къ Настасьѣ Григорьевнѣ.

— Что̀ съ тобою? съ испугомъ, обнимая его, проговорила она.

Силясь улыбнуться, онъ разказалъ свой бредъ.

— Я ни о чемъ не думалъ, и съ особымъ любопытствомъ, какъ всегда смотришь когда мысль не занята, глазѣлъ по сторонамъ, а мимо все мелькало, блестѣло на мигъ и уносилось. И мнѣ вдругъ страшно стало. Мнѣ показалось что блеснула и ты, и твоя любовь....

Она не дала договорить ему.

— Никогда, никогда! прошептала она еще ближе прижимаясь къ нему.

Онъ съ любовью и долго, долго, какъ ему казалось, смотрѣлъ ей въ лицо. Былъ ли то мѣсячный отблескъ, или она особенно улыбнулась, только въ ея лицѣ ему почудилось выраженіе странное, давно знакомое и для него роковое. Весь вздрогнувъ, точно боясь потерять ее сейчасъ же, силясь припомнить и истолковать это выраженіе глядѣлъ онъ на нее.

„О какъ онъ меня любитъ!“ прошептала она про себя, и за поцѣлуемъ Кононовъ забылъ что̀ именно видѣлось ему въ ея улыбкѣ.

Послѣ этой поѣздки, Настасья Григорьевна не такъ сторожко наблюдала за случайными перемѣнами въ настроеніи Петра Андреича. Она была увѣрена что онъ не скоро, еще не скоро разлюбитъ ее.

Возможность размолвки изъ-за пустяковъ въ родѣ приключенія въ театрѣ была, впрочемъ, цвѣточками; Настасья Григорьевна, какъ ни не хотѣлось ей въ томъ сознаться, знала очень хорошо гдѣ завязывается ягодка и какова она будетъ на вкусъ. Разъ вечеромъ—время тянулось дремотно и лѣниво, но не скучно—ягодка завязалась. Настасьѣ Григорьевнѣ подали письмо; она быстро взглянула на адресъ и еще быстрѣе на горничную и съ такимъ выраженіемъ будто та сдѣлала нѣчто непозволительное. Кононовъ замѣтилъ эти движенія.

— Отъ кого? спросилъ онъ.

— Отъ Андрея Яковлевича, сквозь сжатыя губы проговорила Настасья Григорьевна.

Кононовъ всталъ и безпокойно заходилъ по комнатѣ. Настасья Григорьевна слѣдила за нимъ, и когда

онъ остановился и хотѣлъ заговорить, предупредила его.

— Я знаю о чемъ ты хочешь сказать. Но неужели ты думаешь что это меньше твоего тревожитъ меня.... Все устроится, только подожди, и не торопи меня.... Повѣрь, повѣрь мнѣ хотя немного, съ особой нѣжностью заключила она.

И какъ было не повѣрить этому сердечному голосу!

III.

Въ концѣ медоваго мѣсяца, Настасьѣ Григорьевнѣ вздумалось поѣхать въ маскарадъ.

— Сегодня, кажется, послѣдній, сказала она уговаривая Петра Андреича.

— Что̀ за охота! Давка, толкотня, духота и скука!

Слово „скука“ нѣсколько встревожило Настасью Григорьевну. „Если мы не поѣдемъ, онъ будетъ скучать дома“, заключила она. На ея уговариванья, Петръ Андреичъ отвѣчалъ наконецъ: „пожалуй, если тебѣ такъ хочется“ и слѣдомъ зѣвнулъ. Зѣвота окончательно встревожила влюбленную даму.

— Послушай, Пьеръ, сказала она, — ты мнѣ не разъ намекалъ, даже полуупрекалъ меня, что мы ото всѣхъ прячемся, боимся показаться въ люди... Ты видишь, я рѣшительнѣе тебя, я сегодня дѣлаю начало.

— Ты рѣшилась? съ біеніемъ сердца спросилъ Кононовъ, подразумѣвая „рѣшилась не скрываться болѣе“.

— Да, ты видишь, весело отвѣчала она, замѣтивъ его оживленіе и подразумѣвая: „рѣшилась ѣхать съ тобою въ маскарадъ“.

— Спасибо, милая.

И онъ горячо поцѣловалъ ея руку.

Довольные и счастливые, каждый по-своему и по особымъ причинамъ, влюбленные подъѣхали къ Большому Театру. Они покружились полчаса вслѣдъ за толпою, перебрасываясь легкими замѣчаніями, какъ Настасья Григорьевна увидѣла московскаго знакомаго. Ради московскихъ новостей она оставила своего кавалера.

Кононовъ оставшись одинъ зѣвнулъ и поискалъ глазами мѣста гдѣ бы присѣсть.

— А ты уже вернулся? давно? спросилъ его писклявый голосъ и слѣдомъ маска безцеремонно подхватила его подъ руку.

Кононовъ взглянулъ на маску и поморщился. Не то, чтобъ она была дурно или грязно одѣта, но до того неуклюже и безвкусно что бантикъ на капюшонѣ казался ужасною претензіей. „Обозналась, голубушка", подумалъ Кононовъ и три-четыре слѣдующія пошлыя фразы утвердили было его въ такомъ не весьма благопріятномъ для маски мнѣніи.

— Я давно слѣжу за тобой, продолжала маска,— и узнала даму съ которой ты пріѣхалъ. Она очень хороша; это неоспоримый фактъ и вполнѣ объясняетъ тотъ фактъ почему ты пересталъ бывать въ одномъ домѣ.

Кононовъ вздрогнулъ и насторожился. По нѣсколько ученому складу рѣчи и по слову „фактъ" нѣкогда намозолившему ему уши, онъ могъ бы догадаться кто скрывается подъ таинственною маской, но дальнѣйшія рѣчи куцей дамы не дозволили ему сосредоточить вниманіе на слогѣ. Клавдинька начала увѣрять Кононова что очень хорошо его знаетъ, и въ доказательство при-

вела его дуэль съ Хамазовымъ и котораго числа онъ былъ въ послѣдній разъ у Воробьевыхъ. Кононовъ ломалъ голову кто такая маска. Онъ подумалъ было на черноокую дѣвицу Мучицыну, но откуда могла она узнать о затѣвавшейся дуэли? Онъ терялся въ догадкахъ, а маска между тѣмъ упрекала его въ жестокосердіи и мрачными красками описывала страданія Людмилы Тимоѳеевны.

— Впрочемъ, прибавила она,—есть надежда что она скоро утѣшится и ты получишь приглашеніе на свадьбу.

Кононова кольнуло въ сердце; пользуясь его замѣшательствомъ маска, точно этого только ей и требовалось, скользнула отъ него. Петръ Андреичъ бросился искать ее, увѣряя себя что было бы очень интересно узнать кто это. На дѣлѣ, ему требовалось во что̀ бы то ни стало обмануть себя и отогнать непріятныя мысли и чувства. Обѣгавъ всѣ залы, и не встрѣтивъ маски, онъ нашелъ Настасью Григорьевну. Онъ подошелъ чтобы сказать „пора“, и услышалъ отъ нея то же слово. Влюбленная дама была встревожена не меньше кавалера.

Вотъ что̀ произошло. Московскій знакомый съ первыхъ же словъ узналъ Настасью Григорьевну и вздумалъ подурачить ее. Слово за слово, онъ сплелъ цѣлую исторію и героиней этой исторіи оказалась сама Настасья Григорьевна. Москвичъ передалъ какъ послѣднюю новость ея бѣгство отъ мужа съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ. Онъ описывалъ какъ мужъ чуть не застрѣлился, и теперь ждетъ только извѣстія чтобъ ѣхать стрѣляться съ похитителемъ. Настасья Григорьевна смѣясь спросила не знаетъ ли онъ похитителя.

— Мнѣ называли его фамилію, да я запамятовалъ. Кажется, на К начинается, удачно совралъ онъ.

Настасья Григорьевна перестала смѣяться.

— Я впрочемъ могу описать его наружность.

И москвичъ довольно удачно описалъ Кононова; Настасья Григорьевна ужаснулась; ей никакъ не приходило въ голову что москвичъ сейчасъ только видѣлъ ее подъ руку съ Петромъ Андреичемъ.

— Говорятъ, старая любовь, еще удачнѣе приплелъ онъ.

Тутъ-то подошелъ Кононовъ.

Дорогой оба упорно молчали, и каждый обдумывалъ свое. Петру Андреичу изо всей болтовни маски помнилось одно: Людмила Тимоѳеевна выходитъ замужъ. Онъ усилено и всемѣрно отвергалъ справедливость этого извѣстія, и мысль цѣпко и заботливо останавливалась на немъ. О самой Людмилѣ Тимоѳеевнѣ онъ не думалъ, и до того-ли было ему! Иное тревожило. Итакъ, несмотря на всѣ ухищренія Настасьи Григорьевны ихъ секретъ преждевременно потерянъ, и чѣмъ, благодаря этой усиленной скрытности, является въ глазахъ другихъ его поведеніе? Самымъ низкимъ и вдобавокъ пошлымъ и грубымъ обманомъ! Настасья Григорьевна обдумывала слышанное отъ москвича. Что Андрей Яковлевичъ все знаетъ, хотѣлъ стрѣляться и прочая, это конечно вздоръ; недальше какъ сегодня она получила отъ него письмо. Но описаніе наружности, фамилія съ буквы К и старая любовь!.... Неужели ихъ секретъ сталъ городскою сплетней? Влюбленная дама терялась въ догадкахъ, и благая рѣшительность „будь молъ что̀ будетъ“, не рѣдко спасавшая ее въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, не приходила на помощь.

Молча они пріѣхали, молча поднялись на лѣстницу, молча вошли въ комнату и молча усѣлись. Настасьѣ Григорьевнѣ это молчаніе казалось роковымъ; она распорядилась чаемъ и пошла передѣваться. „Онъ просто соскучился въ маскарадѣ, утѣшала она себя во время переодѣванія,—посидитъ и это пройдетъ“. И она побранила себя, зачѣмъ молчала всю дорогу, зачѣмъ дала ему замѣтить что чѣмъ-то встревожена, и рѣшила быть веселой.

— Ты правъ, начала она входя, — и я напрасно тебя не слушалась; изъ маскарада кромѣ скуки, ничего не вынесешъ. Но что̀ съ вами, Петръ Андреичъ, шутливо продолжала она,—все еще дуетесь?

Онъ помолчалъ еще, и она еще пошутила.

— Этого, впрочемъ, слѣдовало̀ давно ожидать, заговорилъ онъ какъ о дѣлѣ ей хорошо извѣстномъ.— Ваша скрытность ничѣмъ инымъ и не могла окончиться.

Она съ изумленіемъ глянула на него. Неужели онъ слѣдилъ за нею и подслушалъ разговоръ? Да, когда она стояла съ москвичомъ въ лѣвой боковой залѣ, ей казалось будто кто-то подслушиваетъ сзади.

— Развѣ можно придавать значеніе маскарадной болтовнѣ? Онъ вѣроятно узналъ меня и вздумалъ подшутить.

Изъ желанія утѣшить Кононова, Настасья Григорьевна нечаянно отгадала истину, но явись въ эту минуту самъ московскій знакомый и подтверди ея догадку, она не повѣрила бы.

Кононовъ въ свою очередь съ изумленіемъ посмотрѣлъ на Настасью Григорьевну.

— А, и *онъ* знаетъ, процѣдилъ онъ послѣ небольшаго молчанія.

— Но кто же еще?

— *Она*, съ нервною усмѣшкой загадочно отвѣтилъ Петръ Андреичъ.

И онъ разказалъ свою бесѣду съ таинственною полумаской.

— И ты не знаешь кто это была?

— Нѣтъ.

— И она сказала что узнала меня?

— Да.

— И назвала по имени?

— Нѣтъ, да и не къ чему было. Дѣло и безъ того ясное. Оба помолчали.

— Что-жь теперь? спросилъ Петръ Андреичъ.

— Что̀ ты хочешь сказать этимъ?

— Вы все намѣрены секретничать?

— Къ чему этотъ вопросъ?

— Къ тому что мнѣ надоѣло это двусмысленное положеніе; къ тому что такъ жить гадко, противно. Къ тому наконецъ что я..... я не намѣренъ разыгрывать роль Артюра.

Настасья Григорьевна всплеснула руками.

— Что̀ ты только говоришь?

Кононовъ продолжалъ въ томъ же тонѣ, замѣчалъ что онъ рѣзокъ и не нужно рѣзокъ, путался, сердился и противорѣчилъ себѣ на каждомъ шагу. Настасья Григорьевна дала ему выговориться.

— Полно, успокойся, сказала она, замѣтивъ что онъ поостылъ,—подойди ко мнѣ, сядь-же здѣсь.

Онъ, все еще не отдѣлавшись отъ непріятнаго чувства, съ усиліемъ подошелъ къ ней; она взяла его за руку и слегка потянула ее внизъ. Онъ сѣлъ.

— Ты не въ духѣ, и тебѣ не слѣдовало начинать, а мнѣ поддерживать.... Ну, полно же, помиримся.

И ея глаза невольно замигали, и потомъ широко разкрылись.

— Прости, я сказалъ лишнее, глядя на нее началъ онъ.—Но знай ты какъ это меня мучитъ!

— Ты и забылъ что обѣщалъ быть терпѣливымъ? Обѣщалъ вѣрить, и все предоставить мнѣ?

Она была права, и онъ ясно сознавалъ это, но въ сердцѣ шевелилось иное чувство. Не такъ, казалось сердцу, должна бы она говорить.

— Не вѣрь я тебѣ, я.... я не сталъ бы говорить объ этомъ... Но не въ томъ дѣло.... я....

— Ты хотѣлъ бы называть меня своей женою? съ веселымъ смѣхомъ, радуясь что отгадала его мысль, подхватила она.

— Ну да, особенно твердо произнесъ онъ. — И я не понимаю чему ты смѣешься...

— Я вовсе не смѣюсь, но ты забылъ...

Она чуть не сказала „ты забылъ что я замужемъ", но вовремя спохватилась что слово *мужъ* можетъ натворить бѣды.

— Что̀ я забылъ?

— Ахъ, ты совсѣмъ сбилъ меня, и я забыла что хотѣла сказать. Постой... Да ты сейчасъ спросилъ чему я засмѣялась. Не смѣшные ли мы люди оба! Ни ты, ни я не вѣримъ въ святость церковнаго брака, и ты (она замѣтила что такой оборотъ не нравится ему, и поспѣшно сказала), и мы оба хлопочемъ... Милый мой! — перемѣнила она внезапно тонъ,—развѣ тебѣ мало что я люблю тебя? Развѣ любовь не оправдываетъ насъ?

Онъ всталъ, и прошелся.

— Изъ того что мы не вѣримъ... „Нѣтъ, этого не слѣдуетъ говорить", мелькнуло въ головѣ. — Изъ того

что мы любимъ...—Онъ не находилъ выраженія, и раздражался. — Какъ бы мы ни любили другъ друга, любовь не можетъ же оправдывать чтобъ я безчестно обманывалъ твоего мужа, а ты... ты, живя со мной, жила на его счетъ!

— О!

Ягодка созрѣвала. Настасья Григорьевна вскрикнула и поблѣднѣла. Кононовъ бросился къ ней, проклиналъ свою раздражительную рѣзкость, молилъ забыть его слова, цѣловалъ ея руки, твердилъ что вѣритъ ей. Понемногу она успокоилась и пришла въ себя.

— Между нами не должно быть недомолвокъ, съ серіозной задумчивостью сказала она. — Садись, и выслушай меня внимательно.

Она говорила долго, и очень, даже слишкомъ умно и разсудительно. Нельзя же ей было прямо объявить мужу, надо же пожалѣть и его. Кто знаетъ, быть-можетъ, онъ сильнѣе любитъ ее, чѣмъ то кажется? Если она скрывалась, то единственно для того чтобы сплетня не дошла до Андрея Яковлевича изо вторыхъ, изъ третьихъ рукъ, и тогда Богъ-знаетъ чѣмъ бы все кончилось. Не лучше ли устроить все постепенно, мирно? Кононовъ отдавалъ полную справедливость ея умѣлой разсудительности, а на сердцѣ опять шевелилось сомнѣніе. „И она была такъ разсудительна съ перваго дня связи, въ порывѣ страсти!“ Онъ ошибался: она не была такъ разсудительна, но не могла не лукавить.

Она продолжала на ту же тему, и Кононову стало стыдно своихъ сомнѣній.

— И ты сдѣлала это? Писала мужу? Приготовила его?

Она быстро взглянула на него. „Будь что̀ будетъ“, мелькнуло въ головѣ и она твердо отвѣтила:—Да.

Какъ ни быстро соображала она отвѣтъ, Кононову показалось что она отвѣчала не прямо, и сомнѣнія опять зашевелились.

— Милый мой! нѣжнѣе заговорила она. — Должна же я была подумать о тебѣ. Не ради мужа, не ради себя я поступала такъ. Я думала только о тебѣ. Я боялась что ты увлекся, что ты опомнишься...

О, это было уже черезъ-чуръ предусмотрительно!

— Ты требовала чтобъ я вѣрилъ тебѣ безусловно, и боялась за меня! сказалъ Кононовъ, и всталъ.

Она отказывалась понимать его. Развѣ въ послѣднихъ словахъ ея не ясно высказалась вся сила ея любви, вся великость ея жертвы? Или... или она нечаянно обмолвилась?

— И это любовь! точно противъ воли, и въ сторону прошепталъ Кононовъ и быстро заходилъ по комнатѣ.

Послѣднее слово задѣло ее за живое.

— Нѣтъ, любовь въ томъ чтобы мучить и унижать женщину за то что она жертвовала для тебя всѣмъ, именемъ, честью...

Кононовъ на мгновеніе остановился.

— Если пошло на жертвы, Настасья Григорьевна, то я для васъ пожертвовалъ быть можетъ бо̀льшимъ.

Въ сильномъ волненіи онъ договорилъ на ходу и словно по инерціи вышелъ въ другую комнату.

— Злой! прошептала вслѣдъ Настасья Григорьевна.—Но не пойду къ нему, пусть вызлится одинъ, и пойметъ....

Она подождала сколько по ея разчету требовалось времени чтобъ онъ вызлился, и думая что только ложный стыдъ мѣшаетъ ему въ третій ужь разъ сегодня просить у нея прощенья, рѣшилась сама сдѣлать первый шагъ. Осторожно вставъ, на цыпочкахъ, закрывая свѣчу рукою, пошла она въ ту комнату куда онъ вышелъ. Она уже видѣла какъ подкрадется и поцѣлуетъ его. Напрасная предосторожность! Кононова тамъ не было. Онъ ушелъ не простясь съ нею.

IV.

Когда тетя Маша, переговоривъ съ Чулковымъ, вошла въ свою комнату она застала племянницу на томъ же мѣстѣ гдѣ оставила.

— Этакая вѣдь вѣтреница, начала она,—промоталась до того что заняла на отъѣздъ у Владиміра Дмитрича сто рублей, а теперь видно адресъ затеряла и не шлетъ.

Людмила Тимоѳеевна не повѣрила. „Будь дѣло въ деньгахъ, она выслала бы на имя тети", подумала она. И новое мучительное чувство, чувство ревности загорѣлось въ ней. Оно не высказывалось желаніемъ унизить, отомстить соперницѣ. Людмила Тимоѳеевна не хотѣла даже думать о ней, и только спрашивала себя: что̀ онъ нашелъ въ ней, чѣмъ она приворожила его къ себѣ? Ей было жаль Кононова. Предпочти онъ ей другую, былъ бы только счастливъ! Но нѣтъ, какъ она ни увѣряла себя, какъ ни настраивала мысли, какъ ни желала ему счастья, чуткое сердце говорило что въ такой любви не можетъ быть счастья. Рано или поздно она броситъ его, и тогда?....

Прежнія ея думы, какъ онѣ ни были печальны и мрачны, были утѣшительнѣе. Страшно умереть, но жить весь вѣкъ съ разбитымъ сердцемъ! Тутъ милая дѣвушка начинала упрекать себя въ эгоизмѣ: она сулитъ ему горе потому только что ея самолюбіе оскорблено... Была еще разница между теперешними и недавними ея мыслями. Тогда она была терпѣливѣе, ждала, боялась и надѣялась, теперь же ей одного хотѣлось: скорѣе, какъ можно скорѣе узнать всю, всю правду.

Она замѣтно худѣла и блѣднѣла; „таяла", по выраженію тетки, и можетъ-быть слегла бы, не простудись и не прихворни сама тетка.

На другой день послѣ открытія Чулкова, братецъ Мина Иванычъ, подъ предлогомъ нездоровья, прислалъ за сестрицей. И они втроемъ держали совѣтъ какъ быть. Чулковъ, вчера чуть не съ клятвой обѣщавшій вырвать Кононова „изъ когтей этой дьяволицы", нынче твердилъ только что надо повременить и скрывать до послѣдней возможности отъ Людмилы Тимоѳеевны. Онъ разсудилъ что вздумай онъ вмѣшаться въ дѣло, ничего не услышитъ отъ Кононова, кромѣ „убирайтесь вы къ чорту!" Но онъ помнилъ какъ Кононовъ говорилъ ему о своей любви къ милой барышнѣ, и потому былъ увѣренъ что „дурь скоро пройдетъ", и примиреніе еще возможно. Мина Иванычъ сомнительно качалъ головой, и приговаривалъ:

— Мы скроемъ, отъ другихъ узнаетъ. Шила въ мѣшкѣ не утаишь.

— А я ее еще за племянницу признавала, твердила старушка,—и съ сестрой Анютой сходство въ ней находила. Да и онъ, какъ вы, Владиміръ Дмитричъ, за него ни заступайтесь, скрытный-прескрытный, да и злой еще!

Мнѣніе Чулкова однако восторжествовало на совѣтѣ.

Марья Ивановна была такъ смущена случившимся и такъ озабочена какимъ бы образомъ ей получше скрыть все отъ племянницы, и изъ жалости къ ней не проговориться, что забыла укутаться потеплѣе. Слѣдствіемъ была простуда, довольно впрочемъ легкая. При первомъ словѣ о нездоровьи, Людмила Тимоѳеевна уложила тетю въ постель, и почувствовала нѣчто въ родѣ облегченія. Она укоряла себя: не рада же она что тетка занемогла, а все какъ будто чему-то радуется. Измученная душа ея искала внѣшней заботы.

Людмила Тимоѳеевна ходила за теткой больше чѣмъ требовалось. Она хотѣла все дѣлать сама, просиживать ночи у постели больной. Тетка боялась не свалилась бы племянница и жаловалась нянѣ.

— Сама, сударыня, еле двигаешься, куда тебѣ за больными ходить! ворчала Карповна.

Но милая барышня не слушалась, и поставила на своемъ. Старушки, переговоривъ межь собой по тайности, рѣшили что видно такъ оно и надо, и обѣ почти въ голосъ замѣтили что Людочка со времени болѣзни тетки стала поспокойнѣе. И вотъ Марья Ивановна, совсѣмъ оправившись на пятый день, ради Людочки еще два дни пролежала въ постели. По вечерамъ у постели завелась особая бесѣда. Людмила Тимоѳеевна какъ-то попросила разказать о своемъ дѣтствѣ, потомъ стала разспрашивать какая сестра была маленькой, о дѣтствѣ самой тетки, Мины Иваныча, Карповны. Старушки, подстрекаемыя вопросами дѣвушки, забирались все дальше и дальше въ старину. И Людмилѣ Тимоѳеевнѣ, подъ говоръ тихихъ и неторопливыхъ голосовъ,

при слабомъ свѣтѣ полузавернутой лампы, становилось легче. И по временамъ казалось ей будто то горе что не даетъ ей покоя также было давно, такъ давно что трудно припомнить.

V.

Куцая не ограничила свое судебное слѣдствіе разговоромъ съ Кононовымъ. Настасьѣ Григорьевнѣ не даромъ казалось будто въ фойэ ее кто-то подслушивалъ. Клавдинька имѣла это намѣреніе, но несмотря на всю „энергію“, слышала только имя Настасьи Григорьевны, и заключила что этимъ именемъ зовутъ маску ходившую подъ руку съ Кононовымъ. Написавъ г. Хамазову записку о *такомъ*, она сама потрепалась къ Паулинѣ Тимоѳеевнѣ; ей помнилось что кузину Воробьевыхъ зовутъ Настасьей.

— Отъ этой личности всего можно было ожидать, объявила Паулина, выслушавъ разказъ и подтвердивъ догадку ученой пріятельницы.

Въ тотъ же вечеръ г. Хамазовъ узналъ объ открытіи Клавдиньки; онъ тотчасъ же хотѣлъ летѣть къ Воробьевымъ, и только вопросъ къ кому лучше обратиться, къ дурѣ-сестрѣ, мерзавцу-дядѣ, или сплетницѣ-теткѣ, нѣсколько умѣрилъ его пылъ. Всю ночь онъ обдумывалъ планъ дѣйствія, и даже составилъ небольшую рѣчь о различіи любви пошлой, или буржуазной, отъ любви настоящей, или новыхъ людей. На слѣдующій день онъ не пошелъ въ должность и довольно усердно занялся своимъ туалетомъ. Наконецъ, часъ насталъ.

„Дѣло выиграно, проговорилъ онъ про себя, фран-

товски надѣвая шляпу.—Конечно, она выйдетъ за меня какъ говорится *par dépit*, но въ сущности не все ли равно? Не вѣрить же въ сочувствіе душъ, и прочую ерунду.“

Обстоятельства благопріятствовали Наполеону. Тетя Маша съ Людмилой Тимоѳевной пошли прогуляться, и онъ предварительно, чего ему сильно желалось, могъ на свободѣ побесѣдовать съ Паулиной.

— Но слѣдуетъ ли говорить объ этомъ Людмилѣ Тимоѳевнѣ? заикнулся онъ между прочимъ.

— Конечно, слѣдуетъ, поспѣшно перебила его Паулина. — Было бы нелогично скрывать отъ нея такой возмутительный фактъ.

— Д-да, протянулъ Іоанникій, — но требуется сообщить осторожно, и какъ бы нечаянно.

— Вы одни можете сдѣлать это; вы одни сумѣете. И конечно сестра будетъ вамъ благодарна.

Раздался звонокъ, и акцизникъ поспѣшилъ въ гостинную. Давъ время пройти Марьѣ Ивановнѣ, онъ остановилъ Людмилу Тимоѳевну.

— Вы можете сдѣлать мнѣ большое одолженіе, сказалъ онъ. — У меня важное дѣло къ г. Кононову, и еслибъ вы были такъ добры сообщили мнѣ его адресъ...

Людмила Тимоѳевна съ первыхъ его словъ, сказанныхъ чрезчуръ мягкимъ голосомъ, чему не соотвѣтствовало мышиное бѣганье глазъ, почуяла что не добромъ онъ ласковъ.

— Его нѣтъ въ Петербургѣ, отвѣчала она и поклонившись пошла.

— Какъ жаль! вслѣдъ ей проговорилъ Хамазовъ, и потомъ громче: — Но позвольте, не дальше какъ

третьяго дни я видѣлъ его на Невскомъ съ вашею кузиной.

Послѣдняя фраза была сказана съ такой непринужденностью и естественностью что г. Хамазову показалось будто стѣны ему зааплодировали. Людмила Тимоѳевна собрала всѣ силы.

— Очень можетъ быть, съ улыбкой и обернувшись къ г. Хамазову лицомъ сказала она, и быстро вышла.

Рѣчь о различіи двухъ сортовъ любви, къ несчастію человѣчества, осталась непроизнесенною.

Паулинѣ не терпѣлось и она вышла въ сосѣднюю съ гостинной комнату, чтобъ узнать какъ приметъ сестра извѣстіе. Заслышавъ шаги, она встала ей на встрѣчу. На лицѣ Паулины было торжество.

— Сестра, сестра! почти съ крикомъ прижимаясь къ ней проговорила милая барышня,—будь хоть разъ въ жизни женщиной!

Паулина не понимала что̀ хочетъ Людмила; ей стало жаль сестру, она даже вздрогнула за нее, но помочь не умѣла. „Какъ все это не логично!“ вертѣлось у нея въ головѣ. Людмила Тимоѳевна, точно вырываясь отъ сестры, толкнула ее и бросилась къ тетѣ. Старушка ахнула увидѣвъ племянницу и тотчасъ поняла въ чемъ дѣло. Она обняла ее, усадила на скамеечкѣ подлѣ себя, цѣловала и гладила ей головку своими мягкими руками, и утѣшала ее точно маленькую дѣвочку въ потерѣ куклы. Только не достовало чтобъ она заговорила „полно, не горюй, купимъ новую, лучше“. И эти простосердечныя ласки облегчали страданія бѣдной дѣвушки; она чрезъ силу проговорила: „все, все“, и спрятавъ головку между колѣнъ тетки, заплакала крупными и долгими слезами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I.

Ни Петръ Андреичъ, ни Настасья Григорьевна не смыкали очей въ ночь послѣ ссоры. Обоимъ было досадно, и оба чувствовали себя не совсѣмъ правыми. Кононовъ, вспоминая что наговорилъ, закрывалъ лицо руками. Но кто знаетъ, можетъ, онъ наболталъ въ тысячу разъ больше и грубѣе, чего и не вспомнишь! Онъ былъ гадокъ, привязчивъ, придирчивъ, и она имѣла полное право упрекнуть его; говоря по совѣсти, развѣ она не пожертвовала для него многимъ, очень многимъ, и въ добавокъ развѣ не объявила она ему, и не дальше какъ сегодня, что рѣшилась *на все*? И всему причиной вздорная маскарадная болтовня, пустое, не имѣющее тѣни вѣроятія извѣстіе будто Людмила Тимоѳеевна выходитъ замужъ!

Настасья Григорьевна направила свои изслѣдованія совсѣмъ въ другую сторону. Она не придавала никакого значенія его словамъ; мало ли что̀ говорится сгоряча! Онъ и самъ, поди, не помнитъ. Но съ чего онъ былъ такимъ злючкой именно сегодня? Прямой причины, то-есть чтобъ онъ тяготился пустяшными стѣсненіями, о чемъ толковалъ, Настасья Григорьевна не допускала; по ея мнѣнію, причины слѣдовало искать на сторонѣ. Поиски скоро увѣнчались успѣхомъ. Ясно, его встревожилъ маскарадный разговоръ. Кто же скрывался подъ маской? Кто та̀къ скоро и та̀къ хорошо могъ узнать Настастью Григорьевну что, по его же словамъ, не стоило даже убѣждаться въ этомъ, дѣло

и безъ того было ясное? О, эта особа должна хорошо знать ее, изучить ея походку, любимыя движенія, выраженіе глазъ, оттѣнки въ звукахъ голоса! Но этого мало, у маски несомнѣнно были тайныя побужденія узнать ее, чутье влюбленной женщины. И черезъ пять минутъ прекрасная дама уже не сомнѣвалась что въ маскарадѣ была ни кто иная, какъ Людмила Тимоѳевна.

„Хитрая дѣвчонка!“ прошептала Настасья Григорьевна.

Далѣе оказалось что милая барышня видѣла ихъ *тогда* въ театрѣ, слѣдила за ними, писала Кононову, назначала ему свиданіе въ маскарадѣ (оттого-то онъ такъ долго отговаривался ѣхать вмѣстѣ съ нею, ему хотѣлось отправиться одному) и наговорила ему...

„Противная дѣвчонка!“ прошептала Настасья Григорьевна.

И счастье противной и хитрой дѣвчонки, что она была далеко; узнала бы она что̀ значитъ ревнивая злоба страстно влюбленной дамы.

По утру, за полчаса до времени когда обычно являлся Кононовъ, Настасья Григорьевна стала сама не своя. Она ежеминутно измѣняла свои рѣшенія. Подождать, послать за Кононовымъ, написать ему что она знаетъ все, и опять послать, подождать, написать, вертѣлось въ головѣ какъ бѣлка въ колесѣ.

Кононовъ явился четвертью часами раньше, и Настасья Григорьевна мгновенно почувствовала головную боль, утомленіе, нервное разстройство, не дозволявшее ей даже хорошенько посердиться на него. Онъ призналъ себя кругомъ виноватымъ и потому особенно что она вчера *рѣшилась*. Настасья Григорьевна недо-

умѣвала съ чего ему полюбилось это словечко; спросить же, значило перетряхивать соръ.

И жизнь опять потекла сытовою рѣкой, только еще ровнѣе, быстрѣе и слаще. Точно стараясь загладить вину, Кононовъ былъ въ тысячу разъ предупредительнѣе и ласковѣе, сдѣлался уступчивъ до смѣшнаго, боялся словомъ противорѣчить ей. Онъ толковалъ что ждетъ только чтобъ она, какъ сказочная царевна, указала ему подвигъ по силамъ, выше силъ. Она весело улыбалась, вспоминала поѣздку въ лунную ночь и что онъ не скоро, еще не скоро разлюбитъ ее, и—и готовила ему подвигъ по силамъ... выше силъ.

„Онъ успокоится, и скоро пойметъ что мнѣ не къ чему разрывать съ мужемъ“, мечтала сказочная царевна.

А ягодка, между тѣмъ, дозрѣвала. Андрею Яковлевичу случилась надобность побывать въ Петербургѣ, и онъ, пользуясь случаемъ, вздумалъ сдѣлать супругѣ пріятный сюрпризъ. Не намекнувъ ни полъ-словомъ въ послѣднемъ письмѣ, онъ явился какъ deus ex machina.

„Какъ хорошо что поѣзда приходятъ утромъ“, было первою мыслью Настасьи Григорьевны.

Немедленно къ Петру Андреичу была отправлена горничная.

— Барыня просятъ васъ не приходить сегодня, затарантила она.—Онѣ даже письмо хотѣли написать, но никакъ не было возможно. Но вечеромъ онѣ непремѣнно напишутъ, и вы къ тому времени записочку приготовили бы.—И замѣтивъ что Кононовъ какъ будто затуманился, съ ласковою фамильярностью прибавила:— Ахъ, Петръ Андреичъ, что̀ день одинъ, не важность, и потерпѣть можно!

Кононовъ соображалъ что̀ за причина такого приказа, и—догадался.

— Пріѣхали? съ нервною усмѣшкой спросилъ онъ.

— Такъ точно-съ, скромно отвѣчала горничная, и стыдливо опустила глаза.

— Хорошо. Передайте что все будетъ въ точности исполнено, съ тою же усмѣшкой проговорилъ Кононовъ.

Горничная летомъ летѣла, чтобъ обрадовать барыню.

— Ну что̀? торопливымъ шепотомъ спросила Настасья Григорьевна, и ей и весело и жутко было говорить таинственнымъ шопотомъ, хотя оно было дѣломъ совершенно лишнимъ: Андрея Яковлевича не было дома.

— Ничего-съ, сначала будто отуманились, а потомъ обошлись. И сами даже догадались.

— И-и?

— Ничего-съ, только засмѣялись, и потомъ какъ отпускали меня, приказали сказать что все будетъ въ точности исполнено, и опять засмѣялись.

Настасья Григорьевна торжествовала: *онъ* окончательно успокоился и понялъ. Вечеромъ Кононовъ получилъ записку: Настасья Григорьевна увѣряла въ любви, описывала свою тоску, и умоляла потерпѣть еще и не приходить завтра. Въ отвѣтѣ стояло что онъ любитъ ее, вѣритъ ей безусловно и предоставляетъ все ей.

Обрадованная такимъ примѣрнымъ послушаніемъ Настасья Григорьевна замыслила учинить настоящій coup d'etat.

Когда на третій день, въ назначенный наканунѣ часъ, Кононовъ вошелъ къ Настасьѣ Григорьевнѣ, она сидѣла въ креслѣ у окна, точно съ нетерпѣніемъ под-

жидала его, хотѣла видить какъ онъ подъѣдетъ. Андрей Яковлевичъ, одѣтый для визитовъ, расхаживалъ по комнатѣ, въ ожиданіи кареты. Mise en scène была удивительная.

Андрей Яковлевичъ встрѣтилъ Кононова какъ добраго и стараго знакомаго.

— И спасибо вамъ, сказалъ онъ между прочимъ,— что барыню мою не забывали.

Настасья Григорьевна внимательно наблюдала за Кононовымъ (мужъ стоялъ къ ней спиною) и была имъ весьма довольна. Лицо Петра Андреича точно закаменѣло, онъ даже украдкой не взглянулъ на нее. А взгляни, сколько любви и благодарности увидѣлъ бы онъ въ ея глазахъ!

Мущины продолжали разговаривать.

— Андрей, сказала Настасья Григорьевна подзывая мужа глазами, и когда тотъ подошелъ кивнула чтобы наклонился къ ней.—Помни, что я въ ссорѣ съ Паулиной,—шепнула она,—и не проговорись какъ-нибудь. Онъ влюбленъ въ меньшую, и кажется...

— А-а! съ особою улыбкой протянулъ Андрей Яковлевичъ, взглянулъ на Петра Андреевича.

Кононовъ въ свою очередь могъ внимательно наблюдать за Настасьей Григорьевной (мужъ поневолѣ обернулся къ нему спиной) и догадывался что она говоритъ о немъ и... и еще о комъ-то.

— Андрей! тономъ предостереженія сказала Настасья Григорьевна, мужу на его „а-а!“

Андрей Яковлевичъ взглянулъ на нее точно хотѣлъ сказать: „ничего, матушка, за это не сердятся“, и снова повернувшись къ Кононову, съ особою улыбкой проговорилъ:

— А васъ, кажется, можно поздравить.

Петръ Андреичъ не сомнѣвался уже чье имя было употреблено влюбленною дамой въ видѣ отвода. Онъ вспыхнулъ. Настасья Григорьевна изъ-за спины мужа готова была аплодировать ему; глаза глядѣли еще нѣжнѣе и благодарнѣе, губы безвучно шептали „милый“ и складывались въ поцѣлуй.

Въ эту торжественную минуту доложили, что карета подана. Поцѣловавъ жену и выразивъ надежду еще застать Кононова, Андрей Яковлевичъ вышелъ. Едва онъ за дверь, Кононовъ сдѣлалъ движеніе къ Настасьѣ Григорьевнѣ. Она улыбаясь погрозила ему пальцемъ и всѣмъ лицомъ говорила: „подожди же минутку“, потомъ встала, глянула въ окно и увидѣвъ отъѣзжавшую карету, быстро и порывисто, съ сіящимъ лицомъ, обернулась къ любовнику чтобы броситься къ нему и наградить его за „подвигъ“. Онъ былъ уже подлѣ; схвативъ за руку, и сильно сжавъ ее, онъ, почти прикасаясь губами къ ея уху, задыхающимся голосомъ и въ то же время стараясь выговаривать отчетливо, прошепталъ:

— Вы—дрянная женщина!

Она беззвучно вскрикнула и безсильная упала въ кресло. Когда она слабо полуоткрыла глаза, Кононова уже не было.

Вернувшійся черезъ часъ мужъ засталъ ее на томъ же креслѣ. Она вздрогнула на его окликъ, и съ ней сдѣлался нервный припадокъ. Докторъ объявилъ что вѣроятно больную что-нибудь незапно поразило: испугъ, радость, огорченіе, и прописавъ валерьяновыхъ капель, посовѣтовалъ ничѣмъ не раздражать паціентку.

Черезъ два дни оправившаяся Настасья Григорьевна

объявила что соскучилась по Москвѣ, и мужъ, слѣдуя докторскому предписанію, ей не противорѣчилъ.

II.

Кононовъ черезъ нѣсколько дней вернулся изъ своего путешествія въ Орловскую губернію. Семенъ Иванычъ, Амалія Ѳедоровна и Петровна при видѣ его ахнули: до того онъ похудѣлъ и измѣнился.

— Я былъ боленъ... горячкой, объявилъ Кононовъ въ предупрежденіе разспросовъ.

Я, кажется, замѣчалъ уже что у Семена Иваныча было много непосредственныхъ, такъ-сказать эпическихъ движеній; и теперь онъ рѣшилъ въ умѣ своемъ, что жильца послѣ дальней дороги слѣдуетъ угостить, и приказалъ сготовить обѣдъ получше. Амалія Ѳедоровна не спросила даже денегъ, что̀ обыкновенно дѣлывала когда сожитель изъявлялъ намѣреніе пороскошничать; онѣ съ Петровной обошлись своими средствами. Но напрасно Петровна каждыя пять минутъ летала въ лавочку, напрасно Амалія пуще вареннаго рака раскраснѣлась стоя у плиты, напрасно Семенъ Иванычъ самолично бѣгалъ за хересомъ и помогалъ собирать на столъ,—Кононовъ наотрѣзъ отказался отъ обѣда, объявивъ что у него нѣтъ аппетита и ему хочется отдохнуть. Обѣдъ, несмотря на хересъ, прошелъ молча и не весело.

Послѣ обѣда, художникъ на цыпочкахъ вошелъ къ жильцу: тотъ лежалъ съ открытыми глазами на диванѣ.

— Не лучше ли за докторомъ сходить, заикнулся Семенъ Иванычъ.

— Ахъ, отстань отъ меня! съ сердцемъ крикнулъ Кононовъ и повернулся лицомъ къ стѣнѣ.

Семенъ Иванычъ ни мало не обидѣлся на больнаго, и присѣлъ на стулѣ у дивана.

— Извини, пожалуста, черезъ нѣкоторое время, особенно мягкимъ тономъ проговорилъ Кононовъ.—Но видишь, мнѣ не по себѣ, и... хотѣлось бы быть одному.

Семенъ Иванычъ еще минутки двѣ посидѣлъ, потомъ воздохнулъ, на самыхъ цыпочкахъ вышелъ изъ комнаты, и немедленно отправился къ Чулкову.

Оба сожителя были дома. Семенъ Иванычъ по какому-то темному предчуствію не рѣшился говорить при Амфилохіи. Когда наединѣ онъ объявилъ Чулкову о горячкѣ, тотъ вскочилъ и забѣгалъ по комнатѣ.

— Такъ въ горячкѣ лежалъ, говоришь ты? переспросилъ онъ весело потирая руки.

— Да, отвѣчалъ изумленный художникъ, и подумалъ, что не даромъ онъ всегда подозрѣвалъ Чулкова въ жестокосердіи.—Что̀-жь съ нимъ дѣлать? спросилъ онъ черезъ нѣкоторое время.

— Ничего; оставить въ покоѣ; отлежится, столь же весело отвѣчалъ Владиміръ Дмитричъ.

Исполнивъ „долгъ“, Семенъ Иванычъ предъ уходомъ постучалъ въ двери къ Амфилохію и проговорилъ: „прощай, Рудометка“, на что̀ изъ передней раздался голосъ:—„Я здѣсь“.

Выйдя въ переднюю, Семенъ Иванычъ увидѣлъ что Рудометкинъ облекается въ пальто.

„Пойти-то я съ тобой пойду, подумалъ художникъ,—а про Кононова, шалишь, ничего не узнаешь“.

Они сошли вмѣстѣ съ лѣстницы, и гдѣ затѣмъ были и что̀ дѣлали, неизвѣстно. Извѣстно только что Семенъ Иванычъ вернулся домой только на третій день въ обѣденное время, и на вопросительный взглядъ блондинки, отвѣчалъ:

— Ну, и дѣла же! И еслибы ты только знала! Вотъ когда можно сказать: дѣла!

Освѣдомившись на счетъ Кононова и узнавъ, что онъ все лежитъ и ничего почти не ѣстъ, Семенъ Иванычъ спросилъ, не заходилъ ли Чулковъ и, получивъ отрицательный отвѣтъ, снова проговорилъ: „дѣла, дѣла!“ Спросивъ затѣмъ обѣдать и покушавъ съ изряднымъ аппетитомъ, г. Худышкинъ прилегъ отдохнуть.

Таинственное слово „дѣла“ было предметомъ долгихъ разсужденій на кухнѣ, и когда въ сумерки звякнулъ звонокъ, обѣ дамы вздрогнули и въ одно время подумали, что звонокъ имѣетъ несомнѣнное отношеніе къ „дѣламъ“.

Петровна, отворивъ двери, увидѣла незнакомаго скуластаго мущину. На вопросъ его о Кононовѣ, она на всякій случай отвѣчала что они больны и сейчасъ только започивали.

— Ничего, я докторъ, отъ Чулкова, отвѣчалъ незнакомецъ, и отстранивъ рукою Петровну, къ немалому ея удивленію, направился на жильцовскую половину, точно не разъ прежде бывалъ въ квартирѣ.

Петровна, движимая любопытствомъ, послѣдовала за докторомъ, и опять подивилась что онъ какъ былъ въ калошахъ, пальто и шапкѣ вошелъ къ Петру Андреичу въ спальню.

Быстрый и неожиданный входъ незнакомца встревожилъ задремавшаго-было Кононова.

— Кто вы? что̀ вамъ угодно? спросилъ онъ подымаясь съ дивана.

— Не узнали-съ? съ язвительною любезностью отвѣчалъ докторъ.

Кононовъ вглядѣлся и при свѣтѣ сумерокъ узналъ Адамову голову Амфилохія Григорьевича.

— Господинъ Рудометовъ? сказалъ онъ.

— Не Рудометовъ, а Рудометкинъ, господинъ-съ Кононовъ, съ тою же любезною язвительностью поправилъ Амфилохій, и подойдя къ столу не безъ шума уперся въ него руками.

— Что̀ же вамъ угодно?

Рудометкинъ обернулся и прислонился задомъ къ столу.

— А угодно-съ мнѣ, началъ онъ, и Кононовъ замѣтилъ какъ у него лицо перекосилось.—А угодно-съ мнѣ доложить вамъ, что вы поддлецъ!!

— Вы съ съума сошли! По какому праву?

— А по такому же, вразумительно, глядя въ упоръ въ глаза Кононову и для вящаго эффекта раскачиваясь изъ стороны въ сторону отвѣчалъ учитель,—по какому вы обманули и надругались надъ бѣдною дѣвушкой, по праву кулака.

— А вамъ?.... Кто васъ просилъ о заступничествѣ?

И подбѣжавъ къ Рудометкину, онъ такъ сильно дернулъ его за руку, что тотъ повернулся лицомъ къ двери.

— Подите вонъ, и знайте, милостивый государь, что порядочные люди не въ свои дѣла не мѣшаются.

Рудометкинъ сдѣлалъ нѣсколько невѣрныхъ шаговъ къ двери, оперся плечомъ о дверную верею, и стукнувъ о нее головою, вдругъ зарыдалъ. Кононовъ понялъ что̀ заставило Амфилохія оскорбить его, и ему стало жаль учителя.

— Присядьте, успокойтесь, не прикажете ли воды? ухаживалъ онъ за Рудометомъ.

— Нѣтъ-съ, господинъ Кононовъ, сдерживая ры-

данія проговорилъ Рудометкинъ. — Не только теперь, но будь я въ геенѣ огненной, а вы на лонѣ Авраамовѣ и протяни вы ко мнѣ обмокнутый въ воду палецъ, дабы прохладить воспаленную гортань мою, и тогда я отвернулся бы отъ васъ.

И собравъ силы, онъ пошелъ. Петровна сочла не лишнимъ поддержать доктора пока онъ плелся до выходной двери. Вернувшись въ кухню, она развела руками и проговорила:

— Часто нашъ штырманъ вретъ, а ужъ тутъ правду сказалъ: дѣла, истинно дѣла!

Оскорбленіе нанесенное Амфилохіемъ взбудоражило Кононова. Онъ не зналъ куда дѣваться отъ груды нахлынувшихъ чувствъ и мыслей, и спѣшно одѣвшись, вышелъ на улицу.

На дворѣ, послѣ сильной оттепели слегка подмораживало. Водяные пары густо осѣдали въ студеныхъ и влажныхъ сумеркахъ. Кононовъ шелъ, самъ не зная куда. На углу шарманка фальшиво завывала послѣднюю арію изъ *Лучіи*. Дряблыя ноты хрипло вырываясь изъ ящика точно зябли и кричали отъ холоду.

— А, чтобъ тебя чортъ побралъ! ругнулъ прохожій съ кокардой шарманщика.

Кононовъ испугался было что шарманка замолчитъ, но арія изъ *Лучіи* не прекратилась. Кононову нравились эти звуки, они казались ему отличнымъ аккомпанементомъ къ его душевному настроенію.

„Хрипло, зябло и фальшиво, сказалъ онъ про себя.— Такъ и моя наболѣвшая душа умираетъ.“

И крупныя слезы повисли у него на рѣсницахъ. Онъ шелъ все дальше, и давно уже замолкла шар-

манка, а въ его ушахъ все еще дребежжали озябдые звуки.

III.

Какъ въ началѣ этой *Исторіи*, быть-можетъ сильно прискучившей читателю, но за которою авторъ зналъ все что дорого авторамъ, милая барышня сидѣла одна-одинешенька. Точно также тетя была у Скорбящей, а сестра на лекціи, и все казалось было въ домѣ попрежнему, только сама Людмила Тимоѳевна была далеко не та. Уже не походила она на птичку, готовую весело щебетать, только выгляни солнышко. Серіозно смотрѣли ея глаза и серіозныя думы проносились въ головѣ. Ей думалось что на все, на все, начиная отъ самыхъ мелочей до самыхъ высокихъ предметовъ она стала смотрѣть иначе, строже, суровѣе и печальнѣе. Она чувствовала что не знать ей больше беззаботной веселости, и не грустила объ этомъ. Одно печалило милую барышню: въ ея душѣ не было ясности. „Она придетъ, утѣшала она себя,—но скоро ли, скоро ли?“

И какъ въ тотъ вечеръ няня доложила ей о Кононовѣ, и она отвѣчала „проси“, но не подумала „какой онъ?“

Петръ Андреичъ самъ не зналъ какъ очутился на Николаевской. Онъ шелъ да шелъ, и очнувшись увидѣлъ, что стоитъ у знакомаго подъѣзда. Безъ признака сознанія, повинуясь какому-то манящему и томящему чувству, поднялся онъ по знакомой лѣстницѣ. Какъ онъ вошелъ и увидѣлъ Людмилу Тимоѳевну, блѣдную, худую и серіозную, сердце въ немъ сжалось, кровь ударила въ голову, и онъ пошатнулся. Людмила Тимо-

ѳевна съ жалостію смотрѣла на него. Неужели этотъ жалкій, небрежно одѣтый, потерянный человѣкъ тотъ кого ея сердце звало своимъ?

— Вы больны, вы устали? тихо и ласково спросила она.

— Да, проговорилъ онъ съ трудомъ, и отвернулся чтобы не видѣть ея лица,—я боленъ... усталъ... я пришелъ пѣшкомъ.

— Сядьте, отдохните.

Онъ сѣлъ, и она заговорила. Петръ Андреичъ чувствовалъ себя неловко, и боязно наблюдалъ за Людмилой Тимоѳевной. Онъ страшился, что она какъ-нибудь намекнетъ на недавнее прошлое, но она точно не знала или забыла о немъ. Она была внимательна, говорила не торопливо и точно строго обдумывая и взвѣшивая каждое слово. Ея движенія были также не торопливы и точно разчитаны. Такъ казалось Кононову, и въ головѣ шевелилось, что она ждала этой встрѣчи, давно придумала какъ вести себя, и не разъ прорепетировала про себя всѣ рѣчи. Что̀ за разчетъ и къ чему онъ, Кононовъ не думалъ. И въ то же время въ сердцѣ у него думалось что онъ видитъ во всѣхъ ея рѣчахъ и движеніяхъ разчетъ, чтобы только не оглянуться на самого себя.

Онъ просидѣлъ не долго, не болѣе четверти часа; внутренній разладъ, споръ головы съ сердцемъ, становился невыносимымъ. Онъ всталъ.

— Вы уходите? тѣмъ же тихимъ и ласковымъ голосомъ, какимъ встрѣтила, спросила она.

— Да, надо.

Она встала и протянула ему руку. Онъ несмѣло, чуть дотрогиваясь, взялъ за руку, и несмѣло взглянулъ

на Людмилу Тимоѳеевну. Опять сжалось сердце, и онъ закусилъ нижнюю губу, чтобы сдержать накипавшія слезы. На устахъ вертѣлось слово „простите“, но онъ подумалъ что произнеси онъ его въ это мгновеніе, ей показалось бы будто онъ разчитывалъ на театральный эффектъ.

— Прощайте, сказалъ онъ, и тихо выпустивъ ея руку изъ своей, вышелъ, опустивъ голову.

Когда онъ снова очутился на студеномъ и туманномъ воздухѣ, когда припомнилъ все сейчасъ бывшее, сердце громко заговорило.

„И я видѣлъ во всемъ разчетъ!“ прошепталъ онъ.

О, дорого далъ бы онъ чтобъ опять стоять предъ Людмилой Тимоѳеевной, робко и чуть-дотрогиваясь держать ее за руку, робко смотрѣть на нее, и сказать „простите!“

„Но нѣтъ, подумалъ онъ,— она не прости.... Онъ не договорилъ про себя, и продолжалъ: — Нѣтъ она простила, давно простила меня, и забыла!“

И Кононовъ безпокойно посмотрѣлъ по сторонамъ, точно искалъ чего-то. Чего-то не доставало. Не доставало зяблыхъ и дребежжащихъ звуковъ *Лучіи*, жалкой паннихиды по его жалкой душѣ. А туманъ вокругъ становился все гуще и гуще!

Людмила Тимоѳеевна долго простояла на мѣстѣ глядя на дверь за которою скрылся Кононовъ. Ей было жаль, очень жаль его, и она чувствовала что готова поплакать съ нимъ, утѣшить его, помочь, подать ему.... милостыню, милостыню въ нравственномъ смыслѣ, и молиться за него... Но онъ не былъ уже для нея своимъ.

И милая дѣвушка со слезами на глазахъ опустилась предъ образомъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Кононовъ снова уѣхалъ, но на этотъ разъ его отъѣздъ никого, кромѣ г. Худышкина, не обезпокоилъ. Чулковъ на сѣтованія художника отвѣтилъ только:

— И прекрасно: провѣтрится.

И Семенъ Иванычъ окончательно убѣдился въ жестокосердіи Владиміра Дмитрича, чему не мало способствовала полная сдача квартиры Кононовымъ и рѣзкій отказъ Рудометки переселиться на Васильевскій.

О послѣднемъ свиданіи Петра Андреича съ Людмилой Тимоѳеевной никто даже не подозрѣвалъ. Милая барышня заказала Карповнѣ заикаться объ этомъ, хотя бы тетѣ Машѣ. Впрочемъ, никому и въ голову не приходило безпокоиться на этотъ счетъ; безпокойство усматривалось совсѣмъ съ другой стороны.

Мина Иванычъ, узнавъ о посѣщеніи г. Хамазова и о вѣроятномъ между нимъ и Людмилой Тимоѳеевной разговорѣ, сильно растревожился. Старикъ того же боялся на что̀ разчитывалъ Іоанникій: выхода замужъ *par dépit* за перваго встрѣчнаго, и рѣшился предостеречь племянницу. Собирался онъ долго, съ мѣсяцъ, все придумывая какъ бы неосторожнымъ словомъ не разбередить старой раны и тревожась тѣмъ сильнѣе, что „арнаутъ съ рачьими глазами“ зачастилъ къ Воробьевымъ. Наконецъ, обдумавъ все окончательно, Мина Иванычъ рѣшился. Послѣ довольно обширнаго

и не идущаго къ дѣлу предисловія, онъ началъ повѣсть о молодой дѣвушкѣ... Но тутъ же спохватился, и конфузливо поправилъ: "виноватъ, не о дѣвушкѣ, о молодомъ человѣкѣ хотѣлъ я разказать". Слѣдовала мрачная повѣсть о супружеской жизни молодаго человѣка женившагося со злости на подругѣ отказавшей ему невѣсты.

— Такъ вотъ въ чемъ моя повѣсть, многознаменательно заключилъ онъ, пристально взглянувъ на племянницу, и потомъ по своей привычкѣ, точно вдругъ вспомнивъ:—Ахъ, давно былъ у васъ этотъ Хумазовъ? Мнѣ надо бы...

Людмила Тимоѳевна не дала ему договорить, подошла къ дядѣ, и со слабою улыбкой, первою послѣ долгаго промежутка, поцѣловала его и сказала.

— Дядя, милый! Кажется пора и намъ, и вамъ въ деревню.

„Слава Тебѣ, Господи! мысленно перекрестился старикъ,—теперь я за нея спокоенъ: она *моя* племянница".

II.

Время шло да шло, и дошло наконецъ до того что даже въ Петербургѣ потеплѣло и деревья стали распускаться. Возы съ мебелью потащились на дачи.

Чулкова стало тянуть за городъ; Мина Иванычъ приглашалъ его на лѣто въ деревню, но Владиміръ Дмитричъ отказался, разсудивъ что его „торчанье на глазахъ" можетъ безпокоить Людмилу Тимоѳеевну, напоминая ей, и не выгодно напоминая, о Кононовѣ. Не безъ тайной надежды на скорое возвращеніе Петра

Андреича, Чулковъ рѣшилъ поселиться на дачѣ и выбралъ деревеньку за Охтой гдѣ во время оно живалъ. Онъ нанялъ ту же холодную избу съ чуланчикомъ и сѣнями, у того же мужика, нынѣ не безъ гордости величавшаго себя крестьяниномъ-собственникомъ. Поработавъ на уплату мелочныхъ долговъ, Владиміръ Дмитричъ спѣшилъ окончить всяческія дѣла дабы по возможности долго не заглядывать въ городъ. Одно изъ дѣлъ завело его на Петербургскую Сторону.

Проѣзжая по Большому Проспекту, онъ увидѣлъ на углу даму; она махала ему рукой и даже посылала воздушные поцѣлуи.

„Это что̀ за притча такая?“ подумалъ Чулковъ и велѣлъ извощику подъѣхать къ дамѣ.

Оказалось, Амалія Ѳедоровна. Она была весела, розова, улыбалась и вообще находилась въ возбужденномъ состояніи.

— А знаете кого я сейчасъ видала? еще издали закричала она.

— Кого?

— И не отгадаете!.. Петра Андреича.

— Гдѣ, какъ?

Блондинка принялась разказывать какъ она сегодня относила воротнички что̀ шила по заказу полковницы, и какъ проходя по двору гдѣ во флигелѣ живетъ закащица, увидала у окна другаго флигеля Кононова.

— Они у окна стояли, и знаете этакъ совсѣмъ въ стекло лицомъ упирались. И я сейчасъ узнавала ихъ, а они смотрѣли и ничего не видали. И я сейчасъ отдавала воротнички и получала деньги, и потомъ сейчасъ бѣжала въ булочную и покупала сухарики этакіе

сахарные которые еще Петръ Андреичъ съ кофеемъ любятъ, имъ на новоселье.

Слѣдовалъ разказъ какъ она вошла, какіе Петръ Андреичъ блѣдные и больные, и худые, и какъ они обрадовались и разспрашивали про всѣхъ, про всѣхъ, даже про Петровну не забывали.

— И я такъ у нихъ немного посидѣла и уходила, и они провожали меня до дверей, и я спрашивала можно ли еще заходить, и они отвѣчали что очень рады, и я совсѣмъ уходила.

Затѣмъ блондинка, на спросъ Владиміра Дмитрича объ адресѣ, сама вызвалась проводить до воротъ.

— Только вы никому не говорите гдѣ онъ живетъ, на прощаньи сказалъ Чулковъ.

— Ахъ, я сама объ этомъ очень хорошо понимала!

И блондинка побѣжала домой счастливая и довольная. Она была довольна что сдѣлала доброе дѣло навѣстивъ и развеселивъ больнаго и тѣмъ что сама „объ этомъ понимала". Она была счастлива что всѣ прежнія ея мысли на счетъ Кононова „совсѣмъ пропадали" и она можетъ ни мало не конфузясь смотрѣть прямо въ глаза Семену Иванычу, а они никакъ не могутъ ее ревновать.

Чулковъ, между тѣмъ, чрезъ темные и вонючіе сѣнцы пробрался въ комнату Кононова. Тамъ было накурено, душно, неряшливо; потолокъ былъ низкій, двойныя рамы не выставлены, постель не совсѣмъ въ порядкѣ, на полу валялись окурки и виднѣлись пятна отъ затоптаннаго пепла.

— И какъ вы можете жить въ такой духотѣ и

грязи! первымъ долгомъ, по своему обычаю, выбранился Чулковъ.—Можно отворить форточку?

— Сдѣлайте одолженіе.

Насилу справившись съ форточкой, повидимому разучившеюся отворяться, Чулковъ поздоровался съ пріятелемъ, покачалъ головою на его больное лицо, и спросилъ что̀ онъ подѣлываетъ и какъ себя чувствуетъ?

— Ничего и никакъ, силясь улыбнуться, отвѣчалъ Кононовъ.

— Однако какъ же это? Больны вы, что ли?

— Пожалуй боленъ, пожалуй здоровъ.

Чулковъ съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на пріятеля.

— Знаю, продолжалъ тотъ ровнымъ и равнодушнымъ тономъ, — вамъ хочется узнать что̀ именно со мною. Вы любите дѣлать наблюденія и опыты надъ людьми....

Чулковъ открылъ было ротъ, но Кононовъ не далъ ему говорить.

— Не отговаривайтесь: въ этомъ завидная черта вашего характера, тѣмъ же тономъ продолжалъ онъ, — и она приноситъ вамъ счастье. Да, для счастья необходимо имѣть поглощающее занятіе, смотрѣть на все съ исключительной точки зрѣнія. Вотъ какъ извощики смотрятъ на весь родъ людской съ мыслію: сѣдокъ или не сѣдокъ...—Онъ на минуту остановился.—И у меня было нѣкогда подобное занятіе. Я все бывало ворошился у себя въ душѣ, а теперь...

Ему точно лѣнь было продолжать.

— А теперь? спросилъ Чулковъ.

— Теперь... теперь. Знаете, есть болѣзнь глаза,

когда множество отраженій падающихъ отъ внѣшнихъ предметовъ на сѣтчатую оболочку не соединяются въ одно изображеніе, а остаются въ мелкомъ и раздробленномъ видѣ. Пьяницамъ въ силу такой болѣзни кажутся чертики.

Чулковъ подозрительно взглянулъ на пріятеля: не заговаривается ли молъ?

— И у меня, послѣ небольшой остановки началъ снова Кононовъ,—такая же болѣзнь... въ душѣ. Вотъ вамъ примѣръ. Предъ вашимъ приходомъ мнѣ показалось будто я оживился. Я взялъ Пушкина — я давно, надо вамъ сказать, ничего не читалъ... И что̀ же? всѣ мысли, образы, стихи, даже слова, явились въ раздробленномъ, измельченномъ видѣ; впечатлѣнія никакого. И такъ-то во всемъ...

— Что̀ жь, ваша душа тоже до чертиковъ что ли допилась? не безъ досады сказалъ Чулковъ.

Кононовъ улыбнулся, точно довольный что наконецъ-то пріятель разсердился.

— У васъ рѣшительная способность, сказалъ онъ,— къ комиче...

— Не въ моей способности дѣло! уже вскочивъ со стула закричалъ Владиміръ Дмитричъ, и разразился.

Въ чемъ только онъ не упрекалъ Кононова! Въ умышленной лѣни, въ излишнемъ аристократизмѣ мысли, въ желаніи порисоваться страданіями. Онъ и самъ на половину не вѣрилъ своимъ словамъ, и нарочно выражался порѣзче чтобы взбудоражить, пожалуй вывести изъ себя пріятеля: его апатія казалась ему признакомъ неблагонадежнымъ.

Кононовъ съ равнодушною полуулыбкой слушалъ упреки, точно не къ нему они относились.

— Нѣтъ, сказалъ онъ,—вы ошибаетесь, и смѣшиваете проявленія болѣзни съ причиной, а еще натуралистъ! Болѣзнь моя, надо сказать, довольно распространенная, только на мнѣ выразилась особенно ярко и обстоятельно. Есть субъекты точно самою природой на то предназначенные чтобы на нихъ въ клиникѣ изучали полное развитіе той или иной болѣзни. Я видно принадлежу къ таковымъ.

Онъ помолчалъ, соображая какъ бы покороче и пояснѣе выразить свою мысль.

— Житейская обстановка, неряшливое воспитаніе или иное что̀ виновато, продолжалъ онъ, — только въ наше время, въ ущербъ другимъ, развивается одна умственная способность, способность, говоря безъ лести, изъ самыхъ второстепенныхъ. Всѣхъ одолѣваетъ скептическій зудъ. Не тотъ научный скептицизмъ что̀ нѣкогда былъ великимъ орудіемъ для мысли Декарта, а простенькое, плохонькое и щедушненькое сомнѣнье ради сомнѣнья. При маломъ количествѣ мозга вещь безопасная, даже обѣщающая долголѣтіе. Но чуть умъ повыше обиходнаго—бѣда. Я всю жизнь страдалъ этимъ, и, какъ ни старался, вылѣчиться не могъ. Въ самыя счастливыя минуты я зналъ только съ кѣмъ не надо дружить, но не зналъ за кѣмъ идти, а идти самостоятельно, какъ Полѣновъ говаривалъ, „могуты не хватало“.....

Онъ опустилъ голову, и просидѣлъ нѣсколько времени молча.

И всюду, всегда, это пошлое сомнѣніе преслѣдовало меня. Не было мысли, чувства, душевнаго движенія, котораго оно не отравило бы, не подрѣзало бы изподтишка... И вотъ вамъ...

И онъ сознался какъ въ ту минуту когда онъ го-

ворилъ ему о любви къ Людмилѣ Тимоѳеевнѣ у него быстро мелькнуло въ головѣ что онъ только обманываетъ себя, что онъ вовсе не любитъ, а просто стихъ такой на него нашелъ.

— И вотъ когда еще было подрѣзано самое святое, самое чистое чувство, какое я когда-либо испыталъ. И подумать страшно въ какую минуту нашлось мѣсто сомнѣнію!

Кононовъ кончилъ. Чулковъ въ волненіи прошелся по комнатѣ.

— Что̀ меня бѣситъ, началъ онъ и быстро перебилъ себя,—нѣтъ, не бѣситъ, беру слово назадъ. А что̀ меня просто ужасаетъ въ васъ, это равнодушіе, апатія, съ какою вы говорите о себѣ. Если въ васъ и мелькнетъ оживленіе, то оно не больше оживленія профессора читающаго лекцію надъ трупомъ.

— А вы думаете душа моя жива? спросилъ Кононовъ.

— Ну, не на кладбище же вы собрались.

— Нѣтъ, физически я быть-можетъ и до восьмидесяти лѣтъ дотяну. А душа—душа умерла, и отпѣта.

И Кононову послышались дряблые и зяблые звуки финала *Лучіи*. Чулковъ быстро отошелъ къ окну и сталъ глядѣть въ форточку: слезы душили его.

— Полноте, сказалъ онъ черезъ нѣкоторое время, садясь подлѣ Кононова и взявъ его за руку,—полноте. Все проходитъ, и вашей хандрѣ настанетъ конецъ. Ободритесь....

И Чулковъ сталъ толковать о возможности примиренія съ Людмилой Тимоѳеевной, во что̀ вѣрилъ твердо и непреложно.

— Она пойметъ, съ жаромъ говорилъ онъ,—все пойметъ, и проститъ.

— Что понимаешь, прощаешь, старая дамская фраза. Я и не спорю. Да чтобы понять-то надо вѣдь отрѣшиться, отойти въ сторону, и тогда, гдѣ мѣсто любви? Впрочемъ, она простила, и разлюбила меня....

И онъ разказалъ о послѣднемъ своемъ свиданіи съ милою барышней.

Прощаясь, Чулковъ взялъ съ пріятеля слово придти къ нему на дачу.

— А, вы тамъ же, гдѣ жили давнымъ-давно! Какже, я очень хорошо помню, и домъ, и хозяина.

III.

Начались жары. Кононовъ все не выходилъ изъ низкой, съ двойными рамами комнаты, и дышалъ тѣмъ же нездоровымъ, не освѣжавшимся воздухомъ. И тѣ же думы лѣниво ворошились въ его головѣ; не рѣдко онъ пролеживалъ по цѣлымъ часамъ на диванѣ безъ признака мысли, глядя стеклянными глазами на стѣны, считая и пересчитывая сколько разъ рисунокъ повторяется на кускѣ обоевъ въ длину и сколько въ ширину, или отыскивая нѣтъ ли гдѣ на потолкѣ незамѣченнаго еще имъ пятна. Онъ почти разучился двигаться, и здоровье его разстраивалось съ каждымъ днемъ. Пуще всего его донимала безсонница въ бѣлыя ночи; нервы до того расхлябались что малѣйшій шорохъ заставлялъ его вздрагивать.

Вспомнивъ какъ-то объ обѣщаніи Чулкову, онъ съ великимъ трудомъ и усиліемъ воли сталъ собираться

на дачу. Одѣваясь онъ нащупалъ въ карманѣ давно ненадеваннаго пальто стклянку, и припомнилъ что то былъ опій; онъ страдалъ въ прошломъ году безсонницей, и пожаловался какъ-то знакомому доктору.

— Куда бы отлить, сказалъ докторъ,—да что, возьмите всю стклянку, и принимайте по 10, 15ти капель на ночь, только не бухните какъ-нибудь; тутъ его довольно чтобы двумъ съѣздить въ Елисейскія. А по минованіи надобности благоволите пузыречекъ возвратить.

Надобности не представилось вовсе и стклянка провалялась съ осени въ карманѣ.

Кононовъ отправился. По дорогѣ, онъ подумалъ что найдетъ дачу только отъ Мало-Охтенскаго перевоза, а то пожалуй и заплутается, и отправился къ перевозу. Онъ намѣревался было пройтись пѣшкомъ, но какъ вышелъ на свѣжій воздухъ, почувствовалъ головокруженіе, и взялъ извощика. Потомъ ѣхать ему наскучило, и онъ опять пошелъ пѣшкомъ. Перемѣнивъ разъ пять способъ передвиженія, онъ наконецъ добрался до перевоза. Въ лодкѣ, какъ онъ глянулъ на воду, у него опять голова пошла кругомъ. Перебравшись черезъ Неву, твердо увѣренный что твердо знаетъ дорогу, онъ никого не спросилъ куда идти. Онъ шелъ долго, удивляясь что несмотря на то, что ничего не ѣлъ съ утра, не находилъ себѣ аппетита. Замѣтивъ что ноги начинаютъ вязнуть въ болотѣ, онъ догадался что заплутался. Пришлось вернуться.

День былъ красный и парило на грозу. Кононовъ усталъ и измучился, ноги едва двигались; онъ искалъ гдѣ бы отдохнуть. Свернувъ въ недалекіе кусты, онъ выбралъ мѣстечко потѣнистѣе и прилегъ. Напрасно онъ

силился уснуть: чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе чувствовалось что сонъ не придетъ. Тоска одолѣвала, дышалось тяжело, въ груди ныло, горло точно кто сдавливалъ.

— Ахъ уснуть бы, уснуть! повторялъ онъ, ворочаясь съ боку на бокъ.

При одномъ изъ поворотовъ стклянка съ опіемъ дала себя почувствовать. „И вотъ счастье-то, выпью и усну“, подумалъ Петръ Андреичъ. Онъ вынулъ стклянку; руки у него дрожали какъ въ лихорадкѣ и онъ съ трудомъ вынулъ присохшую пробку; чтобы не расплескать жидкости и не облиться, онъ стиснулъ горлышко стклянки зубами. Сладковатый вкусъ опія почувствовался на языкѣ. Кононовъ мечталъ только какъ онъ сейчасъ заснетъ мертвымъ сномъ и какъ этимъ кончатся его страданія; ему и въ голову не приходило не много ли онъ принялъ жидкости. „Не бухнуть бы“, вспомнился ему наконецъ докторскій совѣтъ, но дальше онъ ничего уже не помнилъ и не чувствовалъ какъ вывалился изо рта пузырекъ.

Чулковъ въ этотъ день почему-то усиленно ожидалъ Кононова; вмѣсто него явился Амфилохій. Владиміръ Дмитричъ слегка поморщился, опасаясь встрѣчи соперниковъ, но день проходилъ, Кононова не было, и Чулковъ успокоился. Часовъ въ девять разразилась страшная гроза съ ливнемъ. Темь была непроглядная, и только на мгновенья прерывалась синими и фіолетовыми молніями.

Уже часъ съ лишнимъ длилась гроза, и дачниковъ началъ уже разбирать сонъ, какъ гдѣ-то вблизи послышался сильный стукъ. Заговорили голоса, и стукъ повторился у дверей избы, нанимаемой Чулковымъ. Взявъ свѣчу, онъ вышелъ въ сѣни. Предъ нимъ стоялъ Ко-

ноновъ, весь измокшій, въ грязи, блѣдный какъ мертвецъ.

— Велите молока, я кажется отравился, были первыя его слова.

Изумленный, не вполнѣ довѣряя словамъ пріятеля и чувствуя что въ несостояніи ничего сообразить, Чулковъ механически побѣжалъ за молокомъ. Кононовъ выпилъ немного и молоко произвело извѣстное дѣйствіе.

— Выпейте еще, проговорилъ Чулковъ.

— Нѣтъ, не надо: мнѣ теперь легко, очень легко. И завтра я буду здоровъ, только уложите меня.

Входя въ избу, Чулковъ невольно вздрогнулъ, но опасеніе оказалось излишнимъ; Амфилохій Григорьевичъ куда-то незамѣтно скрылся. Переодѣвъ и уложивъ Кононова, Чулковъ спросилъ не послать ли за докторомъ.

— Нѣтъ, куда же въ такую ночь! И главное, совершенно напрасно; мнѣ совсѣмъ хорошо. Не бойтесь, я умирать вовсе не намѣренъ.

Кононову спать не хотѣлось, и онъ разказалъ какъ въ кустахъ вѣроятно нѣсколько „бухнулъ“ опія, какъ заснулъ и какъ грозовой ливень разбудилъ его.

— Первымъ дѣломъ я вспомнилъ что могъ отравиться, испугался, и откуда силы взялись, пошелъ. Я шелъ на удачу, и счастье! вышелъ какъ разъ на деревню. И теперь, радуйтесь, я чувствую что завтра же хандра моя пройдетъ, какъ не бывало.

Кононовъ говорилъ тихимъ и мягкимъ голосомъ; этотъ тонъ почему-то тревожилъ Чулкова, и онъ еще разъ спросилъ о докторѣ и получилъ еще болѣе разубѣдительный отвѣтъ. Петръ Андреичъ даже посмѣялся надъ

безпокойствомъ пріятеля. Они проговорили долго, съ перерывами, о чемъ пришлось. Потомъ Кононовъ спросилъ о Людмилѣ Тимоѳеевнѣ и Чулковъ разказалъ все что̀ зналъ отъ тёти-Маши и Мины Иваныча. Кононовъ слушалъ со вниманіемъ, кой о чемъ разспрашивалъ, просилъ повторить подробности.

— Какъ вы разказывали, началъ онъ немного погодя,—мнѣ пришли странныя мысли. Я не могу жаловаться на судьбу, она всячески баловала меня, даже деньгами. Но что̀ важнѣе всего, всегда у меня были и друзья, и было мнѣ кого любить. И несмотря на это, сердце мое все черствѣло, и черствѣло, и странно!— до сегодня я не чувствовалъ этого. А вѣдь я помню, ясно помню, отъ природы я былъ мальчикомъ добрымъ....

И Кононову вдругъ страстно захотѣлось вернуться къ дѣтству, ходить въ училище по площади, гдѣ возятъ на телѣгахъ всякій хлѣбъ и видимо-невидимо безгрѣшной птицы голубя, любоваться на строгое лицо дѣда въ серебряныхъ очкахъ, склоненное надъ большою книгой съ мѣдными застежками. Онъ замолчалъ, боясь разрушить воспоминанія.

— Ну, довольно, я засну, проговорилъ онъ, и повернулся на другой бокъ.

Чулковъ подождалъ, прислушиваясь къ дыханію Кононова. Дыханіе было легкое и ровное; безпокойство оставило Владиміра Дмитрича и онъ убаюкиваемый ливнемъ уснулъ.

Сѣрое утро глядѣло въ окна. Солнце боролось съ туманомъ и едва начинало одолѣвать. Деревья стояли окутанныя полуразорванными, молочнобѣлыми саванами. Чулковъ проснулся на чей-то зовъ.

— Иль не слышишь? что̀ съ нимъ? говорилъ чей-то голосъ.

Съ трудомъ раскрывъ глаза, Чулковъ осмотрѣлся и увидѣлъ встревоженное лицо Амфилохія выглядывавшее изъ чулана.

— Что̀ съ нимъ? или не слышишь? повторилъ Амфилохій.

Чулковъ теперь явственно услыхалъ странные, хриплые звуки. Онъ вскочилъ съ постели, бросился къ Кононову, и поправилъ ему голову. Тотъ будто вздохнулъ свободнѣе, и опять захрипѣлъ.

— Я поѣду за докторомъ; тутъ недалеко около перевоза у меня знакомый, толковалъ Амфилохій.

Чулковъ насилу понялъ.

— Да, да, скорѣе, проговорилъ онъ, — одѣвайся же.

И самъ кое-какъ одѣвшись, выбѣжалъ распорядиться на счетъ телѣги. Наконецъ, все было готово и Амфилохій уѣхалъ. Чулковъ вернулся въ избу. Больной все также хрипѣлъ. Эти страшные звуки раздражали Чулкова; онъ въ безпокойствѣ ходилъ взадъ и впередъ, стараясь думать о чемъ-нибудь другомъ. Чаще всего онъ проклиналъ свою беззаботность, что дозволилъ себѣ обмануться минутнымъ облегченіемъ Кононова и послушавшись его, не послалъ за докторомъ. Порой ему становилось жутко отъ страшныхъ хриплыхъ звуковъ, и онъ уходилъ изъ избы подъ предлогомъ распорядиться тѣмъ или другимъ. Времени прошло уже много. „Ахъ, да, вспомнилъ въ новую жуткую минуту Владиміръ Дмитричъ,—докторъ за дорогу прозябнетъ“. И онъ побѣжалъ приказать поставить самоваръ.

Странный бредъ томилъ Кононова. Ему видѣлось

что онъ въ глубокой тьмѣ съ великимъ трудомъ взбирается на высокую гору. Онъ уже высоко поднялся, уже воздухъ сталъ рѣже, и дышать стало трудно, а горѣ и конца не видно. И хоть бы огонекъ блеснулъ! И вотъ вспыхнулъ огонекъ: вѣрно, дѣдъ засвѣтилъ лампадку. Нѣтъ, это не лампадный огонь. Кононовъ вытягиваетъ шею чтобы разглядѣть, и чувствуетъ что вовсе не впереди огонекъ, а въ его головѣ, и не свѣтитъ, а жжетъ мозгъ, и все сильнѣе, и сильнѣе. Что̀ это? Кругомъ будто зарево стоитъ, и онъ не идетъ уже, а сидитъ въ тарантасѣ. Ямщикъ со свистомъ и гамомъ гонитъ лошадей и онѣ какъ вихрь летятъ все выше, и выше. Духъ захватываетъ, а вокругъ все ярче разгорается зарево и огонь все ближе окружаетъ тарантасъ, ямщика, голову Кононова и въ ней мозгъ точно загорѣлся. Скоро ли, скоро ли борзые кони вынесутъ его изъ огненнаго круга? А, вотъ что-то бѣлѣетъ; то дѣдова сѣдая борода. Теперь ясно видна комната и предъ чернымъ ликомъ въ золотой ризѣ горитъ лампадка. Дѣдъ подошелъ и дунулъ на огонекъ... Онъ погасъ, и стало темно и холодно.

Чулковъ, разговаривая, слышалъ какъ шлепая по грязи подъѣхала телѣга, какъ уставшая лошаденка тяжело задышала, слышалъ чьи-то голоса, торопливые шаги по ступенькамъ, и стукъ хлопнувшей двери. Какъ онъ вбѣжалъ въ свою избу, докторъ наклонясь что-то дѣлалъ надъ Кононовымъ: Амфилохій, блѣдный, стоялъ подлѣ.

— Нѣтъ, сказалъ докторъ, повертываясь къ Амфилохію,—кровь нейдетъ. Испробуемъ другія средства.

Другія средства оказались столь же безуспѣшны.

IV.

Со смертью Кононова не кончается еще Исторія блѣднаго молодаго человѣка.

Привезенный Амфилохіемъ докторъ, услышавъ о возможности отравленія, отказался выдать свидѣтельство на погребеніе. Пришлось объявить подлежащимъ властямъ. Власти не торопились пріѣздомъ, и черезъ два дня прислали дозволеніе перенести тѣло изъ избы въ ригу. Тотчасъ же явился мужикъ сторожить мертвеца.

— Другіе ихъ боятся, даже изъ мужиковъ, счелъ онъ долгомъ объяснить, — а я ихъ совсѣмъ не боюсь, мертвецовъ тоись. И даже какъ въ лѣсу удавленникъ, или убитый объявится, наши дураки подступиться боятся, а я съ нимъ, съ мертвецомъ, хоть три ночи въ лѣсу просижу. Право!

Въ ожиданіи властей, Чулковъ часто думалъ о покойномъ. Его мучила мысль что онъ, хотя и неумышленно, былъ виной его смерти, но затѣмъ онъ находилъ себя безчувственно спокойнымъ. Ему казалось даже, что онъ особенно сталъ какъ-то сознавать прелесть жизни и съ необычною чуткостью наблюдать такія ея проявленія на что̀ прежде не обращалъ вниманія. Амфилохій, оставшійся на дачѣ, ходилъ мрачный и угрюмый, и не разъ порывался сказать:

— Охъ, ужь эти тонкачи! И умереть-то не умѣютъ чтобы другимъ не надѣлать непріятностей.

Наконецъ, въ одно прекрасное утро возвѣстили о пріѣздѣ властей. Первымъ явился сотскій, плутоватая и рыжая морда, и объявилъ не пожалуютъ ли молъ

господа на извощика доктору. Чулковъ отвѣчалъ что вѣроятно доктору полагается по закону на разъѣзды, и сотскій, быстро повернувшись, точно сквозь землю провалился. Вскорѣ явился докторъ, маленькій щедушный человѣчекъ, съ подвязанною щекой. Разспросивъ объ обстоятельствахъ, онъ сомнительно покачалъ головой, потомъ прошелся по комнатѣ и увидѣвъ томикъ Стерна, объявилъ что *Тристрамъ Шэнди* его любимая книга и сдѣлалъ нѣсколько весьма умныхъ и толковыхъ замѣчаній на счетъ любимаго своего писателя.

— Вы ничего не имѣете противъ вскрытія? шепнулъ онъ Чулкову, когда, по пріѣздѣ остальныхъ властей, они шли къ ригѣ.

— Помилуйте! да и права не имѣю.

Докторъ нашелъ изліяніе крови въ мозговыя оболочки, и заключилъ что хотя это могло произойти и отъ опія, но могло быть также слѣдствіемъ иныхъ причинъ. Распорядившись отсылкою внутренностей въ подлежащее мѣсто, для изслѣдованья, онъ выдалъ свидѣтельство на христіанское погребеніе. Чулковъ съ чувствомъ пожалъ ему руку.

Оставались похороны, и хотѣлось устроить ихъ получше. Чулковъ съ ужасомъ узналъ что у него мало денегъ; у Амфилохія также оказалось не густо. Оставалось обратиться къ Христофору.

— А, денегъ? сердито сказалъ книгопродавецъ. — Отъ-то, господа, вы денежки получать любите, а вотъ книжку который мѣсяцъ переводите, а тутъ паршивецъ какой-то узналъ да подъ носомъ издалъ.

— Ну, потеряете сто рублей, что̀ за важность для такого какъ вы милліонера! отвѣчалъ Чулковъ.

Слово „милліонеръ“ пріятно подѣйствовало на Христофора, но выдать деньги онъ уперся. Чулкову пришлось, умаливая его, нѣсколько разъ взглянуть въ сторону чтобы сморгнуть слезу. Наконецъ Христофоръ умилостивился, сказалъ:—Ну, для васъ только! и вынесъ замасленную и разорванную серію. При размѣнѣ серіи оказалось, что книгопродавецъ надулъ на тридцать шесть копѣекъ.

Разсудивъ что ни онъ, ни Амфилохій распорядиться какъ слѣдъ не съумѣютъ, Чулковъ обратился къ Семену Иванычу, и хорошо сдѣлалъ. Семенъ Иванычъ попалъ въ свою сферу. Онъ устроилъ все отлично и дешево, и объявилъ что и поминки Амалія съ Петровной сготовятъ приличныя. Не сдѣлать поминокъ, по Семенъ Иванычу, значило оскорбить память покойнаго.

Но вотъ гробъ на кладбищѣ, и Семенъ Иванычъ ведетъ Чулкова посмотрѣть выбранную могилу.

— Гляди, какое мѣсто! говоритъ онъ. — А въ головахъ какая плакучая береза, чудо, на полотно просится! Нѣтъ, — прибавляетъ онъ съ чувствомъ, — ему тутъ отлично будетъ лежать.

Вотъ и гробъ опущенъ въ могилу, и Чулковъ слушаетъ съ особымъ вниманіемъ слова съ которыми священникъ бросилъ первый комъ земли, и чудится ему таинственный смыслъ въ этихъ словахъ: „земля еси, и въ землю отыдеши“.

Могила закидана; кончено. И Семенъ Иванычъ, за минуту горько плакавшій, заботливо приглашаетъ кого-то на поминки, и затѣмъ шепчетъ Чулкову что эти два неизвѣстно откуда взявшіеся господина знали Кононова.

— А только въ телѣгѣ тѣсненько намъ будетъ, уже весело прибавилъ онъ.

— Поѣзжайте, я пѣшкомъ, недалеко, говорилъ Чулковъ,—и если запоздаю, не дожидайтесь.

Телѣга покатила, и оттуда слышенъ смѣхъ.

Чулковъ задумчиво побрелъ одинъ.

„Бюффонъ сказалъ: талантъ въ терпѣніи, думалось ему—и мы безсмысленно повторяемъ эту фразу. А что̀ она значитъ? Родится ли талантъ съ должнымъ запасомъ терпѣнія, готовый вынести всѣ невзгоды? или... И онъ остановился:—Да что̀ я все раздумываю да разсуждаю? или мнѣ не жаль *его*!?“

И вдругъ почему-то Чулкову вспомнилось все что̀ окружало его съ Кононовымъ въ этотъ послѣдній годъ, и вспомнилось съ неприглядной стороны. Вспомнились поощрители талантовъ въ родѣ Никандра и Ѳедосѣй Ѳедосѣича, вечера съ сотрудниками и анти-іерихонцами, надутое невѣжество выдающее себя за просвѣщеніе, трусость предъ этимъ невѣжествомъ, всеобщая боязнь быть самимъ собою, грубое пренебреженіе ко всѣмъ и ко всему, желаніе унизить другаго, какъ слѣдствіе малаго самоуваженія.... И многое-многое въ томъ же родѣ припомнилось ему.

— Нѣтъ, почти вслухъ проговорилъ онъ,— въ такомъ омутѣ только и жить что такимъ грубымъ, рѣзкимъ, буйволинымъ натурамъ, какъ моя. А людямъ деликатнымъ, мягкимъ, съ тонкимъ пониманіемъ, жаждущимъ гармоніи.... А онъ еще упрекалъ себя въ очерствѣлости сердца!

И Чулковъ, своротивъ съ дороги, углубился въ лѣсъ.

ЭПИЛОГЪ.

Прошло семь, или около лѣтъ со смерти Кононова, и по старому, нынѣ полузабытому обычаю, скажемъ нѣсколько словъ о дальнѣйшей судьбѣ главнѣйшихъ лицъ дѣйствовавшихъ въ настоящей *Исторіи*.

Чулковъ послѣ многихъ треволненій и приключеній получилъ наконецъ мѣсто въ полторы тысячи, съ мѣсяцомъ каникулъ. У него много досужаго времени и онъ по душѣ изучаетъ комиковъ, преимущественно Аристофана, и даже собирается писать о нихъ, но чтобы собрался, тому пріятели не вѣрятъ. На каникулярный мѣсяцъ онъ обыкновенно уѣзжаетъ въ деревню къ Минѣ Иванычу. Старикъ бодръ и веселъ, и вообще чувствуетъ себя отлично, особенно со времени поѣздки въ Москву на археологическій съѣздъ, гдѣ труды его были замѣчены весьма почтенными учеными. Встрѣчаясь съ Людмилой Тимоѳевной, Чулковъ не рѣдко толкуетъ о Кононовѣ, и мужъ милой уже не барышни, а барыни сознавался что одно время чувствовалъ нѣчто въ родѣ ревности къ покойному Петру Андреичу. Я и забылъ сказать что Людмила Тимоѳевна вышла за мужъ за сосѣда, помѣщика, курчаваго красавца и умницу, отличнаго хозяина и еще лучшаго музыканта. У него огромное собраніе народныхъ пѣсень, но издавать ихъ ему кажется страннымъ. По его словамъ, зачѣмъ то издавать что̀ неизвѣстно только лѣнивому.

Старшему сыну Людмилы Тимоѳевны пошелъ пятый годъ, и она серіозно подумываетъ о его воспитаніи.

— Знаете, говорила она прошлымъ лѣтомъ Чулкову,—я думаю начать разказывать Вовочкѣ русскую

исторію. Мнѣ кажется ее надо знать съ дѣтскихъ лѣтъ, и благодаря Амфилохію Григорьевичу, я думаю, недурно это сдѣлаю. Я начала, впрочемъ, перечитывать Карамзина; у него, говорятъ, сочувствія всегда вѣрныя, а для насъ, женщинъ и дѣтей, это самое важное.

— Эхъ, отвѣчалъ Чулковъ,—кабы всѣ матери разсуждали по вашему! За вашихъ дѣтей право можно покойнымъ быть, выростутъ они на родныхъ пѣсняхъ, да на родной исторіи, и авось-либо хоть изъ нихъ консерваторы выйдутъ. Ибо, милая барыня, консерватизмъ вовсе не въ томъ, какъ полагаютъ наши петербургскіе политики, чтобъ Иванъ Павлычъ усидѣлъ въ министрахъ, Павелъ же Иванычъ изъ оныхъ вылетѣлъ. Ну, да Богъ съ ними!.. Истый консерваторъ, сударыня, подобенъ мудрому наслѣднику, ничего безъ крайней нужды не измѣняющему въ отцовскомъ хозяйствѣ, не расточающему, но паче преумножающему нажитое предками. Разумѣется, я говорю о духовной жизни. И только такіе люди могутъ понимать свободу и не мѣшать никакому развитію, отъ души ненавидя всякую суетливую ломку съ бухты-барахта. И горе странѣ гдѣ нѣтъ такихъ людей! Потому, видите ли, псевдо-то консерваторы что̀ заботятся о храненіи животовъ своихъ и поддержаніи божественнаго права въ прямомъ или переносномъ смыслѣ драть Акимку за вихры, поди, и въ Румыніи найдутся. Ну, а выростутъ ваши дѣтки и оправдаютъ надежды мои, тогда я, подобно мудрому Канту, сниму колпакъ (буде таковымъ обзаведусь) съ главы своей, и скажу: „Нынѣ отпущаеши раба твоего съ миромъ“.

Тетя Маша нянчаетъ внучатъ и счастлива безмѣрно. Амфилохій Григорьевичъ, продолжая свои эскурсіи по

первымъ числамъ, до того къ нимъ пристрастился что началъ совершать почти въ теченіе всего мѣсяца безъ перерыва. Подъ конецъ онъ впалъ въ мистицизмъ и его видѣли на Толкунѣ покупающимъ *Сіонскій Вѣстникъ*, мистическій журналъ 20—30 годовъ. Въ одно прекрасное послѣ обѣда придя къ Семену Иванычу онъ объявилъ себя пророкомъ и указалъ Петровнѣ на тысячи народа собравшагося подъ окнами слушать его проповѣдь, Петровна хотѣла отпоить его крещенскою водой, отчего Амфилохій пришелъ въ бѣшенство, и купеческая дочка вывела изъ сего заключеніе что не одинъ чортъ забрался въ учителя. Кстати замѣтить, Русскіе чаще сходятъ съ ума на томъ что они пророки, Поляки же помѣшиваются на крулѣ польскомъ. Бѣднаго Рудометкина свезли въ желтый домъ, гдѣ онъ вскорѣ умеръ.

Семенъ Иванычъ не долго пережилъ собутыльника. Амалія и Петровна завели нумера и живутъ припѣваючи. Господинъ Хамазовъ отомстилъ старшему Погалеву, но прежде того побывалъ въ Америкѣ. Случилось это такимъ образомъ. Онъ сопровождалъ за границу развитую имъ даму, поссорился съ нею, но какъ-то случилось, что за нѣсколько дней до ссоры занялъ у нея извѣстную сумму. На эти-то деньги и совершилъ онъ поѣздку за Океанъ. Недогадливые Янки не только не встрѣтили его съ колокольнымъ звономъ, но даже въ президенты не выбрали. Опасаясь голодной смерти и спасая шкуру, новый Наполеонъ III, обобравъ русское семейство, возвратился въ отечество и поступилъ на службу, но не по акцизу, а въ вѣдомство мясисторукаго сановника, служившаго оригиналомъ Ѳедосѣй Ѳедосѣичу. Новый Сперанскій, надо сказать, человѣкъ

весьма либеральный и въ свободное отъ службы время постоянно мечтаетъ скоро ли ученые дойдутъ до того что станутъ искусственно разводить людей, а изъ дѣтей по желанію можно будетъ приготавливать портныхъ, поэтовъ, сановниковъ и т. д. Его вѣдомство считается наилиберальнѣйшимъ и всѣ его чиновники кричатъ что только служа *у нихъ* можно еще приносить пользу отечеству. Впрочемъ, на Руси все такъ быстро идетъ впередъ что скоро, кажется, не останется ни одного вѣдомства чиновники котораго не говорили бы того же. Но я увлекся. Дѣло въ томъ что Іоанникій чрезвычайно полюбился сановнику. Помавая своею бѣлою рукой, сановникъ послѣ каждаго доклада Хамазова, самымъ таинственнымъ шепотомъ говоритъ про себя: „А сейчасъ видно что республиканскаго воздуха нюхнулъ“, и слѣдомъ боязливо осматривается, ибо весьма тонко чуетъ наступившую, по его соображенію, реакцію. У сего же сановника служилъ и старшій Погалевъ. Съ полгода тому, открылось повышеніе, и тутъ-то Хамазовъ отомстилъ врагу, сѣвъ на голову Погалеву. Либералъ оскорбился, и увеличилъ своею персоной число дрезденскихъ эмигрантовъ. Онъ кричитъ что въ Россіи житья не стало, ибо вовсе не цѣнятъ умныхъ и дѣльныхъ людей съ либеральнымъ образомъ мыслей. Меньшой Погалевъ числится товарищемъ прокурора Грязьгородскаго окружнаго суда. Прокуроръ Полѣновъ жалуется на его вѣтренность и полное незнаніе самыхъ первыхъ основъ юридическихъ наукъ; за то грязьгородскія дамы въ восторгѣ отъ „милаго молодаго человѣка“. Настасья Григорьевна ни за кого еще не вышла замужъ; и кажется потому только что Андрей Яковлевичъ вовсе не расположенъ жениться отъ живой жены.

Паулина живетъ въ Германіи; она совсѣмъ онѣмечилась, одѣвается ужасно и привизгиваетъ чуть не на каждомъ словѣ. Въ послѣдній разъ ее видѣли въ вагонѣ желѣзной дороги; она укоряла нѣкотораго Нѣмца за любовь къ Россіи, и затѣмъ сожалѣла о близкой участи мущинъ. По ея словамъ, какъ скоро женскія личности станутъ вполнѣ самостоятельны, онѣ убѣдятся что не логично выходитъ замужъ. Журналъ Никандра Ильича, несмотря на блестящія критики Головешкина, лопнулъ; самъ онъ поступилъ на службу и безъ сопровожденія крѣпкаго словца не можетъ произнести слова „литераторъ". Сотрудники его, далъ Богъ, живы и здоровы и, чаятельно, не весьма одобрительно отзываются о моемъ романѣ.

Москва.
1873—74.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

Исторія блѣднаго молодаго человѣка.

Прологъ . . . . . 3— 85
Книга первая . . . . . 87—186
Книга вторая . . . . . 186—381
Книга третья . . . . . 382—521
Эпилогъ . . . . . 522—526

*PB-31043-SB
5-03

6105 029 565 152

PG
3453
A9P65
1898
v.1

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6063
(650) 723-1493
greencirc@stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

APR 17 2006
APR 2006
APR 1 LC